



РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ



Семен Экштут

# ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ОТ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ ДО СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА



ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

---

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



# ПОВСЕДНЕВНАЯ

---

Семён Экштут

---



---

МОСКВА

# ЖИЗНЬ

РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
ОТ ЭПОХИ  
ВЕЛИКИХ РЕФОРМ  
ДО СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

---



---

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ • 2012



УДК 94(47)-051  
ББК 63.3(2)6-283.2  
Э 44



*Серийное оформление  
Сергея ЛЮБАЕВА*

*Издано при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям  
в рамках Федеральной целевой программы  
«Культура России (2012—2018 годы)».*

знак информационной  
продукции **16+**

**ISBN 978-5-235-03546-1**

© Экштут С. А., 2012  
© Издательство АО «Молодая гвардия»,  
художественное оформление, 2012



*Моей жене*

## ЦЕПЬ ВЕЛИКАЯ

*Порвалась цепь великая,  
Порвалась — раскочилась:  
Одним концом по барину,  
Другим по мужику!..*

Н. А. Некрасов.  
Кому на Руси жить хорошо. 1863—1877 гг.

*Россия похожа на мальчика, который  
рос в сквернейшей школе истории, где его  
били не на живот, а на смерть. Потом он  
очутился в другой, менее тяжёлой школе,  
где его начали меньше бить. Вот он заша-  
лился — теперь к нему приставляют для  
исправления гувернёров в лице админис-  
трации. Но беда в том, что сами гувернё-  
ры большею частью люди прескверные, и  
толку выходит мало. Мальчик растёт  
лжецом, мотом, и трудно полагать, что-  
бы из него вышло что-нибудь хорошее.*

А. В. Никитенко.  
Дневник. 4 декабря 1874 г.

## Пролог «Ожиданье, нетерпенье...»

Пятнадцатого июля 1840 го-  
да ныне забытый поэт Нестор Кукольник написал для  
уже готовой мелодии Михаила Глинки слова «Попутной  
песни», которой было суждено дожить до наших дней.

Пестрота, разгул, волненье,  
Ожиданье, нетерпенье...  
Православный веселится  
Наш народ.  
И быстрее, шибче воли  
Поезд мчится в чистом поле<sup>1</sup>.

Мелодия Глинки передавала стремительное движе-  
ние поезда, который в эти годы был самой модной тех-  
нической новинкой. И хотя первые отечественные по-

езда курсировали всего-навсего между Петербургом и Царским Селом, затем чугунные рельсы проложили к Павловску, а до завершения строительства железной дороги между Петербургом и Москвой было ещё далеко, просвещённая публика и простой народ были единыдушны в своём восхищении. Дотоле невиданная скорость, с которой «пароход», как первоначально называли паровоз, преодолевал расстояние и сокращал время в пути, комфорт, неслыханный демократизм (вагоны были трёх классов, в вагоне одного класса вместе ехали и по пути общались люди разных сословий, но одного достатка) — всё это давало мощный импульс мыслям о будущем и формировало новую картину мироустройства. В стихах поэта, написанных в середине николаевского царствования, было слово, ставшее паролем эпохи Великих реформ. Это слово — «нетерпение».

Спору нет, это слово не имело никакого непосредственного отношения к «фасадной империи» царя Николая I в момент её наивысшей стабильности: были победоносно завершены войны с Персией и Турцией, подавлено Польское восстание, ничто не угрожало безопасности страны, а порядок вещей в Российской империи казался незыблемым. Именно тогда граф Александр Христофорович Бенкендорф произнёс своё легендарное изречение: «Прошедшее России было удивительно, её настоящее более чем великолепно, что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение; вот, мой друг, точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана»<sup>2</sup>. Умы, даже самые мятежные, пребывали скорее в апатии, чем в нетерпении. Но слово было произнесено, и когда в России после смерти императора Николая и поражения в Крымской войне первый раз наступила *оттепель* — с восшествием на престол Александра II, — нетерпеливое стремление преобразовать настоящее и нетерпеливое ожидание будущего возобладали над опасениями перед неведомым грядущим. В 1849 году доктор философии Карл Маркс написал фразу, со временем превратившуюся в крылатое выражение: «Революции — локомотивы истории»<sup>3</sup>.

Спустя несколько лет поэт пушкинской плеяды задумался над тем, к каким невосполнимым издержкам может привести сознательное стремление ускорить ход истории. В конце мая 1853 года, ночью, на железной дороге между Прагой и Веной князь Пётр Андреевич Вяземский сочинил большое стихотворение, впервые напечатанное в марте 1867 года, концовка которого прозвучала исключительно актуально в разгар эпохи Великих реформ:

В этой гонке, в этой скачке —  
Всё вперёд, и всё спеша —  
Мысль кружится, ум в горячке,  
Задышается душа.

.....  
Но безделка ль подвернётся,  
Но хоть на волос один  
С колеи своей собьётся  
Наш могучий исполин, —

Весь расчёт, вся мудрость века —  
Нуль да нуль, всё тот же нуль,  
И ничтожность человека  
В прах летит с своих ходуль.

И от гордых снов науки  
Пробуждённый, как ни жаль,  
Он, безногий иль безрукий,  
Поплётётся в госпиталь<sup>4</sup>.

Первыми пассажирами русской *чугунки* были люди, хорошо помнившие пожар Москвы и взятие Парижа: четверть века отделяла начало Отечественной войны 1812 года от 1837 года — времени сооружения первой русской железной дороги, чугунные рельсы которой соединили Петербург и Царское Село. Эти первые пассажиры невольно соотносили *бег времени* со стремительным перемещением пассажирского вагона в пространстве. И хотя удобства быстрой езды вытесняли в сознании путешественников мысли об угрозе схода поезда с рельсов и заставляли забыть об опасностях весьма вероятной железнодорожной катастрофы, серьёзность трагического крушения не становилась от этого менее реальной, — и первые человеческие жертвы таких аварий ошеломили современников. Князь Вязем-



ский был участником Бородинской битвы. Его молодость прошла в окружении людей, ещё не успевших забыть ужасы пугачёвщины, а сам Пётр Андреевич был современником сопровождавшегося страшными жестокостями восстания военных поселенцев в Старой Руссе. Ужасы русского бунта не были для него отвлечённой абстракцией. Это была та самая российская реальность, которую нельзя было выносить за скобки, разрабатывая проекты любых социальных преобразований. Если до появления *чугунки* любая российская дорога ассоциировалась в сознании русского путешественника с неровностями и ухабами, то быстрая езда по ровным рельсам рождала мысль о том, что грядущую модернизацию страны, неизбежность которой понимали все образованные люди, можно уподобить движению скоростного локомотива. Так поэтическая метафора невольно внедрилась в общественное сознание, укоренилась в нём. Заграничные походы русской армии и двукратное пребывание в Париже воочию продемонстрировали не только социальную, но и цивилизационную отсталость России от Западной Европы: очевидное удобство европейских шоссейных дорог в сравнении с отечественным бездорожьём не нуждалось в дополнительной аргументации. Члены декабристских тайных обществ намеревались преобразовать страну и избежать крестьянской войны и новой Смуты, ибо уповали на «бескровную» военную революцию. Солдаты, послушные воле своих командиров, должны были стать надёжным противовесом стихии неконтролируемых мятежей. 14 декабря 1825 года восстание на Сенатской площади было подавлено, и в течение трёх десятилетий царствования Николая I мысль превратить русскую армию в локомотив истории не представляла даже академического интереса. После смерти императора Николая русское общество пришло в движение и попыталось быстро наверстать упущенное. Общественная мысль периода *оттепели* стремилась вознаградить себя за долгие годы умственной диеты. Создалась парадоксальная ситуация. Мысли о необходимости модернизации страны не корректировались раздумьями о её неизбежных издержках. Сторонники радикальных

теорий принципиально не желали думать о социальных эксцессах: тот, кто призывал Русь к топору, не боялся грядущей русской Смуты; его не пугали, по словам Чернышевского, «ни грязь, ни пьяные мужики с дубьём, ни резня»<sup>5</sup>.

### *«Распалась связь времён»*

Отмена крепостного права стала самым сильным потрясением, пережитым Россией за весь петербургский период её истории. Никогда ещё разрыв между прошлым и будущим не был столь очевиден, а настоящее не ощущало так остро своей отчуждённости как от прошлого, так и от будущего. Петербургский период знавал моменты и более драматичные: во времена пугачёвщины враг внутренний угрожал существованию государства и стремился к физическому уничтожению дворянства — политического класса Российской империи; во времена нашествия Наполеона на кону стояло само существование России в качестве великой европейской державы. В годы же Великих реформ произошёл слом векового уклада всей русской жизни. Разрушение ещё прочного здания, предпринятое силами самой государственной власти, ознаменовалось стремлением перестроить это вековое строение. Великие реформы сопровождались и сильной внутренней смутой, и весьма вероятной опасностью большой европейской войны.

Однако ни крестьянские волнения, ни восстание в Царстве Польском, ни угроза внешнего вторжения не смогли так потрясти умы, как сделала это Крестьянская реформа — важнейшая из числа Великих реформ. Образованное общество бурлило, непримиримые мнения сталкивались друг с другом — и это столкновение вело не к рождению истины в споре, а к неуклонному нарастанию взаимной отчуждённости: отцы не могли найти общий язык с детьми, дети демонстративно порывали с родителями, бывшие друзья детства становились врагами, а государственные мужи не могли договориться. В рядах власть предержащих не было единомыслия, поэтому не могло быть и речи ни о выработке единой по-

литической платформы, ни о её практическом воплощении. «Молодая Россия» отличалась невиданным доселе радикализмом, нетерпеливо жаждала приблизить грядущее, стремилась переносить из воображаемого будущего в настоящее всё, что только можно перенести, и не желала слышать ни о каком компромиссе с кем бы то ни было. Сила молодости в её неиссякаемой энергии. «Энергия заблуждения» молодёжи была направлена не на созидание, а на разрушение. С этого момента история России стала историей непрекращающихся попыток насильственно наложить книжный и умозрительный идеал на реальную жизнь. «Наши доморощенные либералы виноваты не тем, что думают и составляют предположения о различных свободных учреждениях, о радикальном уничтожении разных аномалий и злоупотреблений, накопившихся у нас издавна, а тем, что считают возможным немедленное осуществление того, что выдумал их ум и желает их либерализм»<sup>6</sup>, — заметил в дневнике Александр Васильевич Никитенко.

Гражданское общество находилось в эмбриональном состоянии, и для подавляющего большинства подданных Российской империи не было реальной возможности практически реализовать свои способности вне государственной службы. Нахождение же на государственной службе всегда шло рука об руку с зависимым положением и неизбежной рутинной, а особенно в период пребывания на низших ступенях иерархической лестницы. Начало Великих реформ совпало по времени с пятикратным увеличением числа студентов университетов. Студенты рекрутировались уже не столько из числа обеспеченных представителей благородного сословия, сколько из довольно бедной среды. Университетский диплом позволял поступить на государственную службу, иных же возможностей использовать полученные знания в этот период не было. «Молодая Россия» не желала мириться с таким положением дел. Эти люди не были готовы терпеливо преодолевать «первые невзгоды», без которых не обходится начало ни одной карьеры государственного деятеля. С одной стороны, власть нуждалась в энергичных, образованных, способных чиновниках. С другой — она не облада-

ла необходимыми ресурсами для поощрения молодёжи: количество штатных мест, сопряжённых с независимым положением и достаточными служебными полномочиями, всегда было невелико. История Российского государства представляется историей уязвлённых самлюбий и несостоявшихся карьер. Только в России на протяжении жизни нескольких поколений «лишний человек» мог быть героем своего времени. Государство Российское рождало множество талантливых многообещающих молодых людей, о которых со временем скажут, что в прошлом у них было блестящее будущее, так и не ставшее настоящим. На Западе интеллеktуал имел возможность не только служить на государственной службе, но и обслуживать буржуазию: в 30-е годы XIX века в Европе началась промышленная революция и образованный человек был нужен в банках, в промышленности, на транспорте, в юриспруденции... В это же время российский интеллигент витал в сфере отвлечённых понятий: он не знал ни сферы экономики, ни сферы реальной политики, ни сферы права.

На этом контрастирующем фоне судьба выпускника Московского университета Дмитрия Алексеевича Милютина (1816—1912) поражает видимым благополучием и несомненным успехом. Не обладая ни громким именем, ни солидным состоянием, ни влиятельными покровителями, он сумел благодаря своим незаурядным способностям, исключительному трудолюбию и завидной целеустремлённости сделать блистательную карьеру и добиться высших почестей: дослужился до чина генерал-фельдмаршала, получил графский титул и был удостоен всех высших российских орденов. В течение двух десятилетий он возглавлял Военное министерство и был одним из главных деятелей Великих реформ. Как говорил граф Сергей Дмитриевич Шереметев: «Это центральная личность всего царствования Императора Александра II... Пётр Великий и Меншиков, Императрица Анна и Бирон, Екатерина и Потёмкин, Александр II и Милютин! Эти два последних имени неразлучны и неразрывны»<sup>7</sup>. Не отличавшийся ни искательством, ни раболепием, ни низкопоклонством военный министр Милютин пользовался неизменной

поддержкой императора Александра II, так и не рискувшего уволить его в отставку, несмотря на многочисленные попытки аристократической оппозиции избавиться от либерального министра, которого она считала «красным». Милютин достиг феерического успеха: он разработал план обширных военных реформ, добился необходимых властных полномочий для их воплощения, осуществил эти реформы и успел пожать их плоды. Уже находясь в отставке, Дмитрий Алексеевич написал семь обширных томов своих воспоминаний и оставил пять томов дневников. Всю свою долгую жизнь он самозабвенно трудился, став военным министром, спал не более пяти или пяти с половиной часов в сутки. «Великий трудолюбец» — так называли его современники. Без его уникальных мемуарных источников невозможно реконструировать историю пореформенной России. Милютинское мемуарное наследие позволяет нам избежать двух крайностей: либо безуспешно пытаться отыскать в далёком прошлом следы «революционной ситуации», либо скорбеть по *России, которую мы потеряли*. Именно эти мемуары позволяют, говоря словами принца Гамлета, прочно связать распавшуюся связь времён и вправить вывихнутый сустав времени.

Я хочу представить современному читателю пореформенную Россию, опираясь прежде всего на воспоминания Дмитрия Алексеевича Милютина, ибо он не только занимал высокие государственные должности, но и был профессиональным историком, в 1866 году заслуженно получившим учёную степень доктора русской истории от Императорского Петербургского университета. Сам он прекрасно осознавал грядущую ценность своих мемуаров. «Знаю по собственному опыту, что при разработке исторических материалов бывает иногда драгоценно самое мелочное указание современника; случается, что сохранившийся клочок бумаги получает для историка высокую цену»<sup>8</sup>. Один из главных и наиболее последовательных сподвижников императора Александра II выступил на авансцену истории в качестве ключевого деятеля эпохи Великих реформ зрелым, вполне сформировавшимся человеком, имев-

шим за плечами солидное базовое образование — общее и специальное военное, опыт кропотливой научной деятельности в качестве военного историка, а в должности начальника Главного штаба Кавказской армии — бесценный навык руководства войсками в боевой обстановке.

В императорский период истории России биографии важнейших государственных деятелей складывались преимущественно как биографии служебные и формулярный список был наиболее верным отражением их жизни и судьбы. Однако даже самая успешная карьера не обходилась без неприятностей по службе, и почти во всех мемуарах мы можем отыскать горькие жалобы на несправедливость начальства, интриги совестников, незаслуженные удары судьбы. (Я склонен предполагать, что Павел Иванович Пестель, на мой взгляд, один из самых блистательных российских умов XIX столетия, никогда не стал бы революционером, если бы его карьера с самого начала сложилась более удачно. Пестеля обошли чином после окончания Пажеского корпуса первым учеником, долго не жаловали чин полковника и не назначали командиром полка.)

Служебная деятельность Милютина является ярчайшим исключением из этого общего правила. Он окончил Благородный пансион при Императорском Московском университете с серебряной медалью, а уже через год в возрасте семнадцати лет был произведён в офицерский чин прапорщика лейб-гвардии. Успешная учёба в Императорской Военной академии принесла ему не только малую серебряную медаль, но и два чина *за успехи в науках*: в те времена успешная учёба не считалась частным делом обучающегося, и власть считала своим долгом поощрять эти успехи чинами и орденами. В 1840 году, неполных двадцати четырёх лет, Милютин был уже гвардии капитаном, награждённым двумя боевыми орденами и медалью за участие в экспедиции на Кавказе и штурме аула Ахульго. Чтобы оценить уникальность этих отличий, следует помнить, что капитан гвардии по Табели о рангах был равен армейскому подполковнику и многие сверстники Милютина не поднялись по службе выше чина поручика и не имели знаков

отличия. В 1841 году Лермонтов, бывший двумя годами старше Милютина, погиб на дуэли в чине армейского поручика, которого, несмотря на многократные боевые заслуги и неоднократные представления, так и не удостоили награждением. Лермонтову было отказано даже в ордене Святого Станислава 3-й степени. Когда же этим невысоким орденом отметили Милютина, то его непосредственный начальник счёл награду «недостаточною» и даже собирался написать новое представление, чтобы отличившегося офицера наградили «более достойным образом», однако благое намерение так и не было исполнено. Спустя десятилетия граф Дмитрий Алексеевич прокомментировал это так: «Впрочем, я был всегда довольно равнодушен к наградам, и в настоящем случае даже и не считал себя вправе сетовать, сравнивая своё слабое участие в бою с подвигами самоотвержения стольких других строевых офицеров, оставляемых вовсе без награждения»<sup>9</sup>. Итак, Милютина наградами не обходили, чего нельзя было сказать об очень многих боевых офицерах, выносивших на своих плечах нелёгкое бремя войны на Кавказе. И его восприятие российской действительности никогда не было восприятием человека, обойдённого заслуженной наградой.

Дмитрий Алексеевич обладал редким для России качеством — умением соизмерять свои расходы с наличными доходами. Он никогда не жертвовал необходимым в надежде приобрести излишнее. Полная драматизма судьба его отца, которого постоянно преследовали денежные неудачи и неоплатные долги, послужила для него хорошим уроком. Если его отец Алексей Михайлович для поддержания престижа и так называемого приличия нередко позволял себе избыточные при его небольшом состоянии траты, то Дмитрий Алексеевич никогда не прибегал к мотовству как средству обеспечения кредита у людей своего круга и не прикрывал недостаток собственных средств «наружным блеском обыденной жизни»<sup>10</sup>. Такое поведение в корне противоречило системе ценностей благородного сословия. Однако, хотя Алексей Михайлович так и не сумел оставить детям приличного наследства, он был редким примером

русского дворянина, кто ещё в первой трети XIX века понял, что хорошее образование способно стать достойной заменой отцовскому наследству. «Я не надеюсь обеспечить существование моих детей; я только хочу дать им образование, которое заменит им состояние...»<sup>11</sup> Именно такое образование получили его сыновья в университете. Успешное окончание университета позволяло начать службу сразу с XII или даже с X класса Табели о рангах и открывало возможность сделать карьеру. Однако дворянские недоросли неохотно шли в университет. Это было время, когда они «пугались премудрости и такому множеству наук, не почитая их для одной головы возможными... Самое слово: студент, звучало чем-то не дворянским!...»<sup>12</sup>.

Для дворянина хорошее образование ассоциировалось с привилегированным учебным заведением, таким как Пажеский корпус, Александровский лицей или Училище правоведения. Их выпускники получали существенные служебные преимущества, которые играли роль мощного ускорителя будущей карьеры. Отличные успехи в учении и примерное поведение награждались при выпуске пожалованием чина IX класса Табели о рангах — на один ранг выше, чем после окончания университета со степенью кандидата. Будущая придворная, военная и гражданская элита Российской империи рекрутировалась из числа выпускников именно этих учебных заведений. В них давали очень хорошее общее образование, прекрасное знание иностранных языков и прививали воспитанникам умение непринуждённо держать себя в свете. Иными словами, хорошее образование отождествлялось со светским лоском и служебными преференциями, а не с практическими познаниями, способными достойным образом прокормить их обладателя в будущем. Граф Лев Николаевич Толстой, демонстративно бравируя своим аристократизмом, написал в черновиках эпопеи «Война и мир», что он никогда и ничему не учился для того, чтобы приобрести профессию.

«Я не мещанин, как смело говорил Пушкин, и смело говорю, что я аристократ и по рождению, и по привычке, и по положению. Я аристократ потому, что вспо-



минать предков — отцов, дедов, прадедов моих, мне не только не совестно, но особенно радостно. Я аристократ, потому что воспитан с детства в любви и уважении к высшим сословиям и в любви к изящному, выражающемуся не только в Гомере, Бахе и Рафаэле, но и во всех мелочах жизни. Я аристократ, потому что был так счастлив, что ни я, ни отец, ни дед мой не знали нужды и борьбы между совестью и нуждой, не имели необходимости никогда ни завидовать, ни кланяться, не знали потребности образовываться для денег и для положения в свете и т. п. испытаний, которым подвергаются люди в нужде. Я вижу, что это — большое счастье, и благодарю за него Бога, но ежели счастье это не принадлежит всем, то из этого я не вижу причины отречься от него и не пользоваться им»<sup>13</sup>.

Все российские монархи с гордостью носили военный мундир и были искренне убеждены в том, что Российская империя — это государство военное, поэтому самодержец обязан владеть военным делом. «Быв со всеми приветлив, будь особенно ласков с военными, оказывая везде войскам должное уважение предпочтительно пред прочими»<sup>14</sup> — так наставлял Николай I своего сына и наследника Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Со времён императора Петра Великого воинские чины почитались более престижными, чем чины статские того же ранга. Армия нуждалась в специалистах: артиллеристах, сапёрах, инженерах, военных медиках. И этих специалистов готовили в учебных заведениях военного ведомства. Однако офицеры специальных родов оружия, как их тогда называли, могли рассчитывать на карьеру успешную, но не блестящую. Они всегда были на вторых ролях: это объяснялось отчасти тем, что даже самые лучшие из них никогда не могли похвастаться светским лоском, без которого трудно было представить себе любого выпускника Пажеского корпуса. Если так дело обстояло с военными, что же говорить о статских?! Государство уже нуждалось в профессионалах, но ещё не научилось ценить их должным образом. После поражения России в Крымской войне положение начало постепенно меняться: заметно возросла потребность в профессио-

нальных знаниях. И братья Милютины сполна использовали открывшуюся возможность. Они были психологически подготовлены отцом к тому, что средства к жизни им лично предстоит зарабатывать конкретным делом, и полагались на собственные знания, а не на отцовское наследство — и этот расчёт великолепно оправдал себя в пореформенной России. Николай Милютин, один из главных деятелей Крестьянской реформы, дослужился до чина тайного советника, был членом Государственного совета и имел звание статс-секретаря Его Императорского Величества. Безвременно ушедший из жизни Владимир Милютин был профессором Петербургского университета. Борис Милютин имел генеральский чин действительного статского советника и занимал должность товарища (заместителя) главного военного прокурора. Таким образом, расчёт Алексея Михайловича блестяще себя оправдал.

К глубокому сожалению, представители благородного сословия, несмотря на все служебные преимущества, даваемые университетским образованием, неохотно отдавали своих сыновей в университет и вплоть до отмены крепостного права дворяне были приучены к казарменной дисциплине, но не были готовы к труду и не имели навыков серьёзной и систематической умственной работы. Именно это обстоятельство печальным образом сказалось на судьбах русской дворянской культуры. После эмансипации крестьян доходы подавляющего большинства помещиков резко сократились. Пришлось забыть о безбедном существовании за счёт крепостных. Для того чтобы вести привычный образ жизни, необходимо было работать. В обществе возрос спрос на профессиональные знания, приобретение которых было неразрывно связано с многолетним усердным трудом. Лишенное экономической независимости и не имевшее привычки трудиться дворянство было обречено.

Начавшийся в Западной Европе промышленный переворот докатился и до России. В жизни всех сословий возросла роль рационального начала, которое плохо вписывалось в привычную систему ценностей. Дворянство воспринимало себя как служилое сословие. Что же

представляла собой в Российской империи служба престолу и Отечеству? Рациональное начало никогда не играло в этой службе главной роли. Дворянин служил ради чинов и знаков отличия, обретение которых не вело к «приращению карманных богатств». Более того, воинская служба, а особенно служба в гвардии, была сопряжена с непомерными для его состояния тратами. Расходы гвардейского офицера на шитый золотом мундир, строевую лошадь, амуницию и поддержание гвардейского шика абсолютно не покрывались государевым жалованьем. Если родные не имели возможности регулярно посылать офицеру деньги, то он не мог позволить себе продолжать службу: очень часто выход в отставку объяснялся «домашними обстоятельствами» — не служебными неудачами или нежеланием служить, а неимением необходимых средств. Даже богатейшие владельцы нескольких тысяч крепостных с трудом выносили непомерные материальные тяготы гвардейской службы. Офицеры лейб-гвардии Гусарского полка, справедливо считавшегося одним из самых шикарных, дорогих и престижных, ухитрялись проматывать состояние в течение всего-навсего пяти лет; и очень богатые офицеры не могли себе позволить роскошь более продолжительной службы в этой, как бы мы сейчас сказали, элитной части. Что же говорить об офицерах среднего достатка? Бедные дворяне вообще в гвардии не служили. Служба в армейском полку была не столь затратной. Служа в армии, можно было скромно существовать на жалованье, но было невозможно что-либо отложить на чёрный день.

Каким же образом не имевший родового имени и не получавший денег из дома Дмитрий Алексеевич Милютин ухитрялся жить в Петербурге и успешно служить в лейб-гвардии — сначала в гвардейской артиллерии, а затем в Гвардейском Генеральном штабе? В 1834 году только что произведённый в гвардейские офицеры прапорщик Милютин, живя в столице, чуждаясь столичных развлечений и ведя очень скромную жизнь, издержал три тысячи рублей ассигнациями, что по тогдашнему курсу составляло 850 рублей серебром. Такое годовое жалованье получал его отец, имевший солидный чин

статского советника и занимавший видный пост управляющего делами в Комиссии по постройке храма Христа Спасителя в Москве. Государево жалованье гвардейского прапорщика было 476 рублей серебром. Откуда же молодой офицер, не делавший частных долгов, изыскал недостающие средства? Отец не мог ему помогать, хотя и занимал очень выгодное место для человека не столь щепетильного, каковым являлся Алексей Михайлович Милютин. «Стоило бы только отклониться на одну черту от пути чести, чтобы сделаться богачом»<sup>15</sup>. Недостающие средства Дмитрий Алексеевич *зарабатывал* литературным трудом. Он писал статьи для издававшегося в Петербурге книгопродавцем Адольфом Плюшаром «Энциклопедического лексикона». Блестящий гвардейский офицер, чтобы покрыть дефицит своего бюджета, был вынужден трудиться как «пролетарий умственного труда», зарабатывая деньги своим пером и своими знаниями<sup>16</sup>. Надо ли говорить, что для 30-х годов XIX века подобный образ жизни был явлением исключительным?!

Была ещё одна наследственная черта, которая заметно выделяла этого офицера на фоне легкомысленных сверстников и циничных современников. Алексей Михайлович Милютин привил сыну уважение к ценностям частной жизни: «...Будучи счастливым в семействе, могу ли я страшиться чего-нибудь. Жена и дети — мой мир; совесть — моя вселенная»<sup>17</sup>. В письмах сыновьям он не раз высказывал заветную мысль, что «счастье в семье даёт силу перенести все неудачи и невзгоды житейские»<sup>18</sup>. Для Дмитрия Алексеевича Милютина эта сокровенная мысль отца стала жизненным кредо. Мемуаристы нередко упрекали его в сухости и педантизме, не давая себе труда задуматься над тем, что для этого вечного труженика, равнодушного к материальным благам и светским развлечениям, безучастного к внешним почестям и придворным интригам, семья была самым дорогим, бережно хранимым и заповедным кладом. «Чуждый всякого честолюбия и тщеславия, я был вполне доволен своим положением, не помышляя ни о какой перемене, и находил единственное счастье в своей семье, постепенно возрастающей»<sup>19</sup>.

## Безгрешные доходы

Вся геополитическая история императорской России есть история неуклонного расширения и округления границ. Пределы Российской империи ширились, но жизнь её обитателей не становилась от этого лучше и зажиточнее. Картиной *мещанского счастья* («да щей горшок, да сам большой») можно было умиляться, стремление к его достижению можно было высмеивать, но в реальной жизни дореформенной России и тот и другой подходы разбивались о принципиальную невозможность практического обретения подобного счастья. Это относилось ко всем сословиям. Вспомним «Капитанскую дочку» Пушкина и слова, обращённые императрицей Екатериной II к Маше Мироновой. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние». Государыня не сдержала своё слово. Пушкин иронически заметил, что потомство Петруши Гринёва и Маши Мироновой «благоденствует в Симбирской губернии»: одно родовое село принадлежит десятистам помещикам. Мелкопоместный дворянин, не имевший связей и служивший в армии, служил империи из чести, но не ради денег. За свою службу и храбрость на полях сражений он мог быть пожалован чинами и орденами, в исключительном случае — даже прославиться и получить всероссийскую известность.

Герой Отечественной войны 1812 года Александр Никитич Сеславин был сыном отставного поручика, ржевского городничего. Отец не оставил ему в наследство ни денег, ни придворных связей. Александру Никитичу приходилось рассчитывать только на себя. Он был девять раз тяжело ранен и все свои знаки отличия — среди которых были и военный орден Святого Георгия 4-й степени, самая завидная и наиболее ценимая боевая офицерская награда, и Золотая сабля с надписью «За храбрость» — заслужил на поле боя, взял, как тогда говорили, грудью. Во время Отечественной войны командовал армейским партизанским отрядом и 10 октября 1812 года первым получил достоверные сведения о

том, что французская армия оставила Москву и движется на Калугу. Капитан Сеславин своевременно доложил об этом командованию, и русская армия остановила неприятеля у Малоярославца. Разведывательные сведения, доставленные простым капитаном, решили «судьбу Отечества, Европы и самого Наполеона». Несколько модных художников запечатлели образ героя для истории, поэт Жуковский воспел его ратные подвиги. Отныне у Сеславина, в сентябре 1813 года произведённого в чин генерал-майора, была слава, но по-прежнему не было денег. Даже генеральское жалованье было недостаточным для того, чтобы обрести материальное благополучие. Императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, однажды с грустью заметила Сеслаvinу, что у государя нет достаточно денег, чтобы достойно вознаградить его. В 1820 году генерал Сеславин, принявший участие в семидесяти четырёх больших и малых сражениях, вышел в отставку и более тридцати лет очень скромно жил в своём небольшом родовом имении — селе Есемо́во Ржевского уезда Тверской губернии — там же, где и родился.

Жалованье не только офицеров, но и генералов было невысоким. Будущий знаменитый герой войны 1812 года и «проконсул Кавказа» Алексей Петрович Ермолов весной 1811 года, накануне решительной схватки с Наполеоном, получил предложение о переводе в Петербург на должность командира лейб-гвардии Артиллерийской бригады. В это время 34-летний Ермолов, отличившийся в нескольких кампаниях, уже имел чин генерал-майора артиллерии и прекрасную боевую репутацию. Двумя годами ранее молодой генерал был вынужден отказаться от брака с любимой девушкой. «...Страстно любил W., девушку прелестную, которая имела ко мне равную привязанность. В первый раз в жизни приходила мне мысль о женитьбе, но недостаток состояния с обеих сторон был главным препятствием, и я не в тех уже был летах, когда столько удобно верят, что пищу можно заменять нежностями. Впрочем, господствующею страстью была служба, и я не мог не знать, что только ею одной могу я достигнуть средств несколько приятного существования. Итак, надобно было превоз-

мочь любви! Не без труда, но я успел»<sup>20</sup>. То есть и при генеральском жалованье брак с бесприданницей был непозволительной роскошью! Скудость средств вынуждала Ермолова отказаться и от службы в гвардии — Алексей Петрович не принял лестного назначения: «Я отвечал, что, служа в армии и более будучи употребляем, я надеюсь обратить на себя внимание государя, что по состоянию не могу содержать себя в Петербурге, а без заслуг ничего выпрашивать не смею. Высочайший приказ о переводе меня в гвардию был ответом на письмо моё!»<sup>21</sup> В своих мемуарах генерал вскользь упомянул о том, что, прибыв в столицу, «вступил в командование бригадою, *не входя в хозяйственную часть оной* (курсив мой. — С. Э.), желая показать, что я не ищу выгод»<sup>22</sup>. Этой якобы случайно вырвавшейся фразой Ермолов прозрачно намекнул читателям, что он отказался прибегать к различным ухищрениям и извлекать незаконные доходы. Демонстративное бескорыстие отважного генерала, к тому времени награждённого семью боевыми орденами и Золотой шпагой «За храбрость», было замечено императором: Александр I распорядился выплачивать Ермолову из своих собственных средств по пять тысяч рублей серебром ежегодно. (По курсу 1812 года 1 серебряный рубль, или целковый, равнялся 4 рублям 12 копейкам ассигнациями.) Так царь компенсировал генералу его отказ от извлечения безгрешных доходов из занимаемой командной должности.

Николай Алексеевич Некрасов о подобных людях писал:

Человек он был новой породы:  
Исключительно честь понимал  
И безгрешные даже доходы  
Называл воровством, либерал!<sup>23</sup>

Мы никогда не сможем правильно представить себе реалии русской жизни былых веков, если не истолкуем феномен *безгрешных доходов*. Энциклопедии, словари и справочники безоговорочно трактуют безгрешные доходы как ироническое обозначение взятки, что огрубляет суть проблемы. Лишь самые отъявленные либералы могли неправоммерно отождествлять безгрешные

доходы с взятками. Общественное мнение было более терпимо. Репутацию чиновника могло безнадежно испортить только неприкрытое лихоимство, мздоимство же считалось в порядке вещей. Иными словами, общество делало различие между *лихоимцем* и *мздоимцем*. «Разница в поступках. Иные требуют у просителей и портят справедливые дела, если им не заплатят, другие исполняют долг свой, но если кто даёт за дело — не отказываются»<sup>24</sup>, — пояснял хорошо осведомлённый современник. Лихоимец вымогал взятки за то, что он обязан был и так делать по своей должности. Если ему не давали взятку, то он не только не помогал просителю, но и вредил ему. Мздоимец не отказывался от добровольных приношений просителя, благодарного чиновнику за быстрое и справедливое решение своего дела, но готов был исполнять свою должность и без дополнительного вознаграждения. Однако опытный проситель всегда считал нужным дать, что закрепилось в известных поговорках: «Сухая ложка рот дерёт»; «Не подмажешь — не поедешь». Лихоимец получал *лихву* — избыток, излишек. Лихва отличалась от *мзды*, которая трактовалась как справедливое вознаграждение за труды. Пословицы донесли до нас это тонкое различие: «Не ради мзды, а ради правды»; «Мзда не лихва»; «Всяк труд мзды своей достоин».

Стихийное правосознание военных и гражданских чиновников дореформенной России было весьма снисходительно к тем, кто заботился о пополнении собственного кармана больше, чем о сохранении целостности кармана государственного. Причины этого феномена очевидны и не требуют особых пояснений. Государево жалованье всегда было небольшим. Герой Отечественной войны 1812 года генерал Николай Николаевич Раевский «говорил об одном бедном майоре, жившем у него в управителях, что он был заслуженный офицер, отставленный за отличия с мундиром без штанов»<sup>25</sup>. Даже жалованье тех чиновников, через руки которых проходили миллионные суммы, было ничтожным: его едва хватало на скудное дневное пропитание.

По точному замечанию Николая Михайловича Карамзина, «Россия никогда не славилась богатством —



у нас служили по должности, из чести, из куска хлеба, не более!..». Но это не мешало власти предержащим требовать от своих подчинённых выполнения того, на что от казны не отпускалось никаких средств. Деятельность полковых командиров служит тому подтверждением. Командиры полков, чтобы содержать свою часть в надлежащем порядке, были вынуждены постоянно прибегать к различным негласным оборотам и изворотам, которые не поддавались ни официальной отчётности, ни гласному контролю. «Весь порядок военного хозяйства был построен на таких основаниях, что действительная практика расходилась с законом... — свидетельствует в мемуарах граф Милютин. — Высшие начальники должны были потворствовать хозяйничанию полковых командиров, требуя иногда от них того, на что отпусков от казны не полагалось. Многие такие неправомерности в хозяйстве вызывались непомерным требованием внешней щеголеватости на смотрах. Само <Военное> министерство, так сказать, узаконяло негласные обороты в полковом хозяйстве, предоставляя командирам покрывать из “экономии” расходы, не предусмотренные Положениями и табелями»<sup>26</sup>.

Так обстояли дела и при Александре I, и при Николае I, причём российские самодержцы отлично знали о феномене безгрешных доходов. Главноначальствующий Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и шеф жандармов граф Александр Христофорович Бенкендорф в отчёте за 1837 год довел до сведения государя, что генералов и полковых командиров их вышестоящие начальники нередко вынуждают извлекать эти доходы. Накануне грандиозного смотра русской армии, устроенного Николаем I в Воскресенске, инспектор всей резервной кавалерии граф Иван Осипович Витт отдал весьма стеснительное для участников смотра распоряжение. Зная, что на проводимые государем манёвры съедется столичная публика, граф Витт приказал снабдить гостей всем необходимым. Генералы и полковые командиры во исполнение этого приказа «обязаны были доставлять им продовольствие, экипаж, мебель и прислугу без всякого за то вознаграждения. Это исполнено

было со всею точностью, но для большей части было крайне отяготительно, и хотя никто гласно на сие не жаловался, но все почти роптали»<sup>27</sup>. Ропот полковых командиров понятен: беспрекословно выполнив графский приказ, они лишились значительной части своих безгрешных доходов. Если бы у них не было этих доходов вовсе, то они не имели бы средств исполнить приказ — и тогда смотр под Воскресенском не был бы столь блистателен. Николай I это отлично понимал, поэтому не стал выражать графу Витту своего неудовольствия. Из представленного графом Бенкендорфом «Обозрения расположения умов и некоторых частей государственного управления в 1837 году» император узнал печальную истину: многие полковые командиры не чужды злоупотреблений, «почитая вверенные им полки как бы своими отчинами»<sup>28</sup>.

Сама должность полкового командира была неотделима от обширной хозяйственной деятельности. Командиры пехотных и особенно кавалерийских полков оперировали большими суммами наличных денег, получаемых из казны. Им приходилось оплачивать сукно, из которого, как тогда говорили, строили солдатские шинели и мундиры, полотно, из чего шили нижним чинам рубахи и панталоны, и кожу, которая шла на сапоги и краги. «Строя солдатам новые шинели, / Не забывай, чтоб они пили и ели»<sup>29</sup>.

Командир кавалерийского полка должен был заботиться о регулярном обновлении конского состава вверенной его попечению части. Заготовка лошадей и пополнение ими полков по мере нужды называлась *ремонт*ом, а откомандированный из полка офицер для закупки лошадей — *ремонтёром*. Ремонтёрами назначали опытных офицеров, прекрасно разбиравшихся в лошадях и располагавших сведениями о конских заводах и конъюнктуре в той губернии, куда они отправлялись за ремонтом. Как можно прочесть в сочинениях того же Козьмы Пруtkова: «Фуражировка и ремонтёрство / Требуют сноровки и прозорства»; «Для ремонтёрства и фуражировки / Трудно обойтись без сноровки»<sup>30</sup>.

Вспомним эпопею «Война и мир». Граф Николай Ростов, после Островненского дела награждённый Ге-

оргиевским крестом и получивший под своё командование батальон гусар Павлоградского гусарского полка, накануне Бородинской битвы был отправлен в Воронеж за ремонтом. По долгу службы он представился губернатору. «Губернатор был маленький живой человек, весьма ласковый и простой. Он указал Николаю на те заводы, в которых он мог достать лошадей, рекомендовал ему барышника в городе и помещика за двадцать вёрст от города, у которых были лучшие лошади, и обещал всякое содействие. <...> Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист-холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель ковёрной, столетней запеканки, старого венгерского и чуждых лошадей. Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта». Так несколькими верно положенными мазками Толстой нарисовал картину, по которой можно судить о механизме извлечения безгрешных доходов. Каждый из этих отборных жеребцов обошёлся графу Ростову в среднем чуть более 350 рублей. Именно эти жеребцы предназначались для показа начальству, остальные лошади ремонта были много проще, а потому дешевле. Но деньги на приобретение ремонта выдавались ремонтёру исходя из средних справочных цен, которые были выше цен фактических. Разница, учитывая размер всего ремонта, была весьма значительной и почти целиком шла в карман полковому командиру.

Полковые командиры наживались ремонтёрством, а на долю ремонтёра не доставалось ничего. Его прибыток заключался в ином. Офицер, продолжая числиться на воинской службе и пользуясь всеми преимуществами воинского звания, на весьма продолжительный срок покидал свою часть, оказывался свободен от всех стеснений воинской дисциплины, тягот и лишений воинской службы и получал возможность с удвоенной энергией насладиться всеми доступными радостями мирной жизни. В любое время, а особенно во время войны, подобная командировка воспринималась как самая настоящая удача. Толстой пишет, что Николай Ростов принял это назначение «с величайшим удоволь-

ствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали его товарищи». В губернском городе Воронеже и во всей губернии Николай Ростов мгновенно занял положение всеобщего любимца. «Дам было много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько-нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтёром-гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым».

Хорошая кавалерийская лошадь стоила дорого, но ремонтёр покупал оптом и платил наличными, поэтому ему всегда делали большую скидку и охотно подписывали квитанции, из которых следовало, что лошади куплены им за бóльшую цену, чем та, что реально была уплачена. Весь ремонт поступал в распоряжение полкового командира, а тот, в свою очередь, несколько лучших лошадей оставлял у себя в надежде выгодно сбыть их офицерам полка. Ни сам командир, ни офицеры не видели в этом ничего зазорного. Купить хорошую лошадь, годную для службы в кавалерии, всегда было большой проблемой. Во время войны, когда потери конского состава значительно превосходили как его пополнение, так и падёж лошадей в мирное время, решить такую проблему было очень трудно. Уважающий себя кавалерийский офицер не мог обойтись одной лошадью и старался обязательно купить запасную.

Вспомним, что ещё в бытность юнкером Николай Ростов, не успевший своевременно обзавестись всем необходимым и догонявший свой полк во время похода против неприятеля, после прибытия к месту службы был вынужден купить верховую лошадь у офицера своего эскадрона поручика Телянина. Толстой вскользь упоминает, что эта лошадь по кличке Грачик была *подъездок*. Нам это слово мало что говорит, а так называли молодую или запасную лошадь, которая иногда, на перемену, ходила под седлом. Злополучный Грачик вскоре после покупки стал припадать на левую переднюю ногу: «...лошадь эта, купленная им за семьсот рублей, не стояла и половины этой цены». За лошадь со скрытым изъяном неискушённый юнкер Ростов заплатил не только ровно в два раза дороже её фактической стои-

мости, но и вдвое дороже той суммы, в которую впоследствии тому же Ростову, но уже выдавшему виды ремонтёру, в среднем обошлись лучшие жеребцы его ремонта.

Кавалерийские офицеры покупали строевых лошадей на свои деньги, потому службу даже в армейской кавалерии, не говоря уже о гвардейской, могли позволить себе только очень богатые люди. Служба Николая Ростова в армейских гусарах обходилась его семье в десять тысяч рублей ежегодно. И даже после злополучного проигрыша в карты, который в корне подорвал благосостояние семьи Ростовых, Николай не смог продолжить службу в гусарах, живя одним только жалованьем, — и вместо ежегодных десяти тысяч решил впредь брать из дома всего-навсего две. И это воспринималось им как искупление своего проигрыша. Николай Ростов, проигравший Долохову 42 тысячи, которые были безотлагательно уплачены старым графом Ростовым, решил за счёт этой разницы в восемь тысяч погасить свой долг семье в течение пяти лет. Анатолий Курагин, служивший в гвардейской кавалерии, где цена одной верховой лошади нередко превышала тысячу рублей, стоил князю Василию 40 тысяч. Хотя Анатолий был сыном вельможи, который занимал министерский пост, сам князь Василий приходил в непритворное отчаяние, думая о том, что останется от его состояния после пяти лет таких непомерных трат.

Лишь собственник нескольких тысяч крепостных мог позволить себе подобные неимоверные расходы. В конце XVIII века средний душевой оброк составлял пять рублей в год. Следовательно, оброк двух тысяч крепостных обеспечивал службу Николая Ростова в Павлоградском гусарском полку, а оброк восьми тысяч — расточительный образ жизни гвардейца Анатолия Курагина. Ценность рубля постепенно падала, и к середине XIX века один рубль конца предшествующего столетия равнялся уже 1 рублю 50 копейкам. В это же время размер оброка неуклонно рос и к моменту отмены крепостного права колебался от 12 рублей 5 копеек в Олонецкой губернии до 27 рублей 56 копеек в Самарской<sup>31</sup>.

Офицеры вынуждены были покупать не просто верховых лошадей, а строевых лошадей определённой масти и, дабы избежать нареканий начальства, предпочитали делать это в своей части. Покупка лошади из конюшни полкового командира не только страховала офицера от подобных неприятностей, но и обращала на него лестное внимание начальства. Разумеется, покупали такую лошадь много дороже той суммы, что была заплачена за неё ремонтёром. Барыш, извлечённый командиром, не только он сам, но и офицеры полка не считали грехом, и потому доходы полкового командира именовались безгрешными. Так продолжалось десятилетиями. «Будь расторопен — и от году до году / Полк принесёт тебе боле дохода». (К этому военному афоризму Козьмы Пруtkова рукою полкового командира сделано примечание: «Да, когда справочные цены высоки»<sup>32</sup>.) Самую крупную статью дохода командира кавалерийского полка составлял фураж: лошади нуждались в ежедневном сухом корме, а справочные цены на овёс всегда были высокими.

Лошади были не только в кавалерии. Долгое время вся полевая артиллерия была на конной тяге, что позволяло и батарейным командирам иметь немалые доходы. Известный кораблестроитель академик Алексей Николаевич Крылов вспоминал о службе своего отца, который в конце 1850 года был выпущен прапорщиком в артиллерию: «Батарейным командиром был старый кавказский воин, георгиевский кавалер, полковник Прокопович. Службой он офицеров весною и летом не утруждал, а заботился больше о безгрешных доходах от своей батареи. Снимал у Фальц-Фейна громадный участок степи, на котором табуном паслись батарейные лошади, и, начиная с середины июня, заготавливали сено для корма зимою лошадей, овёс же заготавливался только по книгам по справочным ценам — это и составляло “безгрешный доход” батарейного»<sup>33</sup>. Различные, хотя и более скромные возможности получения безгрешных доходов были у командиров пехотных рот и у командиров кавалерийских эскадронов, но их доходы не шли ни в какое сравнение с доходами полкового командира.

Командир даже самого захудалого пехотного полка, не говоря уже о полке кавалерийском, был одной из центральных фигур русской провинциальной жизни — уездной и губернской. Дело заключалось даже не в том, что полковничий чин заметно выделял его из среды остальных военных и гражданских чиновников. Любой полковой командир стремился всеми правдами и неправдами обзавестись хорошим духовым оркестром, недешёвые инструменты для которого приобретались им на безгрешные доходы, а музыканты рекрутировались из нижних чинов части. (Казна не отпускала денег на полковые оркестры. Лишь особо отличившимся в боях воинским частям жаловались коллективные награды: Георгиевские трубы, серебряные наградные трубы и «гренадерский бой» — особый вид строевого барабанного боя.) Так безгрешные доходы работали на дворянское общество и дворянскую культуру. Ни один провинциальный праздник не обходился без полковой музыки. Вспомним описание именин Татьяны и бала у Лариных в пушкинском романе «Евгений Онегин»:

И вот из ближнего посада  
Созревших барышень кумир,  
Уездных матушек отрада,  
Приехал ротный командир;  
Вошёл... Ах, новость, да какая!  
Музыка будет полковая!  
Полковник сам её послал.  
Какая радость: будет бал!<sup>34</sup>

Общественное мнение дореформенной России до чрезвычайности терпимо взидало на сам казус безгрешных доходов, разнообразные способы их извлечения и на тех военных и гражданских чиновников, которые такие доходы выуживали. Однако уже в конце николаевского царствования стали раздаваться протестующие голоса, впрочем, пока довольно редкие.

В пореформенной России ситуация изменилась. Безгрешные доходы утратили общественную моральную санкцию, стали ассоциироваться с отошедшей в прошлое эпохой крепостничества и начали отождествляться со взятками и воровством. Генерал-лейтенант Дмитрий Алексеевич Милютин, через три месяца после

отмены крепостного права в России назначенный управляющим Военным министерством, решил покончить с безгрешными доходами. На закате жизни граф Милютин, в течение двух десятилетий возглавлявший Военное министерство Российской империи, вспоминал, что с первых же шагов своей деятельности на этом посту он старался «добиться того, чтобы казённые отпуска по табелям и положениям соответствовали действительным нуждам войска, так чтобы можно было прекратить произвольное хозяйничанье полковых командиров и так называемые законные их доходы от полка. Это и было первою задачей, за которую я принялся с жаром»<sup>35</sup>.

Итак, военная реформа в армии, одна из самых важных среди всех преобразований эпохи Великих реформ, началась с искоренения безгрешных доходов. Негласные доходы командиров представляли собой, по словам графа Милютина, «вреднейшую нравственную язву нашей армии»<sup>36</sup>. Энергичный военный министр принялся за решение этой задачи со столь сильным жаром, что должность полкового командира на некоторое время потеряла свою былую привлекательность, хотя командирам в возмещение их былых доходов и было назначено добавочное содержание. Гвардейские офицеры, отягощённые долгами, нажитыми в столице, для поправления своих дел уже не столь охотно стремились к получению должности армейского полкового командира. В дореформенной России командир армейского пехотного полка всегда мог рассчитывать на получение неплохих безгрешных доходов, а командир кавалерийского полка, как правило, оставлял детям порядочное состояние. В пореформенной России общественное мнение уже перестало снисходительно относиться к тем, кто строил своё благосостояние на извлечении безгрешных доходов. Их выуживание стало расцениваться как предосудительный поступок, связанный с нарушением правил морали и норм поведения. Однако промотавшиеся гвардейцы и из этой ситуации нашли выход. Отныне они стали стремиться к получению должности командира не армейского полка, а губернского гарнизонного батальона. Эти коман-



ды внутренней стражи вообще не числились в полевых войсках, и служба в них никогда не была престижной. С одной стороны, в гарнизонные батальоны направлялись служить солдаты и офицеры, из-за ран или болезней не пригодные к службе в действующей армии. С другой стороны, перевод в гарнизонный батальон нередко был весьма распространённой формой дисциплинарного взыскания. Таким образом, в одной части вместе служили инвалиды войны и проштрафившиеся воины, калеки и буяны, увечные и задиры. Боеготовность таких частей значительно уступала боеготовности полевых войск, а сам внешний вид гарнизонных служителей нередко вызывал либо жалость, либо усмешку. Недаром гоголевский городничий, узнав о том, что к нему в город едет ревизор, среди прочих распоряжений отдал и такое: «Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарнизá наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет». Тех, кто служил в гарнизонных батальонах, насмешливо называли «гарнизá» или «гарнизонщина»: «Гарнизá пузатая!», «Гарнизонный пуп!» Почему же щеголеватые гвардейцы не только не гнушались служить вместе с этим сбродом, но и всячески интриговали, чтобы принять под своё командование губернский гарнизонный батальон? И всё это происходило в самом начале эпохи Великих реформ!

Василий Дементьевич Новицкий, с 1867 по 1871 год служивший в штабах местных войск Харьковского военного округа, оставил колоритное воспоминание о следственном деле командира курского гарнизонного батальона полковника Лаппы. Злоупотребления, допущенные батальонным командиром, были вопиющими. Полковник за взятки отправлял нижних чинов батальона в длительные домашние отпуска, по-прежнему получая от казны на их содержание приварочные деньги, денежное и имущественное довольствие. Довольствие получалось полковником даже на умерших солдат — и эти мёртвые души в течение нескольких лет подряд приносили батальонному командиру неплохой доход. У батальона были большие казармы, на ремонт которых казна ежегодно ассигновала значительные суммы, исправно поступавшие в карман командира. Так посту-

пали почти все батальонные командиры почти во всех губернских городах. Вот почему лучший частный дом в столице губернии принадлежал командиру гарнизонного батальона, а роскошные приёмы, которые устраивались в этом доме, вызывали всеобщее удивление, восхищение и зависть. Внешнее великолепие образа жизни батальонного командира и его неизвестно откуда взявшееся богатство, заставлявшее вспомнить графа Монте-Кристо, — всё это будоражило воображение обывателей и долгое время не интересовало начальство. Полковник Лаппа, ранее служивший в гвардии, за счёт различных махинаций незаконно получил несколько сот тысяч рублей, нажил громадное состояние, которое укрыл от следствия, и благополучно скончался до суда. «Это дело, по ознакомлении с ним, ввело меня в область таких познаний по части злоупотреблений того времени, каковые не могли даже запасть в голову моих соображений и мечтаний. <...> Полковник Лаппа в этом деле представлял из себя действительно лапу, но только железную, которою награбмливались деньги и русское золото из государственного казначейства и из рук рекрут и их родственников...»<sup>37</sup> Однако дошла очередь и до гарнизонных батальонов. В 1864 году Отдельный корпус внутренней стражи, состоявший из этих батальонов, был расформирован.

Итак, в течение десятилетий законы отставали от жизни, и умение ловких военных и гражданских чиновников использовать в своих интересах несовершенства в государственном устройстве Российской империи не осуждалось ни обществом, ни властью. Доходы, которые извлекались за счёт различных оборотов и изворотов, считались *безгрешными*. И в наши дни законы отстают от жизни. В существующем законодательстве немало прорех. Это признаётся и государством, и обществом. Однако стремление использовать эти прорехи для извлечения мзды, лихвы или безгрешных доходов безоговорочно осуждается не только властью, но и обществом. И в этом состоит принципиальное различие между современной Россией и Россией, которую мы потеряли...

Повторю, что и на военной, и на статской службе невозможно было честным путём выслужить мещанское

счастье. Жалованье даже высших чиновников, если они не имели родовых имений, не позволяло им жить на широкую ногу и обеспечить будущее своих детей. Разумеется, благосостояние чиновника измерялось не только жалованьем. Министры, губернаторы, директора некоторых департаментов пользовались казёнными квартирами, дачами и казёнными дровами. Казённые квартиры были и у правителей министерских канцелярий. Предполагалось, что этот разряд чиновников должен всегда быть под рукой у начальства. Бюрократический механизм должен был функционировать круглосуточно и бесперебойно. Канцелярию можно уподобить его пружине, а правителя канцелярии — ключику, с помощью которого этот механизм регулярно заводится. Поэтому в здании присутственного места всегда выкраивалась площадь для устройства квартиры правителя канцелярии.

В списке действующих лиц комедии Грибоедова «Горе от ума» сказано: «Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казённом месте. <...> Алексей Степанович Молчалин, секретарь Фамусова, живущий у него в доме». Современники Грибоедова прекрасно понимали такие намёки, ибо прекрасно знали бытовые реалии своего времени, чего нельзя сказать о наших современниках. Алексей Степанович Молчалин окончил Московский университет. Если бы у этого литературного персонажа не имелось университетского диплома, то по императорскому указу 1809 года ему не мог быть пожалован чин коллежского асессора, с обретением которого связывалось получение потомственного дворянства. Этим чином достаивали только тех чиновников, кто прослушал полный университетский курс и получил соответствующий диплом. Молчалин — коллежский асессор, следовательно, у него есть университетское образование. Напрасно иные литературоведы склонны видеть в этом персонаже приживала в доме начальника. Молчалин не просто секретарь, он правитель канцелярии своего патрона. Сенатор Фамусов занимает очень значительное по московским масштабам служебное место. Он стоит во главе архива Министерства иностранных дел, где служат всем хорошо извест-

ные по классической литературе «архивные юноши», принадлежавшие к самым знатым и богатым семействам Первопрестольной. Вот почему не обладающий связями, но имеющий деловую хватку коллежский асессор Молчалин сделал такую стремительную карьеру:

По мере я трудов и сил,  
С тех пор, как числюсь по Архивам,  
Три награжденья получил<sup>38</sup>.

В чиновничьем городе Санкт-Петербурге как сам факт наличия казённой квартиры, так и её территориальная близость к Зимнему дворцу были важнейшими показателями социального статуса. Министр Императорского двора жил в Зимнем дворце, здесь же помещались и скромные квартиры фрейлин. Квартира министра иностранных дел располагалась в здании Главного штаба на Дворцовой площади, квартира морского министра — в здании Адмиралтейства, военного министра — на Миллионной улице. Казённые дачи некоторых министров находились на Каменном острове, где примыкали к дачам членов Императорской фамилии. В мемуарах современников мы нередко встречаем указание на то, что то или иное видное служебное место предполагало предоставление бесплатной квартиры, что, естественно, повышало привлекательность подобной должности. Получение первой за годы службы казённой квартиры всегда воспринималось чиновником как значимый этап карьеры, который запоминался надолго. Военный министр генерал-фельдмаршал граф Дмитрий Алексеевич Милютин, в чине полковника и в должности профессора Императорской Военной академии получивший казённую квартиру, счёл это событие столь значительным, что в своих «Воспоминаниях» посчитал необходимым педантично зафиксировать: «В первых числах февраля 1852 года мы переселились на казённую квартиру, в дом Военной академии, со стороны Галерной улицы. Новое наше жильё было довольно тесное и не совсем удобное по внутреннему расположению; но всякая казённая квартира представляет такие выгоды в разных отношениях, что можно мириться с некоторыми неудобствами»<sup>39</sup>. В высшей степе-

ни характерно, что, столь обстоятельно поведав как о самой первой служебной квартире, так и о времени её обретения, Милютин, всегда скрупулёзно отмечавший все перипетии пройденной им служебной карьеры, счёл нужным отметить и время переезда в наёмную квартиру, отведённую военному министру, и подробно написал в «Воспоминаниях» о возведении собственных министерских апартаментов<sup>40</sup>. Он счёл всё это столь же существенным для будущего историка, как и получение первой казённой квартиры.

К сожалению, настоящей эпохой в жизни чиновника становилось не только обретение казённой квартиры, но и её очищение. Отставка министра со своего поста означала не только конец его служебного поприща, но и изменение привычного жизненного уклада. Она вынуждала чиновника срочно покинуть обжитую казённую квартиру, освобождая её для своего преемника. Это нельзя было сделать в одночасье, и экс-министр вынужден был просить нового министра дать ему время для того, чтобы подыскать новую квартиру и съехать с казённой.

Пётр Александрович Валуев (1815—1890), происходивший из обедневшего русского боярского рода, известного с первой половины XIV века, имел обширный круг знакомых. Первым браком был женат на дочке князя Петра Андреевича Вяземского, неоднократно встречался с Пушкиным. В одном из планов повести «Капитанская дочка» главный герой назван Валуевым, некоторые черты характера и внешности Петра Александровича отражены Пушкиным в образе Петруши Гринёва. Отец и дед Валуева были камергерами. Помните, у Грибоедова: «Покойник был почтенный камергер, / С ключом, и сыну ключ умел доставить»? Валуев унаследовал от них славное имя и обширные придворные связи, но не имение. Пётр Александрович не имел никакой недвижимой собственности. Несмотря на это, он на статской службе сделал блестящую карьеру. Совсем молодым человеком получил лестное для его лет придворное звание камер-юнкера. Занимал посты курляндского губернатора, министра внутренних дел, министра государственных имуществ, председателя Комитета

министров. Был пожалован графским титулом и всеми высшими орденами Российской империи, включая алмазные знаки ордена Святого Андрея Первозванного. Современники отмечали его большое честолюбие, но никто и никогда не обвинял его в лихоимстве, что для страны, где почти все чиновники крали и были продажны, являлось большой редкостью. 4 октября 1881 года граф Валуев, за несколько месяцев перед тем удостоенный высочайшего рескрипта по случаю пятидесятилетия государственной службы, был уволен от председательствования в Комитете министров. Формально это не было отставкой, фактически означало конец служебного поприща. За графом Валуевым сохранились членство в Государственном совете и звание статс-секретаря Его Величества, ему было оставлено содержание 18 тысяч рублей в год. Но он вынужден был освободить квартиру казённую и переехать на частную. Остаток своих дней он провёл на съёмной квартире. За годы своей полувековой службы Валуев так и не удосужился нажить состояние и обзавестись собственным домом. И хотя государь Александр III пожаловал ему шесть тысяч рублей в год квартирных, в дорогом столичном городе Санкт-Петербурге граф Валуев не имел возможности снимать квартиру, хотя бы отдалённо напоминавшую его бывшие министерские апартаменты. Особенно сильно сановника угнетало то, что из окон своего кабинета он не видел неба, а только стену противоположного дома во дворе-колодце. Если так закончил свои дни председатель Комитета министров, что же говорить о заурядных чиновниках? «Трудом праведным не наживёшь палат каменных» — так гласит народная мудрость. Интеллигенция склонна истолковывать эти слова как осуждение русским народом духа наживы и констатацию принципиальной несовместимости каменных хоров и нравственного начала. Суть, однако, в другом: на протяжении столетий реалии российской жизни были таковы, что трудом праведным невозможно было нажить палат каменных.

Итак, военные и гражданские чиновники не могли за счёт своего служебного жалованья добиться материального благополучия и обеспечить себе достойную

старость. Редчайшие исключения объяснялись личным вмешательством государя и высочайшей милостью. Чиновник, не имевший родового имения, мог добиться достатка либо за счёт кривых путей и безгрешных доходов, либо за счёт монарших пожалований. Такой порядок дел вредил как самому государству, так и его подданным.

Однако Российской империи служили и те, кто владел имениями и крепостными и не особенно нуждался в государевом жалованье. Как же они распоряжались своим родовым достоянием?

### *«Именьем, брат, не управляй оплошно...»*

История России петербургского периода и донныне предстаёт перед нами как история войн, ознаменованных блистательными победами русского оружия. И хотя к началу XXI столетия большая часть территорий, приобретённых империей в результате многочисленных победоносных войн XVIII и XIX веков, Российской Федерацией утрачена, историческая память о былых победах сохранилась. Гордясь достославными сухопутными и морскими победами, мы не всегда задаём себе вопрос, который впервые задали себе участники Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813, 1814 и 1815 годов. Победители, с оружием в руках дошедшие от Москвы до Парижа, своими глазами увидели, что они живут хуже побеждённых. И тогда они спросили самих себя: почему такое возможно?

Вот как декабрист Александр Александрович Бестужев-Марлинский написал об этом императору Николаю I в письме из Петропавловской крепости: «Ещё война длилась, когда ратники, возвратясь в дома, первые разнесли ропот в классе народа. “Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, нас опять тиранят господа”. Войска от генералов до солдат, пришедши назад, только и толковали: “Как хорошо в чужих землях”. Сравнение со своими естественно произвело вопрос: почему же не так у нас?»<sup>41</sup> Принимавшие

участие в боевых действиях ополченцы из числа крепостных крестьян полагали, что после победы им самим и их семьям будет дарована свобода от крепостной неволи. И хотя этого, как известно, не произошло, невыгодное для России сравнение жизни победителей и побеждённых прочно укоренилось в сознании крепостных. В отчёте Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии за 1827 год о крепостных было сказано: «Среди этого класса встречается гораздо больше рассуждающих голов, чем это можно было предположить с первого взгляда. <...> Они хорошо знают, что во всей России только народ-победитель, русские крестьяне, находятся в состоянии рабства; все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваш и т. д. — свободны. <...> В начале каждого нового царствования мы видим бунты, потому что народные страсти не довольствуются желаниями и надеждами. Так как из этого сословия мы вербуем своих солдат, оно, пожалуй, заслуживает особого внимания со стороны правительства»<sup>42</sup>. Впрочем, последняя фраза была избыточной. Со времён императрицы Екатерины II все российские монархи без исключения не оставляли крестьянский вопрос своим вниманием, однако лишь в 1861 году Александр II решился на отмену крепостного права. Если даже верховная власть задумывалась над необходимостью покончить с крепостничеством, почему же крестьянский вопрос имел почти что вековую историю?

Российская империя была страной крестьянской: в конце царствования императрицы Екатерины II городское население страны составляло всего-навсего 4,1 процента, а к началу царствования императора Александра II увеличилось до 7,8 процента<sup>43</sup>. Поэтому крестьянский вопрос затрагивал интересы всех сословий империи без исключения. Не только сами монархи, но и их благомыслящие подданные прекрасно понимали, что поспешное решение этого вопроса вместо достижения всеобщего блага приведёт к большой беде: разгулу своеволия и распаду государства. Суть этих обоснованных опасений очень точно и чётко была сформулирована чиновниками Третьего отделения —



тайной политической полиции — в «Обозрении расположения умов и различных частей государственного управления в 1834 году»: «...Крестьянин наш не имеет точного понятия о свободе и волю смешивает с своевољством. А потому, сколько с одной стороны признаётся необходимым, дабы правительство исподволь приближалось к цели освобождения крестьян из крепостного владения, столько с другой — все уверены, что всякая неосторожная, слишком поспешная в сём деле мера должна иметь вредные последствия для общественного спокойствия»<sup>44</sup>. Именно сознательное стремление правительства избежать кровавых крестьянских волнений и новой пугачёвщины, а также хорошо осознанное желание любой ценой сохранить общественное спокойствие — всё это десятилетиями обуславливало неспешность действий верховной власти. Однако если политический аспект этой наболевшей проблемы был отлично уяснён монархами и их подданными, то её экономический аспект практически никем не осознавался. Экономический образ мышления не был присущ ни российским монархам, ни благородному сословию Российской империи. В течение почти всего петербургского периода истории России умнейшие люди своего времени, прекрасно постигавшие происходившие на их глазах процессы и явления, не задумывались над экономическим смыслом сущего.

Михаил Александрович Дмитриев (1796—1866) родился в обеспеченной и культурной дворянской семье. Его родной дядя Иван Иванович был известным поэтом и министром юстиции. Сам Михаил Дмитриев окончил Московский университет, писал стихи и критические статьи, занимался поэтическими переводами, хотя выше уровня литератора второго ряда так и не сумел подняться. Одно время он принадлежал к числу московских «архивных юношей» и, последовательно поднимаясь по ступеням служебной лестницы, дослужился до генеральского чина действительного статского советника и придворного звания камергера. Племянник министра уже сделал вполне достойную, хотя и не блестящую карьеру, когда после тридцати пяти лет беспорочной службы, как гром среди ясного неба, по-

следовала отставка без пенсии. Министр юстиции граф Виктор Панин жестоко расправился с чиновником, который отличался независимым поведением. Обер-прокурор 7-го московского департамента Сената Дмитриев был строгим блюстителем законов и не скрывал своего отвращения к жандармам. Он был человеком умным, не лишённым способностей и благородным. Прекрасное образование и многолетняя привычка к кабинетной работе не позволили Михаилу Александровичу впасть в отчаяние. Он здраво взглянул на ситуацию и нашёл единственно возможный выход из неё. Человек более трети века поглощённый интересами службы, гордившийся своими честно заработанными чинами и знаками отличия, живший на государево жалованье, силою вещей был вынужден стать «помещиком поневоле». Просвещённый городской человек сознательно покинул Москву и отправился в своё небольшое родовое имение — село Богородское Сызранского уезда Симбирской губернии. Если бы Дмитриев не сделал этот решительный шаг и остался жить в Москве частным человеком, то неизбежно бы разорился. Ведь бывший чиновник не получал ни жалованья, ни пенсии и быстро прожил бы остатки своего небольшого состояния. Именно так и произошло с его великим современником и другом Петром Яковлевичем Чаадаевым. Чтобы избежать подобной перспективы, Дмитриев добровольно заточил себя в отдалённой глуши и деятельно начал обустраивать имение. Михаил Александрович счастливо избежал столь естественного в его положении соблазна единым махом решительно изменить прежнюю систему хозяйствования. Он переборол в себе беса нетерпения и начал исподволь заниматься постепенными улучшениями: не стремился к перестройке основ, но старался вникать в малейшие частности. Например, внимательно изучив своё имение, новоявленный помещик увидел, что в нём явно недостаёт пахотной земли, но в избытке земля луговая, с которой травы накашивалось гораздо больше, чем требовалось для хозяйственных нужд. Из-за нехватки пахотной земли часть крестьян находилась на оброке, то есть ежегодно платила помещику фиксированный денежный сбор.

Для того чтобы заработать оброчные деньги, эти крестьяне занимались отхожим промыслом: покидали свой дом и добывали деньги на стороне. Дмитриев распорядился обратить обширный луг в пашню и, сократив число оброчных крестьян, увеличил барскую запашку. Мы не знаем, как отнеслись к этому сами крестьяне. Их голоса до нас не дошли, хотя сам помещик настаивал на том, что после этого преобразования крестьяне стали относиться к нему с большим доверием. Одна эта мера без каких-либо дополнительных капитальных вложений сразу же увеличила доходность имения на одну пятую часть. Сменив шитый золотом камергерский мундир на овчинный полушубок, Михаил Александрович, не доверяя управляющему, взвалил на свои плечи бремя хозяйственных забот. «...Управителям всегда выгодно, чтобы господин не видал ясно!»<sup>45</sup> Младший сын управлятеля втайне от помещика продавал господский хлеб крестьянам, а деньги клал себе в карман — Дмитриев своей помещичьей властью сослал его в Сибирь.

Плуты управляющие были настоящим бичом всех помещичьих имений: от них одинаково страдали как крепостные крестьяне, так и сами помещики. Львиная доля господских доходов оседала в их карманах. Вспомним иронический эпилог пушкинской «Пиковой дамы»: «Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управлятеля у старой графини»<sup>46</sup>. Стремясь избежать разорительных потерь, Михаил Александрович стал самолично надзирать за тем, как производятся все крестьянские работы. Первоначально это было вынужденной мерой, продиктованной стремлением увеличить доходность имения. Со временем Дмитриев стал находить в помещичьей деятельности поэтическое вдохновение и нравственное удовлетворение. Отставной чиновник неоднократно задумывался над своей судьбой: если бы его карьера развивалась успешно, то он никогда бы не переселился в деревню и не стал бы управлять своим имением. Хозяйство пришло бы в неминуемое запустение, из источника дохода превратившись в обременительную обузу.

Не так ли обстояли дела у большинства его современников? Благородное сословие Российской империи в погоне за чинами и орденами оставляло родовые дворянские гнёзда без присмотра, имения приходили в упадок, крепостные крестьяне подвергались разорительным поборам со стороны алчных управителей, помещики теряли остатки своего состояния. «Наибольшая часть лучшего дворянства, служа в военной службе или в столицах, требующих роскоши, доверяют хозяйство наёмникам, *которые обирают крестьян*, обманывают господ, и таким образом  $\frac{9}{10}$  имений в России расстроено и в закладе»<sup>47</sup>. У двери гроба отставной действительный статский советник и камергер полностью пересмотрел систему былых ценностей и сделал неутешительный вывод: «Нет, никогда честолюбие, никогда новый чин или знак отличия не доставляли мне такой чистой радости, как тень и зелень, произведённая моими трудами! — Как жалею я теперь, что потратил так много времени на службу, и лучшей поры моей жизни!»<sup>48</sup> Итак, Михаил Александрович Дмитриев, проживший в деревне почти 20 лет, обустроил своё родовое имение, обеспечил себе достойную старость, разбил в усадьбе прекрасный парк, своими руками посадил сосновую рощу и успел увидеть, как посаженные им деревья стали большими.

Лишь обстоятельства непреодолимой силы могли заставить просвещённого человека взглянуть на окружающую действительность с принципиально иной точки зрения. Дворянину должно служить престолу и Отечеству пером или шпагой. Таков был краеугольный камень системы ценностей благородного сословия, всячески поощряемой верховной властью. И хотя Россия была страной аграрной, сельским хозяйством в своих родовых имениях занимались исключительно неудачники и маргиналы. Верховная власть понимала ненормальность ситуации, чреватой грядущим обнищанием дворянства, но не решалась покуситься на освящённую веками имперскую систему ценностей. Экономическая целесообразность никогда не была определяющей в этой системе. Успешное управление собственным имением трактовалось как частное дело по-

мещика, но не как дело государственное. Социальный престиж не находившегося на государственной службе владельца обустроенного и доходного имения не шёл ни в какое сравнение с престижем офицера или чиновника. Дворянин не мыслил своего существования без обретения чинов и орденов, а между тем даже самая успешная хозяйственная деятельность не могла способствовать обретению ни того ни другого. Дворянство беднело и вырождалось, хозяйство страны приходило в упадок. Россия шла к неизбежной катастрофе.

Ещё в самом начале николаевского царствования эта печальная истина была осознана тайной политической полицией и доведена ею до сведения государя. «Общее обеднение в земледельческих губерниях становится, как уверяют, всё чувствительнее и чувствительнее. Почти три четверти помещичьих земель заложены в ломбардах, банках или частных руках; помещики не могут больше выплачивать процентов, а крестьянам не из чего вносить казённых налогов»<sup>49</sup>, — гласил «Краткий обзор общественного мнения в 1828 году», представленный Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии императору Николаю I. Российские дворяне, закладывая свои родовые и благоприобретённые имения в банке сроком на 20 лет под восемь процентов годовых, получали столь необходимые им деньги<sup>50</sup>. Однако обрётённые средства шли не на повышение доходности имеющихся владений или же на приобретение новых, а расточительно проживались. Служилое дворянство отягощалось новыми долгами и в итоге разорялось.

Биография Александра Сергеевича Пушкина содержит ряд назидательных примеров, позволяющих судить о том, *как разорялось дворянство*. Летом 1830 года Сергей Львович Пушкин выделил своему старшему сыну «в вечное и потомственное владение 200 душ мужского пола с жёнами и детьми» в сельце Кистенёве Сергачского уезда Нижегородской губернии. Сергею Львовичу в его нижегородском имении принадлежало 474 души, из коих 200 душ уже были заложены. Великий поэт решил жениться на Наталье Гончаровой, и его отец передал ему «души», свободные от залога. Едва вступив

во владение своими крепостными, поэт поспешил заложить их в Опекунском совете, получив под залог двухсот душ 38 тысяч рублей ассигнациями, о чём писал П. А. Плетнёву: «...и вот им распределение: 11 000 тёще, которая непременно хотела, чтобы дочь её была с приданным — пиши пропало. 10 000 Нащокину, для выручки его из плохих обстоятельств: деньги верные. Остаётся 17 000 на обзаведение и житие годичное. <...> Теперь понимаешь ли, что значит приданное и отчего я сердился? Взять жену без состояния — я в состоянии, — но входить в долги для её тряпок — я не в состоянии»<sup>51</sup>. Однако полученных денег хватило всего-навсего на три месяца московской жизни. После чего неоплатные долги стали постоянным спутником жизни семейства Пушкиных.

В глазах самого благородного сословия богатство как таковое ассоциировалось не с суммой ежегодного денежного дохода, а прежде всего с числом крепостных. Примечательно, что и Государственный заёмный банк придерживался именно этой логики. Банк, выдавая ссуду под залог деревень, принимал в расчёт не размер земельной площади дворянского имения и не его доходность, а исключительно «крещёную собственность» — количество принадлежащих помещику крепостных душ мужского пола. Именно на этом основании и решил построить свою стратегию быстрого обогащения Павел Иванович Чичиков — герой поэмы Гоголя «Мёртвые души» (1842). Скупая у помещиков крепостных крестьян, значащихся в материалах последней ревизии — «ревизских сказках» — в качестве живых, он намеревается заложить их и сорвать солидный куш: «Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока ещё не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, Опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч капиталу!» Служилое дворянство постоянно испытывало потребность в наличных деньгах, что заставляло его закладывать и перезакладывать имения, повышать степень эксплуатации крепостных или пускаться в рискованные денежные авантюры. Но не следует забывать и то, что те помещики, которые жили в деревне, не позволяли себе дорого-

стоящих столичных прихотей и серьёзно занимались сельским хозяйством, не только успешно сводили концы с концами, но и могли скопить немалые деньги. Гоголевская Россия — это золотая пора натурального хозяйства. Жаль, что лишь небольшая часть помещиков занималась хозяйством в своих имениях.

Вспомним, что увидел Павел Иванович в небольшой деревеньке Настасьи Петровны Коробочки, вдовы коллежского секретаря — мелкого чиновника X класса по Табели о рангах: «...находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу мусора, съела она мимоходом цыплёнка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком». Гоголь со знанием дела пишет, что Коробочка была «одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещённые по ящикам комодов. В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтиннички, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто в комодё ничего нет...». Коллежская секретарша держала свои накопления в полновесной серебряной монете достоинством 1 рубль (целковый), 50 копеек (полтинник), 25 копеек (полуполтинник, четвертак). Эти монеты изготавливались из серебра высокой пробы, не были подвержены инфляции и по курсу котировались в 3,5 раза выше, чем медь или ассигнации аналогичного номинала.

А вот каким предстало перед Чичиковым имение богатого помещика Михайлы Семеновича Собакевича: «Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сарай и кухни были употреблены полновесные и толстые брёвна, определённые на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирпичёных стен, резных узоров и прочих затей, но всё было пригнано плотно и как следует. Даже

колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идёт только на мельницы да на корабли. Словом, всё, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке». Живущие в деревне помещики могли успешно вести дела в своём имении. Но ни они, ни даже Государственный заёмный банк не умели оперировать экономическими категориями и предпочитали рассуждать в категориях натурального хозяйства. И для банка, и для помещиков богатство ассоциировалось с числом крепостных душ. Даже кратковременное увлечение политической экономией, дань которому отдали блестящие представители большого петербургского света в 10—20-е годы XIX века, оказалось всего-навсего модным поветрием. Провинция никак не реагировала на эту моду и жила по старым законам. Вспомним, что Евгений Онегин

Бранил Гомера, Феокрита;  
Зато читал Адама Смита  
И был глубокий эконо-  
м, То есть умел судить о том,  
Как государство богатеет,  
И чем живёт, и почему  
Не нужно золота ему,  
Когда *простой продукт* имеет.  
Отец понять его не мог  
И земли отдавал в залог<sup>52</sup>.

Подобный метод ведения хозяйства привёл отца пушкинского героя к неминуемому разорению. После его смерти Евгений Онегин благоразумно предпочёл отказаться от наследства, отягощённого неоплатыми долгами. Всего этого можно было бы избежать, если бы обустройство родовых гнёзд воспринималось властью и дворянством как достойная альтернатива государственной службе. Но из-за полного отсутствия экономического мышления как у самодержавной власти, так и у дворянства (важнейшей опоры трона) этого не произошло — и альтернатива не была воплощена в жизнь. Крепостное право развращало не только помещиков, но и крепостных. Для помещиков оно создавало единственную в своём роде возможность вести расточительную жизнь, при которой расходы резко превышали доходы. Вспомним Пушкина:



Граф Нулин из чужих краёв,  
Где промотал он в вихре моды  
Свои грядущие доходы<sup>53</sup>.

Владельцы «крещёной собственности» могли делать долги, безответственно вести хозяйство, не особенно интересоваться доходами от имений, закладывая и перекладывая их, — и всё это без малейшей опасности *неминуемого* краха. Между безалаберным отношением к своему родовому достоянию и неотвратимым разорением существовала весьма протяжённая временная дистанция. Этот изрядный временной лаг способствовал укоренению устойчивой иллюзии, что со временем всё *образуется*. Крепостные же, приученные работать только из-под палки, были убеждены, что в неурожайный год барин обязан безвозмездно раздавать им хлеб из господских амбаров, и не мыслили своего существования без отеческого попечения собственного господина. В воспоминаниях Михаила Александровича Дмитриева есть колоритный рассказ о том, к какому неожиданному результату привела его попытка позаботиться о нуждающихся крестьянах. «Узнавши однажды, что у некоторых крестьян моих, семей двадцати, недостало хлеба, я велел раздать им из господских амбаров. На другое утро, проснувшись, увидел я у себя на дворе целую толпу мужиков, человек восемьдесят. Я вышел к ним на крыльцо и узнал, что все они пришли просить хлеба. На вопрос: “Разве и они нуждаются?” — они отвечали: “Нет! У нас ещё есть; да коли тем дали, так за что ж и нам не дать? Мы всё равно ваши же мужики! Уж надо всем поровну!”»<sup>54</sup>.

За столетнюю историю существования в России крестьянского вопроса у идеи отмены крепостного права были свои восторженные сторонники из числа дворян и были убеждённые противники, принадлежавшие к тому же сословию. Водораздел между ними нельзя провести ни по имущественному, ни по образовательному признаку. Сторонники отмены крепостничества рассуждали в категориях морали, апеллировали к духу времени и опыту европейских стран. Их оппоненты — закоренелые крепостники, составлявшие две трети русского дворянства, — ссылались на историческую

традицию, освящённую авторитетом веков. Однако ни те ни другие не представляли себе, как вести хозяйство без крепостных. И даже среди тех, кто на словах клеймил крепостничество, рассуждал о «немытой России, стране рабов, стране господ» и считал крепостное право позором России, почти никто не отважился освободить своих крестьян.

В «Воспоминаниях» Пётр Дмитриевич Боборыкин свидетельствовал: «Не в виде оправдания, а как фактическую справку — приведу то, что из людей 40-х, 50-х и 60-х годов, сделавших себе имя в либеральном и даже радикально-революционном мире, один только Огарёв ещё в николаевское время отпустил своих крепостных на волю, хотя и не совсем даром. Этого не сделали ни славянофилы, по-тогдашнему распинавшиеся за народ (ни Самарин, ни Аксаковы, ни Киреевские, ни Кошелевы), ни И. С. Тургенев, ни М. Е. Салтыков, жестокий обличитель тогдашних порядков, ни даже К. Д. Кавелин, так много ратовавший за общину и поднятие крестьянского люда во всех смыслах. *Не сделал этого и Лев Толстой!*

И Герцен хотя фактически и не стал по смерти отца помещиком (имение его было конфисковано), но как домовладелец (в Париже) и капиталист-рантье не сделал ничего такого, что бы похоже было на дар крестьянам, даже и вроде того, на какой пошёл его друг Огарёв»<sup>55</sup>.

На этом фоне позиция Милютина заслуживает уважения. Дмитрий Алексеевич был убеждённым противником крепостного права. Слово не расходилось у него с делом. Он, хотя и не рискнул отпустить своих крепостных на волю без выкупа, ценой невероятных многолетних усилий перевёл их в разряд государственных крестьян. Унаследовав небольшую деревеньку Коробки с 26 ревизскими душами и 116 десятинами земли, Дмитрий Алексеевич, в ту пору уже полковник и профессор Военной академии, постарался «сбыть с рук эту неприятную обузу»<sup>56</sup>, улучшив одновременно положение своих крепостных. Из-за различных бюрократических проволочек на это ушло долгих шесть лет. Но конечный итог того стоил. «Я перестал быть помещиком, душевладельцем, и совесть моя успокоилась»<sup>57</sup>.

Ещё в 1841 году известный экономист и крупный чиновник Андрей Парфеньевич Заблоцкий-Десятовский (1808—1881/82) подсчитал, что один крепостной крестьянин, если считать цену предоставлявшейся ему земли по существовавшей в то время арендной плате, стоил помещику 144 рубля в год. Вольнонаёмный рабочий обходился всего-навсего в 50 рублей, к которым надо приплюсовать ещё 35 рублей дополнительных издержек на содержание рабочего скота и амортизацию сельскохозяйственного инвентаря — всего 85 рублей в год. Иными словами, вольнонаёмный труд был на 41 процент выгоднее, чем труд крепостной<sup>58</sup>.

В юности Александр Сергеевич Пушкин мог написать такие строки:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетённый  
И Рабство, падшее по манию царя,  
И над отечеством Свободы просвещённой  
Взойдет ли, наконец, прекрасная Заря?<sup>59</sup>

В это время у Пушкина не было ни собственности, ни семьи. Пройдёт без малого полтора десятилетия, и обременённый семейством зрелый муж станет рассуждать иначе: перестанет видеть в крепостном праве абсолютное зло и начнёт задумываться над теми последствиями, которыми может быть чревата его поспешная отмена. Не отрицая ужасов крепостничества и злоупотреблений помещиков своими правами, Пушкин будет вынужден признать очевидный факт: «Злоупотреблений везде много; уголовные дела везде ужасны»<sup>60</sup>. Владелец болдинских мужиков сравнит положение отечественного крепостного с положением английского фабричного работника и найдёт, что имеющий собственность крепостной живёт лучше, чем не имеющий собственности паупер. «В России нет человека, который бы не имел своего *собственного* жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет *свою* избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. <...> Благосостояние крестьян тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого»<sup>61</sup>. Но это были абстрактные рассуждения. Ни сам

Александр Сергеевич, ни его отец Сергей Львович ни- сколько не радели о благоденствии своих крепостных и занимались хозяйством из рук вон плохо: даже точ- ное количество земли в Михайловском им было неве- домо. Полагали, что земли 700 десятин, а на поверку оказалось без малого две тысячи. И лишь приезд зятя в Михайловское позволил установить истину. Самим вла- дельцам было недосуг заглянуть в межевые книги и пла- ны. Вот почему управляющие обкрадывали их без за- зрения совести.

Зять Пушкина Николай Павлищев, муж его сестры Ольги, с возмущением писал, что наёмный управляю- щий «украл в 1835 году до 2500 рублей, да убытку сделал на столько же»<sup>62</sup>. Так, например, в приходно-расходных книгах управителя значилось, что от двадцати дойных коров за год было получено семь пудов масла. Зять по- считал это дерзким плутовством: хорошая корова дава- ла в год один пуд масла. Тогда Павлищев предпринял то, что впоследствии станут называть «контрольным замером»: живя в Михайловском, он хозяйским глазом стал наблюдать за тем, как доят коров и сбивают масло, в итоге только за четыре недели от шестнадцати коров было сбито два пуда масла. Наёмный управляющий не мог не красть. Владелец Михайловского Сергей Льво- вич Пушкин нанял его всего-навсего за 300 рублей в год жалованья плюс на 260 рублей разных припасов, тогда как прожить в деревне с большим семейством меньше чем на тысячу рублей управитель не мог физически<sup>63</sup>. Однако господ эта презренная проза не интересовала. Безалаберность Сергея Львовича и Александра Сергее- вича не была исключительной. Почти все живущие в столицах помещики хозяйничали немногим лучше, и было бы утопией полагать, что в один прекрасный день они приедут в деревню, вникнут в суть дела и, подобно Михаилу Александровичу Дмитриеву, займутся обу- стройством своих дворянских гнёзд. Если бы помещики повсеместно начали радеть о том, чтобы вести рацио- нальное хозяйство, отказались от расточительного по- требления и львиную долю полученных от труда кре- постных денег не изымали из имения, а вкладывали в него, то богатели бы и сами помещики, и их крестьяне.

В этом случае грядущее освобождение крестьян могло обойтись не только без политических, но и без экономических потрясений.

«Конечно, должны ещё произойти великие перемены; но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...»<sup>64</sup> — заметил Александр Сергеевич Пушкин в своём «Путешествии из Москвы в Петербург», полемизируя с Радищевым и его «Путешествием из Петербурга в Москву». Но так могло быть лишь в идеале. Крепостное же право в России консервировало коллективную безответственность. Крепостники были убеждены, что земля является монопольной дворянской собственностью, нередко трактовали крепостного как вещь и не чувствовали своей ответственности перед грядущим. В 1847 году император Николай I, принимая депутацию дворян Смоленской губернии, с укоризной сказал: «...земля, заслуженная нами, дворянами, или предками нашими, есть наша, дворянская. Заметьте, — продолжал он, — что я говорю с вами как первый дворянин в государстве, но крестьянин, находящийся ныне в крепостном состоянии, утвердившемся у нас почти не по праву, а обычаем через долгое время, не может считаться собственностью, а тем менее вещью»<sup>65</sup>.

Разумеется, любой здравомыслящий помещик понимал, что лучше передать детям обустроенное и не отягощённое долгами имение, чем заложенное и перезаложенное. Он мог заложить имение, чтобы расплатиться с долгами, но был не в состоянии взять кредит для обустройства имения. Помещики, отягощённые долгами, справедливо опасались, что в случае эмансипации крестьян у их бывших владельцев не будет достаточных оборотных средств, чтобы использовать наёмный труд. Крепостные не мыслили себе освобождения без земли: в их сознании прочно укоренилась мысль, что они сами принадлежат помещику, но земля является крестьянской собственностью. Когда декабрист Иван Дмитриевич Якушкин попытался освободить сво-

их крестьян без земли, эта мера вызвала возражение крепостных, пожелавших, чтобы всё осталось по-прежнему: «Мы ваши, а земля наша»<sup>66</sup>. В итоге всё осталось по-старому. И помещиков, и крепостных крестьян устрашало положение лишённого собственности паупера. Даже после того, как в Европе уже полным ходом шла промышленная революция и формировался пролетариат — новый класс современных промышленных рабочих, не имеющих собственности и живущих за счёт продажи своей рабочей силы, инертность мышления россиян препятствовала безоговорочному принятию новой экономической реальности. Грядущая пролетаризация населения Российской империи внушала им неподдельный ужас. Они не усматривали в этом идеал, к которому нужно стремиться. Сравнивая безотрадное положение крепостных крестьян и европейских пролетариев, благомыслящие люди уповали на то, что со временем России предстоит отыскать свой единственный и неповторимый путь в истории и избежать свойственных Западу социальных потрясений. Они уповали на будущее, но не чувствовали своей ответственности перед ним.

Пушкин был современником промышленной революции на Западе, но ему не было суждено познать её отдалённые благотворительные последствия. Он увидел в этом лишь ужасы пролетаризации населения и с безразличностью смотрел на плутни капиталистов, жаждущих прибыли. «Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой — какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идёт о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идёт о сукнах г-на Смигта или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что всё это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона»<sup>67</sup>. Величайший гений России не заметил, что извлечение прибыли сопряжено с ежедневным риском, следовательно, с личной ответственностью капиталиста за судьбу своего капитала и будущее своего дела. С ежедневным рис-

ком было сопряжено и существование пролетария: с опасностью потерять здоровье, утратить трудоспособность и даже стать инвалидом. Однако пролетарий не уповал ни на человеколюбие хозяина, ни на его отеческое попечение и с первых же шагов в качестве лишённого собственности наёмного рабочего осознавал свою личную ответственность за собственную судьбу. В этой экономической свободе и в этой личной ответственности и заключался залог грядущего экономического процветания Запада. При всех очевидных издержках и вопиющих злоупотреблениях у этого пути развития была историческая перспектива. Политическая несвобода и экономическая безответственность, которые культивировались в течение всего петербургского периода истории России, способствовали накоплению множества противоречий, устранить которые путём эволюционного развития было невозможно. Это был исторический тупик. Этот тупик усугублялся давней, глубокой и взаимной отчуждённостью власти и общества.

### *Одиночество власти*

В июле 1830 года в Петербурге было получено известие о революции во Франции, свергнувшей с престола короля Карла X. «Бурбоны в третий раз падали с престола, не покусившись удержать его за собой хотя бы малейшим действием личного мужества» — к такому выводу пришёл шеф жандармов граф Александр Христофорович Бенкендорф. Император Николай I получил известие об Июльской революции накануне поездки в Финляндию. Очередная французская революция никак не повлияла на планы самодержца. Государь отправился в Финляндию вдвоём с графом Бенкендорфом. Всю дорогу они говорили о событиях во Франции и о тех последствиях, которые революция может иметь для остальной Европы. «...Помню, как, рассуждая о причинах этой революции, я сказал, что с самой смерти Людовика XIV французская нация, более испорченная, чем образованная, опередила своих королей в намере-

ниях и потребности улучшений и перемен; что не слабые Бурбоны шли во главе народа, а что сам он влачил их за собою и что Россию наиболее ограждает от бедствий революции то обстоятельство, что у нас со времён Петра Великого всегда впереди нации стояли её монархи; но, что по этому самому не должно слишком торопиться её просвещением, чтобы народ не стал, по кругу своих понятий, в уровень с монархами и не посягнул тогда на ослабление их власти»<sup>68</sup>.

И государь, и его собеседник прекрасно осознавали необходимость «улучшений и перемен», но ни тот ни другой не признавали за обществом права — пусть даже в самой лояльной форме — заявлять власти о желательности любых государственных преобразований. После восстания декабристов Николай I из материалов следствия почерпнул множество вопиющих фактов, свидетельствующих о давно назревшей потребности Российской империи в модернизации. По повелению государя из показаний членов тайных обществ был составлен свод свидетельств, в концентрированном виде давший монарху представление о необходимых переустройствах, и царь неоднократно обращался к этому документу. Самодержавная власть не отрицала необходимости реформ, модернизации и со временем готова была даровать обществу права, но принципиально отказывалась вступать с ним в любой диалог. Общество трактовалось как пассивный объект попечительного управления и ни в коей мере не рассматривалось как партнёр переговорного процесса. *В диалоге с обществом власть видела умаление не только своих prerogativ, но и опасность для самого же общества.*

Власть прекрасно понимала необходимость перемен и исподволь их готовила. Но и это понимание, и эта подготовка были строжайшей государственной тайной, ревниво оберегаемой от общества. В России императорского периода, согласно крылатому выражению известной французской писательницы мадам де Сталь, всё было тайной и ничто не было секретом. Однако существовало одно-единственное исключение из этого положения. Подготовка государственных преобразований всегда происходила в обстановке величайшей бю-



рократической секретности. За годы правления императора Николая I было создано не менее десяти секретных комитетов из числа наиболее доверенных сановников, собранных для обсуждения проектов реформ, главнейшей среди которых должна была стать отмена крепостного права. Утечки информации удалось избежать. Общество ничего не знало о работе секретных комитетов. Ни их созыв, ни их деятельность не вызвали никакого брожения в обществе.

Деятельность этих секретных комитетов принесла свои плоды: их опыт был учтён при разработке условий проведения Крестьянской реформы 1861 года. По мнению ряда современных российских историков, именно неспешная и тщательная теоретическая проработка всех практических аспектов будущих реформ, осуществлённая в годы николаевского царствования, во многом обусловила успешную реализацию Великих реформ в годы правления Александра II. «...Царствование Николая I явилось инкубационным периодом для реформ: в это время были подготовлены их проекты или, по крайней мере, их основные идеи, а также и люди, которые смогли их реализовать»<sup>69</sup>. Великие реформы вызвали лишь отдельные нежелательные эксцессы, но в целом были благополучно проведены без сколько-нибудь серьёзных и масштабных социальных потрясений. Однако качественно изменившиеся исторические условия не позволили верховной власти сохранить в тайне от общества подготовку грядущего освобождения крестьян от крепостной зависимости.

Смерть императора Николая I и поражение России в Крымской войне резко изменили ситуацию. После жесточайших тридцатилетних морозов предшествующего царствования наступила долгожданная оттепель начала царствования Александра II. Стало возможным гласное обсуждение на страницах печати наболевших вопросов русской действительности — тех самых «проклятых» вопросов, за один намёк на существование которых в николаевское царствование можно было поплатиться не только карьерой, но и свободой. Власть начала прислушиваться к общественному мнению, а общество стало оппонировать власти. Однако диалог

между ними не состоялся. Резко возросшая общественная активность породила невиданный доселе в русской жизни феномен. Если в годы николаевского царствования верховная власть принципиально не желала вести диалог с обществом, то после отмены крепостного права уже «молодая Россия» 1860-х годов не хотела этого диалога. В эпоху Великих реформ верховная власть, как никогда раньше, нуждалась в поддержке общества, а в это время непримиримые «шестидесятники» клеймили власть позором и с нескрываемой брезгливостью сторонились всех, кто имел хоть какое-то отношение к *казённому пирогу*.

В течение всего золотого века русской дворянской культуры образованные россияне могли быть «ленивы и нелюбопытны» к своему историческому прошлому, но они не искали в былом темы для злободневных публицистических обличений. Их суждения о «веке минувшем» могли быть насмешливы и злы, но предшествующая история Российской империи никогда не становилась предметом огульного отрицания. Феномен Петра Яковлевича Чаадаева был лишь единичным исключением из этого правила. В эпоху Великих реформ в столичных городах появилось множество молодых людей, отличавшихся высокой степенью социальной активности и ещё не успевших завершить своё образование в университетах. Число студентов Петербургского университета возросло в пять раз: от 300 человек в конце николаевского царствования до 1500 — в 1861 году. Нередко уровень подготовки поступающих был крайне низок. Но это обстоятельство не смущало экзаменаторов.

Профессор Александр Васильевич Никитенко, происходивший из малороссийских крепостных графа Шереметева, поведал в своём хорошо известном специалистам «Дневнике» о вступительных испытаниях, состоявшихся 5 августа 1858 года. «Экзамены. Огромный прилив желающих поступить в университет. Большинство приготовлено дурно — неразвито, мало знаний. Много поляков, немцев, иностранцев. Эти ещё лучше, так же как и те, которые учились в гимназиях. Но юноши домашнего приготовления — это серое полот-

но, вытканное перстами маменек под надзором мудрых папенок. Но я, кроме самых негодных, никому не за-творил дверей в университет: при малом знакомстве с наукою у нас и то недурно, что будет побольше людей, которым она хоть сколько-нибудь западёт в ум. Всё-таки четыре года они будут слышать человеческие речи. Ведь они не провели бы их полезнее, не пошли бы учиться ремёслам, а полезли бы в чиновники, в офицеры»<sup>70</sup>. В тот момент профессор даже не подозревал, к каким неконтролируемым последствиям приведёт рост числа студентов. Прошло три года — и в Петербургском университете начались студенческие волнения, вынудившие правительство пойти на временное закрытие университета. В итоге профессорской корпорации не удалось сохранить свой нравственный авторитет в глазах студентов и совладать со своеволием пятикратно возросшей студенческой корпорации. Показное стремление некоторых либеральных профессоров заигрывать со студентами не способствовало поддержанию авторитета преподавателей у своевольной молодёжи. 15 февраля 1861 года в дневнике профессора Никитенко была сделана красноречивая запись: «Некоторые из профессоров готовы даже защищать поступки студентов. С одним я сильно спорил. Ах, господа! нет, не любовь к юношеству и к науке говорит в вас, а только стремление к популярности среди студентов. Вместо того чтобы читать им науку, вы пускаетесь в политическое заигрывание с ними. Это нравится неразумной молодёжи, которая, наконец, начинает не на шутку думать, что она сила, которая может предлагать правительству запросы и контролировать его действия»<sup>71</sup>.

Дмитрий Алексеевич Милютин никогда не был ни ханжой, ни ретроградом. Его либеральный образ мыслей никогда и никем не подвергался сомнению в искренности. Военный министр всю свою жизнь оставался убеждённым сторонником университетских свобод и университетской автономии. Однако даже его, бывшего студента Московского университета, шокировала студенческая вольница начала 1860-х годов. «Молодёжь, предоставленная себе самой, избавленная от учебного контроля, почти перестала учиться и занималась толь-

ко демонстрациями и скандалами. Студенческая инспекция оказалась бессильною для обуздания большой массы студентов, а профессора совсем устранились от личных сношений с учащимися. Одним словом, корпорация студенческая обратилась в нестройную, разнузданную толпу молодёжи, не связанную никакою нравственною силой»<sup>72</sup>.

Эта энергичная и малообразованная молодёжь воспринимала отечественную историю исключительно как объект хлёстких и бескомпромиссных разоблачений. «Молодая Россия» гордилась своим разрывом с позорным прошлым и имела легальную возможность пропагандировать свои взгляды на страницах периодической печати. В 1861—1862 годах, по словам хорошо осведомлённого современника, «даже правительственные повременные издания приняли направление “обличительное” и проводили идеи, вовсе не согласовавшиеся с видами правительства»<sup>73</sup>. Обилие новых либеральных изданий, появившихся как грибы после дождя, провоцировало укоренение в обществе радикальных взглядов. «Шестидесятники», чья общественная активность постоянно подогревалась легальной и нелегальной прессой (заграничные издания Герцена и Огарёва имели широчайшее хождение в обществе, их читали даже сам император Александр II и его министры), жаждали общения с единомышленниками и искали выхода для своей бурлящей энергии. Петербург, который всегда был военной и бюрократической столицей империи, в начале 1860-х годов стал городом кружков и вечеринок. В частных домах собирались малознакомые люди и гремели обличительные речи. «Разве вам не известно... что наши отцы и деды были ворами, стяжателями, тиранами и эксплуататорами крестьян, что они с возмутительным произволом относились даже к родным детям?»<sup>74</sup> — с негодованием вопрошал один из «новых людей» юную выпускницу Смольного института.

Николай Иванович Костомаров (1817—1885), широко известный профессор русской истории Петербургского университета в 1859—1862 годах, запечатлел в «Автобиографии» и донёс до нас выразительные приметы того времени. «Стали заводиться кружки, куда

входили молодые лица обоего пола, и составляться коммуны, где жили общим трудом и общими средствами мужчины и женщины. Несостоятельность такого способа жизни сказалась на первых же порах, так что большая часть этих коммун расстраивалась сама собою скоро после своего основания. Брак признавался делом эгоистическим и потому безнравственным. Девицы стали переходить от сожития с одним к сожитию с другим без всякого стеснения совести и даже хвастаясь этим, как подвигом нового строя жизни, достойным человеческой природы. Возникли мечтания о расширении нигилистического учения в массе, и средством для того считали тайное печатание и распространение листовок, или прокламаций, призывавших общество к преобразованию путём кровавой революции. Молодое поколение при таком направлении, естественно, становилось вразрез со старым; отсюда начались враждебные отношения детей к родителям и вообще молодых к старым»<sup>75</sup>.

У правительственных деятелей не было ни аргументов, ни нравственной силы, ни общей идеи для того, чтобы полемизировать с подобного рода воззрениями. Покончить с радикальными взглядами и их выразителями единым махом при помощи административного ресурса было уже невозможно. Печальный итог николаевского царствования скомпрометировал апелляцию к грубой силе в качестве главного движителя управления страной, а ослабление цензурного гнёта и день ото дня усиливающаяся гласность не позволяли набросить непроницаемый покров бюрократической тайны на любые животрепещущие проблемы. «Вся эта небывалая в прежние времена неурядица настигла наше правительство как бы врасплох и выказала бессилие не только нашей полиции, но и всей вообще администрации снизу и до верха, — вспоминал Дмитрий Алексеевич Милютин. — Это была эпоха упадка всякой власти, всякого авторитета. Над правительственными органами всех степеней явно издевались и глумились в публике и печати. Такое явление кажется непонятным при нашем самодержавном образе правления и при том самовластии, которое предоставлено каждому органу правительства»<sup>76</sup>. Это происходило в тот момент, когда при-

ступившая к реформам власть как никогда раньше нуждалась в поддержке общества. Но русская жизнь казалась столь отталкивающей и безотрадной, а желание перемен было столь сильным, что «молодая Россия» ориентировалась на безусловное и скорейшее разрушение старого, а не на постепенное созидание нового. И как бы низко ни падал нравственный авторитет верховной власти, как бы ни глумилось над властью общество, в руках государства продолжала оставаться реальная сила. Этой силе «новые люди» могли противопоставить лишь свою молодую энергию. Если бы эта энергия была устремлена не на разрушение, а на созидание, то российская история направилась бы в совершенно иное русло. К сожалению, вся эта энергия ушла в песок. Кто-то из этих «новых людей», издевавшихся над властью, с возрастом остепенился, поумнел и сделал неплохую карьеру, кто-то источил пыл юности в разговорах и спился, и лишь самые радикальные и решительные ушли в революцию. «Если вы, господа судьи, взглянете в отчёты о политических процессах, в эту открытую книгу бытия, то вы увидите, что русские народолюбцы не всегда действовали метательными снарядами, что в нашей деятельности была юность, розовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виною», — заявил народолюбец Андрей Иванович Желябов в своей программной речи на суде по делу о цареубийстве 1 марта 1881 года<sup>77</sup>.

Правительство, не желавшее «торопиться» с просвещением России, испытывало острую нужду в квалифицированных и грамотных чиновниках — военных и гражданских. Стремясь побудить россиян к получению высшего образования, власть предоставляла обладателям университетского диплома весьма существенные льготы при их поступлении на государственную службу. Так, например, выпускник университета, пожелавший стать гражданским чиновником, мог — в зависимости от успехов в учении — начать службу не с низшего XIV класса, а с более высокого XII или даже с X класса Табели о рангах. Обладатель университетского диплома, избравший военную карьеру, уже через полгода службы рядовым и унтер-офицером подлежал обязательному производству в офицеры. Государственно-

му аппарату не хватало чиновников с высшим образованием. «Из 80 000 чиновников империи ежегодно открывается вакантных мест 3000. В продолжение двух или трёх лет с 1857 года из всех университетов, лицеев и школы правоведения выпускалось ежегодно 400 человек, кроме медиков. Вывод из этого: как невелико у нас число образованных людей для занятия мест в государственной службе. Я был поражён»<sup>78</sup> — такую запись в дневнике сделал 22 ноября 1861 года Александр Васильевич Никитенко, человек исключительной судьбы: бывший крепостной, сделавший блистательную преподавательскую, академическую и чиновничью карьеру, ставший профессором, академиком и дослужившийся до чина тайного советника и синей ленты ордена Белого Орла.

В течение всего XIX века происходил неуклонный рост числа образованных людей. Если к началу Великих реформ Российская империя насчитывала примерно 20 тысяч лиц с высшим образованием, то к концу столетия отечественные высшие учебные заведения подготовили ещё до 85 тысяч специалистов. Их инкорпорация государственным механизмом происходила болезненно и сопровождалась эксцессами. Складывалась парадоксальная ситуация. С одной стороны, нужда государства в грамотных чиновниках никогда не иссякала, с другой — ставший чиновником выпускник университета, за редким исключением, испытывал чувство сильнейшей неудовлетворённости своей участью. Хотя выпускник университета и получал за свой диплом один-два чина, всё же он был вынужден начинать службу с низших должностей и с подчинённого положения. Переход от университетской вольницы к ежедневной рутинной работе в канцелярии оказывался очень непростым — и выпускники университетов не были подготовлены к нему психологически. Университетские профессора этому не учили. Сам факт обязательного ежедневного хождения в присутствии воспринимался многими выпускниками как каторга. Это восприятие многократно усиливалось тем, что непосредственные начальники обладателей университетских дипломов зачастую сами не имели высшего образования. Обма-

нувшиеся в своих честолюбивых карьерных ожиданиях, люди нетерпеливые, энергичные и предприимчивые просто покидали государственную службу и уходили в отставку. Экономические реалии пореформенной России позволяли найти достойное место в частном банке, правлении железной дороги или акционерного общества. Однако таких мест было немного. Большинству же оставалось лишь одно: тянуть ненавистную служебную лямку в слабой надежде со временем продвигнуться по службе и занять более высокое положение в чиновничьей иерархии. При этом жалованье чиновников низшего и среднего уровня было недостаточным и не позволяло им обеспечивать себя и свою семью необходимым, не говоря уже об излишнем. В то же самое время уровень потребностей образованного общества неуклонно возрастал.

Железные дороги и паровые корабли сблизили не только города, но и страны, после смерти императора Николая I была отменена высокая государственная пошлина за заграничный паспорт — всё это превратило заграничное путешествие из привилегии людей очень богатых в доступное удовольствие для людей среднего достатка. В николаевское царствование заграничный паспорт облагался пошлиной в 500 рублей и выдавался исключительно редко и крайне неохотно, а в пореформенной России за эти деньги можно было совершить продолжительное заграничное путешествие. Во второй половине XIX века в европейских странах наблюдался ощутимый рост бытового комфорта, отсутствие которого в России людьми образованными воспринималось довольно болезненно. Возвращаясь из заграничного путешествия, Фёдор Иванович Тютчев писал 2/14 сентября 1853 года жене Эрнестине Фёдоровне из Варшавы:

«Я не без грусти расстался с этим *гнилым* Западом, таким чистым и комфортабельным, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины. Переход чрезвычайно резок. <...>

Теперь поняли, наконец, что семейная жизнь имеет свою поэзию. Может быть, когда-нибудь признают также бесспорную поэзию комфорта»<sup>79</sup>.



Долго ждать не пришлось. Годы Великих реформ стали временем неуклонного роста числа поклонников «поэзии комфорта», неимение которого они были готовы поставить в вину правительству. Отрицательная энергия в образованном обществе неуклонно возрастала, причём её рост питали самые разнообразные источники — от неустрашимых социальных противоречий до грязных гостиниц. «Семейные дразги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобства паспортной системы, дорогая и нездоровая еда в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях — всё это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого мещанина, известного только своему переулку. В чём же выражается исключительность моего положения?»<sup>80</sup> — горько сетует герой повести Чехова «Скучная история» 62-летний Николай Степанович, заслуженный профессор, тайный советник и кавалер многих русских и иностранных орденов. Лишь когда наступили сумерки жизни, чеховский герой заметил, что в его мыслях, чувствах, суждениях «даже самый искусный аналитик не найдёт того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьёзного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы всё то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чём видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья»<sup>81</sup>.

Общая идея отсутствовала не только в жизни чеховского профессора медицины, её не было ни в деятельности правительственных сфер, ни в частной жизни рядовых обывателей. Отсутствие общей идеи и накопление отрицательной энергии сказались не только на судьбе литературного персонажа, созданного творческой фантазией Чехова, они повлияли на ход истории государства Российского. Эта отрицательная энергия подпитывала экстремистские тенденции в обществе и не давала им угаснуть. Вполне благонамеренные люди, отнюдь не склонные к ниспровержению существующего строя, с мещанским равнодушием и без всякого осуждения взирали на эксцессы революционного дви-

жения. Террористические акты, направленные против государственных чиновников и даже царя, не вызывали ни всеобщего негодования, ни возмущения — столь сильным был разлад между властью и образованным обществом.

Четвёртого апреля 1866 года произошло первое покушение на императора Александра II; в течение пятнадцати лет он пережил целую серию покушений и 1 марта 1881 года был сражён бомбой народовольца. Личного мужества монарху было не занимать. Однако если и 14 декабря 1825 года, и в начале 1830-х судьба страны непосредственно зависела от мужества государя Николая I, то спустя полвека Российская империя как никогда раньше нуждалась в поддержке общества, а именно этой-то поддержки и не было. Это и предопределило трагическую развязку. В этой трагической развязке были одинаково виноваты обе стороны конфликта — и власть, и общество. Дмитрий Алексеевич Милютин, рассуждая с позиции власти, дал точный социологический анализ этой ситуации: «К сожалению, у нас труднее, чем где-либо, найти верное выражение общественного мнения. Люди рассудительные, понимающие необходимость уступок в известных случаях, бывают сдержанны и молчаливы; кричат же и кипятятся те, которые дают волю первому впечатлению и смотрят легко на вещи, не вдумываясь в суть их с реальной стороны»<sup>82</sup>.

### *Полуобразованность и антипатриотизм*

Верховная власть с первых же лет царствования Николая I благодаря ежегодным отчётам Третьего отделения получала вполне адекватное представление не только об умонастроениях русского образованного общества в столицах и в провинции, но даже о различных фантастических толках в среде крепостных крестьян. Пользуясь терминологией нашего времени, тайная политическая полиция осуществляла мониторинг общественного мнения. Вопреки расхожим представлениям жандармы вовсе не стремились пугать императора рос-

том недовольства в стране, а старались представить ему объективную картину. «Краткий обзор общественного мнения в 1827 году» начинается с ключевой фразы, ставшей кредо Третьего отделения: «Общественное мнение для власти то же, что топографическая карта для начальствующего армии во время войны. <...> Все данные проверялись по нескольку раз для того, чтобы мнение какой-либо партии не было принято за мнение целого класса»<sup>83</sup>. Тайная полиция не скрывала от государя неприглядных сторон российской действительности, докладывая ему о язвах крепостничества и жестоком обращении помещиков с крестьянами, о мздоимстве чиновников, о несовершенстве судопроизводства и даже о коррупции в профессорской среде. «Уверяют, что в Московском университете царит скверный дух, что дипломы там публично продаются и что тот, кто не брал частных уроков по 15 рублей за час, не может получить такового диплома»<sup>84</sup>. Именно благодаря отчётам «органов высшего надзора» Николай I пришёл к неутешительному выводу: во всей России не воруют только два человека — он сам и его наследник.

Неотвратимость перемен прекрасно осознавали как царь, так и его жандармы. Выявляя инакомыслие и карая за него, самодержавная власть, однако, не боялась знать правду, не стремилась подменять истинное знание идеологическими догматами, и в этом было её принципиальное отличие от советской власти. (Генерал армии Епишев, многолетний начальник Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота, однажды сказал, что зачем власти знать правду, если она для неё не выгодна.) В устах Николая I — этого рыцаря самодержавия — была немыслима фраза, некогда произнесённая Людовиком XV: «После нас хоть потоп». Имея представления о положении дел в стране, император понимал необходимость её модернизации. Но Николай I думал, что он в своих действиях не лимитирован ни временем, ни материальными или человеческими ресурсами. Трагический для Российской империи исход Крымской войны показал, что это не так. Материальные силы страны были истощены. Страна нуждалась в немедленных рефор-

мах, но власть уже стала осознавать небезграничность своих возможностей. Империя всегда гордилась своей непобедимой армией, а к концу неудачной войны выяснилось, что негде больше взять не только рядовых солдат, но и офицеров — от командира роты до командира корпуса. В стране отсутствовали современный паровой флот, развитая сеть железных дорог и современных путей сообщения. В столицу известия из осаждённого Севастополя из-за отсутствия телеграфной связи «доходили ранее через Париж и Вену, чем прямым путём»<sup>85</sup>.

Вот в каких неблагоприятных условиях началось царствование Александра II. Но именно эти неблагоприятные условия и позволили Дмитрию Алексеевичу Милютину чётко сформулировать свою мысль: Военное министерство нуждается «не в одних только частных изменениях существовавшего устройства». Генерал настаивал на необходимости произвести «полный переворот системы»<sup>86</sup>. Эта мысль была справедлива не только по отношению к Военному министерству, но и ко всей стране. Реформы, которые предстояло осуществить новому монарху, по своей значимости для грядущих судеб России были вполне соизмеримы с реформами царя Петра Алексеевича. Пётр I в своей реформаторской деятельности не считался ни с чем. Вырубался вековой дубовый лес, а корабли, из него построенные, бесцельно гнили под Азовом; страна стонала под тяжестью непосильных налогов, а царь для финансирования военных реформ, не согласованных с платёжными возможностями государства, наводнил страну легковесной медной монетой, номинальная стоимость которой была в пять раз выше реальной; для ведения своих многочисленных войн и для строительства на болоте новой Северной столицы царь-преобразователь брал людей столько, сколько ему требовалось. Материальные и людские ресурсы страны представлялись ему неисчерпаемыми. Этот «*нетерпеливый самовластный помещик*»<sup>87</sup>, как назвал его Пушкин, искренне веровал в чудодейственную силу государственного принуждения.

Прошло более полутора веков, и ситуация в корне изменилась. Впервые за всю историю государства Рос-

сийского верховная власть осознала ограниченность своих возможностей и стала действовать исходя из этого обстоятельства. Один из современников Александра II проницательно заметил, что самодержец может одним росчерком пера отменить весь Свод законов, но не в состоянии повесить хотя бы на одну копейку котировку рубля на Санкт-Петербургской бирже<sup>88</sup>. Настоятельная потребность во всемерном сокращении государственных расходов стала тем краеугольным камнем, который был положен в основание здания Великих реформ. Особенно сильно сокращение расходов ударило по армии и флоту. Вместе с водой нередко выплескивали и ребёнка, о чём с горечью вспоминал Дмитрий Алексеевич Милютин: «В Петербурге только и слышно было об отмене, упразднении, сокращении. Эти заботы о сокращении сделались почти манией; не останавливались перед самыми прискорбными жертвами для достижения сравнительно скудной экономии. <...> После бедственной Крымской войны не только ничего не было сделано для того, чтобы наши расстроенные военные силы вновь оправились и устроились, но напротив того, единственной заботой высшего управления было — сокращать, упразднять, расформировывать. Можно было думать, что с заключением Парижского мира военные силы сделались уже ненужными на будущее время»<sup>89</sup>.

Военное министерство упрекали в непомерных требованиях и в нежелании соотносить ведомственные запросы с экономическими возможностями страны. На это военный министр Милютин возражал, что, если сравнивать Россию с другими европейскими государствами и принимать в расчёт численность населения, военная часть обходится государству не дороже, а гораздо дешевле. Сумма ежегодных военных расходов, падающих на долю каждого жителя, составляла: в Англии — 3 рубля 50 копеек, во Франции и Пруссии — 3 рубля, в Австрии — 2 рубля, а в России — 1 рубль 50 копеек<sup>90</sup>. Изыскание логически безупречных аргументов в споре с оппонентами не тождественно нахождению необходимых денежных средств в государственной казне. И к каким бы убедительным аргументам глава во-

енного ведомства ни прибегал, было очевидно, что Россия — страна бедная, поэтому не может позволить себе существенное увеличение военных расходов. Экономить приходилось на всём — от затрат на содержание офицерского корпуса до трат на приобретение качественного шанцевого инструмента или армейского обоза. Кардинально менялась система базовых имперских ценностей. *Империя, вынужденная экономить на своих военных расходах, перестает быть империей.*

Россия продолжала оставаться государством самодержавным, но жёсткая централизация, пронизывающая весь правительственный аппарат сверху донизу, перестала отвечать вызовам времени. Та самая централизация, которая создала великую державу и помогла ей выстоять в кровопролитных войнах, стала тормозом для дальнейшего развития страны. Политическая, экономическая, культурная и даже частная жизнь русского общества усложнялась буквально на глазах. Промышленная революция и обусловленное ею широкое внедрение машинного производства, строительство железных дорог, создание броненосного флота, появление мощных стальных артиллерийских орудий и скорострельных ружей, повсеместное распространение не только оптического, но и электромагнитного телеграфа — это и многое другое на глазах современников видоизменяло мир. В этом быстроменяющемся мире уже невозможно было пользоваться традиционными методами государственного управления. В централизованном государстве все военные и гражданские чиновники были воспитаны в безусловном подчинении воле самодержавного монарха. Лишь воля государя, и только она одна, была способна устранить или сгладить ведомственные противоречия при принятии решений. Но эта же высочайшая воля заранее предопределяла вердикты высших органов управления, в то время как принимаемые решения требовали серьёзного и открытого обсуждения.

Огромные пространства Российской империи и отсутствие хоть какой-нибудь инфраструктуры делали невозможным быстрое прохождение информации от окраин к центру и наоборот. В 1839 году Дмитрий Алек-

сеевич Милютин, в чине поручика гвардии отправившийся в свою первую служебную командировку на Кавказ, с подорожной «по казённой надобности» добирался от Москвы до Ставрополя 23 дня!<sup>91</sup> Такова была неразвитость российских путей сообщения, во многом сохранившаяся вплоть до начала царствования Александра II. Складывалась парадоксальная ситуация. С одной стороны, важнейшие решения могли быть приняты лишь после высочайшего одобрения, с другой — удалённость окраин вынуждала монарха наделять своих наместников чрезвычайными полномочиями.

Генерал-фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский соединял в одном лице обширную военную власть главнокомандующего Кавказской армией и гражданскую — наместника Кавказа. Личный друг императора князь Барятинский ревниво относился к своим чрезвычайным полномочиям и не спешил соединить телеграфной проволокой Тифлис с обеими столицами — «как он открыто сознавался, — чтобы не быть связанным в действиях телеграммами из Петербурга»<sup>92</sup>. Когда же у князя возникала неотложная потребность отправить спешное известие, курьер посылался в Симферополь или Новочеркасск, откуда отправлялась телеграмма в столицу. Каждодневное усложнение условий жизни вызывало столкновение интересов различных отраслей государственного управления, а постоянная нехватка материальных и денежных ресурсов — повсеместное стремление к экономии. Всё это не способствовало безболезненному разрешению возникающих конфликтов.

Столкновение ведомственных интересов усугублялось тем, что ни один из министров не мог представить себе всю сложность государственного механизма в целом. Государственному аппарату катастрофически не хватало образованных чиновников, способных чутко реагировать на непрестанно происходящие перемены в мире. И власть, и общество одинаково страдали от своей *полуобразованности*. Александр Васильевич Головин, министр народного просвещения в 1862—1866 годах, видел причину этого «общего всем недостатка» в умственном застое николаевского царствования.

В конце 1859 года Головнин написал Милютину: «Эта полуобразованность есть следствие всей системы воспитания последнего времени и постоянного 30-летнего гнёта всякой умственной деятельности»<sup>93</sup>. При этом, если к началу XIX века удвоение объёма всех научно-технических знаний происходило в течение каждые пятидесяти лет (при жизни двух поколений), то к середине столетия срок удвоения суммы знаний сократился почти в два раза, происходил при жизни одного поколения — и отцы перестали понимать детей.

В декабре 1861 года Николай Алексеевич Милютин написал старшему брату Дмитрию из Рима: «Знаю, что нынешний состав нашего правительства не в силах возвыситься до общей разумной программы, хотя бы она была написана семью древними мудрецами и заключалась бы в рамках крошечной четвертушки...»<sup>94</sup> Однако государственные мужи не осознавали ограниченности своих познаний и не ощущали никаких неудобств по этому поводу. Чины государевой свиты и генерал-адъютанты императора Александра II без малейших колебаний приступали к любому виду государственной деятельности и готовы были «испробовать свои силы на чём угодно — на управлении финансами, иностранною политикой, церковными делами и т. п.»<sup>95</sup>. Столичная чиновная публика взирала на эти назначения сочувственно, вероятно, полагая, что генерал, справлявшийся с командованием гвардейским полком, способен возглавить финансы империи. Когда генерал-адъютант Грейг, некогда служивший в Конной гвардии, был сделан товарищем министра финансов, то это назначение изумило только одного человека в Петербурге — Фёдора Ивановича Тютчева. «Странное дело, — заметил Тютчев, — конногвардейскому офицеру поручают финансы; публика, конечно, удивлена, но в меру, не особенно сильно; попробуйте же Рейтерна <министра финансов> сделать командиром Конногвардейского полка, все с ума сойдут, поднимется такой вопль, как будто Россия потрясена в своих основаниях: я полагаю, однако, что управлять финансами Российской империи несколько труднее, чем командовать Конногвардейским полком...»<sup>96</sup>



Профессиональные познания, технические навыки и владение «тайнами ремесла» — всё это не вписывалось в систему имперских ценностей. С одной стороны, этим познаниям и этим навыкам негде и не у кого было обучиться, с другой — в государстве отсутствовал резерв людей, владеющих ими. И если на одном полюсе было невозможно найти достойную замену министру финансов или министру юстиции, то на другом полюсе не удавалось отыскать хорошего агронома или ветеринара, садовника или печника. Граф Алексей Алексеевич Игнатьев в своей знаменитой книге «Пятьдесят лет в строю» вспоминал о таком казусе: в казармах Кавалергардского полка всё время коптили печи, пока не нашёлся хороший еврей-печник. Несмотря на все запреты, печник, не желавший отказываться от веры предков и креститься, был зачислен на службу в самый престижный гвардейский полк столицы, где и служил до самой смерти, дослужившись в нём до фельдфебеля. В Петербурге было трудно отыскать не только хорошего печника, но и хорошую прислугу. «Домашняя жизнь отравляется каждый день мерзостями нашей прислуги. Ничем: ни ласкою, ни жалованьем порядочным нельзя её привлечь к исполнению того, что она должна делать по условию, — писал в дневнике Александр Васильевич Никитенко. — И это повсеместное у нас зло. Третьего дня я принуждён был отправиться к мировому судье, чтобы спросить у него: нет ли каких средств против невыносимого самоуправства, бесчестности и пьянства этих людей? От него узнал я, что закон не представляет совершенно никакого ограждения прав нанимателя, и потому наёмные люди совершенно преданы своему произволу и страстям. Он сказал мне, что практика судебская одну истину сделала для него очевидною — что эти люди недоступны никаким внушениям своих обязанностей. Никакая кротость, никакое терпение тех, которые должны, к несчастью, иметь с ними дело, тут не помогают»<sup>97</sup>.

Может быть, русская классическая литература потому и сумела достичь таких художественных высот в своих обличительных тенденциях, что реальная жизнь не баловала писателей положительными примерами и

не способствовала возникновению, формированию и развитию патриотизма. Созревание российской интеллигенции шло рука об руку с воспитанием у неё привычки ругать всё отечественное. В кругу образованной публики считалось хорошим тоном осыпать ругательствами не только правительство, но и Россию. Эпоха Великих реформ выявила эту характерную особенность российской жизни. Это была устойчивая негативная тенденция. Перелистаем дневник современника, того же Никитенко.

*«27 февраля 1859 года.* Главный недостаток царствования Николая Павловича тот, что всё оно было — ошибка. Восставая целые двадцать девять лет против мысли, он не погасил её, а сделал оппозиционную правительству»<sup>98</sup>.

*«19 октября 1861 года.* Главное — недостаток национального, патриотического чувства. Общество проникнуто отсутствием возвышенных верований. Оно только расплывается в разрушительных поползновениях, а не стремится организовать, созидать... А там внизу массы, погружённые в грубое и полное невежество...»<sup>99</sup>

*«21 января 1863 года.* Русский человек не выносит трех вещей: труда, порядка и своего величия»<sup>100</sup>.

*«14 ноября 1863 года.* Сверху собачья старость и разврат, снизу — грубое и глубокое невежество. Мудрено ли, что Европа считает нас варварами?»<sup>101</sup>

*«6 февраля 1864 года.* Есть ли у нас патриотизм? В образованном так называемом классе его нет»<sup>102</sup>.

*«25 марта 1869 года.* Внизу пьянство и грубое невежество, в середине неурядица и брожение умов, в верхнем слое отсутствие способностей, патриотизма и характеров. Право, иногда готов отчаяться в будущем России — но не отчаиваешься»<sup>103</sup>.

*«6 декабря 1872 года.* Беда правительству, когда оно не в состоянии полагаться на здравый смысл и добросовестность своего народа; беда народу, когда он не может уважать своего правительства.

...До чего были доведены умы в царствование Николая, видно из того, что многие люди, честные и мысля-

щие, желали, как единственного обуздания грубой воли повелителя, чтобы нас побили в Севастополе. К сожалению, это исполнилось. Много ли от этого выиграла Россия? Говорят, что от этой встрёпки мы прозрели. Правда, на минуту, для того чтобы, зевнув, потянувшись, снова погрузиться в сон»<sup>104</sup>.

Эта печальная установка сохранилась и до наших дней. Впрочем, ещё в эпоху Великих реформ сильные антиправительственные и антироссийские настроения, укоренившиеся в среде отечественной интеллигенции, подверглись серьёзному испытанию. Отвлечённые теоретические рассуждения столкнулись со сферой реальной политики. Польское восстание заставило ответить самому себе на вопрос: «Совместимо ли вполне обоснованное стремление Польши к независимости с государственными интересами Российской империи?» Мы, живущие в начале XXI века, плохо представляем себе всю остроту «польского вопроса» — одного из самых важных вызовов времени для России XIX столетия. Вся отечественная история императорского периода прошла под знаком «польского вопроса», постоянно перекликавшегося с сакраментальными российскими вопросами: «Кто виноват?» и «Что делать?». Читатели первых русских исторических романов знали, что ещё в 1612 году, в период первой русской Смуты, польские отряды захватили Кремль. В сознании пушкинских современников год 1612-й сознательно сближался с 1812-м, рифмовался с ним: и в том и в другом году поляки побывали в Московском Кремле. Несколько поколений россиян помнили и о штурме Праги — укреплённого предместья Варшавы — войсками Суворова в 1794 году, и о недолгом пребывании польских легионов во взятой Наполеоном Москве в 1812 году, и о кровопролитном штурме Варшавы русской армией в 1831 году. Злободневность этой жгучей проблемы для истории России петербургского периода можно сравнить с актуальностью всего узла проблем Кавказа для нашего времени. Острота «польского вопроса» для эпохи Великих реформ усугублялась тем, что модернизация страны совпала по времени с очередным Польским восстанием.

## «Отбунтовала вновь Варшава...»

Как известно, в результате трёх разделов Польши — в 1772, 1793 и 1795 годах — к России отошли белорусские, литовские, украинские и латышские земли. Польские дворяне, проживавшие на этих территориях, не могли примириться с утратой национальной независимости. Они ждали только благоприятного случая для отделения от России и видели в Наполеоне сына революции — человека, готового восстановить Польшу в границах 1772 года.

В начале 1825 года Денис Давыдов разразился эпиграммой:

Поляки, с Русскими вы не вступайте в схватку:  
Мы вас глотнём в Литве, а вы...м в Камчатку<sup>105</sup>.

Согласитесь, эти строки не делают чести знаменитому поэту-партизану, и напечатаны они были лишь один-единственный раз. Удивительно другое: сам он и не думал их стыдиться или от них отказываться. Что двигало им?

Война 1812 года была Отечественной не только для русских, но и для поляков. Одни воевали за свободу и независимость России, другие — за возрождение Польши. Трагедия была в том, что они воевали друг с другом. И это было уже далеко не первое столкновение двух славянских народов. Долгие годы на нашей памяти разрешалось говорить только о светлых страницах русско-польских отношений. Между тем взгляд современников событий начисто лишён идилического, сусального начала.

Уже давно между собою  
Враждуют эти племена;  
Не раз клонилась под грозою  
То их, то наша сторона.  
Кто устоит в неравном споре:  
Кичливый лях иль верный росс?  
Славянские ль ручьи сольются в русском море?  
Оно ль иссякнет? вот вопрос<sup>106</sup>, —

писал Пушкин.

На протяжении жизни одного поколения русские войска не раз сражались с поляками, побеждали их и вступали в Варшаву. 24 октября 1794 года суворовские войска штурмом овладели Прагой — предместьем польской столицы. Обсуждая с парламентарёрами условия сдачи города, Суворов со словами «Покой, покой!» бросил на землю свою шпагу. 29 октября городские власти поднесли Суворову ключи от города и русские войска с музыкой вошли в Варшаву. Суворов проявил исключительную терпимость к побеждённому неприятелю. Варшавянам были гарантированы безопасность имущества и личная безопасность, забвение прошлого и недопущение злоупотреблений со стороны войск. Суворов отпускал по домам польских генералов и офицеров, давая им открытые листы и рекомендательные письма, неоднократно просил за военнопленных, добиваясь их освобождения. «Всё предано забвению. В беседах обращаемся как друзья и братья. Немцев не любят. Нас обожают»<sup>107</sup>, — сообщал он в письме. Прощание Суворова с отрёкшимся от престола последним польским королём Станиславом Августом «не обошлось без слёз»<sup>108</sup>. Суворов был убеждён в том, что победителям следует проявлять великодушие и умеренность, но его действия вызвали нескрываемое раздражение Петербурга, и вскоре фельдмаршал был отозван в столицу. Великий полководец заблуждался, полагая, что побеждённые смирились со своим поражением. Обильно пролитая кровь защитников Праги и мирных жителей предместья смешалась с кровью штурмующих суворовских солдат и навсегда легла между русскими и поляками.

«Со времени уничтожения Польшы, с 1794 года, исчезло имя её с лица земли и не существовало поляков. В 1807 году заключённый с Францией мир в Тильзите произвёл на свет герцогство Варшавское, вместе с надеждою распространить его, в случае несогласия между соседствующими державами. Наполеон исчислил меру страха, коим господствовал он над сердцами царствующих его современников... и дал надежду возрождения Польше. Воспламенились умы, и в короткое время все употреблены усилия надежде сей дать вид правдопо-

добия!»<sup>109</sup> — отметил в записках Алексей Петрович Ермолов.

За стремление обрести независимость поляки заплатили многочисленными рекрутскими наборами и участием во всех войнах, которые вёл Наполеон, — тысячами человеческих жизней и потоками крови на ратном поле. Однако возрождение Польши не состоялось, а территория бывшего Польского государства стала ареной ожесточённых боевых действий и была сильно разорена.

Герцогство Варшавское было создано Наполеоном из части прусских и австрийских земель, некогда принадлежавших Польше, и, по словам Чаадаева, «приняло деятельное участие в войне 1812 г. против России»<sup>110</sup>. Территория герцогства стала базой для сосредоточения Великой армии Наполеона перед вторжением в Россию. 5-м корпусом этой армии командовал князь Юзеф Понятовский, военный министр Варшавского герцогства и племянник последнего польского короля Станислава Августа. Понятовский умело командовал польскими войсками и после битвы под Лейпцигом был пожалован званием маршала Франции. Он храбро воевал и бесстрашно прикрывал со своим корпусом отступление всей французской армии из Лейпцига, когда, по воспоминаниям очевидцев, «польские войска были часть истреблены, а часть потоплены, и сам главнокомандующий, решившись переехать вплавь через реку, бывши подстрелен, погряз в волнах»<sup>111</sup>.

Поляки, сравнительно недавно ставшие российскими подданными, при вторжении наполеоновской армии в пределы Белоруссии и Литвы восторженно встречали французов и переходили на их сторону. Были случаи, вспоминал Денис Давыдов, «когда поляки убивали одиночных русских солдат, отставших от своих частей при отступлении»<sup>112</sup>.

Многие поляки успешно вели разведку в местах расположения отступающей русской армии. В июне 1812 года русские войска захватили экипаж французского генерала Себастиани и в его портфеле нашли заметки, в которых были указаны места и числа, день за днём, передвижения русских корпусов. В разглашении секрет-

ных сведений заподозрили поляков, служивших в Главном штабе 1-й армии. Под благовидным предлогом по высочайшему повелению из армии были высланы три флигель-адъютанта императора — графы Браницкий, Потоцкий и Влодек. (Впоследствии они оправдались и продолжали делать успешную придворную карьеру.) Слухи об этих событиях в продолжающей отступать армии дошли до Москвы и дали повод для недоброжелательного обсуждения поведения поляков на русской службе. Их положение было двусмысленным: с одной стороны, надо было воевать против своих соотечественников, с другой — в каждом офицере польского происхождения видели потенциального изменника. Однако эти нескрываемые и не всегда справедливые подозрения так и не переросли в явные репрессии. Наказанию подвергались лишь те поляки, вина которых была доказана.

В дневнике поручика лейб-гвардии Семёновского полка Александра Васильевича Чичерина содержится запись о казни дезертира. Корнет Нежинского драгунского полка Городецкий, поляк по национальности, умышленно отстал от своего полка при отступлении русской армии. Когда наполеоновская армия была изгнана из пределов России, Городецкий был арестован и по приговору военного суда расстрелян перед строем. «Сердце моё разрывалось, страшная дрожь охватила меня всего... Моё сердце привыкло уже к более жестоким зрелищам, но страшные приготовления к этой казни, мрачное молчание всей толпы, ужасные мысли о том, что должен был испытывать сей несчастный, сдавили мне грудь, чёрные мысли вызвали слезу на глазах»<sup>113</sup>. Глубокое потрясение от этой казни испытал и ротный командир Чичерина капитан Павел Сергеевич Пущин, будущий генерал-майор и декабрист. «Это зрелище расстроило меня на весь день»<sup>114</sup>.

В дневнике Александра Чичерина несколько раз с негодованием говорится о поляках — «преданных французам, бесчестных и мятежных». «Поляки всё-таки очень подлы», — пишет он в письме от 6 декабря 1812 года из Вильны, а 5 января 1813 года в дневнике заключает о поляках: «Они стоят так низко, так неумны, что, мне кажется, сей народ весьма обделён природой»<sup>115</sup>.

Полонофобия поручика Чичерина не была редкостью среди русских патриотов, тем более в 1812 году, когда обострились антипольские настроения. Национальная гордость россиян была, несомненно, уязвлена сдачей Москвы и пребыванием в её стенах поляков — союзников французского императора. Ситуация усугублялась тем, что поляки однажды уже побывали в Москве, в годы Смутного времени. Молва настойчиво обвиняла их в разнообразных бесчинствах, в осквернении московских святынь, отзвуки чего можно встретить в частных письмах того времени. «Вообрази: теперь открывается, что величайшие неистовства совершены были в Москве немцами и поляками, а не французами. Так говорят очевидцы, бывшие в Москве в течение шести ужасных недель»<sup>116</sup>.

Первого января 1813 года русская армия при барабанном бое и под звуки военного марша перешла границу и вступила на территорию герцогства Варшавского, а 26 января вошла в Варшаву. Возникло несколько вполне естественных вопросов. Как поступать с поляками западных губерний империи, почти поголовно присягнувшими Наполеону? Что делать с территорией герцогства Варшавского, армия которого продолжала сражаться на стороне врагов России, а жители враждебно встретили русских и угрожали им всеобщим восстанием? Какими мерами — строгостью или снисхождением — добиваться успокоения? Мстить ли полякам — или же великодушно простить их и предать всё забвению? Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо было решить, как следует воспринимать поляков — как подданных Российской империи, нарушивших свою присягу, или как население оккупированной территории. Следует помнить, что для правосознания той эпохи завоёванная силой оружия территория признавалась законным приобретением завоевателя. Такова была норма международного права того времени. «Однако же и после присоединения к России силой оружия с краем этим вовсе не обращались как с завоёванным»<sup>117</sup>. Тем не менее поляки считали русских северными варварами — дикарями, стоящими на более низкой ступени общественного развития.



Они находили унижительным для себя быть в подданстве у этих варваров. С конца XVIII века польский патриотизм был замешен на исторической памяти о пролитой крови и враждебном чувстве к России.

Для Дениса Васильевича Давыдова поляки всегда были непримиримыми врагами, а Варшава — «горнилом козней, вражды и ненависти к России»<sup>118</sup>. Он не считал нужным особенно церемониться с поляками и при случае брал у тех силой всё, что было необходимо для нужд его отряда. В конце февраля 1813 года один польский помещик в разговоре с Павлом Пушиным «не переставал жаловаться на повреждения и притеснения, которые ему причинил партизан Давыдов, проходя через его владения»<sup>119</sup>. Между русским гвардейским офицером и польским помещиком состоялся настоящий диспут, о содержании которого мы можем судить по дневнику Пушкина. «Я был вынужден ему заметить, что наш авангард не получил ещё приказа в отмену прежнего, по которому их считали обитателями страны, нам враждебной, поэтому нельзя требовать, чтобы в разгар преследования неприятельских войск не пользовались случаем брать всё, нам необходимое, тем более что французы, их же союзники, не лучше с ними обходились»<sup>120</sup>. Действительно, Давыдов не успел получить приказ, по которому поляки не считались более обитателями враждебной страны. Александр I повелевал войскам соблюдать величайший порядок и оказывать снисхождение полякам. Уже в начале 1813 года император думал о присоединении герцогства Варшавского к России и не хотел усугублять вражду между двумя славянскими народами. Даже упорные слухи о том, что около шестидесяти тысяч человек вооружились топорами и готовятся восстать в тылу русской армии, не заставили Александра I прибегнуть к строгим мерам. Войскам было приказано «держатъ ухо востро и принять меры предосторожности против местного населения... Ввиду этого пришлось выставить караулы, несмотря на то что бедные солдаты изнемогали от усталости»<sup>121</sup>. Слухи о подготовке восстания не подтвердились.

Стремясь сблизить русских с поляками и забыть взаимные обиды, Александр I не покушался на националь-

ную самобытность поляков и не требовал от них забвения своего исторического прошлого. Однако уже в конце 1812-го — начале 1813 года император столкнулся с почтительным, но достаточно твёрдым противодействием главнокомандующего светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, стремившегося к русификации края, к превращению Варшавы и Вильны в обычные губернские города. Пушкин с нескрываемым одобрением вспоминал слова полководца Кутузова: «Знаете ли Вы убийственные слова Фельдмаршала, Вашего отца? При его вступлении в Вильну поляки пришли и бросились к его ногам. “Встаньте, — сказал он им, — помните, что вы русские”»<sup>122</sup>.

Подобные взгляды были близки и понятны генералитету русской армии. Барклай де Толли, Багратион, Глебов, Дорохов, Ермолов, Коновницын, Кульнев, Луков, Неверовский, Раевский — все они в молодости сражались с поляками. По подсчётам известного военного историка Владислава Михайловича Глинки, среди 332 генералов, портреты которых помещены в Военной галерее Зимнего дворца, 39 человек принимали участие в Польской кампании 1794 года<sup>123</sup>. Никто из них не мог оставить поляков безнаказанными и забыть их «злые обиды». Все помнили о вероломстве польских шляхтичей: поляки, обласканные перед началом войны Александром I, мгновенно нарушили свои клятвы и с приходом Наполеона перешли на его сторону. Склад ума, характер чувств и мышления, дворянский кодекс чести — всё протестовало против прощения подобного коварства. Практически никто не хотел воздать «народным врагам» по правилам христианской нравственности: добро за зло. Не только генералы и офицеры, но и значительная часть русского дворянского общества ожидала от Александра I примерного наказания изменников, «столь нагло и неблагородно отплативших ему за его милости в самом скором времени»<sup>124</sup>. Но император не был склонен к мести и злопамятству. Для генералитета русской армии поляки были и оставались врагами, с которыми они воевали уже не первый раз в жизни, а царь хотел положить конец «старинной вражде» двух народов.

Кутузов предложил Александру I конфисковать имения польских помещиков, сражавшихся с оружием в руках в составе наполеоновских войск против России или связанных с французами. Он намеревался использовать конфискованные имения для награждения русских генералов и офицеров, отличившихся в войне с Наполеоном. Этот план не был реализован, так как Александр I объявил всем полякам амнистию.

Вот строки из секретного письма от 29 марта 1813 года Кутузова литовскому генерал-губернатору А. М. Римскому-Корсакову: «Всех тех (поляков. — С. Э.), кои окажутся виновными в разглашении неблагоприятных для нас слухов или в других каких предприятиях, одним словом, всех тех, кои будут участниками в видах мятежа, тотчас предавать военному суду и в пример другим наказывать смертью». Русская армия уже три месяца воевала в Европе, военные действия шли с переменным успехом, и Кутузов считал, что склонное к мятежам польское население западных губерний России «...требует в нынешних обстоятельствах крутых с собою поступков»<sup>125</sup>.

Итак, уже в конце 1812-го — начале 1813 года снисходительное отношение к полякам сочеталось с мерами строгости. Это сочетание было во многом противостественным: систематический порядок в управлении завоёванным герцогством Варшавским полностью отсутствовал. По словам участника Наполеоновских войн: «У нас же, по новости ли нашей или по непостоянству, свойственному русскому характеру, во всём были крайности, от чего происходил беспорядок, и владычество наше казалось нестерпимее ига французов...»<sup>126</sup>

Закончились Наполеоновские войны, большая часть герцогства Варшавского была присоединена к России под именем Царства Польского. «По манию царя» Царство Польское уже в 1815 году получило конституцию, провозгласившую свободу печати, неприкосновенность личности и независимость судов. Была сформирована польская армия, одетая в национальный мундир, и восстановлены польские ордена Белого Орла и Святого Станислава. Александр I короновался польской короной. Неограниченный монарх — император и са-

модержец Всероссийский — одновременно стал конституционным польским царём: его власть ограничивалась конституционной хартией, в верности которой Александр принёс особую клятву «пред Богом и евангелием». Царство Польское фактически стало государством в государстве.

«Я радовался тому, что на свете стало одной конституцией больше, если только можно сказать, что в этом царстве действительно существовала конституция»<sup>127</sup>, — писал в «Записках изгнанника» Николай Иванович Тургенев, участник движения декабристов, с 1826 года находившийся в эмиграции (осуждён заочно). Конституция постоянно нарушалась как самим императором, так и его братом Константином Павловичем — главнокомандующим польской армией и фактически наместником Царства Польского. На это поляки ответили легальной оппозицией царю в сейме — органе народного представительства, состоявшем из двух палат (сената и палаты депутатов), — и возникновением тайных обществ. Поляки боролись за соблюдение своих прав и стремились к возрождению Речи Посполитой в границах 1772 года, то есть до первого раздела, к возвращению всех утраченных земель. Последнее вызвало нескрываемое и острое раздражение русского общества и сделало крайне непопулярными все мероприятия Александра I, направленные в пользу поляков: возрождение Польши стало связываться с пересмотром границ империи.

Итак, закончились Наполеоновские войны, но не утихла взаимная вражда русских и поляков. Слишком сильны были обоюдные обиды на протяжении последних двух веков: ни русские, ни поляки не могли забыть

Того, что старые скрижали  
Хранят в преданиях немых<sup>128</sup>.

И хотя время с 1815 по 1830 год стало периодом относительно безоблачных взаимоотношений двух славянских народов, сближения между ними, несмотря на все усилия императора Александра I и его брата великого князя Константина, не произошло. Поляки продолжали считать «москалей» варварами, а русские не-

престанно твердили о неблагодарности заносчивых и кичливых «ляхов». Еще в 1814 году встреча с русской армией в Познани произвела на поляка Колачковского удручающее впечатление: «Вид наших врагов и победителей и здесь нас болезненно преследовал... Гарнизон составляли части войск, одетые в серое, более похожие на животных, нежели на человеческие существа. На площадях муштровали рекрутов, отзвуки палок и розог разносились по городу. Этот вид несколько поубавил нашу радость и заставил задуматься над перспективой будущего объединения с этими людьми под одним скипетром»<sup>129</sup>. Объединение под скипетром Романовых состоялось, и новые подданные императора с негодованием восприняли палочную дисциплину: «До чего дошло! Свободный человек терпит позорные побои от невольника-варвара»<sup>130</sup>.

Отторжение поляков вызывало и разгульное поведение офицеров российской гвардии, служивших в полках, дислоцированных в Варшаве. Историк лейб-гвардии Литовского полка А. Маркграфский простодушно написал о том, как вели себя офицеры этой части в Варшаве: «Выпороть на конюшне еврея, пришедшего за получением долга, пронестись в коляске, запряжённой лихой четвернёй, по Краковскому Предместью так, чтобы попадавшиеся навстречу экипажи разлетались в дребезги; выбросить кого-нибудь из окна второго этажа, затронуть женщину на улице и даже в костёле, застрелить собаку, сыграть мелодию на свистке в партере театра — всё это считалось делом обыкновенным...»<sup>131</sup>

Поэтому, когда в ноябре 1830 года в Варшаве вспыхнуло восстание против законной власти императора Всероссийского и короля Польского, повстанцы считали себя не мятежниками и клятвопреступниками, а освободителями своей многострадальной родины от варварского ига. Несмотря на численное превосходство русской армии, подавление восстания оказалось делом очень непростым и потребовало в два раза больше времени, чем изгнание Наполеона из России. Начавшийся в конце ноября 1830-го мятеж был усмирён ценой невероятных усилий и жертв лишь в начале октября 1831-го. Моральная поддержка, которую Запад оказы-

вал повстанцам, многократно усиливала волю мятежников к сопротивлению: они уповали на новое вторжение в российские пределы. Терминология наших дней прекрасно отражает суть событий той эпохи — Запад вёл против России настоящую информационную войну. Как и знаменитое стихотворение Пушкина:

О чём шумите вы, народные витии?  
Зачем анафемой грозите вы России?  
Что возмутило вас? волнения Литвы?  
Оставьте: это спор славян между собою,  
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,  
Вопрос, которого не разрешите вы!<sup>132</sup>

Расчёты Запада на ослабление России в результате Польского восстания не были безосновательными и отчасти опирались на то, что во внутренних губерниях империи может вспыхнуть продолжительная смута. Холерные бунты и восстания в военных поселениях давали надежду, что у Российской империи не хватит ресурсов справиться с ситуацией. В это время в русском образованном обществе стали раздаваться голоса, оправдывавшие польских патриотов и желавшие поражения своей стране в войне с поляками. Тайная политическая полиция чутко улавливала голоса «безумцев из высших сфер»: «Мы были очень удивлены, слыша из уст русских речи, достойные самых экзальгированных поляков. <...> Нам пришлось даже встречать сумасшедших, утверждавших, что Польша в данный момент находится в таком же положении, в каком находилась Россия во времена Владислава, и что памятник Пожарскому и Минину воздвигнут в честь подвигов, подобных тем, которые теперь ставятся в упрёк полякам»<sup>133</sup>. Вывод жандармов совпал с размышлениями негодующего Пушкина: «Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездушного читателя французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах»<sup>134</sup>. *Так впервые в истории петербургского периода Российской империи обнаружались пораженческие настроения и появились люди, убеждённые в том, что поражение державы может стать благом для страны.*

Третье отделение, постоянно занимавшееся сбором сведений «о всех без исключения происшествиях», в своих ежегодных отчётах о состоянии дел своевременно информировало императора о неистреблённой до конца склонности поляков к мятежу. Начиная с 1832 года в этих отчётах практически каждый год повторяется мысль о том, что польские подданные государя не желают смириться со своей судьбой и превратиться в верноподданных. Высшая полиция предупреждала: поляки уверены, что Европа им поможет. «Они мечтают, что вся Европа, и в особенности Англия и Франция исключительно судьбою их занимаются, и потому относят к себе всякое новое в политике Европы обстоятельство»<sup>135</sup>. Эта же мысль с незначительными стилистическими вариациями прозвучала в секретном отчёте за 1835 год: «...Поляки по легкомыслию своему не перестают обращаться к мечтам при всяком происшествии в Европе. Они из каждого маловажного даже обстоятельства выводят всеобщую войну, которая, в понятиях их, должна иметь последствием восстановление независимости Польши»<sup>136</sup>. Этой безрадостной картине, представленной царю высшей полицией, казалось бы, противоречил тот тёплый приём, который выказывала ему в 1835-м и 1838-м недавно взятая штурмом столица мятежного края. Показной шумный восторг, вызванный пребыванием государя в Царстве Польском, праздники, спектакли на свежем воздухе, иллюминации, фейерверки, народные гулянья — всё это казалось ему неискренним. У императора Николая I не было иллюзий: он, посещая Варшаву, не верил внешним проявлениям верноподданнических чувств, которые охотно демонстрировали ему поляки, и готов был к любым неожиданностям. Рыцарственному характеру государя претило любое лицемерие. «Варшава по наружности спокойна; везде меня принимают шумно, но я этому не верю. <...> Повторяю, я им ничуть не верю»<sup>137</sup>, — писал государь наследнику. «...Я их считаю неизлечимыми»<sup>138</sup> — так резюмирует свои мысли по поводу мятежных подданных император.

Зачем же Российская империя ценою невероятных усилий продолжала насильственно удерживать в своих

пределах Царство Польское? Ведь было очевидно, что польские подданные — ненадёжны и с нетерпением ждут новой внешней войны на западных границах империи и что даже фантом будущей войны неизбежно спровоцирует новое восстание. Геополитические интересы России требовали любой ценой сохранить Польшу в составе империи. Территория Царства Польского по своему географическому положению являлась прекрасным плацдармом для нашествия на страну. Именно с территории герцогства Варшавского Великая армия Наполеона вторглась в российские пределы. После того как Царство Польское вошло в состав империи, на её территории была дислоцирована мощнейшая армия, состоящая из нескольких армейских корпусов полного состава и готовая к немедленному ведению боевых действий. С одной стороны, эта армия надёжно прикрывала западные границы, с другой — наглядно демонстрировала Европе военную мощь государства Российского. И в мирное время эта полностью отмобилизованная армия имела статус действующей, а её главнокомандующий генерал-фельдмаршал светлейший князь Варшавский граф Паскевич-Эриванский в своих действиях не был подотчётен военному министру и непосредственно подчинён самому императору. Феноменальные служебные прерогативы и преференции Ивана Фёдоровича Паскевича объяснялись не только его близостью к государю, называвшему фельдмаршала своим «отцом-командиром», но и исключительно важным стратегическим положением Царства Польского. Его преемники на этом важном посту, как правило, соединяли в одном лице военные и гражданские полномочия — власть главнокомандующего армией и власть наместника Царства Польского.

Шли годы — ситуация не менялась в лучшую сторону. Поляки продолжали ненавидеть Россию и русских, а русские чиновники Царства Польского изумляли коренных жителей своей грубостью. Как правило, они не знали польский язык и не желали его учить, в чём поляки видели спесь завоевателей и что не могло не оскорблять их национальную гордость. Секретный отчёт Третьего отделения за 1842 год донёс до нас эту удруча-



ющую картину. «В настоящее время нерасположение к России и ненависть к имени русского сделались общими: они проникли в массы народа и равно одушевляют как городских, так и сельских жителей. <...> Они почитают за унижение находиться под владычеством народа, который столь низко стоит в их мнении. Опытные люди полагают, что это обстоятельство не должно почитать маловажным, потому что оно-то и подстрекает национальное их самолюбие»<sup>139</sup>. Полякам казалось, что царская власть, посылая на службу в Варшаву таких грубых чиновников, сознательно стремится унизить их национальную гордость. Однако и в российских губерниях гражданские чиновники были ничуть не лучше. Повторюсь — империи катастрофически не хватало дельных и благовоспитанных чиновников. Лишь сотрудники Министерства иностранных дел и Министерства двора обладали изысканными манерами и внешним лоском, провинциальный же аппарат сплошь и рядом состоял, по словам классика, из «кувшинных рыл».

Постоянно обращая внимание государя на мятежный дух поляков, тайная политическая полиция в отчете за 1848 год сделала печальный прогноз: поляки «готовы при первой возможности поднять знамя бунта — одни противу русских, другие вообще противу законного порядка»<sup>140</sup>. Поражение России в Крымской войне и начало проведения Великих реформ, сопровождавшееся масштабной перестройкой государственного механизма и видимым ослаблением авторитета верховной власти, — всё это создало благоприятные предпосылки для превращения абстрактной возможности бунта в реальную действительность. В 1863 году в Польше началось очередное восстание.

В ночь с 10/22 на 11/23 января одновременно в нескольких десятках пунктов польские повстанцы внезапно напали на спящих русских солдат. И хотя упорные слухи о готовящемся выступлении носились довольно давно, варшавские власти не предприняли никаких дополнительных мер предосторожности. Вспоминает военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин: «Войска, расквартированные по всему пространству Царства Польского мелкими частями, беззаботно поко-

ились сном праведных, когда ровно в полночь с 10 на 11 января колокольный звон во всех городках и селениях подал сигнал к нападению. Застигнутые врасплох солдаты и офицеры были умерщвляемы бесчеловечным образом»<sup>141</sup>.

В большинстве случаев нападения были успешно отбиты, но внезапность восстания привела к жертвам. Вроковую ночь русские войска потеряли 30 человек убитыми и около 100 ранеными. В штабе одной из артиллерийских бригад ранение получили бригадный командир генерал Каннабих и командир батареи полковник Мейбаум. Засевшие в избе солдаты Костромского пехотного полка стали отстреливаться, тогда поляки подожгли избу, и солдаты сгорели живьем. Уже днём о зверствах восставших узнали петербуржцы. Крупный столичный чиновник записал в своём дневнике, что наших солдат резали как баранов<sup>142</sup>. После того как внезапное ночное нападение на русские части было успешно отбито, начались столкновения между регулярной армией и отрядами повстанцев. Бои отличались необыкновенным ожесточением. Перевес был на стороне правительственных войск, и восставшие несли очень большие потери. Во время одного из первых сражений на поле боя осталось около одной тысячи убитых поляков, раненых никто не считал. Русский отряд потерял 12 человек убитыми и столько же ранеными. Помещичья мыза и местечко, служившие базой польского отряда, были полностью сожжены.

Новое восстание было, по сути своей, партизанской войной, в которой у поляков не было никаких шансов на успех. Повстанцы были плохо вооружены и не имели опыта в военном деле, однако их несоразмерные потери объясняются не только этим. Военный министр Милютин полагал, что поляки были «фанатизированы» и потому бросались «без оглядки на неминуемое истребление»<sup>143</sup>. Сведись очередная польская смута исключительно к боевым столкновениям между повстанцами и регулярной армией, властям удалось бы очень быстро справиться с ситуацией. Восстание было бы усмирено в течение полутора месяцев, если бы поляки не получали регулярную материальную и моральную по-

мощь из-за границы. Западная Европа была всецело на стороне мятежников, и Российская империя столкнулась с угрозой новой европейской войны. Вероятность военного конфликта между Россией и коалицией Великобритании, Франции и Австрии была весьма велика.

Возможному в ближайшем будущем вооружённому конфликту предшествовала информационная война, которую с первых же дней восстания начал вести Запад против России. Выходившие в австрийском Кракове и прусской Познани польские газеты без зазрения совести печатали клеветнические статьи. Французские и английские газеты перепечатывали эти статьи и, по словам Милютина, «распространяли появившиеся в польских газетах, краковских и познанских, ложные известия, нелепые выдумки и яростные ругательства против России. В этих органах польской революции изображались действия мятежников и мнимые успехи их шаек в совершенно извращённом виде, с той целью, чтобы бросать пыль в глаза Европы и возбуждать в ней участие к польскому делу. Вся эта ложь и всё хвостовство польских газет переходили в газеты французские и английские. Так, с первого же времени мятежа газеты начали распространять клеветы на русские войска, будто бы совершавшие разные жестокости над повстанцами и даже над мирными обывателями; вся эта ложь воспринималась западной печатью; когда же в русских газетах появлялись категорические опровержения польских выдумок и, наоборот, самые положительные сведения о совершаемых повстанцами бесчинствах, зверствах, насилиях — никто не хотел верить, большинство газет отказывалось перепечатывать»<sup>144</sup>. Дмитрий Алексеевич Милютин был едва ли не единственным не только из числа современников, но и из его коллег — министров иностранных и внутренних дел, кто понял, что против России ведётся настоящая информационная война, — и военный министр нашёл симметричный и адекватный ответ.

В это время министр иностранных дел вице-канцлер князь Александр Михайлович Горчаков искусно вёл дипломатическую войну с Англией, Францией и Австрией и одержал в ней убедительную победу: России,

ещё не успевшей оправиться после поражения в Крымской войне, удалось избежать новой войны с коалицией европейских держав. Впрочем, возжеленная для повстанцев Европа ограничилась дипломатическими демаршами — начинать ради поляков вторую за десять лет большую войну с Россией ни Лондон, ни Париж не собирались. Знаменитый дипломат был сыном своего века: прекрасно постигая важность войны дипломатической, он не услышал вызов времени и не понял настоятельную необходимость ведения войны информационной.

Убедившись, что князь Горчаков не желает вести газетную полемику по политическим вопросам и, главное, не хочет тратить на это деньги, Милютин не побоялся расширить свои служебные прерогативы. «Русский инвалид» — официальный орган Военного министерства — превратился из узковедомственного издания в большую и современную политическую газету. Политической частью обновлённого издания руководил непосредственно военный министр. Каждый вечер он просматривал корректурные оттиски важнейших статей. В ту эпоху слово «инвалид» ассоциировалось не с калекой, а с ветераном вообще. «Русский инвалид» стали расхватывать не только чины военного ведомства и ветераны, но и интересующиеся политикой образованные люди. Статьи из этой газеты читали в России, их нередко перепечатывали за границей. Под руководством Милютина «Русский инвалид» начал вести «газетную войну»<sup>145</sup>.

Газета не ограничивалась презрительным молчанием в ответ на клевету: с николаевских времён официальная печать остерегалась дискутировать с Западом, не отвечая даже на пасквилы. Военный министр не довольствовался активной обороной и стал наносить упреждающие удары. Помимо ведения энергичной газетной полемики редакция «Инвалида», в подражание иностранным литографированным корреспонденциям, стала выпускать еженедельный литографированный листок на двух языках — французском и немецком. Это дочернее издание за умеренную плату рассылалось в редакции русских и иностранных газет. Литографи-

рованный листок оперативно сообщал о том, что происходит в России и как обстоят дела с подавлением мятежа, не стесняясь опровергать появившиеся в иностранной печати неверные сведения. Военный министр сыграл на опережение — и выиграл. В его газете новости появлялись раньше, чем в других изданиях, включая иностранные, и поэтому отечественные и зарубежные газеты охотно перепечатывали текущие известия и комментарии из «Русской литографированной корреспонденции». Пока длилось Польское восстание, литографированный листок продолжал выходить. Едва с польской смутой было покончено, генерал Милютин прервал его финансирование: затратное издание «прекращено было, когда миновала самая цель издания»<sup>146</sup>.

Внезапные нападения повстанцев на малочисленные русские гарнизоны в роковую ночь начала восстания вынудили военное командование осуществить перегруппировку и концентрацию войск. Опасность большой войны с коалицией европейских держав побуждала командование к сосредоточению имеющихся сил. И хотя в Царстве Польском дислоцировалась целая армия, русские войска не могли полностью контролировать обширную территорию. Малочисленные гарнизоны были выведены из некоторых населённых пунктов, а восставшие заняли их без боя, расценив это как свою явную победу. Повстанцы жестоко расправлялись не только с теми, кто открыто поддерживал власть, но и с теми, кто хотел остаться в стороне и просто выжить. Фактически восставшие поляки впервые в истории петербургского периода воплотили в жизнь лозунг «Кто не с нами, тот против нас». Они насильственно вовлекали в мятеж мирных обывателей, желавших остаться над схваткой. По мятежному краю рыскали шайки «кинжальщиков» или «жандармов-вешателей»: «Ксёндзы приводили их к присяге, окропляли святой водой кинжалы и внушали, что убийство с патриотической целью не только не грешно перед Богом, но есть даже великая заслуга, святое дело. <...> Войска наши, гоняясь за шайками, находили в лесах людей повешенными, замученных, изувеченных. <...> Если несчастному удавалось скрыться от убийц, то он подвергал мучениям и

смерти всю семью свою. Нередко находили повешенными на дереве мать с детьми. Были и такие изверги... которые систематически вешали или убивали в каждой деревне известное число крестьян без всякой личной вины, только для внушения страха остальным»<sup>147</sup>.

Воспоминания военного министра перекликаются с дневником хорошо осведомлённого современника. «Поляки совершают неслыханные варварства над русскими пленными. На днях сюда привезли солдата, попавшего к ним в руки, а потом как-то спасшегося: у него отрезаны нос, уши, язык, губы. Что же это такое? Люди ли это? Но что говорить о людях? Какой зверь может сравниться с человеком в изобретении зла и мерзостей? Случаи, подобные тому, о котором я сейчас сказал, не один, не два, их сотни. С одних сдирали с живых кожу и выворачивали на груди, наподобие мундирных отворотов, других зарывали живых в землю и пр. Своих же тоже мучают и вешают, если не найдут в них готовности пристать к бунту. Всего лучше, что в Европе все эти ужасы приписывают русским, поляки же там называются героями, святыми и пр. и пр.»<sup>148</sup>. Только по официальным данным, повстанцы в течение года замучили или повесили 924 человека<sup>149</sup>. Однако Милютин утверждал, что эти данные были не полны и значительно занижены. Образованная Европа рукоплескала восставшим полякам и снисходительно смотрела на чинимые ими кровавые бесчинства. Информационная война против Российской империи преследовала решительные цели, велась любыми средствами и не знала сантиментов. «Вешатели, кинжальщики и поджигатели становятся героями, коль скоро их гнусные поступки обращены против России»<sup>150</sup>.

Восстание охватило Царство Польское, Литву, частично Белоруссию и Правобережную Украину. Оно продолжалось полтора года и было подавлено к маю 1864-го, хотя отдельные группы повстанцев продолжали сражаться до начала следующего года. Подавление восстания было очень жестоким и сопровождалось не только казнями и ссылками восставших во внутренние губернии империи, но и массовыми конфискациями шляхетских имений. Правительство, борясь с мятежни-

ками, не знало жалости и не проявляло сострадания, что очевидно противоречило принципам гуманности, уже получившим распространение в это время. Активное вмешательство западных держав в «польский вопрос», их стремление навязать свою волю великой державе, угроза новой большой войны, к которой не успевшая перевооружить свою армию Россия не была готова, — всё это не способствовало проявлениям гуманности. Однако император Александр II ни разу не позволил себе обвинить в неистовствах и зверствах мятежников всё польское образованное общество. В его высказываниях не было даже малейшего намёка на полонофобию.

В императорской армии служили офицеры и генералы польского происхождения. Как только регулярная армия начала сражаться с повстанцами, всем им от лица государя был сделан официальный запрос: не желают ли они получить какое-либо другое назначение, чтобы не быть поставленными в необходимость идти в бой против своих земляков? Отказавшиеся воевать были переведены во внутренние губернии. Офицеры и генералы польского происхождения столкнулись с болезненной проблемой самоидентификации. Начальник 3-й кавалерийской дивизии генерал-адъютант граф Адам Адамович Ржевуский на вопрос, сделанный ему по повелению государя, «ответил с гордостью, что, нося военный мундир, знает свой долг и исполнит его»<sup>151</sup>. Польский аристократ и богатый помещик остался во главе вверенной ему дивизии. К счастью, ему не пришлось вести кавалерийское соединение в бой против мятежников. Однако когда граф Ржевуский увидел, что ему как поляку оказывают недоверие и закрывают дорогу к высшим назначениям, он попросил об увольнении в отпуск за границу. По личной просьбе Александра II его генерал-адъютант остался на своём посту до окончательного подавления восстания и «стически перенёс месть своих земляков, разоривших его достояние»<sup>152</sup>. Граф остался на службе, занимал почётные должности, не сопряжённые с реальной властью, и завершил карьеру членом Александровского комитета о раненых. Военный министр оставил красноречивый

комментарий: «Надобно отдать справедливость графу Ржевускому, что он, оставаясь в душе поляком, не увлекался ложным патриотизмом до забвения чести и долга и оставался верным офицерской присяге»<sup>153</sup>. Богатый и знатный польский аристократ, которого лично знали император и военный министр, мог жаловаться на несправедливость судьбы, но он, по крайней мере, не был явно унижен, и благопристойность была соблюдена. С нескрываемым недоверием, сопряжённым с явными оскорблениями, столкнулись поляки, служившие в обер- и штаб-офицерских чинах.

В конце 1872-го — начале 1873 года весь Петербург был потрясён делом Квитницкого. Штабс-капитан лейб-гвардии Конноартиллерийской бригады Эраст Ксенофонович Квитницкий, родившийся 30 декабря 1843 года в семье генерал-лейтенанта и виленского коменданта, был блестящим офицером. Он с отличием окончил Пажеский корпус и две академии: Михайловскую артиллерийскую и Николаевскую Генерального штаба. По закону выпускники военных академий имели серьёзные служебные преференции. Квитницкий менее года носил чин подпоручика, когда 28 марта 1866 года его *за успехи в науках* произвели *через чин* — из подпоручиков, минуя поручика, — в штабс-капитаны. Молодой офицер, которому не исполнилось и двадцати трёх лет, как тогда говорили, «сел на голову» своим товарищам по батарее. Его считали выскочкой. Среди тех, кому он загородил дорогу по службе, были сыновья высокопоставленных отцов — военного министра Милютин и министра внутренних дел Тимашева.

Первоначально Квитницкий служил в Варшаве, но, резонно посчитав, что в Царстве Польском ему, православному по вере и сражавшемуся против своих соплеменников в 1863—1864 годах, не суждено сделать карьеру, перевёлся в Петербург. Однако сослуживцы по 1-й батарее, августейшим шефом которой был император Александр II, решили его выжить.

На протяжении всего XIX столетия существовало неписаное правило: для того чтобы стать членом офицерской семьи любой гвардейской части, необходимо было заручиться предварительным согласием офицер-



ского собрания. Общество офицеров приглашало предполагаемого сослуживца в своё собрание накануне предстоящего ему назначения, присматривалось к нему и выносило свой вердикт, а начальство не считало возможным это решение игнорировать. Выпускник академии по закону имел право выбора места будущей службы, и Квитницкий определился в 1-ю батарею, не считаясь с этим неписанным правилом, фактически игнорируя мнение будущих сослуживцев, среди которых были дети сановников, но не было «академиков». Штабс-капитан оказался гораздо образованнее, чем другие офицеры столичной батареи, лучше их он был и подготовлен. Никаких претензий по службе ему предъявить не могли, тогда исправного офицера стали явным образом оскорблять и унижать. Как вспоминал современник: «Происки и гонения длились 4 года. Выведенный из терпения, Квитницкий перепросился снова в 3-ю батарею, стоявшую в Варшаве»<sup>154</sup>. Этого недоброжелателям было мало. Когда штабс-капитана приняли на новом месте службы, то его уязвлённые сослуживцы по 1-й батарее пошли на подлог и задним числом оформили решение суда чести, исключавшего офицера из батареи, о чём написали коллективное письмо в Варшаву.

Квитницкий, оскорблённый гнусной интригой, решил до конца бороться за свою честь. Он прибыл в Петербург в сопровождении секундантов и вызвал противников на дуэль. Но никто не рискнул выйти с ним на поединок. Свой отказ офицеры мотивировали решением суда чести, якобы имевшего место быть. И тогда штабс-капитан Квитницкий 26 ноября 1872 года на улице нанёс удары обнажённой саблей командиру батареи полковнику Хлебникову, за что и был предан военному суду. (Именно Хлебников от имени офицеров батареи публично заявил штабс-капитану, что он, Квитницкий, «марает мундир Конной артиллерии»<sup>155</sup>.) Это был новый суд, порождённый эпохой Великих реформ, неотъемлемой частью которых была судебная реформа. Заседания военного суда проходили в обстановке гласности, и столичная публика проявила живейшую заинтересованность в этом деле. Офицеры элитной

гвардейской части неожиданно для всех предстали перед нарождающимся гражданским обществом в качестве шайки гнусных интриганов, движимых низменными чувствами — озлоблением и завистью.

Подробные, занимающие несколько газетных полос отчёты из зала суда в течение нескольких дней публиковались «Русским инвалидом», как помним, официальным органом Военного министерства, и «Голосом» — одной из влиятельнейших газет в стране, неофициальным рупором либеральной бюрократии. 20 февраля 1873 года газеты опубликовали последнее слово подсудимого: «В настоящее время я со спокойной совестью могу сказать, что за то, что я любил военную службу всей душой, за то, что любил свой род оружия, я подвергался, в течение четырёх лет, нравственным истязаниям; у меня отняли здоровье, едва ли не отняли жизнь и даже вещь дороже жизни — честь. Если закон предоставляет человеку право защищать свою жизнь, то, спрашивается, может ли он отнимать у него право защищать свою честь? Я был поставлен в положение человека, которому оставалось одно из двух: или позорно сдаться, или защищаться. Я избрал последнее и попал на скамью подсудимых»<sup>156</sup>.

Публика разделилась на две партии: одни защищали офицера, другие — его бывших сослуживцев. «Раздражение, с которым высказывались оба эти взгляда на дело, отозвалось и на ходе судебного процесса, и на последовавших за ним действиях и распоряжениях высших властей»<sup>157</sup>. Поскольку одним из активных гонителей Квитницкого был сын военного министра флигель-адъютант поручик Алексей Милютин, а против самого Дмитрия Алексеевича в придворной среде плелась интрига, судебный процесс дал в руки недоброжелателей министра сильные козыри. Гласный судебный процесс приоткрыл завесу над тем, что всегда так тщательно скрывалось, — и изумлённая публика увидела, что лощёные гвардейцы способны строить козни своему товарищу. «Говорят, что разные высокопоставленные лица жестоко рассердились на военный суд, на котором в таком невыгодном свете оказалось офицерство, делавшее низкие козни против Квитниц-

кого, — пишет в дневнике А. В. Никитенко. — Офицерство это принадлежит к богатым и знатым фамилиям, и суд виноват, видите ли, что они публично изобличены в гадостях. Но чем же тут виноват суд? Ведь все эти господа изобличили сами себя своими показаниями: они говорили только то, что они делали, и это деланное ими вышло великою мерзостью. Защитники их желали бы, чтобы суд был негласный, безмолвно и во мраке, как прежде, осуждающий и оправдывающий, кого угодно и как угодно высшим»<sup>158</sup>.

Всех — и сторонников, и противников Квитницкого — изумило решение судей. Санкт-Петербургский военно-окружной суд приговорил подсудимого к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на поселение. Однако, вынеся этот суровый приговор на основании статьи закона, суд постановил ходатайствовать перед императором о *совершенном помиловании* Квитницкого и вынес частное определение о неправильных действиях командира бригады, командира и десяти офицеров 1-й батареи. В зале суда среди прочей публики находились светские дамы и члены Императорской фамилии — великие князья Константин и Николай Николаевичи и герцог Лейхтенбергский. Публика устроила Квитницкому патетическую овацию, а один из великих князей пожал подсудимому руку.

Александр II оказался в непростой ситуации и в итоге сделал военному суду выговор за неуместное ходатайство. Приговор поступил на кассацию. Окончательный вердикт бы таков: штабс-капитана Квитницкого разжаловали в рядовые и отправили служить в Туркестан; командир бригады генерал-майор Губский был без прошения уволен в отставку, а интриговавших офицеров перевели с потерей чинов из гвардии в армейские части или вынудили выйти в отставку; сын военного министра был отчислен из гвардейской артиллерии и направлен в Закаспийский отряд, которому предстояло сражаться с Хивой.

Рядовой Квитницкий отважно воевал под командованием генерала Скобелева и по его представлению получил три знака отличия Военного ордена — солдатский Георгиевский крест 4, 3 и 2-й степени. За службу

и храбрость Квитницкому вернули офицерский чин, 1 января 1877 года произвели в майоры и направили служить в армейскую кавалерию. (Чин армейского майора по Табели о рангах соответствовал носимому им до суда чину штабс-капитана лейб-гвардии.) Майор Квитницкий неустрашимо сражался во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, обретя в течение одного года ордена Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, Святого Станислава 2-й степени с мечами, Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Золотое оружие, румынские ордена Железной короны и «Vertute militara» («За воинскую доблесть»), чины подполковника и полковника — всё это *за боевые отличия*. Тем не менее на протяжении ещё нескольких лет, пока генерал Милютин оставался военным министром, полковника Квитницкого не назначали командиром части. Словом, по выражению героя Грибоедова:

Не жалуюсь, не обходили,  
Однако за полком два года поводили<sup>159</sup>.

Полковник Скалозуб ждал два года, полковник Квитницкий — более четырёх лет.

Дмитрий Алексеевич Милютин весьма подозрительно относился к офицерам польского происхождения, проявляющим показное служебное рвение. У него были для этого основания. Капитан Генерального штаба Сигизмунд Игнатьевич Сераковский, который был лично известен военному министру «как офицер бойкий и ретивый»<sup>160</sup>, в апреле 1863 года изменил присяге и стал командиром повстанческого отряда в Литве. «Сераковский... выказал во всей полноте те отличительные черты польского характера, которые особенно антипатичны для нас, русских, — иезуитскую двуличность, вкрадчивость и вероломство. В продолжение многих лет он разыгрывал роль усердного, преданного службе офицера; но по свойственной же полякам самонадеянности слишком уж далеко зашёл в своём расчёте на мою доверчивость»<sup>161</sup>. Вот почему министр не спешил с назначением Квитницкого полковым командиром. Лишь спустя почти два года после отставки Милютина,

23 января 1883 года, уже в царствование Александра III, боевой офицер и участник трёх военных кампаний в 39-летнем возрасте получил под своё командование прославленный 33-й драгунский Изюмский полк, ранее именовавшийся гусарским. Вершиной его карьеры стал чин генерал-лейтенанта и должность начальника 15-й кавалерийской дивизии, на которую он был назначен при Николае II<sup>162</sup>. Должность начальника дивизии Эраст Ксенофонович занимал до 14 января 1907 года, когда с производством в чин генерала от кавалерии Квитницкий был уволен в отставку с мундиром и пенсией. Генерал уже был тяжело болен и 3 октября того же года скончался во Франции, куда выехал на лечение.

История Квитницкого, с достоинством и честью служившего трём государям, завершилась эпилогом — оптимистическим для самого героя, но пессимистическим для судеб империи. После Польского восстания 1863 года в российском имперском сознании обострилась полонофобия, а для воинствующих националистов поляки, не перестававшие мечтать о независимости своей родины, стали врагом номер один. До этого восстания поляков могли трактовать как неблагодарных подданных монарха, после восстания почти в каждом из них видели потенциального изменника. Умная, начитанная и наблюдательная Елена Штакеншнейдер, дочь придворного архитектора, написала об этом в дневнике:

«В 1861 году на поляков смотрели не так, как смотрят теперь, в 1864 году. Их тогда не любили, по старой памяти, по преданию, инстинктивно, но во имя прогресса, свободы, во имя многих прекрасных слов — силились полюбить.

Теперь отношения яснее обозначились, инстинктивное отвращение оправдало себя и уже не скрывается. Прогресс и прочее — скинуты как парадное платье и заменены преданием, этим покойным халатом. Теперь прогресс надобно спрятать под спуд, благо он из моды вышел»<sup>163</sup>.

Отныне ни о каком примирении двух славянских народов не могло быть и речи.

## *Осень империи*

Летом 1863 года Российская империя стояла на пороге большой войны с коалицией трёх первостепенных европейских держав — Англии, Франции и Австрии. Война могла разразиться в любую минуту, а вооружённые силы империи не были готовы к началу боевых действий. Одни части были только что сформированы и не имели боевого опыта; другие — только что начали формироваться; материальная часть армии ещё не была пополнена; необходимые для ведения войны запасы пороха, пуль, снарядов не были заготовлены; далеки были от завершения работы по переоборудованию и модернизации крепостей на западной границе. Россия ещё не успела обзавестись современным флотом, и в случае войны с Англией морские границы империи были бы беззащитны.

Одиннадцатого июня русское правительство получило от Франции, Австрии и Англии ноты с требованием созыва конференции европейских держав для решения польского вопроса. Империя прибегла к стратегии непрямых действий. Был найден эффективный способ, как продемонстрировать «владычице морей» уязвимость её колоний. «Единственное для нас средство вредить Англии, — по словам военного министра, — могло состоять лишь в том, чтобы угрожать её торговле и колониям посредством крейсеров, которые гонялись бы за бесчисленными коммерческими судами океанов и морей»<sup>164</sup>. В июне Морское министерство приступило к снаряжению эскадры, с середины июля в обстановке исключительной секретности военные суда эскадры контр-адмирала Степана Степановича Лесовского стали поодиночке покидать Кронштадт. Капитанов кораблей снабдили инструкциями в запечатанных конвертах, которые предписано было вскрыть только в открытом море. И лишь в открытом море капитаны узнали о сборном пункте для всей эскадры. Кораблям было строжайше запрещено заходить в какие-либо порты: необходимые для паровых судов запасы угля и провизии подвозились на особых транспортах и грузились в открытом море.

Предпринятые меры безопасности блестяще себя оправдали. Как вспоминал военный министр Милютин, когда в порту Нью-Йорка внезапно встали на якорь шесть русских паровых судов, вооружённых 188 пушками, это стало мировой сенсацией. «Неожиданное это открытие, конечно, произвело впечатление преимущественно в Англии, так как не трудно было угадать назначение эскадры. Оно тем более встревожило британское правительство, что почти все приморские пункты английских колоний и многочисленные промежуточные станции с каменноугольными складами были совершенно открыты и ничем не обеспечены от нападения. В случае войны действия наших крейсеров, при известной предприимчивости и умении, могли бы нанести чувствительный вред материальным интересам англичан...»<sup>165</sup>

Демонстративное появление у американских берегов русской эскадры было подкреплено нарочитым жестом. Российская империя усилила свою активность в Средней Азии. Военные инициативы России в этом регионе носили во многом показной характер и были направлены на то, чтобы убедить Англию в уязвимости её Ост-Индских владений. Генерал-адъютант Милютин приступил к подготовке плана военной экспедиции в Афганистан и, желая «попугать, хотя бы привидением, фантомом», сознательно допустил утечку соответствующей информации. «Фантастический этот замысел, конечно, не имел в действительности никаких последствий; но слухи о нём проникли в английскую печать. Далее этого и не простиралась наша цель»<sup>166</sup>.

Если летом 1863 года военные приготовления Российской империи в Средней Азии были рассчитаны преимущественно на внешний эффект и не отражали действительной сути имперской политики в регионе, то уже в конце этого года ситуация стала иной. Военная тревога лета 1863-го невольно вынудила верховную власть обратить внимание на уязвимость границ империи: «...расстояние в 750 вёрст было ничем не прикрыто от хищнических набегов кочевников и враждебных нам в то время кокандцев, бухарцев и хивинцев»<sup>167</sup>.

Такова была ирония истории. Угроза новой европейской войны поставила Россию перед необходимостью

сформулировать свои геополитические интересы в Средней Азии. Доселе российское Министерство иностранных дел «с давних времён держалось в азиатской политике системы пассивного консерватизма»<sup>168</sup>. Европоцентризм довлел над умами дипломатов. Министр иностранных дел князь Горчаков почти не занимался азиатскими делами и был чужд самых поверхностных сведений об Азии. Князь знал, что любой успех русской армии в азиатских степях вызовет запросы Лондона, и знаменитый дипломат принципиально не желал из-за таких «пустяков» портить отношения с Англией. (Британская империя резонно опасалась за свои колониальные владения в Индии и прекрасно осознавала их уязвимость. Военные действия России в Средней Азии однозначно расценивались англичанами как непосредственная угроза Индии.) Князь Александр Михайлович не считал нужным вникать в конкретные обстоятельства, побуждавшие местных начальников с оружием в руках отстаивать безопасность имперских границ от набегов кочевников. Более того, он был убеждён в том, что эти начальники, беззастенчиво пользуясь своей отдалённостью от столицы, сами провоцируют кочевые племена, дабы иметь повод обнажить оружие, отличиться и получить награду.

Некоторый резон в этом был. Действительно, энергичные офицеры потому-то и стремились в этот далёкий край, что рутинная служба мирного времени не давала возможностей выдвинуться и быстро подняться по карьерной лестнице. Кавказ, куда на протяжении нескольких десятилетий стремились честолюбивые офицеры, Кавказ, поглощавший  $\frac{1}{3}$  всех войск и  $\frac{1}{6}$  часть всех государственных доходов, был уже практически покорён и утратил значительную долю былой романтики. Отныне обаяние грядущих воинских подвигов манило военных, стремящихся к известности и славе, в Среднюю Азию. Поскольку между интересами Министерства иностранных дел и интересами Военного министерства возник зазор, петербургская власть не могла дать местным начальникам чётких и однозначных инструкций — в этот вакуум власти устремились активные люди. Концентрация в одном месте большого



числа честолюбивых офицеров, располагавших реальной воинской силой, отдалённость от Петербурга и отсутствие современных средств связи и развитых путей сообщения — всё это делало ситуацию непредсказуемой.

В 1861 году молодой, не достигший ещё тридцатилетнего возраста, генерал-адъютант Николай Павлович Игнатьев (1832—1908) был назначен директором Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Это назначение в известной степени нейтрализовало пассивный консерватизм князя Горчакова в азиатских делах. Генерал Игнатьев был удачлив, честолюбив и предприимчив, а его инициативность зачастую граничила с авантюризмом. Игнатьев хорошо знал Азию и приобрёл европейскую известность своими удачными дипломатическими миссиями в Хиве и Китае. Заняв важный пост директора департамента, генерал не собирался останавливаться на достигнутом и метил занять со временем министерское кресло. В реализации своих замыслов Игнатьев нуждался в поддержке, которую обрёл в лице военного министра Милютина. Игнатьев с успехом окончил Академию Генерального штаба, а военный министр не скрывал своей симпатии к генштабистам. Несмотря на разницу в возрасте, двух генерал-адъютантов связывали почти что приятельские отношения. «Благодаря этим личным отношениям мы входили в частные между собой соглашения по азиатским делам и общими силами успокаивали пугливость вице-канцлера»<sup>169</sup>.

Дружеская связь двух лиц государевой Свиты стала исторической случайностью, имевшей далекоидущие последствия и превратившейся в ускоритель продвижения Российской империи в Средней Азии. Отныне практически ничто не сдерживало инициативу местных начальников и не мешало им при наличии достаточных поводов ввязаться в схватку со среднеазиатскими соседями империи. И если Кавказская война позволила князю Барятинскому обрести жезл фельдмаршала, то военные действия в Средней Азии положили начало блистательной карьере «белого генерала» Михаила Дмитриевича Скобелева.

Ярко засияла, но быстро погасла звезда ещё одного героя последних походов империи — генерала Михаила Григорьевича Черняева. Черняев прибыл в край в чине полковника и за боевые отличия получил генеральский чин, редко жаловавшийся орден Святого Георгия 3-й степени, ленту ордена Святого Станислава 1-й степени и Золотое оружие. С ничтожными силами он штурмом овладел Чимкентом, но первоначально потерпел неудачу под Ташкентом. Неудача не смутила генерала. В Петербурге уже прозвучала мысль, сначала не нашедшая поддержки в высших сферах, что «единственный пункт, который может сделаться центром администрации нашей в Средней Азии, есть Ташкент»<sup>170</sup>. Это мнение, высказанное отличным знатоком края генерал-лейтенантом Егором Петровичем Ковалевским, было расценено петербургскими властями как шутка: Ташкент ещё не был завоёван. Однако верховная власть приняла решение о создании в пределах империи новой области — Туркестанской, военным губернатором которой был назначен генерал Черняев. В его руках была сосредоточена не только власть над обширной недавно покорённой территорией, но и немалая воинская сила. Образованием новой административной единицы дело не ограничилось. Военное министерство приняло решение об увеличении там войск. Формально Черняеву были даны инструкции, запрещающие воплощать в жизнь его амбициозные завоевательные планы. Фактически эти инструкции ни в коей мере не лишали генерала реальной возможности проявлять предприимчивость. Он был уверен в том, что его самовольные действия останутся безнаказанными и что он не только не подвергнется ответственности, но и будет награждён и прославлен. «Страх ответственности за всякое уклонение от инструкции может убивать энергию и предприимчивость»<sup>171</sup>. Таково было кредо военного министра. До поры до времени Милютин весьма снисходительно смотрел на активные действия Черняева, в которых самоволие граничило с авантюризмом, а превышение служебных полномочий — с нарушением служебной субординации. В ночь с 14 на 15 июня 1865 года генерал Черняев, воспользовавшись формальным

поводом, самовольно сосредоточил войска и предпринял штурм Ташкента. Войска ворвались в город, уличные бои продолжались два дня, город был взят и присоединён к империи. Победителей не судят! За этот успешный штурм генерал был пожалован очень лестной боевой наградой — Золотой саблей, украшенной алмазами, с надписью «За взятие Ташкента».

Однако генерал своими самовольными действиями неоднократно ставил верховную власть в очень сложное положение: «Своеволие его, неповиновение, самодурство, — по словам Милютина, — дошли до явного нарушения основных правил службы. Увлекаемый неутолимою жаждою военной славы, Черняев не соразмерял своих предприятий со средствами и, действуя вопреки получаемым инструкциям, очутился с горстью войск лицом к лицу пред двумя противниками: Бухарой и Коканом»<sup>172</sup>. Увлекаясь своими безрассудными завоевательными планами, генерал совершенно запустил административную и финансовую часть Туркестанской области. В делах царил совершенный хаос. Не прошло и года, как самоуправство генерал-майора Черняева истощало терпение верховной власти и вынудило её отозвать генерала в Петербург, где он демонстративно подал в отставку.

Жажда отличий была столь сильной, что воинские начальники не боялись во главе всего-навсего нескольких сотен солдат и казаков атаковать тысячи кочевников. И хотя их военные авантюры не всегда увенчивались победными лаврами, в итоге Российская империя приобрела Туркестан и в очередной раз округлила свои границы. Великобритания, имевшая там свои интересы, ограничивалась дипломатическими нотами, но не могла да и боялась оказать вооружённое противодействие российским завоеваниям в Средней Азии. На все вопросы и попреки англичан российское Министерство иностранных дел по согласованию с Военным министерством отвечало, не без резона, что «государство, становясь в соприкосновение с народом полудиким, а тем более с кочевым и склонным к хищничеству, вынуждено бывает самой силою вещей постепенно выдвигать вперёд свою пограничную линию и искать ес-

тественных рубежей, удобных для охранения... <...> Россия подвигалась таким образом в Средней Азии вовсе не из желания расширять свою территорию, а исключительно в видах обуздания и умиротворения беспокойных соседних племён, для водворения между ними гражданственности»<sup>173</sup>.

Средняя Азия — последнее крупное расширение границ Российской империи. Но это была самая настоящая осень империи. Мысль завладевающая, о которой собирался написать, да так и не написал большой роман Лев Николаевич Толстой, постепенно сходил на нет. Империя, перестающая расширять свои границы и начинающая соизмерять издержки новых завоеваний с их конечными результатами, перестаёт быть империей и начинает клониться к закату. У Российской империи хватило сил и средств победоносно завершить Русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Однако весьма скромные территориальные приобретения вызвали нескрываемое разочарование в обществе. Они не шли ни в какое сравнение с понесёнными жертвами. Россия вернула себе южную часть Бессарабии, потерянную в Крымской войне, и присоединила Карскую область. Константинополь и Черноморские проливы — эта навязчивая грёза империи на протяжении всего петербургского периода — по-прежнему оставались недостижимой мечтой. Опасаясь новой большой европейской войны, император Александр II воздержался от занятия Константинополя, ибо в Мраморном море уже находилась мощная английская эскадра, грозившая России повторением крымской катастрофы. «...Вообще мы **не доросли** до европейской войны, в которой нас, несомненно, расколотили бы, несмотря на превосходные индивидуальные качества нашего солдата»<sup>174</sup>, — без обиняков утверждал фельдмаршал Иосиф Владимирович Гурко, один из самых авторитетных, смелых и решительных русских военачальников.

В итоге последние внушительные военные победы империи закончились дипломатическим поражением России на Берлинском конгрессе. В 1878 году, вернувшись из Берлина в Петербург, государственный канцлер светлейший князь Горчаков представил государю

доклад о конгрессе, сопровождавшийся особой запиской, в которой писал: «Берлинский трактат есть самая чёрная страница в моей служебной карьере». К этим словам князя Александра Михайловича император Александр II приписал: «И в моей также»<sup>175</sup>. Несколькоми годами ранее «железный канцлер» Отто фон Бисмарк сказал, что битву при Садовой, сыгравшую решающую роль в объединении Германии, выиграл прусский школьный учитель. И хотя большая кровопролитная Русско-турецкая война закончилась победой русского оружия, в обществе господствовала апатия. Победы русского оружия не смогли закрепить не только дипломаты, но и школьные учителя.

### *«В начале жизни школу помню я...»*

После подавления восстания декабристов император Николай I направил свой августейший взор на сферу народного просвещения. Как известно, Пушкин по поручению государя составил записку «О народном воспитании». Свою записку он начал так: «Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлёк многих молодых людей в преступные заблуждения. Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий»<sup>176</sup>. Пушкин гениально понял суть проблемы. Охранительные функции обучения выступили на первый план, решительно оттеснив практические потребности. Отныне власть стала заботиться о том, чтобы получаемое образование не провоцировало «преступные заблуждения» и не было использовано российским юношеством для потрясения основ. Учитель, находящийся на государственной службе, должен был не развивать природные способности ученика, а прививать ему чинопочитание, благонравие, прилежание и усердие. Вспомним учителя уездного училища из гоголевских «Мёртвых душ». «Способности и дарования? это всё вздор, — говаривал он, — я смотрю только

на поведение. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведёт себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому ноль, хоть он Солона заткни за пояс!» Это не было карикатурой. По существу, скромный уездный учитель действовал, сообразуясь с духом царского совета, переданного шефом жандармов генералом Бенкендорфом Пушкину в ответ на его записку: «Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание»<sup>177</sup>. Осуществляемые самодержавной властью благие намерения превратились в свою противоположность. «Презренная польза» была изгнана из процесса обучения. Учащихся изолировали от утилитарных потребностей реальной жизни, а выпускников отечественной средней и высшей школы не готовили к практической деятельности. *За редким исключением, они не могли освоить профессию, реализоваться в этой профессии и преуспеть в ней, чтобы иметь возможность достойно жить за счёт своих профессиональных знаний.* В результате молодой человек не мог найти применения своим силам и либо превращался в «умную ненужность» и «лишнего человека», либо начинал сотрясать основы.

Пятнадцатого апреля 1834 года цензор Александр Васильевич Никитенко в своём дневнике подвёл, по его мнению, безотрадный итог первому десятилетию николаевского царствования: «...Когда, одним словом, нам объявили, что люди образованные считаются в нашем обществе париями; что оно приемлет в свои недра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признаётся единственным началом, на основании которого позволено действовать, — тогда всё юное поколение вдруг нравственно оскудело. Все его высокие чувства, все идеи, согревавшие его сердце, воодушевлявшие его к добру, к истине, сделались мечтами без всякого практического значения — а мечтать людям умным смешно. Всё было приготовлено, настроено и устроено к нравственному преуспеянию — и вдруг этот склад жизни и деятельности оказался несвоевременным, негодным;

его пришлось ломать и на развалинах строить канцелярские камеры и солдатские будки.

Но, скажут, в это время открывали новые университеты, увеличили штаты учителям и профессорам, посылали молодых людей за границу для усовершенствования в науках.

Это значило ещё увеличивать массу несчастных, которые не знали, куда деться со своим развитым умом, со своими требованиями на высшую умственную жизнь.

Вот картина нашего положения: оно незавидно. Мудрено ли теперь, что мы, воспитав себя для высшего назначения и уничтоженные в собственных глазах, кидаемся, как голодные собаки, на всякую падаль, лишь бы доставить какую-нибудь пищу нашим силам»<sup>178</sup>.

Минули десятилетия. Поражением в Крымской войне закончилось николаевское царствование. Началась эпоха Великих реформ, и 6 января 1862 года уже давно успевший дослужиться до генеральского чина Никитенко записал в дневнике: «В России бездна способностей, но людей, приспособленных к делу, очень мало. Отчего это?»<sup>179</sup>

На протяжении всего петербургского периода самодержавие мнило себя мерой всех вещей и главным арбитром в любых спорах. Власть почитала для себя возможным вмешиваться во все сферы жизни общества, не исключая и частной. Монарх мог регламентировать, какое платье можно носить подданным, а какое — нельзя и сколько лошадей надлежит запрягать в собственный экипаж чиновнику того или иного ранга. Не была обделена «отеческим попечением» и сфера народного образования. Однако эта сфера на протяжении жизни нескольких поколений учреждалась, организовывалась и финансировалась исключительно односторонне. Едва справляясь с воспроизводством чиновников и офицеров для правительственного аппарата, верховная власть явно недостаточно занималась проблемой обучения педагогов, медиков, инженеров-политехников, агрономов, ветеринаров и полностью устранилась от подготовки дипломированных коммерсантов в рамках государственной высшей школы. Российская империя была аграрной страной, но она существенно уступала

по числу земледельческих высших школ развитым европейским странам. Например, в 1912 году в Германии было восемь специальных учебных заведений и 11 университетских факультетов земледельческого профиля, во Франции — семь агротехнических высших школ, а в аграрной России в это же время было всего-навсего шесть учебных заведений, дающих высшее сельскохозяйственное образование. Динамично развивающийся российский бизнес нуждался в специалистах, а государство принципиально не желало взваливать бремя подготовки этих кадров на свои плечи. Их обучение оплачивал сам бизнес. В этом не было ничего плохого: российская буржуазия обладала достаточными средствами, чтобы содержать высшие учебные заведения. Проблема была в ином: выпускники неправительственной коммерческой высшей школы не были уравнены в служебных и сословных правах и в льготах по воинской повинности с выпускниками казённой высшей школы<sup>180</sup>.

Начало эпохи Великих реформ совпало, как я уже говорил, с пятикратным увеличением российского студенчества. Отечественная высшая школа столкнулась с очень серьёзной проблемой — низким уровнем базовой подготовки студентов. Между средней и высшей школой начало возрастать несоответствие, преодолению которого препятствовала слабая педагогическая подготовка преподавателей гимназий. Дневник Никитенко, преподававшего в Петербургском университете, передаёт показательную картину экзамена, который состоялся 12 апреля 1861 года в Санкт-Петербургском университете. «Экзамен в университете из русской истории. Надо отдать справедливость этим юношам: они прескверно экзаменовались. Они совсем не знают — и чего не знают? — истории своего отечества. В какое время? — Когда толкуют и умствуют о разных государственных реформах. У какого профессора не знают? — У наиболее популярного и которого они награждают одобрительными криками и аплодисментами. Кто не знает? — Историко-филологи, у которых наука считается всё-таки в наибольшем почёте и которые слывут лучшими студентами, не знаю, впрочем, почему. Неве-



жество их, вялость, отсутствие логики в их речах, неясность изложения превзошли мои худшие ожидания»<sup>181</sup>.

Об этих же экзаменах рассказывает также историк Николай Иванович Костомаров, которого имел в виду мемуарист, упомянув о наиболее популярном из профессоров: «Я... не мог без смеха слушать их ответов, обличавших такое невежество, какое непростительно было бы и для порядочного гимназиста. Так, например, один студент... не мог ответить, на какой реке лежит Новгород; другой — не слышал никогда о существовании самозванцев в русской истории; третий (это был впоследствии составивший себе известность в литературе Писарев) не знал о том, что в России были патриархи, и не мог ответить, где погребались московские цари»<sup>182</sup>.

После гимназической жёсткой дисциплины университетская свобода пьянила, а отсутствие надзора рождало ощущение вседозволенности. Студенты имели возможность свободно слушать лекции профессоров не только своего, но и других факультетов, что порождало верхоглядство и уводило от потребности в систематическом и упорном труде. Это были золотой век толстых журналов и эпоха воинствующего и торжествующего дилетантизма. Профессора отмечали, что студенты предпочитают черпать знания не из специальной научной литературы, чтение которой требовало усидчивости и регулярных умственных усилий, а из публицистических журнальных статей. «При status quo, — студенты получают из университетов дипломы, но образование получают из журналов и газет, из частных кружков, кафешантанов и конспиративных и полуконспиративных квартир, — замечает в дневнике Пётр Александрович Валуев. — Они никого не уважают, — и, к сожалению, никого уважать не могут, начиная, к ещё большему сожалению, с семейств тех, у кого есть семейство»<sup>183</sup>.

Университет давал энциклопедическое образование и общую научную подготовку. Но в нём не прививали профессиональных навыков, не учили «тайнам ремесла» и психологически не готовили к работе по конкретной специальности. Университет считался храмом «чи-

стой науки», а профессора — жрецами этого храма. Любое прикладное знание уничижительно трактовалось как нечто второсортное и низменное по сравнению с «чистой наукой». Так в большинстве своём рассуждали университетские профессора, так же считала власть при Николае I, Александре II и Александре III. Эта точка зрения оказалась удивительно живучей.

В конце XIX века в быт жителей крупных городов стали активно внедряться телефонно-телеграфная связь и электроэнергетика: электрическое освещение и электрический трамвай были модными новинками. Страна ощущала крайне острую потребность в отечественных инженерах-электротехниках, ибо все наиболее крупные и серьёзные электрические установки, возводимые в России, не только рассчитывались и проектировались иностранцами, но и производились под их непосредственным наблюдением. В 1891 году в Петербурге был создан Электротехнический институт, выросший на базе имевшего пятилетнюю историю среднетехнического училища для подготовки телеграфных служащих, организованного в конце царствования Александра II. И хотя курс обучения в этом институте составлял четыре года, а затем был увеличен до пяти лет, вначале институту было отказано в праве именоваться высшим учебным заведением. Вердикт Государственного совета Российской империи гласил: «К высшим учебным школам должны причисляться заведения, дающие общую научную подготовку. Для электротехники общие знания необходимы лишь в той мере, в которой могут осветить законы электричества... Поэтому относить электротехнический институт к высшим учебным заведениям было бы несогласно с истинным его значением». Лишь в 1898 году, уже в царствование последнего российского императора Николая II, статус института был повышен и институт был переведён в разряд высших учебных заведений<sup>184</sup>.

Университет был основным поставщиком учительских кадров для гимназий, но университетские профессора не считали необходимым готовить студентов к предстоящей им педагогической деятельности. 5 ноября 1904 года в Московском университете была создана

специальная комиссия для разработки плана устройства педагогического факультета. Комиссия сделала неутешительный вывод: «Физико-математический и историко-филологический факультеты университетов, преследуя специальные научные цели, дают оканчивающим курс молодым людям достаточные теоретические сведения в пределах избранных ими наук, но не вооружают их всеми теми знаниями, которые необходимы будущим преподавателям»<sup>185</sup>. К сожалению, вплоть до революции проблема подготовки в университете учителей гимназий так и не была решена российской высшей школой.

Для того чтобы стать студентом университета, необходимо было окончить классическую гимназию. В классической гимназии изучали два древних языка — латинский и греческий. Именно они были основанием классического образования. На изучение латыни отводилось в два раза больше времени, чем на новые языки — французский или немецкий, и в четыре раза больше, чем на историю. А на греческий язык в учебном плане предусматривалось столько же уроков, как на математику, включающую физику, физическую географию и краткое естествознание. И хотя учителей греческого в гимназиях постоянно не хватало (хорошие учителя были лишь в университетских городах), власть была убеждена: именно классическая гимназия с изучением двух древних языков, и только она одна должна стать подготовительной базой для университетского образования. Поборники классического образования утверждали, что углублённое изучение древних языков содействует умственной зрелости: способствует общему развитию неокрепшего юношеского ума и отвращает его от вредных мечтаний, излишнего самомнения и радикализма. Процесс усвоения древних языков изначально ставился выше результата. Это было орудие умственной гимнастики, споспешествующее приготовлению к интеллектуальному труду в университете. По уставу 1871 года к поступлению в университет допускались лишь выпускники классических гимназий. Реальные гимназии были превращены в реальные училища, что означало существенное понижение статуса этих

учебных заведений. В учебных планах реальных училищ упор делался на новые иностранные языки, математику и физику. Поначалу выпускников реальных училищ не принимали ни на один факультет университета.

Спор между «классиками» и «реалистами», проходивший в 60—70-е годы XIX века, стал выразительной приметой эпохи Великих реформ. Вопрос о том, какое образование следует предпочесть, на десятилетие разделил образованную общественность на два непримиримых лагеря. Относительно специальная проблема сфокусировала на себе внимание и общества, и власти. 2 ноября 1864 года был принят Государственным советом и 19 ноября утвержден императором Александром II «Устав гимназии и прогимназии». (Учебный план прогимназии соответствовал первым четырём классам семилетней гимназии.)

Инициатором этого устава был один из главных либеральных деятелей эпохи Великих реформ, министр народного просвещения Александр Васильевич Головнин. Опираясь на мощную поддержку великого князя Константина Николаевича, младшего брата императора, Головнин предпринял попытку превратить гимназию в общеобразовательную среднюю школу, где была бы уничтожена всякая сословность. Обучение в гимназии было платным, плата была небольшой и лишь частично компенсировала затраты государства на содержание гимназий. Хотя при помещении детей в гимназию требовалось представить свидетельство не только о возрасте, но и о звании родителей, по уставу 1864 года в гимназии мог учиться любой ребёнок, имевший предварительную подготовку: он должен был уметь читать и писать по-русски, знать главные молитвы и таблицу умножения. Министерство народного просвещения наметило следующее распределение гимназий: 49,2 процента классических с одним древним языком, 24,6 процента классических с двумя древними языками и 26,2 процента реальных гимназий<sup>186</sup>.

Формально было установлено равноправие реального гимназического образования с классическим. Фактически же выпускники классических гимназий поступали на все факультеты университета без экземе-

нов, а свидетельство об окончании реальной гимназии всего-навсего «принималось в соображение» при поступлении в высшие специальные учебные заведения. Однако «реалистам» не был закрыт путь и в университет. Выпускник реальной гимназии, сдав экзамен по латыни, мог стать студентом физико-математического или медицинского факультета. В учебном плане реальной гимназии не было латыни и греческого, но там давали хорошее знание современных языков (французского и немецкого), в ней обучали естествознанию, математике, физике и черчению.

Человеку нашего времени трудно понять, почему попытка министра Головнина формально уравнивать классическую и реальную гимназии была воспринята частью русского общества как потрясение устоев. Главный адепт классического образования Михаил Никифорович Катков с возмущением писал о попытках привить в России реальное образование (до этого реальных гимназий в стране не было): «Здесь не мёртвая материя, а самый дух послужит материалом опыта; здесь собираются разлагать, перегонять и дистиллировать самый дух русского народа». Педагогические эксперименты Головнина способны, по мнению Каткова, вызвать «бедствие, которое было бы хуже мора и голода и самых жестоких поражений»<sup>187</sup>. Дуализм гимназического образования, закреплённый головнинским уставом, не мог существовать долго: слишком силён был накал антагонистических страстей в обществе. Поэт-сатирик Николай Фёдорович Щербина предъявил министру народного просвещения политическое обвинение:

О, Головнин! Твоих уставов гимназисты  
Откроют на Руси свободы новый рай.  
И выйдут все такие прогрессисты,  
Что хоть сейчас на каторгу ссылай<sup>188</sup>.

Консервативная часть общества была убеждена в том, что изучение гимназистами естественных наук ведёт их к отрицанию религии и материализму. Покушение Дмитрия Каракозова на Александра II стало формальным поводом для отставки Головнина, последовавшей 14 апреля 1866 года. Его обвинили в общей

разнузданности молодёжи. Вопрос школьного образования был переведён в политическую плоскость. Принимая решение, верховная власть исходила не из нужд народного просвещения и интересов экономики страны, но сознательно стремилась оградить российское юношество от воздействия нигилизма.

Граф Дмитрий Андреевич Толстой, пришедший на смену Головнину, сам, кстати, не получивший классического образования, с восторгом неопита утверждал: «Спасение юношества в изучении древних языков и в изгнании естествознания и излишних предметов, как способствующих материализму и нигилизму»<sup>189</sup>. Особую весомость словам графа Толстого придавало то немаловажное обстоятельство, что, став в апреле 1866 года министром народного просвещения, он сохранил за собой пост обер-прокурора Святейшего Синода, высокое придворное звание гофмейстера и членство в Государственном совете. И хотя большинство членов Государственного совета восставали против непомерного увлечения нового министра классическим образованием, император поддержал мнение меньшинства. 30 июля 1871 года новый устав гимназий был утверждён императором. 15 мая 1872 года царь утвердил «Устав реальных училищ ведомства министерства народного просвещения». Поддержав инициативу графа Толстого, император закрыл «реалистам» дорогу в университет. В прениях по толстовским проектам активное участие принимал военный министр Милютин: «...я не жалел ни трудов, ни времени, считая делом слишком важным и признавая за собою обязанность вступить за реальное образование, с которым связаны интересы всех специальных видов службы, промышленности и общественной жизни»<sup>190</sup>.

Победа графа Толстого над его оппонентами имела далекоидущие последствия. Учитель греческого языка, судя по литературе, стал знаковой фигурой русской жизни — самым настоящим кошмаром для гимназистов и их родителей, олицетворением сакраментального «как бы чего не вышло». Вспомним учителя греческого языка Беликова из рассказа Чехова «Человек в футляре» (1898), по указке которого выгоняли из гим-

назии «сомнительных» гимназистов. Столь же одиозной фигурой был и учитель латыни. Известный российский зоолог, академик Владимир Михайлович Шимкевич (1858—1923), вспоминая в начале XX века годы учёбы в гимназии, писал, что учитель латинского языка вносил в класс «какое-то гнетущее и томительное чувство. Все его ненавидели, и большинство боялось. Говорил он мало, но умел как-то особенно выразительно молчать. Это молчание, в связи с его странной фигурой и пронизывающим неподвижным взглядом, подавляло хуже всякого крика. Про него циркулировали между нами слухи, что он деспотически угнетал свою жену, а другие добавляли, что у него умерли две жены. Возможно, что всё это было неверно, но он совершал на наших глазах с непреклонностью палача и с молчаливым спокойствием тюремщика другое ужасное дело: он методически убивал наши души»<sup>191</sup>.

В то время когда происходило стремительное развитие российской промышленности и транспорта, нуждавшихся в отечественных специалистах с высшим образованием, гимназисты корпели над изучением мёртвых языков, расплачиваясь своим временем за право поступления в высшую школу. Время, потраченное на латынь и греческий, становилось своеобразной данью, которую юность платила за гимназический аттестат «зрелости», без которого путь к высшему образованию был закрыт. По свидетельству современников, добропорядочные и благонамеренные отцы семейств искренне сокрушались, что их здоровые и рослые мальчики, обладавшие отличным зрением, к концу гимназического курса обзаводились впалой грудью, близорукостью, расшатанными нервами — все эти недуги гимназисты получали из-за постоянной отупляющей зубрёжки древних языков. Гимnazисты ненавидели и эти языки, и их преподавателей. Классическая гимназия стала для них тюрьмой, в которую была заключена их юность. «В школьной тюрьме. Исповедь ученика» — так озаглавил свои гимназические воспоминания, опубликованные отдельной брошюрой в 1907 году, литературовед, театровед и мемуарист Сергей Николаевич Дурьин (1886—1954). После того как восемь лет

гимназической жизни оказывались позади (в 1875 году срок обучения был увеличен на один год) и гимназист обретал вожделенный аттестат «зрелости», ему предстояло ещё четыре года учиться в университете. И лишь к концу этого срока выпускник понимал, что полученное им образование очень мало пригодно для реальной жизни. Его учили не тому.

«Правительство правительством, да хороши и мы! Разве не случается сплошь и рядом: человек учится где-нибудь в университете или в каком-нибудь другом высшем учебном заведении; как говорится у нас, прекрасно образован; толкует горячо о высших истинах, о свободе, о честности и чести и проч. Получает он видное место — смотришь, сделался деспотом и вором. Из кого же всё вырабатывается, как не из народа, не из общества? не есть ли оно плоть от плоти их и кость от кости их?»<sup>192</sup>

«Классики» одержали победу над «реалистами». Будущность подрастающего поколения была принесена в жертву охранительным тенденциям. Желая уберечь молодёжь от нигилизма, власть своими собственными руками каждый год готовила тысячи будущих неудачников, в то время как народное хозяйство испытывало настоящий голод в специалистах. И когда бывший выпускник Симбирской гимназии Владимир Ульянов утверждал, что «память молодого человека обременяли безмерным количеством знаний, на девять десятых ненужных и на одну десятую искажённых», он знал, что говорил.

Граф Лев Николаевич Толстой устами Константина Левина с афористической краткостью охарактеризовал пореформенную Россию: «Теперь, когда всё это переверотилось и только укладывается». Переверотились взаимоотношения власти и общества, отношения между сословиями, нравственные устои общества и семейные связи. О последнем перевероте нужно сказать особо.



## «ФРАНЦУЗСКАЯ ГОРИЗОНТАЛКА»

### СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ

*...Формы жизни человечества,  
политические, общественные,  
семейные, уж устарели и не го-  
дятся в настоящее время уже и  
обречены погибнуть, рушиться...*

Е. А. Штакеншнейдер.  
Дневник. 10 апреля 1858 года<sup>193</sup>

### *«Семья, основа государства, поколебалась...»*

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844—1918), вспоминая в начале XX столетия время своей молодости — 60-е годы XIX века, упомянул и «французскую горизонталку»<sup>194</sup>. Так сиятельный граф назвал не отличавшуюся строгостью нравов великосветскую даму. И хотя в момент работы над мемуарами минуло почти полстолетия после описываемых событий, Сергей Дмитриевич каждый раз с трудом сдерживал волнение, когда вспоминал о подобных дамах. Видимо, сам факт существования «французских горизонталок» в русской жизни до сих пор вызывал у него болезненную реакцию, связанную с чем-то глубоко личным, о чём даже самому себе и даже на краю могилы человек не всегда рискнёт признаться.

Граф Шереметев дал нам ключик, с помощью которого мы можем открыть потаённую дверь, посмотреть на последнюю треть XIX века под совершенно неожиданным углом и узреть произошедшую тогда в России сексуальную революцию, которую исследователи ухитрились не замечать. Граф безоговорочно связывал сек-

суальную революцию в России с тлетворным влиянием чужеродных нравов. 6 марта 1891 года Сергей Дмитриевич зафиксировал эту мысль в одной из своих заметок:

«Не так давно мы пережили мрачное время второй Наполеоновской империи, время оперетки, канкана и государственного разврата. Оно отразилось и у нас всецело, и торжествующий разврат господствовал на погибель всему, что было дорого и свято, неудержимо стремясь потоком во все слои. Семья, основа государства, поколебалась, порок торжествовал, хищения достигли предела!..»<sup>195</sup>

В высшем обществе 1860-х годов тон задавали великосветские львицы, желавшие походить на дам парижского полусвета. Именно они, а не мужчины, были законодательницами мод и председательницами оргий. Модные петербургские дамы брали пример с французских кокоток и героинь оперетт Оффенбаха. Как писал в том же 1863 году Аполлон Майков:

А ваши дамы и девицы  
Из-за кулис бросают взор  
На пир разгульной модной львицы,  
На золотой её позор<sup>196</sup>.

У светских дам, желавших сохранить любовь своих избранников, были веские основания подражать женщинам лёгкого поведения, ибо в эти годы мужчины со средствами и весом в обществе отдавали предпочтение куртизанкам из числа гастролирующих французских актрис или отечественных балетных танцовщиц. Пример подавали члены Императорской фамилии. Великий князь Константин Николаевич, младший брат императора Александра II и генерал-адмирал российского флота, открыто содержал артистку императорских театров балерину Анну Васильевну Князеву, урождённую Кузнецову, и имел от неё пятерых детей<sup>197</sup>. Не отстал от одного из главных деятелей эпохи Великих реформ и другой младший брат императора. Генерал-фельдмаршал великий князь Николай Николаевич Старший, командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, от длительной связи с балериной Екатериной Григорьевной Числовой имел пятерых детей, впослед-

ствии получивших права потомственного дворянства. Внебрачные сыновья Николая Николаевича служили в полках лейб-гвардии Конно-гренадерском и Кавалергардском<sup>198</sup>. «Да разве он один? Подобных примеров не оберёшься. Теперь две бывшие танцовщицы — предводительши! Губернские предводительши!» — с возмущением восклицает молодая 22-летняя светская дама Марья Михайловна, главная героиня романа Петра Дмитриевича Боборыкина «Жертва вечерняя». (Действие фактографичного романа разворачивается в Петербурге второй половины 1860-х годов.) На страницах своего интимного дневника Марья Михайловна повествует о юной, но расчётливой выпускнице театральной школы.

«Эта похитрее. Сразу не поехала ни с кем и начала поддразнивать своих обожателей: кто больше даст. И Мишель Кувшинин, самый умный мальчик, на прекрасной дороге, теперь назначен куда-то губернатором, предлагал ей сто шестьдесят тысяч выкупными свидетельствами!!

“Единоновременно”, как выразился Кучкин.

Это неслыханно, это Бог знает что такое!

И что в них? Я видела несколько раз эту стошестьдесяттысячную. Ободранная кошка: ни плеч, ни рук, ни черт лица. Глупые глаза, большие ноги, рот до ушей! Какие же в них сокровенные прелести находят мужчины?»

Вот почему дамы высшего света, стремившиеся опытным путём получить исчерпывающий ответ на этот сакраментальный вопрос, освящённый авторитетом плодovitого беллетриста, стали сознательно копировать образ жизни и поведение куртизанок, *обезьянничать*, или *обезьянить*, как говаривали в то время. «От нас все уйдут, если мы сами не сделаемся Леонтинами!» — с грустью признаётся Марье Михайловне её подруга Елена Шамшина<sup>199</sup>. Дамам с камелиями вслед за великосветскими львицами стали подражать даже до толе скромные чиновницы. Вспомним «Балет» Некрасова:

Тешить жён — богачам не забота,  
Им простибельна всякая блажь.  
Но прискорбно душе патриота,  
Что чиновницы рвутся туда ж.

Марья Саввишна! вы бы надели  
Платье проще! — Ведь как ни рядись,  
Не оденетесь лучше камелий  
И богаче французских актрис!<sup>200</sup>

Первые годы после отмены крепостного права стали временем последнего всплеска дворянской роскоши. Большая масса наличных денег была изъята из сферы производства и направлена в сферу потребления. В связи с отменой крепостного права в Российской империи была проведена выкупная операция. Государство кредитовало выкуп крестьянами усадьбы и земельного надела. Крестьяне получили от государства выкупную ссуду, положенную на имя помещика в банк. Полученную ссуду крестьяне должны были погасить в течение сорока девяти лет по шесть процентов ежегодно. Эти ежегодные платежи назывались выкупными платежами.

Огромные деньги, полученные помещиками в качестве выкупных свидетельств, частенько прокучивались. Мало кто был всерьёз озабочен вложением этих денег в обустройство своих родовых и благоприобретённых имений. «Выкупные свидетельства после 1861 года зудели в руках дворян-помещиков. Где же легче, быстрее и приятнее можно было их спустить, как не за границей...»<sup>201</sup> Повсеместно господствовало расточительное потребление. Устраивались шикарные приёмы, шампанское лилось рекой...

Однажды граф Шереметев оказался на званом вечере в доме княгини Ольги Петровны Волконской. Хозяйка дома на Дворцовой набережной была одной из тех львиц, что почитали парижские нравы образцовыми и стремились пересадить их на петербургскую почву. Пел цыганский хор. «Княгиня неистово требовала, чтобы пели “Пропaday моя телега, все четыре колеса” и сама приударила»<sup>202</sup>. Через несколько лет такой жизни, когда даже кутежи лишились своей былой художественности и приобрели вульгарную разнузданность, состояние не одной княгини Волконской, но и многих этих модных дам было расстроено совершенно — и граф Шереметев с сожалением вспоминал о непозволительной слабости мужей. Мужья не могли противостоять ни женской расточительности, ни женской распущенности.

Внимательно вчитаемся в мемуары графа Сергея Дмитриевича. Мемуарист не был склонен смаковать пикантные подробности и не стремился оставить потомству скандальную хронику жизни высшего света времён своей молодости. Однако иногда привычная сдержанность изменяла графу, и тогда он проговаривался о том, о чём иные предпочли бы умолчать. Внимательное чтение мемуаров убеждает нас в том, что в пореформенной России происходило нечто большее, чем «повреждение нравов». Женщина перестала быть душой семьи, а сама традиционная семья стала подвергаться разрушению. И хотя в высшем свете само это разрушение сопровождалось соблюдением благопристойностей, суть дела от этого не менялась.

«С мужем она жила почти что врозь и очень любила окружать себя совершенно молодыми людьми, к которым сама привязывалась. Особенно покровительствовала она Кавалергардскому полку».

«Сделавшись женою сановника, с которым обжилась, она сохранила за собою свободу действий, поскольку допускаемо оно было пределами благоразумия и приличия».

«Всё было предметом отрицания: религия, родина, семья... Это было роковым последствием сложных психологических причин, и прежде всего оно было подготовлено родным кровом, в котором проповедовалось открытое отрицание семьи...»<sup>203</sup>

Эротические оргии, прозванные современниками «афинскими вечерами», стали выразительной приметой жизни великосветского Петербурга пореформенной поры. Этим не преминул воспользоваться Пётр Дмитриевич Боборыкин, имевший репутацию «бытописателя и хроникёра русского общества»<sup>204</sup>.

Пётр Дмитриевич был одним из самых известных и читаемых российских беллетристов эпохи Великих реформ. Он не имел себе равных в умении первым уловить новейшее общественное явление, чтобы вслед за тем незамедлительно запечатлеть его на страницах своего очередного произведения. В русском обществе возникла потребность в фигурах подобного рода: в стране выходило множество толстых журналов, подписчики

которых желали быть в курсе не только новостей политики, литературы и культуры, но и своевременно узнавать об изнаночных сторонах всех слоёв жизни общества. В 1868 году в петербургском учёно-литературном журнале «Всемирный труд» был опубликован роман Боборыкина «Жертва вечерняя». Автор романа избрал для своего произведения форму интимного дневника, который ведёт Марья Михайловна — молодая богатая вдова гвардейского адъютанта. Вдова живописует свои любовные приключения, венцом которых стала разнузданная оргия вдесятером. В Великий пост, когда надлежит воздерживаться от скоромной пищи и суетных наслаждений большого света, «самые неприступные женщины столицы» и их любовники стали тайком собираться в большой петербургской квартире, имевшей пять отдельных интимных покоев, а посередине салон и столовую. Почти по поговорке: «Пост не мост, можно и объехать». Великосветские дамы уединялись со своими кавалерами, после чего устраивался совместный ужин с шампанским, все участники которого облачались в игривые и фривольные костюмы, в которых они никогда не рискнули бы появиться в обществе. Ужин сопровождался обильными возлияниями, нескромными танцами и соблазнительными разговорами. Перелистаем «дневник» Марьи Михайловны.

«Ужин кончился таким канканчиком, что у меня до сих пор болят ноги...»

«Мы заставили каждого из мужчин рассказать про свою первую любовь. Сколько было смеху! Все, лет по шестнадцати, потеряли свою невинность. <...> Три наши замужние жены рассказывали также истории из своего девчества. Я вышла замуж совсем душой, а все они ой-ой!»

«Ужин перешёл в настоящую оргию. И я всех превзошла! Во мне не осталось ни капли стыдливости. Я была как какая-нибудь бесноватая. Что я делала, Боже мой, что я говорила! Половину я и не помню теперь; но если бы и вспомнила, я не в состоянии записать этого.

Сквозь винные пары (шампанского мы ужасно выпили) раздавался шумный хохот мужчин, крики, взвизгиванья, истерический какой-то смех, и во всей комнате чад, чад, чад!

Нет, я не могу кончить этой сцены, этой адской сцены...»<sup>205</sup>

Эта «адская сцена» происходила во время Великого поста, когда православная церковь не благословляет даже супружескую близость. Оргия во время поста — это демонстративное осквернение и поругание нравственных и религиозных норм, деяние не только греховное, но и кощунственное. Однако сознание собственной безнаказанности доставляло всем участникам оргий ни с чем не сравнимое острое и пикантное удовольствие. «Эдак ужасно весело! Дурачить свет целым обществом, коллективно, как говорит мой Домбрович, ещё приятнее»<sup>206</sup>.

Сразу же после выхода в свет роман Боборыкина приобрёл скандальную известность, а выражение «афинский вечер» стало крылатым. Подробности этих петербургских оргий были такого сорта, что известный в своё время беллетрист, поведав о них городу и миру в «Жертве вечерней», постеснялся рассказать об этом в своих литературных мемуарах «За полвека». Даже спустя полвека после изображаемых событий, когда порнографическая литература уже стала фактом российского книжного рынка, Боборыкин посовестился детально описать хотя бы один такой «афинский вечер». Он лишь вскользь упомянул о ёлке, которую устроил один из его приятелей под Новый год... «в семейных банях»<sup>207</sup>. Судя по всему, тяга великосветской молодёжи к удовольствиям подобного рода была настолько присуща эпохе, что Лев Николаевич Толстой счёл необходимым помянуть в *современном* романе «Анна Каренина» (1873—1877), что флигель-адъютант граф Вронский, по долгу службы сопровождающий иностранного принца во время его приезда в Петербург, знакомит эту важную персону с «животными удовольствиями» Северной столицы. В честь приезда иностранного принца Вронский и его приятели организовали «афинский вечер», после чего Анна с нескрываемой ревностью спрашивала своего возлюбленного: неужели ему было интересно «смотреть на Терезу в костюме Евы»?

Светское общество пореформенной России было не более развращённым, чем в достославные времена моды на «добросовестный, ребяческий разврат»<sup>208</sup>. При-



Император Александр II Освободитель. Художник *Е. И. Ботман*. 1872 г.





Курсистка. Художник Н. А. Ярошенко. 1880 г.



Студент. Художник Н. А. Ярошенко. 1881 г.



Чтение манифеста 19 февраля 1861 года.  
Художник Г. Г. Мясоедов. 1873 г.

Старое и молодое.  
Художник Н. А. Ярошенко. 1881 г.





Бабушкин сад.  
Фрагмент.  
Художник  
В. Д. Поленов.  
1878 г.



Всё в прошлом.  
Художник  
В. М. Максимов.  
1889 г.





Разлука.  
Художник А. И. Корзухин. 1872 г.

На войну. Фрагмент.  
Художник К. А. Савицкий. 1888 г.





К родным. Художник Л. О. Пастернак. 1891 г.





Жена-модница (Сборы на бал). Художник Ф. С. Журавлёв. 1872 г.



У камина. Художник В. А. Бобров. 1890 г.





Литературное чтение.  
Художник В. Е. Маковский. 1866 г.

Помещица в пути.  
Художник Н. Е. Сверчков. 1855 г.





Дворник, отдающий квартиру барыне. Художник В. Г. Перов. 1878 г.



Сельская бесплатная школа.  
Художник А. И. Морозов. 1865 г.

Московские балаганы.  
Художник К. Е. Маковский







Девичник.  
Художник А. И. Корзухин. 1889 г.

Петрушка илёт!  
Художник А. И. Корзухин





За чтением письма. Художник Н. П. Богданов-Бельский. 1892 г.



Первый дебют. Художник *М. Г. Малышев*. 1883 г.





Зелёная лампа. Художник *Н. П. Богданов-Бельский*

дворные эпохи Великих реформ предавались разврату гораздо меньше, чем придворные эпохи Екатерины Великой, когда само нарушение всех и всяческих моральных норм могло рассматриваться как своеобразная норма. Но даже самые отъявленные повесы и авантюристы екатерининской эпохи, цинично преступавшие любые запреты, никогда не покушались на отрицание нормы как таковой. После отмены крепостного права, существовавшего в течение нескольких столетий, уже никто не мог поручиться, что как традиционная семья, так и вековые нормы нравственности останутся неизменными. И, оставив мужчин далеко позади, великосветские львицы активно проявили себя в деятельности по расшатыванию семьи и нравственности. В эту деятельность они вносили оживление, свой почин, инициативу.

По словам Пушкина:

Но свет... Жестоких осуждений  
Не изменяет он своих:  
Он не карает заблуждений,  
Но тайны требует для них<sup>209</sup>.

Раньше светская дама, не сумевшая соблюсти эту тайну и немедленно превратившаяся в *падшую женщину*, могла лишь уповать на милосердие жестокосердного света. Всё было напрасно! Теперь же такая женщина повелительно заявляла не только свету, но и властям о своём праве распоряжаться собой и своей судьбой, так как она это считала нужным, а не так, как было принято в свете. И это своё право она ставила выше и ценила дороже, чем право света осудить падшую женщину. Она стремилась к обретению счастья, боролась за него и вопреки всему нередко в этой борьбе побеждала.

### *«Библия прогресса», камелии и гражданский брак*

В пореформенной России само существование традиционных нравственных норм было поставлено под сомнение. Великосветские оргии существовали во все времена, но о них знал только тот, кто принадлежал к



высшему обществу. Сведения о разнузданных кутежах не выходили за пределы узкого круга людей, и доступ в этот круг для человека постороннего был практически полностью исключён. Однако благодаря скандальному роману Боборыкина об «афинских вечерах» узнали сначала подписчики нового толстого журнала «Всемирный труд», а затем и читатели отдельного издания романа. Аморализм высшего света был продемонстрирован читающей публике.

Именно в эпоху Великих реформ в России значительно расширился круг образованных людей с чувством собственного человеческого достоинства. Даже отрицая традиционную мораль, эти новые люди претендовали на создание новой морали. По тому, какие журналы человек выписывал и читал, можно было безошибочно судить о его политических убеждениях и нравственных принципах. Этого широкого слоя читателей, формирующих общественное мнение, не существовало ни при царе Петре, ни при императрице Екатерине. Происхождение многих из них было «темно и скромно». Великосветские оргии не только не воспринимались разночинцами как вполне естественный образ жизни, но и шокировали их. «Новые люди» получили дополнительный импульс для того, чтобы радикально покончить с официальной нравственностью. В 1878 году, уже на излёте эпохи Великих реформ, поэт Аполлон Николаевич Майков опубликовал сатирическую поэму «Княжна \*\*\*», в которой устами модного столичного педагога иронически изобразил поколение «шестидесятников»:

На главный пункт направил разговор,  
Что, мол, хаос везде, раздор, тревога:  
«Мальчишки — даже те вошли в задор,  
Учителям толкуют, что нет Бога,  
Отечество, религия — всё вздор!  
Что требуют от них уж слишком много,  
И, с важностью взъерошивши вихры,  
Шипят: одно спасенье — топоры!

Пусть мальчишки б одни, молокососы, —  
Нет с барышнями sprawy! Покидав  
И музыку, и пальцы, режут косы  
И, как-то вдруг свирепо одичав,

В лицо кричат нам: вы, мол, эскимосы,  
У женщин всё украли! Прав нам, прав!  
Работы нам, разбойники, работы!..  
Как будто мы-то трудимся с охоты!..<sup>210</sup>

Дмитрий Иванович Писарев, самый неистовый из нигилистов, от лица всей «молодой России» требовал разрушения «дряхлого деспотизма, дряхлой религии, дряхлых стропил официальной нравственности!»<sup>211</sup>. Безудержному разврату «афинских вечеров» была противопоставлена не стесняемая никакими моральными запретами и религиозными догмами *искренность человеческих чувств*. Радикализм Писарева не знал пределов и проявлялся не только в теории, но и на практике. Вот что он писал в письме матери о своей кузине Раисе, в которую был безнадежно влюблён: «Раиса живет у Ан. Д., потому что нигде она не может жить до такой степени свободно и сообразно со своими желаниями и наклонностями. Она окружена мужчинами — это правда, но она любит общество мужчин гораздо больше общества женщин, потому что при теперешнем состоянии общества умных и развитых мужчин гораздо больше, чем умных и развитых женщин. <...> Могу тебе поклясться, что между этими людьми у Раисы нет любовника, а если бы и был таковой, то ни её отец, ни ты, ни я не имеем права вмешиваться в её дела». Далее Дмитрий Иванович переходит на французский язык и завершает свои радикальные рассуждения следующим пассажем, который в переводе выглядит так: «Согласно с моими убеждениями женщина свободна духом и телом и может распоряжаться собой по усмотрению, не отдавая отчёта никому, даже своему мужу. Если женщина, которая могла бы наслаждаться жизнью, не наслаждается ею, то в этом нет добродетели. Такое поведение является результатом массы предрассудков, которые стесняют и производят бесполезные и воображаемые затруднения. Жизнь прекрасна, и надо пользоваться ею. С такой точки зрения смотрю я на неё и нахожу справедливым, чтобы каждый руководился тем же великолепным правилом»<sup>212</sup>. Эти рассуждения не были ни эпатажем, ни бравадой, но символом веры молодого человека, который руководствовался

им всю свою такую короткую, но насыщенную событиями жизнь.

Молодые радикалы ратовали за принципиально новые отношения между мужчиной и женщиной, романтизируя их. Иначе рассуждал их антагонист — убеждённый и многолетний борец с любыми новейшими веяниями времени, магистр богословия и словесных наук, прозаик и журналист Виктор Ипатьевич Аскоченский (1813—1879). Издаваемая им в Петербурге еженедельная газета «Домашняя беседа для народного чтения», стоившая всего лишь пять копеек за выпуск, предназначалась для людей малообеспеченных и малообразованных. «Давать уроки и правила нравственности русскому народу» — такова была амбициозная задача еженедельника. Аскоченский призывал власть к решительной расправе с теми, кто не желал следовать этим «урокам» и этим «правилам»: «Когда уж люди так неисправимо злы, / То вместо слов им нүжны — кандалы». Жена журналиста отмечала, что «Беседа» «всегда была врагом *духа века сего* и стояла крепко на твёрдой почве св. православия и народности русской...»<sup>213</sup>. В еженедельнике имелся постоянный раздел «Блёстки и изгарь». Само это название свидетельствовало о том, что стрелы публицистических нападок, отличавшихся едким сарказмом и горькой иронией, метили в «прогрессистов», которых Аскоченский трактовал как шлак и гарь современности, уподобляя их бесполезным отходам кузнечного производства. Поздней осенью 1863 года в этом разделе был опубликован фельетон «Быль не быль, однакож и не сказка» — пасквиль на «новых людей» и их отношение к таинству брака. Уже первый абзац фельетона, в котором описывалось венчание эмансипированной пары, убеждал читателей, что опус Аскоченского направлен против тех, кто в своей частной жизни намерен был подражать героям только что вышедшего в свет романа Чернышевского «Что делать?».

«Ну, братец мой, дело тьмы преуспевает. Лопуховы являются пред нами со всем своим цинизмом; бесстыдные девки принимают на себя роли честных супругов и самым делом кощунствуют над таинством брака...

В церкви кочевало несколько молодых людей, самого нахального свойства. Они разговаривали и пересмеивались друг с другом, точь-в-точь как в партере, перед поднятием занавеса. Недоумевая, что бы это такое было, я обратился к одному лохмачу, стоявшему у стены и свирепо глядевшему на алтарь, с вопросом, — зачем собрался сюда народ... — Бракосочетание будет совершаться, отвечал он с насмешливою расстановкою на каждом слогѣ»<sup>214</sup>. Автор фельетона не скрывает своего омерзения, живописуя брачующихся и их друзей. Вскоре появился жених, одетый совершенно неподобающе — «в пальто, с тростью в руках», и невеста — барышня в поношенном бурнусе, гарибальдинке с красным пером и с подстриженными в кружок волосами. «Молодежь, оставив жениха, подошла к ней, и началось какое-то хихиканье, на которое она отвечала нахальными улыбками и какими-то односложными словами. Подошёл и жених. — Ну, что ж, Basile, сказала она, скоро ли начнётся комедия?»<sup>215</sup>

Внимание фельетониста привлекла «одна молоденькая и недурная собою пилигримка», державшая в правой руке «поблекшую и почти ошипанную камелию»<sup>216</sup> — прозрачный и всем понятный намёк на девицу лёгкого поведения. Священник приступил к таинству. «Жених перешёптывался с невестой, на лице которой написано было намеренное пренебрежение к тому, что совершалось. Когда дело дошло до воздевания венцов, священник попросил невесту снять гарибальдинку, на что она с трудом согласилась, уверяя его, что и так можно. ...При чтении же того места из апостола, где говорится: *ажена да убоится своего мужа*, жених юмористически погрозил своей ряженой, а ряженная ответила ему гримасою. Но хождение вокруг налож было верхом неприличия: жених и невеста смеялись без всякой застенчивости, и старались выступать как можно комичнее; словом, — мне казалось, что всё это грезится мне во сне и что въяве подобного безобразия во святом святых никогда и быть не может»<sup>217</sup>. К тому же невеста была беременна, а будущего ребёнка новобрачные, как стало ясно из разговоров, собирались отправить в воспитательный дом.

Среди свидетелей венчания в фельетоне описывался и чиновник с орденом Святого Станислава 2-й степени на шее. Чиновник давно уже не жил с законной женою, а своему сынишке говорил: «Расти, Костя, расти. Ты будешь большим в то время, когда не станет ни попов, ни этих глупых браков!»<sup>218</sup> Судя по ордену, это был чиновник среднего ранга, имевший чин не ниже коллежского асессора. (Этот гражданский чин VIII класса соответствовал армейскому майору по Табели о рангах и давал потомственное дворянство.) Присутствие государственного служащего и отца троих детей вызвало нескрываемую озабоченность фельетониста: радикальные идеи овладели не только незрелыми умами нечёсанных нигилистов, но и повлияли на тех, кто должен был служить примером для молодёжи. «Чем же всё это кончится? — вопрошает фельетонист. — Если уж такие священные, из самого существа природы человеческой истекающие, узы разрываются, то выдержат ли другие связи, скрепляющие общественный организм? Нет верного и законного супружества, — нет и детей с их законными отношениями к родителям, нет и родителей с необходимою и Богом заповеданною о детях попечительностью, нет и граждан, свято и самоотверженно служащих обществу; нет и общества, словом — нет ничего верного, обуславливающего жизнь народную... Не от того ли исчезли с лица земли древние Содом и Гоморра?..»<sup>219</sup>

«Домашняя беседа» Асоченского «славилась» своей реакционностью и обскурантизмом. В эпоху Великих реформ этот одиозный еженедельник никогда не рискнули бы выписать ни демократ, ни либерал. Однако в течение восемнадцати лет раздел «Блѣстки и изгарь» читали не только крайне правые воинствующие консерваторы, но и их ожесточённые враги. Фельетоны этого раздела интересовали и демократически настроенных людей, ибо давали неиссякаемую пищу для острых насмешек. Фанатизм Виктора Ипатьевича не мог не провоцировать поэтов-сатириков. Поэт Дмитрий Минаев в своей иронической поэме «Ад» поместил его среди персонажей преисподней и заставил танцевать канкан, в 1860-е годы считавшийся верхом неблагопристойности:

С визжанием плясали два чертёнка;  
Когда ж в лицо я грешника взглянул:  
«Аско́ченский!..» — не мог не крикнуть звонко.

«Он осуждён, — шепнул мне Вельзевул, —  
Быть нашим первым адским канканёром  
И в тартаре поддерживать разгул...»

И в этот миг Аско́ченский с задором  
Такое па в канкане сотворил,  
Что зрители рукоплескали хором...<sup>220</sup>

Очевидно, что в пореформенной России «новые люди» и Аско́ченский олицетворяли собой два разных полюса общественного мнения. Кому же сочувствовало образованное общество? Разумеется, «новым людям». Либеральные мамы пугали своих детей не букой, а именем Аско́ченского. Хотя подавляющее большинство образованных людей продолжало жить прежней традиционной жизнью, они терпимо относились к прогрессивным идеям, рассуждали об эмансипации женщин и не считали гражданский (то есть невенчаный) брак такой уж невозможной вещью.

В эпоху Великих реформ Виктор Ипатьевич Аско́ченский оставался едва ли не единственным убеждённым и идейным противником новых веяний. Иногда ему удавалось найти не столько убедительные, сколько саркастические аргументы против морали «новых людей». Однако если в начале 1860-х годов «Беседа» ещё пользовалась популярностью у читателей, то постепенно ситуация менялась в худшую для издателя сторону. Крайняя религиозная нетерпимость Аско́ченского оттолкнула от него его бывших почитателей. В 1870-е годы еженедельник постепенно терял подписчиков и влачил жалкое существование, а его издатель едва-едва сводил концы с концами. Судьба обошлась жестоко с непримиримым ревнителем семейных ценностей. Последние полтора года жизни он провёл в отделении для душевнобольных Петропавловской больницы. Его жена горько жаловалась читателям «Беседы», что Виктор Ипатьевич «теперь, кроме значительных долгов, не оставил ей с четверыми детьми никаких средств даже и к дневному пропитанию»<sup>221</sup>.

Молодые радикалы из числа современников Чернышевского и Писарева были убеждены, что поскольку мужчины в течение множества веков пользовались исключительными правами как в семье, так и в обществе, то в новейшее время они обязаны не только отказаться от этих прав, но и предоставить женщине максимальную свободу — социальную и сексуальную. Как свидетельствует очевидица тех перемен: «И тогда люди влюблялись и ревновали до безумия, несмотря на то, что молодёжь того времени смотрела на ревнивца как на первобытного дикаря, как на пошлого, самодовольного собственника чужой души, не уважающего человеческого достоинства ни в себе, ни в других»<sup>222</sup>. Такие радикалы были готовы дать женщине столько свободы, сколько она сама была способна взять, — и в соответствии с этими взглядами поступали в своей частной жизни. «Новые люди» сознательно ставили себя в зависимое, подчинённое отношение к женщине. Наиболее решительные среди них ратовали даже за «жизнь втроём»: венчанный муж не считал для себя унижительным жить под одной крышей со своей фактически уже бывшей женой и её новым гражданским мужем. Своеобразие ситуации заключалось в том, что законный муж из числа «новых людей» не только не претендовал на реализацию своих супружеских прав, но и видел в таком сожительстве под одной крышей зародыш качественно новых отношений между мужчиной и женщиной, полагая, что именно таким отношениям и принадлежит будущее.

Разумеется, в реальной жизни число таких радикалов исчислялось единицами, но само их существование было весьма выразительной приметой времени. После выхода в свет в 1863 году романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях», воспринятого «молодой Россией» как «библия прогресса», русское общество стало гласно обсуждать проблему «жизни втроём». Описанный Чернышевским любовный треугольник Лопухов — Вера Павловна — Кирсанов стал фактом не только истории литературы, но и фактом культуры пореформенной поры. Мыслящая Россия не воспринимала «жизнь втроём» исключи-

тельно как разврат. «Молодая Россия» трактовала такую форму семьи как проявление прогресса. Люди старшего поколения оценивали это иначе. Среди бумаг князя Петра Андреевича Вяземского после его смерти была найдена эпиграмма, датированная 1864 годом:

Раз кем-то сказано остро́ и очень кстати:  
«Любовь есть эгоизм вдвоём»,  
А в этом уголку семейной благодати  
Любовь есть коммунизм втроём<sup>223</sup>.

Итак, «жизнь втроём», став фактом культуры, не получила сколько-нибудь широкого распространения в быту. Иное дело фиктивные браки. Пока незамужняя девушка продолжала жить в родительском доме, она была совершенно лишена правоспособности, поэтому ни о какой её самостоятельности не могло быть и речи. Чтобы обрести личную независимость, девушка должна была либо бежать из дома, либо выйти замуж. После выхода в свет романа «Что делать?» русское общество испытало настоящее поветрие фиктивных браков. «Тогда было такое время, что всё получало общественный характер, — свидетельствует современник, — всё являлось во множественном числе. <...> И подобных фиктивных браков было тогда немало. Фиктивный брак был, конечно, мерой отчаянной. Он являлся последним средством для выхода, когда не оставалось никаких других средств»<sup>224</sup>. Молодые люди, притязавшие на то, чтобы считаться передовыми, расценивали фиктивный брак как наиболее эффективное средство высвобождения женщины. Девушка, живущая в родительском доме, благодаря такому браку обретала вожаделенную самостоятельность, а её фиктивный муж — сознание исполненного долга<sup>225</sup>.

«Влияние романа было колоссально на всё наше общество. Он сыграл великую роль в русской жизни, всю передовую интеллигенцию направив на путь социализма, низведя его из заоблачных мечтаний к современной злобе дня, указав на него, как на главную цель, к которой обязан стремиться каждый. Социализм делался таким образом обязательным в повседневной будничной жизни, не исключая пищи, одежды, жилищ и пр.



Вследствие этого предписания проводить социализм во всех мелочах повседневной жизни, движение в передовых кружках молодёжи приняло сектантский характер обособления от всего общества, равнодушного к предписаниям романа. Как и во всякой секте, люди, принадлежавшие к ней, одни лишь считались верными, избранниками, солью земли. Всё же прочее человечество считалось сонмищем нечестивых пошляков и презренных филистеров. Между тем как *лишь весьма незначительное меньшинство увлекалось деятельностью с политическими целями, большинство ограничивалось устройством частной и семейной жизни по роману "Что делать?"* (курсив мой. — С. Э.)»<sup>226</sup>, — вспоминал свои молодые годы литературный критик Александр Михайлович Скабичевский (1838—1910).

Восторженный почитатель идей Чернышевского, последовательный сторонник женской эмансипации и талантливый учёный-палеонтолог Владимир Онуфриевич Ковалевский согласился вступить в фиктивный брак с Софьей Корвин-Круковской и стал целенаправленно искать в столице молодых людей, готовых последовать его примеру. Дочь генерал-лейтенанта мечтала об учёбе за границей в университете, на что её отец не давал своего согласия. Фиктивный брак с Ковалевским открывал перед Софьей возможность воплотить свою мечту в жизнь и заняться изучением математики. Но этого будущему известному математику было мало. Софья, желавшая устроить ещё и судьбу своей старшей сестры Анны, поручила жениху заняться в столице самой настоящей вербовкой кандидатов на роль фиктивного мужа Анны. 24 июля 1868 года Ковалевский писал невесте: «В Петербурге, конечно, первым моим делом будет производство по вашему поручению смотра и отобрания более годных экземпляров для производства консервов; посмотрим, каково-то удастся этот новый продукт»<sup>227</sup>. Кандидаты в фиктивные мужья на условном языке Софьи и её жениха именовались «хорошими людьми» и «консервами»<sup>228</sup>. Генерала Корвин-Круковского не устроил бы зять-разночинец, поэтому Владимиру Онуфриевичу надо было обязательно разыскать дворянина. Но среди «хороших людей» было не так

просто найти неженатого дворянина-прогрессиста. Ковалевскому не удалось отыскать достойного кандидата для приготовления «консервов». И Софья Ковалевская искренне сожалела, что в Российской империи нет многожёнства, поэтому «хороший брат», «добрый брат» — так она называла своего фиктивного мужа — не сможет фиктивно жениться ещё и на Анне.

Роман Чернышевского не только легализовал в глазах «новых людей» институт фиктивного брака, но и придал ему немыслимую доселе респектабельность. Ещё бы, ведь об этом было написано в популярной книге: авторитет печатного слова в эту эпоху был высок, как никогда, а в России в течение всего XIX века люди образованные так любили в бытовом поведении подражать героям литературных произведений. В 1869 году вышел в свет роман Алексея Феофилактовича Писемского «Люди сороковых годов». Действие романа начинается в 30-е годы XIX века, а заканчивается в 1864 году. В завершающих главах повествуется о замужней даме Юлии Живиной, которая была воспитана на чтении современной русской литературы: книг и толстых журналов. В зрелом возрасте эта дама завела молодого любовника, к чему её супруг отнесся в высшей степени снисходительно. Однако Юлия этим не ограничилась и решила уехать с любовником-поляком, явно желающим её обобрать, за границу. Незадачливый супруг винил во всем русскую литературу.

«Живин грустно усмехнулся.

— А всё благодаря русской литературе и вам, господам русским писателям, — проговорил он почти озлобленным тоном. — <...> Она теперь не женщина стала, а какое-то чудовище: в Бога не верует, брака не признаёт, собственности тоже, Россию ненавидит»<sup>229</sup>.

Роман Писемского был опубликован в новом петербургском литературно-политическом журнале «Заря». С первых же номеров этот консервативный журнал повёл ожесточённую борьбу против революционно-демократической идеологии, материалистической философии и писателей демократического направления. И хотя автор романа не назвал имён русских писателей, произведения которых оказали на Юлию столь силь-

ное влияние, в контексте публикаций журнала было очевидно, что Писемский имеет в виду Чернышевского и Писарева.

Но было бы ошибкой полагать, что в пореформенной России фиктивные браки заключались только в среде «новых людей». Нет никаких оснований безоговорочно утверждать, что дамы петербургского полусвета читали прославленный роман. Но нельзя доказать и противоположное утверждение и полностью исключить знакомство столичных кокоток с содержанием романа, который при выходе в свет произвёл сенсацию. «Популярность романа “Что делать?” отнюдь не ослабевала и после 60-х годов. В 70-е годы любую гимназистку пятого или шестого класса сочли бы невежественной, если бы она не знала, кто такая Вера Павловна»<sup>230</sup>. Если даже гимназистки последующего десятилетия были знакомы с персонажами романа, то что же говорить о потребителях сферы сексуальных услуг в период наивысшего успеха романа Чернышевского у читателей?! Женщины лёгкого поведения вполне могли услышать о романе от своих клиентов. Знакомство с этой знаменитой книгой, если бы оно имело место быть, обязательно польстило бы самолюбию жриц свободной любви. Под пером Николая Гавриловича общество будущего сильно смахивало на дорогой бордель, а куртизанка Жюли Летелье была сочувственно обрисована романистом как «дурная» и одновременно «честная» женщина. Именно она помогла Вере Павловне покинуть постылый родительский дом и устроить свою судьбу. Сама Жюли прежде «была два года уличною женщиной в Париже», но с тех пор она заметно повысила свой социальный статус. Теперь это элегантная дама полусвета, «которую знает вся аристократическая молодёжь Петербурга». У Жюли собственный выезд, дорогие наряды, гражданский муж и положение в обществе. Отныне любая «погибшая женщина» могла не только надеяться на лучшее, но и обрела вполне конкретную программу своих дальнейших действий. Отныне и женщины лёгкого поведения знали, какой литературной героине им следует подражать.

Семейные ценности были поколеблены, брачный рынок переживал жесточайший кризис, а куртизанки

перестали стыдиться своего образа жизни. Попечительные родители светской барышни не знали, за какого жениха отдавать дочь: то ли за нового богача, не принадлежавшего к их кругу и неизвестно какими путями сколотившего своё состояние, то ли за родовитого светского человека со связями, чьё состояние ощутимо скукожилось после отмены крепостного права. «От нас потребуют с именем быть и в чине», — саркастически восклицал грибоедовский Чацкий в конце первой четверти XIX века. Спустя полвека после того, как были написаны эти слова, бывшие абсолютные и непреложные ценности брачного рынка сильно девальвировались. Высокий чин перестал быть гарантией высокого жалования, а наследственные имения, даже если они сохранились, не гарантировали прежних доходов. Неуверенность родителей барышень на выданье усугублялась нерешительностью потенциальных женихов: слишком велика была вероятность отказа. Все эти обстоятельства не способствовали заключению браков — и брачный рынок переживал не лучшие времена. Именно об этом размышляют родители Кити Щербацкой в романе Толстого «Анна Каренина», эту же проблему обсуждают князь Стива Облонский и граф Алексей Вронский. О том, как действовали в сложившейся ситуации молодые люди, мы узнаём из заключительной реплики Вронского: «Да, это тяжёлое положение! От этого-то большинство и предпочитает знаться с Кларами. Там неудача доказывает только, что у тебя не достало денег, а здесь — твоё достоинство на весах». Кларами в пореформенной России называли проституток.

И до наступления эпохи Великих реформ русские писатели изображали продажных женщин на страницах своих стихотворных и прозаических произведений. По воспоминаниям Авдотьи Яковлевны Панаевой: «Тогда (в 1840-е годы. — С. Э.) писатели выказывали большое сочувствие к женскому вопросу тем, что старались опозитизировать падших женщин, “Магдалин XIX века”, как они выражались»<sup>231</sup>. Однако именно литература пореформенной поры, живописуя подобных женщин, не только отказалась от употребления всем хорошо известных бранных слов, которые традицион-

но использовались в устной речи для обозначения женщин лёгкого поведения, но и существенно обогатила книжную речь целым рядом крылатых слов и образных выражений. Никогда ранее русский литературный язык не был столь изобретателен и гибок. *«Погибшее, но милое создание»*, *«жертва общественного темперамента»*, *лоретка, камелия, кокотка, Клара, Магдалина...* — таков далеко не самый полный перечень этих слов и выражений. Некоторые из них появились на книжных страницах ещё в 1830-е или 1840-е годы, но как раз в 1860-е годы эти крылатые слова получили широкое распространение не только в литературном, но и разговорном языке. Примечательно, что ни одно из этих крылатых слов и образных выражений не ассоциировалось ни у авторов, ни у читателей с ярко выраженной экспрессивно-негативной, уничижительной или неодобрительной оценкой публичных женщин<sup>232</sup>.

С лёгкой руки автора «Что делать?» фиктивный брак перестал трактоваться как безусловный грех и стал рассматриваться как рациональная мера. В понятиях и нравах общества произошёл резкий поворот — целесобразность сильно потеснила нравственность. Столичные кокотки, фактически подражая «разумным эгоистам» Чернышевского и исходя из столь почитаемой героями романа «теории расчёта выгод», поспешили воспользоваться этим революционным сдвигом в психологии общества. Предоставим слово анонимному автору агентурного донесения, отложившегося в недрах Секретного архива Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии:

«На Екатерининском канале, в доме под № 4-м или 24-м, жительствоует некая, значащаяся, впрочем, в паспорте “из благородных”, госпожа, по имени *Амелия*<sup>233</sup>. В сущности, она одно из двух: или полька, или, что более достоверно, — ревельская мещанка, вышедшая после нескольких лет лёгкого поведения за какого-нибудь отставного чиновника или офицера; что, как известно, бывает сплошь да рядом. Эта Амелия, водящаяся преимущественно с кокотками и содержанками, составила себе очень доходную профессию, приискивая для покаявшихся распутниц, желающих получить почётную в

их кругу позицию, титулованных мужей, или правильное — только титула, которые покупают у разных промотавшихся господ за очень дешёвую цену. Графские и княжеские титула, разумеется, составляя товар более редкий, ценятся довольно дорого; генеральские же чины идут почти что ни по чём. Таким образом, эта Амелия, месяц или же полтора назад, купила для какой-то бывшей содержанки, некоего мужа, Генерал-Майора *Клюверта*, который был где-то губернатором. Этот Клюверт, получив за своё Превосходительство от Амелии 5000 руб. согласно условию, тотчас после венца выдал новобрачной свидетельство на отдельное проживание, и они распростились навсегда тотчас после совершения брачного обряда.

Неделю или две спустя Амелия купила для другой содержанки другого генерала, именно Действ<ительно-го> Ст<атского> Совет<ника> *Березова* (или Березина)<sup>234</sup>. Но тот, как статский генерал, получил за своё имя и чин только 3000 руб. В настоящее время эта Амелия хлопочет устроить свадьбу третьей содержанки, но дело немного затянулось, так как подысканный генерал-майор *Тимковский* меньше 6000 не хочет и слышать, между тем как ему предлагают всего 4000, на том основании, что бездомные генералы, даже военные, теперь не составляют редкости.

Известный, содержащийся в долговом отделении, отст<авной> юнкер князь Всеволод Долгорукий точно так же женился на какой-то публичной женщине, за 5000 руб.

18-го Октября 1869 г.»<sup>235</sup>.

Итак, поведение петербургских кокоток и содержанок полностью соответствовало концепции «разумного эгоизма», изложенной в романе Чернышевского. Одновременно с этим неизбежные до сей поры позиции брака, освящённого церковью, подверглись сильному натиску со стороны гражданского брака. Так брак перестал быть *тайнством*.

На право вас любить не прибегу к пашпóрту  
Иссохших завистью жеманниц отставных:  
Давно с почтением я умоляю их  
Не заниматься мной и — убираться к чёрту!<sup>236</sup>

Эти стихи были написаны Денисом Васильевичем Давыдовым примерно в 1834 году и имели конкретного адресата. Напечатали их лишь в 1840-м, уже после смерти поэта-партизана. Поэтические строки плохо корреспондировались с жизненными реалиями 1840-х годов. «Тогда русские женщины боялись афишировать себя дамами полусвета и всегда старались запастись мужем»<sup>237</sup>. То, что в 1840 году могло быть расценено как поэтическая метафора, спустя четверть века обрело статус бытовой реальности. Таков был *бег времени*. В конце октября 1866 года смоленский губернатор Николай Петрович Бороздна, беседуя в Петербурге с экс-министром народного просвещения Авраамом Сергеевичем Норовым и академиком Александром Васильевичем Никитенко, «сильно жаловался на нигилистический дух среди смоленской молодёжи. Многие из девушек не выходят замуж иначе, как гражданским браком»<sup>238</sup>. Если так обстояло дело в провинциальном Смоленске, то что же происходило в столицах? Эпоха Великих реформ — это время упрочения позиций гражданского брака. «Вопрос о том, легальная или нелегальная у кого жена, стал невозможным, не имеющим смысла. Общество настолько осватило своим признанием этот порядок отношений, что даже закон о браке утратил своё прежнее значение, и рядом с законным браком распространилось теперь сожитительство гражданское. Таким образом, закон о разводе, не явившийся вовремя на помощь обществу, вместо того чтобы укрепить легальный брак, укрепил брак нелегальный и практику гражданского сожитительства, оставшуюся единственным выходом для тех, кому был закрыт законный брак»<sup>239</sup> — так написал о событиях 1860-х годов русский публицист и общественный деятель, полковник Лесного корпуса Николай Васильевич Шелгунов (1824—1891).

Известный юрист и литератор Анатолий Фёдорович Кони (1844—1927) объяснил причину, по которой некоторые стремящиеся к личной независимости девушки из «приличных», но недостаточно обеспеченных семей стали избегать церковного брака. «Прежние изящные “куколки” и “кисейные барышни” в большин-

стве оказались поставленными перед альтернативой выхода замуж или личного заработка. Но с усложнением и удорожанием жизни брак становился всё затруднительней и делался для многих предметом роскоши. Оставалось работать»<sup>240</sup>. Подобный выбор имел далекоидущие последствия. Живущая своим трудом девушка не могла стать женой офицера или чиновника. Общество офицеров относилось к этой проблеме исключительно щепетильно и свято блюло корпоративные интересы. Офицерское собрание не только блестящего гвардейского, но и заурядного армейского полка строго следило за тем, чтобы в круг жён офицеров не попала женщина, чьё сомнительное происхождение или скандальная репутация могли запятнать честь полка. Гвардейский офицер мог жениться только на дворянке, а дворянка по определению работать не могла. Работающая и получающая за свой труд деньги женщина воспринималась в консервативном сословном обществе как нарушение всех норм приличия и олицетворённый скандал.

Человеку ХХI века трудно представить себе систему ценностей ХIХ века. Между тем даже накануне Первой мировой войны одному из офицеров лейб-гвардии Семёновского полка не разрешили жениться на выпускнице Смольного института, которая после окончания этого привилегированного женского учебного заведения (в институт принимали только дворянок) некоторое время преподавала в нём музыку и получала за это жалованье. А получающая жалованье женщина не могла стать женой офицера. Перед вступлением в брак офицер был обязан представить свою избранницу полковой даме — супруге полкового командира — и получить разрешение начальства на заключение брака. Офицеры не потерпели бы в своей среде человека, собирающегося жениться на работающей девушке. Ему предстоял нелёгкий выбор: либо отказаться от брака, либо выйти в отставку. Аналогичным образом обстоит дело и в чиновничьей среде, хотя здесь разного рода ограничения и запреты не были столь строгими. И офицерская, и чиновничья среда отличались большим консерватизмом, чтобы не сказать косностью. Иное дело — разночинная



интеллигенция. В кругу не состоявшей на государственной службе столичной интеллигенции гражданский брак стал рассматриваться как реальная и вполне приемлемая альтернатива браку церковному: не освящённые Церковью отношения устраивали и мужчин, и женщин. Причём нередко гражданский брак становился союзом равноправных партнёров: его заключали живущие своим трудом мужчины и женщины.

Известный русский социолог и теоретик славянофильства Николай Яковлевич Данилевский (1822—1885), рассуждая о «необходимых логических последствиях» распространения гражданского брака в обществе, констатировал, что действия «новых людей» по расшатыванию христианских и нравственных ценностей отличаются известной последовательностью. «...Гражданский брак, как его понимают некоторые наши умствователи... противен христианству, но не нелеп с их точки зрения, то есть не ведёт к последствиям, которые привели бы самих защитников его к противоречию с самими собою»<sup>241</sup>.

Когда же это произошло, когда гражданский брак заметно потеснил брак церковный? Ответ на этот вопрос можно найти в мемуарах одного из «шестидесятников». Лонгин Фёдорович Пантелеев (1840—1919) вспоминал: «Ещё до моей ссылки... мне пришлось столкнуться с расстройством первоначального брака и новой комбинацией на принципе гражданских отношений. *Но насколько широко это явление развернулось за время моего пребывания в Сибири* (курсив мой. — С. Э.)!»<sup>242</sup> Публицист, издатель и общественный деятель Пантелеев принадлежал к числу «новых людей» и был лично знаком с Чернышевским, который, вероятно, знал о его принадлежности к подпольной революционной организации «Земля и воля». В 1864 году Пантелеева арестовали и после годичного заключения в тюрьмах сослали в Сибирь. В Петербург Лонгин Фёдорович вернулся в 1874 году, а окончательно обосновался там в 1876-м. Наблюдательный мемуарист сразу же заметил тот качественный скачок в сфере частной жизни, который произошёл за время его десятилетнего отсутствия в столице. В начале 1860-х гражданские браки уже были,

но носили единичный характер и, судя по всему, воспринимались как некая экзотика. В 1870-е годы количественные изменения переросли в новое качество — и этот скачок зафиксирован не только в мемуарных источниках.

Русская художественная литература незамедлительно отобразила новое общественное явление. Елена Жиглинская, радикально настроенная героиня романа Писемского «В водовороте», перед тем как сойтись с женатым мужчиной князем Григоровым, обосновывает свой поступок следующими рассуждениями: «Принадлежать человеку в браке или без брака для Елены, по её убеждениям, было решительно всё равно; только в браке, как говорили ей, бывают эти отношения несколько попрочнее. Но если уж ей суждено, чтобы человек любил её постоянно, так и без брака будет любить; а если не сумеет она этого сделать, так и в браке разлюбит. В отношении детей — то же: хороший человек и незаконных детей воспитает, а от дрянного и законным никакой пользы не будет»<sup>243</sup>. Героиня романа рассуждает со знанием дела. В это время незаконные дети, родители которых не состояли в церковном браке, не могли быть приняты в привилегированные учебные заведения, такие как Пажеский корпус, Александровский лицей или Училище правоведения, но в гимназию и университет могли поступить и без дворянской грамоты.

Роман «В водовороте» был впервые напечатан в 1871 году на страницах нового петербургского учёного, литературного и политического журнала «Беседа». Симптоматично, что рассуждения убеждённой нигилистки и дерзкой безбожницы Елены Жиглинской не вызвали никаких возражений ни со стороны цензуры, ни со стороны издателя и редактора только что появившегося журнала. С первого же номера, вышедшего в январе 1871 года, «Беседа» стала позиционировать себя как орган славянофильского либерализма. В программной статье «В чём наша задача?» издатель-редактор С. А. Юрьев заявил, что «Беседа» сочувствует «тем из наших журналов, которые стоят по преимуществу за единство и силу нашего государства»<sup>244</sup>. Однако у либерально мыслящей интеллигенции последнее уже никоим образом

не ассоциировалось со святостью и нерушимостью уз брака, освящённых Церковью. «...Брак есть лоно, гнездо, в котором вырастает и воспитывается будущее поколение»<sup>245</sup>, — лицемерно рассуждает фарисей и плут барон Мингер. Эти фальшивые разглагольствования не находят никакой поддержки ни у других персонажей, ни у читателей романа. Резонёрство барона не только двучленно, но и явно противоречит духу времени. Не находящийся на государственной службе богатый князь Григоров в духе идей глубоко почитаемых им «шестидесятников» полагает, что если его супруга княгиня Елизавета «полюбит кого-нибудь, так он не только не должен будет протестовать против того, но даже обязан способствовать тому и прикрывать всё своим именем!»<sup>246</sup>. Каковы же последствия подобных современных воззрений? В середине романа автор живописует колоритную картину, которую читатели видят глазами князя Григорова. «У него никак не могла выйти из головы только что совершившаяся перед его глазами сцена: в вокзале железной дороги съехались Анна Юрьевна (замужняя графиня, кузина князя. — С. Э.) со своим наёмным любовником (выше упомянутым бароном Мингером. — С. Э.), сам князь с любовницей, княгиня с любовником, и все они так мирно, с таким уважением разговаривали друг с другом; всё это показалось князю по меньшей мере весьма странным!»<sup>247</sup>

Итак, и мемуарные, и литературные источники позволяют утверждать, что в 1870-е годы церковный брак уже не расценивался как таинство не только революционерами, мечтающими о ниспровержении государственных и семейных основ, но и либералами, озабоченными сохранением «единства и силы» государства Российского. Гражданский брак перестал восприниматься как экстравагантность, получил широкое распространение и оформился как социальный институт — альтернатива церковному браку. До времени участники таких «новых комбинаций», о которых писал Лонгин Пантелеев, не задумывались о грядущей судьбе детей, рождённых в гражданском браке. Однако вернувшийся из сибирской ссылки мемуарист посмотрел на сложившуюся ситуацию именно с этой точки зрения.

«Вот эти дети и навели меня на некоторые размышления, которые ранее как-то не приходили на ум. <...> Мой товарищ разошёлся с своей первой женой и сожительствовал с особой, которая, в свою очередь, покинула своего прежнего мужа. За обедом, однако, присутствовала и прежняя жена моего товарища вместе со своим новым мужем, из чего можно было заключить, что расхождение и новые комбинации состоялись без острых воспоминаний с обеих сторон.

Это, конечно, было утешительно видеть; но, прислушиваясь к говору детей, а между ними были и подростки лет десяти, я не мог уяснить себе — кто из них и от какой комбинации происходит. Только слышалось по временам — “папа”, “мама”. Конечно, судя по летам, я мог догадаться, кто из детей происходил от старых семейных отношений, кто от последующих.

Мне эти дети потом часто вспоминались. Какая будет их судьба? Тем более что и новые семейные комбинации их родителей по недолгом времени оказались неустойчивыми, их сменили другие»<sup>248</sup>.

Этот неутешительный вывод сделал человек, умудрённый жизнью. В молодые годы Лонгин Пантелеев без оглядки смотрел в будущее: он привлёк к участию в революционной деятельности не менее двадцати человек, организовывал подпольные типографии, писал и распространял листовки, собирал средства на нужды «Земли и воли». После сибирской ссылки он, не отказавшись от идеалов своей юности, стал чаще задумываться о грядущих неконтролируемых последствиях предпринимаемых действий. Пантелеев увидел, к каким трагикомическим результатам может привести увлечение радикально настроенной молодёжи фиктивными браками. Один из его знакомых ещё в бытность студентом в Петербурге «вступил в фиктивный брак, чтобы дать одной молодой особе свободно располагать собой»<sup>249</sup>. Прошло несколько лет. Бывший студент обосновался в Тифлисе, где влюбился в юную барышню, дочь генерала. Родители девушки дали согласие на брак, разумеется, церковный. Дело было за малым: отыскать фиктивную жену и оформить развод. Фиктивный муж отправился в Петербург, где нашёл свою «жену».

Впрочем, её самой он дома не застал. Прислуга осведомилась о фамилии неожиданного визитёра и получила ответ. «Ах, батюшка барин, пожалуйста, войдите, посмотрите деток», — проговорила обрадованная прислуга<sup>250</sup>. Развод удалось оформить с большим трудом и немалыми издержками, однако у фиктивной жены были вполне реальные дети, которые по закону носили фамилию своего фиктивного отца. Эта ненормальная ситуация была чревата серьёзными жизненными драмами в будущем. Прошло более двадцати лет, и дочь этой женщины предъявила материальные претензии своему фиктивному отцу. «...Вся эта история неожиданно повернулась передо мной своей теневой стороной», — незадолго до смерти сделал вывод бывший член «Земли и воли»<sup>251</sup>.

Государство и не отделённая от него Церковь по-прежнему трактовали гражданский брак только как незаконное сожительство, но общественное мнение было более снисходительным. Прогрессисты жаждали скорейшего избавления от «дряхлых стропил официальной нравственности» и принципиально не желали идти на компромисс. Компромисс был для них синонимом слабости. Стропило — это опора для кровли: два бруса, соединённые верхними концами под углом, а нижними упирающиеся в стену здания. Прогнившее стропило требует замены, но здание, у коего, исходя из лучших побуждений, снесли обветшавшее стропило, на какой-то момент остаётся без кровли — и ничем не защищено от непогоды. Это обстоятельство несколько не смущало российских нигилистов. Языку компромиссов они предпочитали язык конфликтов и ультиматумов. Программная статья Дмитрия Писарева «Схоластика XIX века», опубликованная в 1861 году в майской и сентябрьской книжках журнала «Русское слово», стала политическим и философским манифестом левого радикализма. «Словом, вот ultimum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть»<sup>252</sup>. В год отмены крепостного права на страницах авторитетного «литературно-учё-

ного» журнала прозвучал призыв подвергнуть тотальной критике всё сущее без исключения. И этот революционный призыв был услышан.

### *Сексуальная революция — разрушительная и созидательная*

«Историки часто упрекают в злоупотреблении словом *революция*, которое-де должно было бы сохраняться, в соответствии с его первым значением, для обозначения явлений насильственных и в неменьшей степени быстрых. Но, когда речь идёт о социальных явлениях, быстрое и медленное неразделимы»<sup>253</sup>. Отталкиваясь от этого замечания Фернана Броделя, можно утверждать, что начавшаяся в пореформенной России сексуальная революция была двоякой: она была и серией живых событий, и явно медленным процессом большой длительности. «Игра шла разом в двух регистрах»<sup>254</sup>. Внимание современников неоднократно фокусировалось на тех или иных ярких эксцессах: наиболее колоритные казусы, связанные с ниспровержением традиционных норм, сохранились в исторической памяти и были зафиксированы в мемуарах. Однако в сознании современников эти живые события не сразу были связаны воедино и поняты как части единого целого и как различные моменты одного процесса. Сексуальная революция в России, затронувшая жизнь нескольких поколений, не была своевременно осмыслена как длительный процесс. Временной лаг составил четверть века.

Николай Васильевич Шелгунов, принадлежавший к старшему поколению когорты «новых людей», стал первым мемуаристом, обратившимся в своих воспоминаниях «Из прошлого и настоящего» к событиям 1860-х годов. В этих мемуарах, опубликованных в конце 1885-го — начале 1886 года на страницах влиятельного московского либерального журнала «Русская мысль», видный «шестидесятник» сделал обоснованный вывод о совершившейся в России сексуальной революции и подчеркнул естественно-исторический и перманентный характер этой революции. *«Перемены и пере-*

*стройки в семье не обошлись без борьбы*, когда они коснулись людей, уже вышедших из детской. <...> С шестидесятых годов, как видит читатель, *семейные отношения испытали полную революцию*: всё стало в них гуманнее, порядочнее, чище, а главное — правдивее. Правдивость, искренность и свобода сделали русскую семью ровнее, ближе, счастливее и создали ей внутренний мир, какого она прежде не знала. Такой сравнительно полный успех получился, нужно думать, оттого, что *семейный переворот, предоставленный собственным силам общества, не испытывал внешнего вмешательства* (курсив мой. — С. Э.). Никакой доморощенный химик не стоял над ним, чтобы руководить брожением или чтобы закрыть крышку котла, когда это показалось бы нужным химику. Котёл работал свободно и до сих пор продолжает ещё свою нескончаемую работу. Старая и вечно новая история стремления человека к личному счастью!»<sup>255</sup> Из-за вмешательства цензуры публикация воспоминаний Шелгунова была прервана опасавшейся закрытия журнала редакцией «Русской мысли». Гласное обсуждение высказанной мемуаристом мысли было исключено — и связь времён распалась. В итоге осмысление феномена сексуальной революции в России прервалось ещё на два десятилетия.

Лишь после первой русской революции 1905—1907 годов мемуаристы, молодые годы которых совпали не только с Великими реформами, но и с отрицанием традиционной морали и распадом освящённых Церковью брачных уз, с полувекowym временным лагом вновь вплотную подошли к пониманию того, что лучшая пора их близящейся к завершению долгой жизни, их молодость, пришлась на начало сексуальной революции в России. Честь сделать наиболее последовательный вывод выпала русской женщине.

В 1911 году детская писательница, педагог и мемуаристка Елизавета Николаевна Водовозова (1844—1923), чья юность пришлась на эпоху 1860-х годов, осознала, что заря её жизни была временем самой настоящей революции, которую мемуаристка вслед за Шелгуновым назвала семейной. «...Недоразумения, конфликты, тревоги, отчаяние, тяжёлые драмы наполняли собою всю

эпоху шестидесятых и первую половину семидесятых годов, *пока в этой семейной революции не обновились понятия, взгляды и обычаи* (курсив мой. — С. Э.)»<sup>256</sup>. С таким же полувековым временным лагом уяснил факт сексуальной революции в России и Пётр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921). Его размышления прекрасно корреспондируются с воспоминаниями Водовозовой.

«Но вот, что тогда наполняло молодёжь всякую — и ту, из которой вышли первые революционеры, и ту, кто не предавался подпольной пропаганде, а только учился, устраивал себе жизнь, воевал со старыми порядками и дореформенными нравами, — это страстная потребность вырабатывать себе свою мораль, жить по своим новым нравственным и общественным правилам и запросам.

Этим было решительно всё проникнуто среди тех, кого звали и “нигилистами”. Движение стало настолько же разрушительно, как и созидательно»<sup>257</sup>.

Бесповоротное отвержение старых нравственных норм и созидание новых моральных установок в сфере сексуальных отношений суть сексуальная революция. Начало этой революции совпало с началом новой поры в жизни государства и общества.

Смерть императора Николая I в 1855 году была осознана частью современников как конец эпохи. «Николай умер. Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг “новых людей”, точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать»<sup>258</sup>. Отношение к личности царя на годы разделило мыслящих людей России. Любой прогрессист, если хотел оставаться таковым, был обязан ругать почившего в бозе Незабвенного. А бывшая фрейлина Александра Осиповна Россет, давно уже ставшая губернаторшей Смирновой, любую хулу по адресу обожаемого ею монарха расценивала как личное оскорбление и могла отказать от дома за нелестные слова о покойном государе. Художник Михаил Осипович Микешин, разрабатывая проект многофигурного памятника, который предполагалось воздвигнуть в Великом Новгороде в честь 1000-летия России, счёл возможным обойтись без фи-



гуры императора Николая I, 30 лет правившего Российской империей. Покойный император, по мнению автора проекта, не относился к числу «достойнейших мужей». На Микешина было оказано давление, но он твёрдо стоял на своём, без обиняков заявив великому князю Константину Николаевичу: «Отсохнут мои руки, если это сделаю я». Проект Микешина был принят, а барельеф Николая в казачьем генеральском мундире было поручено изваять скульптору Роберту Карловичу Залеману. Не только восхваление императора Николая, но и его апология воспринимались людьми новой эпохи как неопровержимые свидетельства отсталости защитников этого царя. Всех их скопом прогрессисты облыжно зачислили в разряд ретроградов и предпочли от них отмахнуться. На десятилетия покойный император превратился в объект разоблачений и перестал быть героем Истории.

Отмена крепостного права в 1861 году, казалось, забила последний гвоздь в гроб позорного прошлого. Немногие оставшиеся в живых декабристы увидели в этом событии достойное завершение своей жизни и возблагодарили судьбу за то, что им довелось дожить до этого исторического дня. Декабрист Сергей Григорьевич Волконский протянул руку примирения декабристу Николаю Ивановичу Тургеневу — и отмена крепостного права примирила многолетних антагонистов. *Ныне отпущаеши...*

Развязался запутанный узел русской жизни, который был завязан в давно прошедшем времени. Но что дальше? Настоящее завязывало новые узлы. В чём они заключаются? Кому и когда предстоит их развязать? И можно ли отыскать в прошлом ответы на насущные современные вопросы? В годы Великих реформ интерес к истории хотя и не ослабел, но принял своеобразную форму. «Молодая Россия» 1860-х годов состояла из честолюбивых людей, по словам графа Шереметева, «глубоко веровавших в своё призвание обновителей Отечества»<sup>259</sup>. Это были люди, любившие поднимать так называемые *вопросы*, но не любившие искать ответы на них в былом. Всё прошлое они почитали «дребеденью», поверхностно интересуясь только тем, что было при-

годно для хлёсткого обличения или злободневных публицистических аллюзий, и предоставляя заниматься историческими вопросами специалистам. «Люди 60-х годов сами “делали историю”, и ссылки на прошлое были не в ходу. Да и в исторических исследованиях того времени преобладает стремление к разрушению и свержению с пьедесталов дорогих нам имён»<sup>260</sup>. Так прервалась связь между давно прошедшим временем и настоящим. Настоящее стало чваниться своей самобытностью и своим разрывом с прошлым.

В 1866 году, через пять лет после отмены крепостного права, художник Николай Васильевич Неврев написал обличительную картину «Торг», в которой реалистически изобразил куплю-продажу крепостных. (Другое название живописного полотна «Из недавнего прошлого».) Один помещик продаёт, а другой покупает — отдельно от всей большой семьи — пригожую молодую девушку. Пожилой покупатель с вожделением взирает на свою будущую наложницу и безуспешно просит неуступчивого продавца сбавить цену. Однако якобы либеральный хозяин девушки (на стене его кабинета висит портрет Мирабо) упрямо отстаивает заявленную цену. У образованных зрителей не могли не возникнуть ассоциации с «Современной песней» Дениса Давыдова.

А глядишь: наш Мирабо  
Старого Гаврило  
За измятое жабо  
Хлещет в ус да в рыло<sup>261</sup>.

Сознательная критическая заострённость изображённой живописцем сцены из крепостного быта была очевидна. И хотя некоторые критики, в частности Константин Дмитриевич Кавелин, упрекали художника за явную тенденциозность, и почитателям картины, и её хулителям было очевидно: продажа людей навсегда осталась в постыдном прошлом.

Если история государства Российского до отмены крепостного права могла восприниматься и излагаться как история дворянства *par excellence* (по преимуществу), то *после* этого рубежа ситуация изменилась. Был

подрублен один из столпов, на которых держалось здание российской государственности. Вспоминать о былых заслугах благородного сословия перед престолом и Отечеством в пореформенной России было не модно. Российское дворянство олицетворяло в глазах либералов и прогрессистов самые мрачные и тёмные стороны былого — «это ужасы крепостного права, закладывание жён в стены, сечение взрослых сыновей, Салтычиха и т. п.»<sup>262</sup>. Дворянству было отказано в праве иметь будущее. С этим категоричным утверждением, безусловно, соглашались люди, стоявшие на диаметрально противоположных концах социальной лестницы. Персонаж романа Боборыкина «Жертва вечерняя» талантливый молодой учёный Александр Петрович Кротков, узнав, что дворяне тратят большие деньги за границей, безапелляционно заявил: «Ведь это всё равно-с, российские помещики, доживающие теперь свой век, ни здесь в России, ни там ни на что не полезны. Так лучше уж пускай они поскорее разорятся»<sup>263</sup>. Так рассуждал рационально мыслящий литературный герой эпохи Великих реформ, а логический вывод из рассуждений подобного рода сделал член Императорской фамилии. Младший брат императора Александра II великий князь Константин Николаевич с цинизмом и злобой произнёс знаменательную фразу: «Плевать на дворянство»<sup>264</sup>.

Благородное сословие Российской империи, веками приученное к служению престолу и Отечеству, бесславно сходило со сцены. Дворянское сословие не смогло осознать всей меры ответственности, в том числе и ответственности экономической, за грядущую судьбу своей страны. «Да, Россия богата, но в будущем и с условием затраты на неё капиталов, а их-то и нет, и некогда ждать будущих доходов, ибо надобно жить и платить деньги. Россия — это огромное поместье, которое владелец получил с лесами, рыбными ловлями, минеральными богатствами в недрах земли, но без капиталов и с огромными долгами. Это имение может дать много в будущем, но надобно исправить настоящее...»<sup>265</sup> — эту афористически точную характеристику положения России накануне отмены крепостного права 19 ноября

1859 года сформулировал Александр Васильевич Головин в письме, адресованном генералу Дмитрию Алексеевичу Милютину.

Пройдёт несколько лет, и Головин, и Милютин станут ключевыми фигурами эпохи Великих реформ. В результате проведённой выкупной операции помещикам в качестве выкупных сумм было выдано 902 миллиона рублей, из которых 316 миллионов было зачтено в уплату помещичьих долгов банкам. Чтобы оценить грандиозность этой суммы, следует знать, что общая сумма государственных расходов Российской империи на 1862 год составляла 310,6 миллиона рублей. Бюджет на первый пореформенный год был свёрстан с учётом дефицита в 14,8 миллиона рублей. После отмены крепостного права господствовала всеобщая эйфория. Даже не склонные к сантиментам государственные мужи видели будущее страны исключительно в розовом свете. «...наше финансовое положение представлялось вообще в благоприятном виде; по крайней мере можно было обольщаться радужными надеждами на будущее. Нам казалось тогда, что и по финансовой части мы вступаем в новую эру возрождения; мы ждали блестящих результатов от разнообразных преобразований, частью уже утверждённых и вводившихся в действие, частью находившихся ещё в разработке, по всем частям государственного хозяйства»<sup>266</sup>, — вспоминал Милютин.

Итак, выданные помещикам выкупные суммы составляли *три годовых бюджета* Российской империи. Деньги, полученные государством в виде иностранных займов или собранные им в виде податей и единовременно выплаченные помещикам в качестве выкупных сумм, легли непосильным бременем на государственный бюджет, и без того сильно расстроенный неудачной Крымской войной. Но эти финансовые тяготы в настоящем не способствовали экономическому возрождению страны в будущем. Дворянство получило последний шанс сохранить за собой роль не только политической, но и экономической элиты. Однако благородное сословие не было приучено мыслить экономическими категориями и расценило выкупную сумму как материальную компенсацию за нанесённый ему мо-

ральный урон, а не как стартовый капитал для качественного изменения образа жизни.

Эти колоссальные деньги открывали перед дворянством целый веер различных возможностей, которые, к сожалению, не были даже осознаны. Дворянство в значительной своей части не стало вкладывать полученные деньги в обустройство России, а предпочло расточительно потратить их за её пределами. Так был заложен краеугольный камень неизбежного грядущего экономического оскудения и разорения дворянства, с одной стороны, и краха Российской империи — с другой. Но в годы Великих реформ до этого было ещё далеко. Никто не мог предвидеть будущее. Одно было очевидно: дворянское сословие ещё не сошло с исторической сцены, но оно покинет эту сцену в скором будущем. Уже первый абзац романа Писемского «Люди сороковых годов», начатого в 1867-м и завершённого 31 июля 1869 года, зримо представил читателям неприглядную картину разорённого дворянского гнезда.

«В начале 1830-х годов, в июле месяце, на балконе господского дома в усадьбе в Воздвиженском сидело несколько лиц. Вся картина, которая рождается при этом в воображении автора, носит на себе чисто уж исторический характер: от деревянного, во вкусе итальянских вилл, дома остались теперь одни только развалины; вместо сада, в котором некогда были и подстриженные деревья, и гладко убитые дорожки, вам представляются группы бестолково растущих деревьев; в левой стороне сада, самой поэтической, где прежде устроен был “Парнас”, в последнее время один аферист построил винный завод; но и аферист уж этот лопнул, и завод его стоял без окон и без дверей — словом, всё, что было делом рук человеческих в настоящее время, или полуразрушилось, или совершенно было уничтожено, и один только созданный богом вид на подгородное озеро, на самый городок, на идущие по другую сторону озера луга, — на которых, говорят, охотился Шемяка, — оставался по-прежнему прелестен»<sup>267</sup>.

Эта удручающая картина была создана задолго до «Вишнёвого сада» и «Тёмных аллей», когда для дворянства всё уже было в прошлом. И если теоретические вы-

кладки, сделанные в учёных диссертациях, не покидали стены университетов, то произведения русских писателей и полотна передвижников сделали это утверждение наглядным и общедоступным.

### *Время героинь*

В 1879 году на VII Передвижной художественной выставке на суд зрителей была представлена картина Василия Дмитриевича Поленова «Бабушкин сад». Согбенная бабушка и её элегантная внучка сошли со ступенек парадного крыльца помещичьего дома, чтобы совершить прогулку в саду. И хотя как ступеньки крыльца, так и фронтон дома нуждаются в ремонте, а старый сад, давно лишённый попечения крепостного садовника, одичал, сильно разросся и подступил к окнам усадьбы, владельцы дворянского гнезда, безусловно знававшего лучшие времена, продолжают жить в старом доме. Если судить по модному фасону дорогого платья внучки, у младшего поколения дворянской семьи ещё есть будущее, пусть и не столь лучезарное и радужное, как недавнее прошлое. Внучка похожа на яркую пташку, вот-вот готовую выпорхнуть из гнезда. Прошло десять лет. В 1889 году на XVII Передвижной художественной выставке экспонировалась картина Василия Максимова «Всё в прошлом». На фоне разрушающегося помещичьего дома с заколоченными окнами дремлет в кресле пожилая барыня в чепце, а её не менее пожилая служанка в очках сосредоточенно вяжет. И барыня, и её служанка доживают свой век не то во флигеле, не то в избе, где когда-то жили дворовые. Дворянское гнездо разорено, и у его стародавней хозяйки нет будущего — только прошлое.

Константин Левин, герой романа «Анна Каренина» (1873—1877), сокрушённо размышлял о том, что дворянство неуклонно беднеет и что, пожалуй, детям князя Стивы Облонского нечем будет жить. А Долли Облонская сделает трезвый вывод: в лучшем случае её и Стивы дети не будут негодьями, а на большее уповать не приходится.

Культура пореформенной России продолжала оставаться *логоцентричной*. Само писательское звание было окружено «особым обаянием»: русские писатели «стояли очень высоко во мнении всех, кто не был уже совсем *малограмотным* обывателем»<sup>268</sup>. Господствующие высоты интеллектуального пространства заняли и прочно удерживали мастера слова. Именно писатели были и продолжали оставаться властителями дум. Читающая публика привыкла к тому, что властители дум стремятся отыскать исторические корни злободневных современных проблем и постоянно ищут героя нашего времени. Однако когда граф Лев Николаевич Толстой после безуспешных попыток найти в Петровской эпохе узел русской жизни в конечном итоге написал роман «Анна Каренина», действие которого происходило в настоящем, вряд ли кто-то из читателей романа обратил внимание на важнейший факт: *эпоха героев нашего времени закончилась, наступило время героинь*. «Фигура женщины грешной, так или иначе “преступившей черту”, находится в центре внимания литературы 1860—1870-х годов. Если в драматургии ещё можно встретить героинь идеальных, безусловно добродетельных, то в русской прозе судьба женщины — арена сражения жестоких сил жизни, и женщина в этом сражении выказывает всё большую волю, всё большую решительность. От Анны Карениной, “великих грешниц” Достоевского, Леди Макбет Мценского уезда Лескова, Веры из “Обрыва” Гончарова до “Жертвы вечерней” Боборыкина — на всех этажах литературы шло осознание свершающегося крушения традиционной нравственности»<sup>269</sup>, — как отметил уже в наше время критик.

Русская читающая публика была приучена читать между строк. Цензурный гнёт последних лет николаевского царствования выработал у проницательных читателей уникальную способность улавливать даже очень тонкие намёки. В мартовском номере журнала «Русский вестник» за 1867 год был опубликован роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дым». В своём новом романе, действие которого начинается в августе 1862 года, писатель не побоялся весьма прозрачно, с точки зрения первых читателей «Дыма», намекнуть на царствующую

щего императора Александра II. Царь был упомянут в не очень лестном контексте. В романе рассказывается трагическая история некоей Элизы Бельской, занимавшей видное положение в свете. Для этой великосветской барышни «свадьба стала необходимостью»: Элиза ждала ребёнка от человека, который в романе назван «главным лицом»<sup>270</sup>. Барышне срочно ищут сговорчивого жениха и обещают ему «денег... много денег». Устроить судьбу девушки хочет главная героиня романа Ирина Ратмирова. Желая спасти честь Элизы Бельской, «Ирина действительно оказывала услугу тому, кто был всему причиной и кто сам теперь стал весьма близок к ней, к Ирине...»<sup>271</sup>.

В этой фразе первые читатели романа увидели очевидный намёк на царя и его многочисленные любовные связи. Ирина заняла вакантное место любовницы монарха, освободившееся после беременности Элизы Бельской. Жених для Бельской был найден, но свадьба не состоялась. Неожиданно Элиза опасно заболела, родила дочь и отравилась. «Главное лицо» представлено в качестве основного виновника не только этой трагедии, но и личной драмы, пережитой главной героиней романа. Хорошо осведомлённые современники полагали, что прототипом Ирины стала фрейлина императрицы княжна Александра Сергеевна Долгорукова, выданная замуж за генерала Петра Павловича Альбединского. Именно Альбединский послужил прототипом одного из сатирически изображённых Тургеневым баденских генералов — «гладкого, румяного, гибкого и липкого» генерала Ратмирова. Женитьба на фрейлине княжне Долгоруковой стала прочным основанием последующей блистательной карьеры 36-летнего генерала Альбединского. Вскоре после свадьбы Пётр Павлович был назначен командиром лейб-гвардии Гусарского полка и начал быстро подниматься по ступеням служебной лестницы. Это был «человек вполне придворный, ловкий, гибкий, находчивый. <...> Женитьба эта, ставившая Альбединского в положение несколько щекотливое, не повлияла, однако же, нисколько на его отношения общественные и служебные; он умел держать себя с большим тактом и благодаря счастливым при-



родным качествам сделаться полезным деятелем даже в высших служебных должностях»<sup>272</sup>. Недаром и писатель, и мемуарист особо отмечали *гибкость* генерала — и литературного персонажа, и его прототипа. Своё служебное поприще член Государственного совета генерал от кавалерии и генерал-адъютант Альбединский завершил на посту варшавского генерал-губернатора и командующего войсками Варшавского военного округа.

Современники считали княжну Долгорукову любовницей императора. «Общий голос утверждал, что она находилась в связи с императором Александром Николаевичем... Когда появился роман “Дым”, то все говорили, что в лице Ирины изображена в нём m-me Альбединская. Тургенев отрицал это, хотя и не совсем; по словам его, он хотел только выставить женщину в положении, каким пользовалась m-me Альбединская при дворе, но никогда не приходило ему в голову писать портрет с живого лица»<sup>273</sup>. Тургеневские отрицания и оговорки никого не обманули и не ослабили произведённого романом впечатления. Более того, стало очевидным, что автор «Дыма» хотел запечатлеть не единственный казус, а социальное явление. Действительно, именно император «был всему причиной». Александр II отменил крепостное право. О недавно состоявшейся отмене крепостного права постоянно говорят герои романа. Представленная Тургеневым дворянская оппозиция не скрывает своего разочарования и видит в этом глубокое потрясение самого принципа собственности в России. Царь потряс не только принцип собственности, но и традиционные основы нравственности. Впервые в истории русской литературы в подцензурном художественном произведении царствующий император был изображён как частный человек — действующее лицо безнравственных историй, нередко происходивших в высшем свете. «Страшная, тёмная история... Мимо, читатель, мимо!»<sup>274</sup> Но сам Тургенев не прошёл мимо ни государя, ни государыни. В известной степени и царственная чета — тоже дым. Романист неожиданно для самого себя оказался в одном лагере с теми отечественными радикалами, которые требовали от русской литературы «обличений». В эпилоге «Дыма»

изображены великосветский Петербург и «одно из первых тамошних зданий» — «храм, посвящённый высшему приличию, любвеобильной добродетели, словом: неземному»<sup>275</sup>. Злые языки утверждали, что автор очень верно описал приёмную императрицы Марии Александровны. Под пером Тургенева и этот храм предстаёт как дым.

Негативное изображение императора и императрицы, выполненное рукой живого классика русской литературы, стало настоящим потрясением для читателей. Безусловно, русскому образованному обществу и до выхода в свет романа Тургенева было хорошо известно о царящих при императорском дворе нравах и далеко не самом образцовом поведении монархов. «Фрейлины — все бляди, служат чести ради»<sup>276</sup>. Так было сказано в «презревшем печать» и распространявшемся в списках стихотворении анонимного автора «Русский царь». Имена многочисленных фаворитов Екатерины II или любовниц Александра II не были секретом. Но об этих деликатных материях не принято было громко говорить, тем более писать в классическом произведении. Лицемерно считалось, что монархи — безупречны. В романе «Дым» всё было названо своими словами. «Конечно, и дым отечества нам сладок, однако не этот отвратительный смрад от повсеместной испорченности нравов»<sup>277</sup>, — «обличает» в дневнике Никитенко. Тургенев, пожалуй, впервые сдёрнул с табуированных тем русской жизни этот очевидный для всех покров ханжества, причём сделал это с таким безупречным мастерством, что формально власть ни в чём не могла его ни упрекнуть, ни обвинить. Русское образованное общество необратимо утрачивало иллюзию того, что государь — это отец своих подданных, образец для них во всём и безусловное олицетворение примерного семьянина. Иллюзия развеялась как дым. «Дым» метафорически означен собой истину.

Эта истина — «Нет дыма без огня» — подтверждается различными источниками. Сошлёмся на два наиболее колоритных: на недавно опубликованные воспоминания управляющего Морским министерством и на распространявшееся в списках стихотворение вольной

поэзии. Строки, вышедшие из-под пера «полного» адмирала и отставного чиновника Министерства финансов, хотя их авторы стоят на разных ступенях социальной лестницы, воспринимаются как развёрнутый комментарий к классическому роману Тургенева и превосходно соотносятся друг с другом: генерал-адъютант и поэт-сатирик отменно дополняют один другого.

В 1875 году тогда ещё контр-адмирал Иван Алексеевич Шестаков, морской агент в Австрии, Италии и южных портах Европы, получил приказание незамедлительно прибыть из Ниццы, где была его штаб-квартира, в Петербург. Шестаков был лично известен как генерал-адмиралу великому князю Константину Николаевичу, так и императору Александру II. За годы службы Иван Алексеевич успел побывать адъютантом великого князя, флигель-адъютантом государя и ряд лет состоял в Свите Его Императорского Величества. Он хорошо знал частную жизнь своих августейших патронов и судил о них без всякого пиетета. Друзья Шестакова занимали ключевые посты в Морском министерстве и незамедлительно сообщили ему светские новости. О столичных нравах бывалый морской волк написал кратко: «Великий князь вовсе не скрывал своей закулисной жизни, ночевал у своей любовницы и утром с холодом на руках и в лице принимал всех, возвращаясь из своего *petite maison* (маленького домика). Скандальная хроника уже вовсе не заботилась о простых смертных, толковали только о деяниях царского семейства на этом поприще»<sup>278</sup>. Прошло несколько лет после изображаемых адмиралом Шестаковым событий, и в 1881 году, вслед за убийством народовольцами Александра II, отставной чиновник и поэт-сатирик по совместительству Пётр Васильевич Шумахер (1817—1891) написал получившее широкое распространение в списках стихотворение «Сердце царёво в руке Божией», по-своему продолжившее мемуары «полного» адмирала и генерал-адъютанта:

Не грех и не беда:  
Все очень понимают,  
Что фрейлины всегда  
На передок хромают.

Сам царь им делал честь  
И лазал к ним в постели;  
На то они и есть —  
Дворцовые мамзели<sup>279</sup>.

Крушение традиционных нравственных норм было столь очевидным, что на него не могли не обратить свой пытливый взор не только русские писатели, но и жандармы. На первый взгляд это кажется странным. Ну, какое, спрашивается, «голубым мундирам» дело до сексуальной революции. Им бы с назревающей социальной революцией совладать. Однако так может рассуждать только наш современник. Жандармы мыслили иначе. Со времён Николая I «голубые мундиры», во исполнение специальной инструкции, данной им графом Бенкендорфом, по долгу службы постоянно собирали сведения «о худой нравственности и дурных поступках молодых людей»<sup>280</sup>. Стоило в Петербурге появиться магазинам по продаже «развратных предметов», как тайная полиция приняла меры: в апреле 1852 года первые российские секс-шопы были опечатаны, а их владелец (разумеется, иностранец) выслан из империи<sup>281</sup>. Это было в конце царствования императора Николая I. Однако наступили новые времена, и в эпоху *перестройки*, *гласности* и *оттепели* жандармы далеко не всегда действовали столь же круто. В пореформенной России резко возрос интерес ко всему, что касалось секса, и порнографические открытки не составили исключения. Спрос всегда рождает предложение — в биржевом сквере Петербурга началась бойкая торговля, о чём было доведено до сведения Третьего отделения.

«Продажа похабных *картинок* и изображений вообще строго преследуется нашими законами, а между тем в биржевом сквере, наряду с разными, выставленными на продажу заморскими диковинками, продаются и фотографические снимки с разных картин, портретов и статуй, в числе которых есть и похабные, т. е. не просто легкого, эротического содержания, какие продаются везде, но такие, как например — Юпитер, совокупляющийся с нимфой Ио.

Заглядывают ли в биржевой сквер инспекторы типографии, литографии и т. п.

2 сентября 1869 г.»<sup>282</sup>.

На тексте этого агентурного донесения не сохранилось никаких начальственных маргиналий: факт сочли незначительным и пустяковым, не имеющим существенного значения и не заслуживающим пристального внимания тайной политической полиции. На сей раз «голубые мундиры» не посчитали нужным вмешаться и власть употребить. Торговля порнографией в биржевом сквере беспрепятственно продолжалась...

Жандармы сосредоточивали в своих руках разнообразные данные обо «всех без исключения происшествиях» и ежегодно представляли императору «нравственно-политический» отчёт, который должен был помочь государю вникать во все мелочи жизни его подданных. Начавшаяся в России эмансипация женщин была своевременно отражена в традиционном ежегодном отчёте. Впервые тайная политическая полиция отметила возникновение в Российской империи так называемого женского вопроса в своём отчёте за 1869 год, представленном императору Александру II в начале 1870-го. Этот официальный документ был скреплён подписью графа Петра Андреевича Шувалова — генерал-адъютанта государя, шефа жандармов и главноначальствующего Третьего отделения. Знаменательно, что граф Шувалов обратил внимание на очередной *вопрос* одновременно с графом Львом Николаевичем Толстым. Графиня Софья Андреевна Толстая, резонно полагая, что это может быть полезно для потомства, отметила дату возникновения нового творческого замысла.

«24 февраля 1870. Вчера вечером он мне сказал, что ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины»<sup>283</sup>.

А в отчёте Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и корпуса жандармов за 1869 год новой российской проблеме был посвящён специальный раздел «Женский вопрос и нигилизм». Само название раздела свидетельствует, что женский вопрос был понят «голубыми мундирами» од-

нобоко. Они связали его исключительно с тягой женщин к материальной независимости и с нигилизмом.

«Оттого материальная эмансипация женщин, которой посредством образования желательно было достигнуть и которая в нравственном отношении так полезна, обратилась в уродливое стремление к тому, что в дурном смысле называется эмансипацией женщин, то есть отвержение всяких вообще стеснений; а так как приличие, женственность, нравственность суть стеснения, так как положение женщины в обществе и семействе представляет некоторые стеснения, то следовало отрешиться от них без внимания на то, что они вытекают из физической и нравственной природы женщины.

...Овладевшее нашим обществом увлечение женским образованием было только одною частью программы, составленной в то время для разрешения так называемого женского вопроса. Одновременно в тех же видах стали приискиваться занятия, которые бы могли обеспечивать женщинам существование посредством честного труда. Мысль бесспорно полезная, но, в свою очередь, подвергшаяся искажению при исполнении. <...> Все эти по себе полезные начинания обратились во вред нашему обществу, ибо ими преднамеренно наносились самые чувствительные удары всему, что особенно для женщины считается заветным и должно быть неприкосновенным: семья, религия, женственность.

Искажённое таким образом упомянутое движение, вместо того чтобы облагородить женщину умственным и нравственным развитием, вместо того чтобы, доставлением ей возможности найти пропитание полезным и честным трудом, ограничить нищету, столь часто служащую причиною и извинением разврата, создало эмансипированную женщину, стриженную, в синих очках, неопрятную в одежде, отвергающую употребление гребня и мыла и живущую в гражданском супружестве с таким же отталкивающим субъектом мужского пола или с несколькими из таковых»<sup>284</sup>.

Стремление женщин к эмансипации трактовалось графом Шуваловым как важный *нравственно-политический вопрос*, подлежащий обязательному государственному регулированию и на этом основании входя-

щий в сферу его служебной компетенции. Женщины добивались утверждения в законодательном порядке их права работать в аптеках и почтовом ведомстве: фельдшерами, телеграфистками и бухгалтерами. С 1865 года такое дозволение им было дано, но первоначально лишь в виде временной меры на три года. Граф Шувалов полагал, что женщин надо поощрять к деятельности акушерской и учебной. На должности телеграфисток допускать в известной пропорции по отношению к мужчинам. Но отклонять «приём женщин на всякие должности канцелярские и административные как по назначению правительства, так и по выборам»<sup>285</sup>. Шеф жандармов настойчиво обращал внимание государя и своих коллег-министров на систематическую «агитацию» в периодической печати по женскому вопросу и на «нигилистическое направление» женского образования в империи. Тяга нигилисток к экономической независимости как от родителей, так и от мужей последовательно отождествлялась графом с безусловной склонностью к ниспровержению всех нравственных и семейных устоев и бесспорным влечением к развратной жизни. Для общественной морали нигилистка вреднее, чем проститутка, утверждал шеф жандармов в служебном документе, сохранившемся в личном архиве военного министра Милютина.

«Женщина-нигилистка вреднее женщины открыто дурного поведения, — сказано было в записке графа Шувалова, — эта падает в разврат часто вследствие нужды, сознаёт, что она распутна, из жизни своей не делает пропаганды; напротив того, в ней проявляется стремление выйти из своего позорного положения; тогда как другая гордится распущенностью своих убеждений, как бы драпируется в своё учение и проповедует его везде и всякому, доказывая, что оно единственно истинное, правдивое и очищенное от предрассудков. Там — просто разврат, а здесь — философия разврата...»<sup>286</sup>

И хотя автора этого документа можно легко упрекнуть как в вульгарном социологизме, так и в традиционном мужском шовинизме, мы видим, что жандармы точно диагностировали проблему. Итак, и граф Шувалов, и граф Толстой в одно и то же время и независимо

друг от друга сформулировали *мужской взгляд на женский вопрос*. Они исходили из презумпции неизбежности верховенства мужчины как в семье, так и в обществе. И тот и другой признавали наличие в России женского вопроса и не видели реальных путей его решения в обозримом будущем. Женщине отводилась роль пассивного объекта, ей решительно отказывалось в праве быть суверенным субъектом. Женщина не рассматривалась как полноправный участник возможного диалога по вопросу, который её непосредственно касался. Шеф жандармов трактовал эмансипированную женщину как объект полицейского надзора, ибо женская эмансипация была для графа Шувалова разновидностью своеволия. А великий писатель намеревался представить героиню своего будущего романа как существо страдательное, пассивное, достойное сожаления. И граф Шувалов, и граф Толстой исходили из аксиомы, что инициатива в решении этого наболевшего вопроса находится в руках мужчин, — и ни тот ни другой не предполагали, что одновременно с ними, мужчинами, своё видение проблемы не только сформулирует, но и ухитрится донести до сведения читателей сама женщина. Каким бы отталкивающим ни был образ нигилистки, созданный сотрудниками Третьего отделения, секретный отчёт предназначался для сведения только одного человека — государя императора Александра II.

Эмансипированная женщина поступила иначе. Она обратилась к городу и миру. В том же 1870 году в легальной печати был опубликован женский взгляд на эмансипацию женщин. В Петербурге был издан трактат Джона Стюарта Милля «Подчинённость женщин». Предисловие к русскому переводу трактата написала Мария Константиновна Цебрикова (1835—1917). В своё время она была признанным литературным критиком, педагогом, публицистом революционно-демократического направления, детским писателем и редактором. Воспитанная дядей-декабристом, Николаем Романовичем Цебриковым, Мария Константиновна обладала сильной волей и решительностью в отстаивании женского равноправия. Прогрессивные современники не



только читали, но и почитали её. Достаточно познакомиться с этим предисловием, чтобы понять, за что!

«Ни один из вопросов не бывал встречен таким бессмысленным глумлением и ожесточённой враждой, не бывал так извращён непониманием, тупоумием или злонамеренной клеветой, как женский вопрос, потому что ни один вопрос не идёт так вразрез всем предрассудкам и привычкам тех, которые забрали у них то, что каждый из них, самый последний идиот, самый отъявленный негодяй, привык считать своей неотъемлемой собственностью, — женщину, над которой закон и обычай поставил его бесконтрольным, безапелляционным властелином. Ни один вопрос не колеблет так глубоко веками освещённых основ общественного быта. <...> Так называемый женский вопрос есть вопрос о правоспособности и освобождении целой половины человечества и, следовательно, вопрос о разумном устройстве жизни всего человечества»<sup>287</sup>.

Разумеется, автор этих строк не знала, да и не могла знать ни о существовании секретного годового отчёта Третьего отделения, ни о возникновении нового творческого замысла гениального писателя. Тем не менее монополии мужчин в решении «проклятых» вопросов пришёл конец. Однако мужчины осознали это не сразу и по инерции продолжали обращать преимущественное внимание на частности, забывая о главном: женщина не только заявила о своём праве принять участие в диалоге, но изначально повела себя активно и наступательно. *Она не просила, она требовала и готова была к борьбе.* Но именно это обстоятельство и не было отражено в отчёте Третьего отделения.

Отчёт, скреплённый подписью шефа жандармов, неопровержимо свидетельствует, что внешний облик женщины и её дамский наряд приобрели в эпоху Великих реформ повышенную идеологическую и экспрессивно-эмоциональную нагруженность. Однако эти различные коннотации в наши дни могут быть выявлены лишь специалистами и не всегда понятны обычным читателям классических произведений. И хотя слова *оттепель*, *перестройка*, *гласность* впервые появились и вошли в обиход ещё в годы царствования Александра II,

всестороннее обсуждение женского вопроса на страницах печати было исключено. Насущные проблемы нередко принимали форму затянувшихся дискуссий о том, стоит ли дамам носить турнюры. Для ревнителей строгой нравственности гласное обсуждение модной детали дамского туалета уже само по себе было искушением или, как говорили в те времена, соблазном. Турнюр — это «специальное приспособление в виде ватной подушечки или конструкции из простёганной и жёстко крахмаленной ткани для формирования особого силуэта женского костюма»<sup>288</sup>. Турнюр, придававший «женскому седалищу неестественно преувеличенные размеры», вошёл в моду в 1870 году и продержался в ней до конца 1880-х — начала 1890-х годов<sup>289</sup>. И все эти годы общество рьяно обсуждало эту соблазнительную деталь дамского гардероба. В конце концов даже юмористы устали шутить о слишком затянувшихся спорах по столь маловажному поводу. В последней трети XIX века те или иные детали дамского туалета, отражённые в литературных произведениях, нередко имели для современников дополнительное значение, несли очень важную социально обусловленную символическую нагрузку. Об этом уже в наши дни поведала Виктория Севрюкова — знаток женских секретов, собравшая уникальную коллекцию дамского белья, — в интервью театральному репортёру Марине Райкиной:

«Вся русская литература пронизана глубочайшими эротическими токами. Помнишь, в “Бесприданнице” у Паратова пароход назывался “Ласточка”? Так “Ласточка” — это по прейскуранту название женского корсета. Или Вронский назвал свою лошадь Фру-Фру. Это не просто сочетание звуков, это тот звук, который слышится, когда женщина при ходьбе хрустит своими крахмаленными юбками. Этот звук и называется фру-фру.

Все любовные романы девятнадцатого века основаны только на одном — женщина, собирающаяся на свидание, должна испытывать африканскую страсть и забыть про всё на свете. Ведь она шла на огромный риск. Потому что корсет должна застёгивать горничная, привыкшая к телу хозяйки. Мужчина ни в жизнь его не за-

стегнёт. А платье, между прочим, на двадцать сантиметров меньше, чем тело.

А раздеть женщину в это время — это вообще был подвиг. Давай считать, что у нас получается — тридцать три крючка на ботинках, чулки на подвязках, потом надо расшнуровать корсет, потом двадцать две пуговицы на корсетном лифе... В общей сложности получается около двухсот пуговиц...

Можно представить себе муки мужчины, который в возбуждении пытался раздеть возлюбленную. Очевидно, на третьей юбке слабаки ломались...

Но потом... Её же надо как-то одеть. А одеть он её не сможет. У опытной горничной на это уходило два часа...

Поэтому быстрый секс — когда задирается юбка — это единственное, что можно было сделать. Разумеется, вандализм, но зато такие острые эротические ощущения...»<sup>290</sup>

Итак, русская женщина пореформенной поры становилась настоящей героиней своего времени. Возраставшее год от года участие женщин в жизни общества и революционном движении сопровождалось отвержением вековых нравственных норм.

Всё более лидирующее положение женщин заметно отразилось в русской живописи. Женщины стали героинями многих исторических полотен, которые создавались в то время художниками-передвижниками. Передвижные художественные выставки пользовались огромной зрительской симпатией, а картины передвижников — спросом покупателей. Незаурядный педагог Павел Петрович Чистяков, у которого учились многие из них, избрал героиней своей картины женщину — великую княгиню Софью Витовтовну, — и с этого полотна началась летопись русской исторической живописи. Николай Николаевич Ге изобразил императрицу Екатерину II и княгиню Дашкову накануне дворцового переворота. Илья Ефимович Репин запечатлел заключённую в Новодевичий монастырь царевну Софью после казни стрельцов. Василий Иванович Суриков сотворил знаменитую «Боярыню Морозову». Не отставали от них и живописцы второго плана. Михаил Петрович Клодт создал несколько картин, где на-

писал терем царевен, посещение царицей заключённых во время Светлого праздника, Марину Мнишек с отцом под стражей. Клавдий Васильевич Лебедев изобразил Марфу Посадницу. Андрей Петрович Рябушкин воспел женщин допетровской Руси. Не было, наверное, ни одной сколько-нибудь замечательной русской женщины, которая не стала бы героиней исторического полотна. К образу русской женщины обратилась и жанровая живопись, и ретроспективный взгляд на эти картины позволяет увидеть постепенное превращение русской женщины из пассивного объекта сделки («Сватовство майора», «Неравный брак») в героиню своего времени. Женщина повелительно сообщила о своих правах на участие в общественной и политической жизни. Одни, подобно богатой даме-патронессе с картины Владимира Егоровича Маковского «Посещение бедных», занимались благотворительностью. Другие, сходно с «Курсисткой» Николая Александровича Ярошенко, воспользовались возможностью получить образование и стали учиться на Высших женских курсах. Третьи устремились в водоворот политической борьбы. Софья Перовская стала первой в отечественной истории женщиной, казнённой за «политику», и Владимир Егорович Маковский живописал вечеринку нигилистов, среди которых было немало женщин, и казнь перомартовцев.

### *«Неуверенность и недовольство господствовали во всех классах»*

Мужчины ещё не успели осознать эту новую, порождённую сексуальной революцией реальность, а страна уже вступила в полосу непрерывных социальных конфликтов. «Как во всякое переходное время, неуверенность и недовольство господствовали во всех классах»<sup>291</sup>, — вспоминал Л. Ф. Пантелеев. Почва беспрестанно колебалась под ногами сильного пола. Судя по ряду литературных произведений и мемуаров, мужчинам, жившим в пореформенную эпоху, не дано было обрести желанный покой ни на службе, ни дома, а

будущее не внушало даже сдержанный оптимизм. Николай Фёдорович Щербина в стихотворении «Современное ожидание» написал об этом с антологической краткостью:

Всё ждёшь каких-нибудь историй,  
Трепещешь за свою судьбу,  
Ведь из принципов и теорий  
Россию выпустят в трубу<sup>292</sup>.

18 января 1867

Потрясения, которые пришлось испытать мужчине в сфере частной жизни, были тесно переплетены с социальными катаклизмами. Если социально-экономические и политические катастрофы изучены достаточно подробно, то внезапный разрушительный переворот, пережитый традиционной семьёй в пореформенной России, был заслонён социальными катаклизмами и невольно померк на их фоне.

С чем сейчас ассоциируется у нас Российская империя накануне революции — *Россия, которую мы потеряли?* Мы вспоминаем денежную реформу Витте, аграрную реформу Столыпина и золотые червонцы с профилем императора. Мы умиляемся тому, что фунт телятины стоил меньше двутривенного, гордимся промышленным подъёмом, который наступил после первой русской революции, восхищаемся искусством эпохи модерна и поэзией Серебряного века. Россия 1913 года, когда торжественно отмечалось 300-летие Дома Романовых, предстаёт перед нами не только великой державой, но и достаточно благополучной страной с блестящими перспективами. Да, всё это было в действительности. Однако, как заметил сатирик, в действительности всё обстоит иначе, чем на самом деле. Как же обстояли дела на самом деле?

Россия — страна аграрная, подавляющее большинство её населения жило в деревнях и сёлах и занималось сельским хозяйством. Однако земледелие не было рентабельным: наёмный сельскохозяйственный рабочий за тяжёлую работу от зари до зари получал жалкие гроши, но и землевладелец едва сводил концы с концами. Вспомним чеховскую «Чайку» (1896). Крупный чи-

новник Сорин, брат Аркадиной, вышел на пенсию и решил заняться на досуге благоустройством имения. Что же из этого вышло?

«*Сорин*. Всю мою пенсию у меня забирает управляющий и тратит на земледелие, скотоводство, пчеловодство, и деньги мои пропадают даром. Пчёлы дохнут, коровы дохнут, лошадей мне никогда не дают»<sup>293</sup>.

Норма прибыли, если говорить языком политической экономии, была удручающе низкой. И вновь обратимся к Чехову. Вспомним Ивана Петровича Войницкого — героя «сцен из деревенской жизни»: именно такой подзаголовок сам автор дал пьесе «Дядя Ваня» (1896). Этот «изящный, культурный человек» в молодости принёс очень большую жертву: в пользу сестры отказался от своей доли наследства, тяжёлым однообразным трудом заработал деньги и выкупил отягощённое долгами родовое имение. Вся его жизнь была посвящена служению. Долгие годы дядя Ваня безвыездно жил в деревне, управлял имением и исправно посылал все заработанные деньги мужу покойной сестры — светилу науки, профессору Серебрякову. Так продолжалось четверть века. Идея жертвенной жизни во имя науки оказалась ложной не только потому, что сотворённый Войницким кумир проявил себя как бездушный и чёрствый человек, но и потому, что выяснилась её полнейшая экономическая несостоятельность в пореформенной России. Профессор Серебряков — «ничто», «мыльный пузырь» — мог 25 лет читать и писать об искусстве, «ровно ничего не понимая в искусстве», но он отлично разбирался в экономической конъюнктуре и подвёл неутешительный итог.

«*Серебряков*. Наше имение даёт в среднем размере не более двух процентов. Я предлагаю продать его. Если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то будем получать от четырёх до пяти процентов, и я думаю, что будет даже излишек в несколько тысяч, который нам позволит купить в Финляндии небольшую дачу»<sup>294</sup>.

Так жила русская деревня на рубеже веков. Лишь Столыпинская земельная реформа, положив начало процессу купли-продажи земли, в корне изменила ситуа-

цию в деревне. Столь же безотрадной была жизнь городских пролетариев.

Российские рабочие, каторжным трудом которых была обеспечена высокая динамика развития отечественной промышленности, существовали в ужасающих условиях. «...У всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота...»<sup>295</sup> Эти слова, которые так любили педальровать советские учебники, Чеховым вложены в уста связанного с революционным движением «вечного студента» Пети Трофимова. Персонаж «Вишнёвого сада» не сгущает краски. В конце XIX века рабочий день на петербургских бумагопрядильных и ткацких фабриках продолжался 13 часов, и стачечная борьба рабочих была направлена на то, что добиться его сокращения хотя бы на 2,5 часа. По новому фабричному закону, вступившему в силу со 2 июня 1897 года, продолжительность рабочего дня была установлена в 11,5 часа днём и 10 часов ночью. Однако следует заметить, что тяжёлый труд высококвалифицированных рабочих-металлистов оплачивался сравнительно высоко: заработок столичного рабочего высокой квалификации был выше, чем жалование младшего офицера. Но доля таких рабочих была невелика. И большинству российских пролетариев накануне революции действительно нечего было терять, кроме своих цепей.

### *«Надо быть без предрассудков»*

Таков был экономический базис, если воспользоваться марксистской терминологией. Какова же была надстройка? До 1861 года всем благомыслящим людям была очевидна грядущая неизбежность отмены крепостного права. Подобно чаю на Кяхтинской или Макарьевской ярмарках, этот вопрос давал цену всем остальным «проклятым» вопросам — от «Что делать?» до «Кто виноват?». И шеф жандармов граф Александр Христофорович Бенкендорф, и император Николай I уже в конце 1830-х годов понимали, что крепостное право —

это пороховой погреб, подведённый под самое основание российской государственности. Крепостное право отменили, и из русской жизни неожиданно исчезла некая определённости, дотоле ей присущая. Граница между высоким и низким, хорошим и плохим, дозволенным и недозволенным — эта граница стала очень зыбкой. Система нравственных ценностей была поколеблена. В течение полутора-двух десятилетий после отмены крепостного права — «когда всё это переворотилось и только укладывается» — люди привыкали к новой реальности, а затем наступили *глухие* 1880-е годы. В мае 1883-го поэт-сатирик Пётр Васильевич Шумахер сочинил стихотворение «Когда?», в котором был красноречивый куплет:

Когда семейные законы  
Мы будем свято сохранять  
И по кружкам не станут жёны  
Прохвостов титьками пленять...<sup>296</sup>

Эпоха Великих реформ закончилась, в стране начались контрреформы. Но какие бы изменения ни происходили в социально-политической жизни общества, семейные основы были совершенно поколеблены, и им не суждено было вернуть утраченные позиции: здесь ни о каком откате назад не могло быть и речи. «Конечно, самая широкая струя этого потока принадлежит шестидесятым годам, когда она промыла себе русло. Теперь течёт только ручей, хотя и по тому же руслу, но течение это характера общественного движения не имеет»<sup>297</sup>, — писал в 1886 году «шестидесятник» Николай Васильевич Шелгунов.

В 1871 году в романе Писемского «В водовороте» мысль о праве гражданского брака на существование была вложена автором в уста радикальной нигилистки Елены Жиглинской. Спустя два десятилетия ситуация изменилась принципиально. Уже не только молодые прогрессисты, но и зрелые люди в больших чинах рассуждали о существенных недостатках брака, освящённого Церковью, и о необходимости облечения и упрощения процедуры развода супругов — процедуры унижительной и длительной, хлопотной и дорогостоя-



щей. Каждый, кто позиционировал себя человеком прогрессивно мыслящим и идущим в ногу со временем, почитал своим долгом ратовать за гражданский брак. «...Надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да...» — утверждал герой повести Чехова «Дуэль» военный доктор Самойленко, имевший солидный чин статского советника (V класс Табели о рангах). Другой чеховский персонаж из «Рассказа неизвестного человека», молодой действительный статский советник Кукушкин (его чин IV класса по Табели о рангах был равен армейскому генерал-майору), навещая светскую даму Зинаиду Фёдоровну Красновскую, демонстративно бросившую мужа и переехавшую жить к любовнику, был в своих речах ещё более радикален. «Его поили чаем и красным вином, а он хихикал и, желая сказать приятное, уверял, что гражданский брак во всех отношениях выше церковного и что, в сущности, все порядочные люди должны прийти теперь к Зинаиде Фёдоровне и поклониться ей в ножки»<sup>298</sup>. «Дуэль» вышла в свет в 1891 году, журнальный вариант «Рассказа неизвестного человека» — в 1893-м. Итак, эти чеховские шедевры были без каких-либо цензурных препятствий напечатаны в конце царствования императора Александра III, семейство которого «могло служить образцом благочестивой русской семейной жизни»<sup>299</sup>.

Александра III шокировала малейшая «некорректность» в семейных отношениях, он не скрывал своего недовольства к тем из своих родственникам, кто нарушал святость уз брака. Однако членов Императорской фамилии не страшил даже августейший гнев. Великие князья не считали нужным подражать государю в его благочестивой семейной жизни. Как уже говорилось, они открыто содержали любовниц, заводили вторые семьи и имели внебрачных детей. Почти в каждой великокняжеской семье был свой скелет в шкафу. Скандальная хроника разгульной частной жизни некоторых из великих князей и их жён была достоянием не только придворных кругов, слухи и сплетни нередко выходили за пределы великокняжеских дворцов, что сильно подрывало престиж правящей династии. Если

так вели себя члены Императорской фамилии, то что же можно было требовать от простых верноподданных?

И девушку из «приличной» семьи уже не могло смутить письмо жениха, без обиняков предложившего ей — ещё до таинства венчания — приехать к нему в другой город, чтобы накануне свадьбы, не конфузясь и не страшась молвы, провести вместе две недели. Именно об этом попросил суженую 7 октября 1888 года молодой 23-летний художник Валентин Александрович Серов, уже написавший к тому времени свои знаменитые шедевры «Девочка с персиками» и «Девушка, освещённая солнцем». Возможным возражениям невесты Ольги Фёдоровны Трубниковой, в январе следующего года ставшей его женой, были противопоставлены веские аргументы:

«Ну, что ты мне скажешь? Кажется мне почему-то, что ты этому не будешь рада, скорее испугаешься. Ведь так? Я угадал? Знаю я тебя немножко. Резонов на это за исключением разве одного (что тебе будет стыдно) пока не вижу. Стыдно — знаешь, Лёля, всюду первое время будет стыдно. Но скажи, пожалуйста, как вообще у людей хватает духу венчаться и жить вместе всем напоказ — невероятно, но так, ничего не подделаешь, приходится примириться. Вот мы и примиримся — нет? Всё, однако, сводится к одному: мне необходимо или нам необходимо свидеться поскорее»<sup>300</sup>.

У государства было ещё достаточно сил, чтобы провести частичную ревизию проведённых реформ и отобрать у общества часть прав, ранее им же, государством, данных. Но никто уже не был в состоянии провести контрреформы в сфере частной жизни и вернуть традиционным семейным ценностям их былое значение. Завоевания сексуальной революции не подлежали изменению, пересмотру или отмене. Сексуальная революция в России, начало которой совпало с эпохой Великих реформ, не закончилась и после того, как в стране начались контрреформы Александра III. Эта революция не знала ни контрреволюции, ни завершения. И все эти годы в течение жизни нескольких поколений общество даже не пыталось сделать хотя бы робкую попытку ревизовать её результаты.

Двадцать первого марта 1876 года на страницах ежедневной политической и литературной газеты «Новое время», лишь 29 февраля того же года перешедшей в руки Алексея Сергеевича Суворина, появился поэтический отклик на публикацию первых частей романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Роман ещё не был завершён, и читатели не знали, как сложится судьба главной героини. Однако Николай Алексеевич Некрасов поспешил пустить в обращение ироническую эпиграмму:

АВТОРУ «АННЫ КАРЕНИНОЙ»

*Из «Записной книжки»*

Толстой, ты доказал с терпением и талантом,  
Что женщине не следует «гулять»  
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,  
Когда она жена и мать<sup>301</sup>.

После этого прошло десять лет. И какие это были годы! Началась и победоносно закончилась Русско-турецкая война. Российская империя в очередной раз округлила свои границы: вернула южную часть Бессарабии, которая была утрачена после Крымской войны, и присоединила Карскую область. Бомбой народовольцев был убит император Александр II. В стране царила реакция. Но даже в мрачную пору контрреформ периодическая печать — пусть даже в иронической форме — уже не позволяла себе печатать назидательные высказывания, острие которых было бы направлено в адрес неверной жены. 16 августа 1886 года в субботнем выпуске газеты «Новое время» был опубликован рассказ Чехова «Несчастье». Софья Петровна Лубянцева, «красивая молодая женщина лет двадцати пяти», испытывает сильное искушение изменить мужу с соседом по даче Ильиным. Действие короткого рассказа происходит в пореформенной России: муж героини — нотариус, её искуситель — присяжный поверенный. Софья Петровна безуспешно пытается противопоставить соблазну доводы разума. «Я замужем, люблю и уважаю своего мужа... у меня есть дочь... Неужели вы это ни во что не ставите? Кроме того, вам, как моему старинному приятелю, известен мой взгляд на семью... на семейные основы вообще...

Ильин досадливо крикнул и вздохнул.

— Семейные основы... — пробормотал он. — О, господи! <...> Вы мне словно из прописки читаете: люблю и уважаю мужа... семейные основы...»<sup>302</sup>

Подобные аргументы в середине 1880-х годов уже давно не пользовались авторитетом и никого не убеждали — ни самих героев чеховского рассказа, ни его читателей. В 1887 году Антон Павлович Чехов включил «Несчастье» в свой сборник «В сумерках». У сборника была завидная судьба. Его автор был удостоен академической Пушкинской премии, а сам сборник пользовался неизменным читательским спросом и выдержал 13 изданий. Анонимный рецензент первого издания в качестве общего недостатка ряда рассказов, к числу которых отнёс и рассказ «Несчастье», отметил «некоторое стремление автора к чисто чувственным изображениям»<sup>303</sup>. Рассказ заканчивается тем, что Софья Петровна Лубянцева покидает мужа и в сумерках отправляется к Ильину. «Она задышалась, сгорала со стыда, не ощущала под собой ног, но то, что толкало её вперёд, было сильнее и стыда её, и разума, и страха...»<sup>304</sup> Никто не счёл сюжет «Несчастья» соблазнительным и не имеющим никакого отношения к реальной жизни. Семейный очаг, разрушенный женской изменой, давным-давно воспринимался чеховскими современниками как явление будничное и ничем не примечательное, и они относились к таким явлениям равнодушно. А нравоучительные сентенции вышли из моды и канули в Лету. Поколение 1880-х годов было поколением апатичным — вялым вследствие равнодушного отношения к окружающему.

В чеховском рассказе есть исключительно выразительная примета времени, которую, кажется, до сих пор не заметили ни читатели, ни литературоведы. «Несчастье» начинается с того, что Лубянцева в пятом часу вечера идёт с Ильиным по лесной просеке. «Вдали просека перерезывалась невысокой железнодорожной насыпью, по которой на этот раз шагал для чего-то часовой с ружьём»<sup>305</sup>. В самую патетическую минуту, когда Ильин страстно целует руку Лубянцевой и обнимает её колени, часовой вновь появляется на страницах рассказа. «Часовой столбом стоял на насыпи и, кажется,

глядел на скамью»<sup>306</sup>. Эта случайная на первый взгляд деталь свидетельствует о том, что по железной дороге вскоре должен был проследовать царский поезд. Император Александр III, опасавшийся покушений на свою жизнь, большую часть своего царствования провёл в отдалённом Гатчинском дворце, за что был прозван «Гатчинским пленником». Когда император отправлялся на отдых в Крым, то вдоль всего пути следования царского поезда расставлялись вооружённые часовые. А для обеспечения дополнительной безопасности августейшего пассажира перед прохождением царского поезда пускали товарный состав с багажом государя и его свиты. Разумеется, и сам этот поезд, и товарный состав шли вне всякого расписания, а их маршрут составлял государственную тайну. И это обстоятельство было отражено в рассказе. «Софья Петровна обратилась пылающим лицом к насыпи. Сначала медленно прополз локомотив, за ним показались вагоны. Это был не дачный поезд, как думала Лубянцева, а товарный. Длинной вереницей один за другим, как дни человеческой жизни, потянулись по белому фону церкви вагоны, и, казалось, конца им не было»<sup>307</sup>. Короткий чеховский рассказ исключительно экономными изобразительными средствами запечатлел время 1880-х годов: политическую ситуацию в стране и частную жизнь людей.

### *Семья — поле сражения*

Общество было растеряно. Идеи «шестидесятников» уже потускнели и подвергались осмеянию, новых идей не было, а жить в предлагаемых обстоятельствах люди 1880-х годов не могли. Камер-юнкер Орлов, один из героев чеховской повести «Рассказ неизвестного человека» (одно из предполагаемых заглавий — «В восьмидесятые годы»), ставит беспощадный диагноз и себе, и своим современникам: «Нашему поколению — крышка. С этим мириться нужно»<sup>308</sup>. В этом была драма «восьмидесятников». У них не было ни прошлого, ни будущего, а жить настоящим они не хотели. Это было безвременье в чистом виде. Обществу нет прощения, если оно на

протяжении жизни целого поколения блуждает без руля и ветрил, «пути не зная своего». Вот почему уже в поэзии Серебряного века тема будущей революции звучит как тема неизбежного возмездия.

И чёрная, земная кровь  
Сулит нам, раздувая вены,  
Все разрушая рубежи,  
Неслыханные перемены,  
Невиданные мятежи...<sup>309</sup>

Двадцать седьмого декабря 1889 года Чехов с нескрываемым презрением писал Алексею Сергеевичу Суворину о том, что в России сам дьявол помогает «размножать слизняков и мокриц, которых мы называем интеллигентами»:

«Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция, которая никак не может придумать для себя приличного образца для кредитных бумажек, которая не патриотична, уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки и посещает пятидесятикопеечный бордель, которая брюзжит и охотно отрицает *всё*, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать; которая не женится и отказывается воспитывать детей и т. д. Вялая душа, вялые мышцы — и всё это в силу того, что жизнь не имеет смысла, что у женщин бели и что деньги — зло.

Где вырождение и апатия, там половое извращение, холодный разврат, выкидыши, ранняя старость, брюзжащая молодость, там падение искусств, равнодушие к науке, там *несправедливость* во всей своей форме»<sup>310</sup>.

Чехов очень точно подметил, что интеллигенция в массе своей не желала вступать в освящённый Церковью брак и воспитывать детей. В пореформенной России, повторюсь, полным ходом шла эмансипация женщин. Абсолютная ценность института брака была подвергнута переоценке, причём инициаторами этого были не мужчины, а женщины. Супружеские измены всегда шли рука об руку с браком, но адюльтер был дополнением к нему и, как правило, не покушался на святость самих брачных уз. Теперь же «покров лицемерия» был сдёрнут. И дело не только в том, что в пореформенной России эмансипированные женщины стали охот-

но вступать в гражданский брак. Замужние дамы, ранее не мыслившие свою жизнь вне законного брака, открыто стали уходить от мужей. Причиной далеко не всегда было наличие любовника. Если брак переставал устраивать женщину, то она решительно рвала его освящённые Церковью узы — и мужчины с ужасом для себя обнаружили, что они ничего с этим сделать не могут. Женщина ниспровергла мужской взгляд на основы мироздания и систему нравственных ценностей.

«Сердцевина бытия. Стержень вселенского вращения, — пишет в мемуарах Сергей Николаевич Дурылин. — Когда-то Писемский говорил с матёрым цинизмом, с грубою точностью:

— Думаешь, земной шар вокруг оси вращается? Нет, врётся, вокруг женской дыры»<sup>311</sup>.

Дом перестал быть для мужчин крепостью. Блок в поэме «Возмездие» писал об этом так:

Когда в любом семействе дверь  
Открыта настежь зимней вьюге,  
И ни малейшего труда  
Не стоит изменить супруге,  
Как муж, лишившийся стыда<sup>312</sup>.

Русская женщина — будь то великосветская дама или курсистка, купчиха или мещанка — захотела обрести безусловное право на личное счастье. И то, как она это понимала, плохо согласовывалось с мужским взглядом на вещи — и было полной неожиданностью для мужчин. Женщины действовали наступательно и отвоёвывали у мужчин одну позицию за другой. 22 мая 1873 года Александр Васильевич Никитенко сделал в дневнике примечательную запись: «Было прежде слово *обабиться* у нас обидным для мужчины. Теперь оно должно сделаться почётным, должно потому, что наша нынешняя женщина оказывается не в пример лучше мужчины»<sup>313</sup>.

Начавшаяся в годы Великих реформ сексуальная революция не прекратилась и после того, как на смену реформам пришли контрреформы и в России наступила продолжительная пора безвременья. Семья перестала быть крепостью, за толстыми стенами которой можно было надёжно укрыться от любых социальных невзгод, бушевавших во всём мире. Именно такое представле-

ние о семье было выработано золотым веком русской дворянской культуры. Предоставим слово князю Петру Андреевичу Вяземскому.

«В какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной:

Все неприятности по службе  
С тобой, мой друг, я забывал.

Пушкин, отыскавши эту элегию, говорил, что из всей Русской поэзии эти два стиха самые чисто-русские и самые глубоко и верно прочувствованные»<sup>314</sup>.

Миновало два-три поколения — и то, что в пушкинскую эпоху воспринималось как аксиома, в конце XIX столетия превратилось в пережиток прошлого. Распалась связь времён. Русским мужчинам эпохи безвременья не было суждено дожидаться наступления лучших времён в бесконфликтной обстановке семейного уюта. Нет! Семья сама превратилась в поле сражения. В начале октября 1899 года Чехов писал Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду: «...Вспомните, что в настоящее время почти каждый культурный человек, даже самый здоровый, нигде не испытывает такого раздражения, как у себя дома, в своей родовой семье, ибо разлад между настоящим и прошлым чувствуется прежде всего в семье. Раздражение хроническое, без пафоса, без судорожных выходов, то самое раздражение, которое не замечают гости и которое своей тяжестью ложится, прежде всего, на самых близких людей — мать, жену, — раздражение, так сказать, семейное, интимное»<sup>315</sup>.

Это раздражение во многом было связано с тем, что женщины активно отстаивали свои права не только в обществе, но и в семье. Освящённый вековыми традициями мужской взгляд на семью и брак был решительно отвергнут. Суть маскулинного подхода с протокольной точностью была зафиксирована поэтессой Каролиной Карловной Павловой (1807—1893) в стихотворении «Портрет».

С премудростью он излагал жене  
Значение семейного начала.  
Весь долг её он сознавал вполне,  
Но сам меж тем стеснялся браком мало<sup>316</sup>.



Эти стихотворные строки сочинены в марте 1851 года. В это время не только мужчины, но и женщины безоговорочно разделяли мужской взгляд на проблему семьи и брака. В февральской книжке журнала «Современник» за 1855 год была опубликована злободневная повесть Писемского «Виновата ли она?». Героиня повести Лидия не любит мужа Ивана Кузьмича и глубоко несчастлива в браке. Однако святость брачных уз для неё, как и для пушкинской Татьяны, превыше всего. Когда мужчина, которому она нравится, предлагает ей бросить мужа и уехать с ним за границу, Лидия разражается гневной тирадой: «Неужели я такая потерянная женщина, что в состоянии бросить мужа? Иван Кузьмич ко мне был очень нехорош, но пусть он будет в тысячу раз хуже, пусть будет каждый день меня терзать, я всё-таки хочу с ним жить»<sup>317</sup>. Но то, что в середине столетия воспринималось как безусловная истина, в конце XIX века стало явным анахронизмом.

Мужской взгляд на семью и брак не удержал своих позиций как в дворянской, наиболее просвещённой и культурной среде, так и в кругу разночинцев — поклонников радикальных идей. Более того, веяния времени стали активно проникать в жизнь купеческого сословия. В пореформенной России русский купец из фигуры комической, малокультурной и примитивной, каковой он долгое время оставался для дворянской культуры, в одночасье превратился в нового хозяина жизни. Дворянство неуклонно разорялось и деградировало, купечество богатело и цивилизовывалось. Прежние Тит Титычи, возвращённые дореформенной Россией, уходили в прошлое. Купцы новой формации — эти главные двигатели экономики страны — стали основными заказчиками и потребителями услуг модных и дорогих архитекторов и живописцев. Русская культура пореформенной поры в немалой степени создавалась на купеческие деньги. В среде купечества издавна почитались традиционные семейные ценности. Но и эта консервативная среда не смогла противостоять духу времени и ощутила сильное воздействие сексуальной революции. Новые хозяева жизни утрачивали позиции у себя дома, где веками власть мужа над женой остава-

лась непререкаемой. В пореформенную эпоху жены и дочери купцов вышли из теремов и осознали себя самодостаточными личностями. Нередко, когда мужчины были неспособны распоряжаться семейным делом, женщины брали его в свои руки и успешно справлялись с решением любых проблем: управляли фабриками, вели торговлю, создавали школы и больницы, пытались сгладить растущий социальный антагонизм.

Обратимся к чуткому бытописателю Боборыкину. В романе «Китай-город», впервые напечатанном в 1882 году на страницах авторитетного в кругах либеральной интеллигенции петербургского историко-политического и литературного журнала «Вестник Европы», повествуется о жизни московского купечества последней трети XIX века. Как и во всякой книге, в романе есть свои положительные и отрицательные персонажи. Однако именно женщины по иронии судьбы являлись носителями того, что впоследствии будет названо «пассионарностью». Героини романа отличаются умом и природной смекалкой, ответственностью за судьбы близких, отвагой в делах, смелостью и решительностью, хотя купчихам ещё недостает вкуса, лоска, а порой и культуры, которыми с избытком наделены разорвавшиеся и не имеющие будущего дворянки. Среди множества персонажей романа мы видим несколько ярких женских образов.

Молодая купчиха-миллионерша Анна Серафимовна Станицына ультимативно устраняет непутёвого мужа от ведения дел: его расточительность, разгульный образ жизни, многочисленные любовницы и непомерные долги — всё это способно обратить в прах миллионное состояние. Первоначально Анна Серафимовна и не помышляет о разводе. Женщиной движет лишь стремление сохранить семейное дело и обеспечить будущее детей. Мужу назначается ежегодное содержание, выплачиваются его долги, а в обмен на это Станицын безропотно выдаёт супруге доверенность на управление всем своим имуществом. Фактически Анна Серафимовна выдворяет мужа из дома и сама становится во главе всего семейного бизнеса. По мере развития действия романа молодая соломенная вдова Станицына

ощущает потребность в женском счастье, влюбляется и понимает, что развод стал бы для неё благом: причём благом не только для её личной судьбы, но и благом для миллионного дела. Разумнее разделить имущество, чем платить бесконечные мужнины долги.

Под стать Станицыной и Марья Орестовна Нетова. У Марьи Орестовны нет своего состояния, и она целиком зависит от мужа. Богатый купец Нетов безумно любит и также безумно боится свою энергичную и умную жену, которая деятельно стремится облагородить своего глуповатого мужа, над которым посмеиваются даже близкие родственники. Под влиянием честолюбивой Марьи Орестовны купец Нетов день-деньской заседает в многочисленных благотворительных комитетах, желая со временем повысить свой социальный статус и получить дворянство. Даже став хозяевами жизни, купцы по инерции стремились к обретению внешних отличий: занимались благотворительностью, чтобы заслужить орден или почетное звание, и с вожделением помышляли о потомственном дворянстве. Под руководством неутомимой Марьи Орестовны её муж, сам по себе абсолютно ничтожный и глупый человек, успешно движется к этой цели. Хотя купец Нетов звёзд с неба не хватает, он надеется со временем получить звёзды орденов Святого Станислава и Святой Анны 1-й степени и потомственное дворянство, автоматически сопряжённое с этими знаками отличия. Так продолжается десять лет. Но однажды Марья Орестовна осознаёт всё ничтожество мужа, ей надоедает заниматься его карьерой, и она уходит от него, причём уходит не к другому мужчине, а просто покидает мужа и уезжает за границу. Поступок Марьи Орестовны оказался настоящим ударом для Нетова, положив начало его душевной болезни. А когда Марья Орестовна неожиданно умерла, Нетов сошёл с ума.

Освящённый Церковью брак переживал глубокий кризис, расторжение семейных уз превратилось в настоящий недуг, свойственный всем без исключения городам и весям Российской империи. Современники сравнивали развод с эндемией — более или менее постоянно существующей местной инфекционной болезнью, которой были устойчиво охвачены не только

две столицы, но и обычные губернские, уездные и заштатные города империи. И вновь вездесущий Боборыкин раньше других собратьев по перу зафиксировал это поветрие в своём рассказе «Труп». Персонаж рассказа, опубликованного в апрельской книжке журнала «Северный вестник» за 1892 год, заявляет: «Но и в нашем захолустье, и везде, где я только ни служил, это поветрие всё сильнее и сильнее забирает. <...> Но, вообще, это сделалось уже не эпидемическою болезнью, а эндемическою, как в Петербурге тиф или дифтерит»<sup>318</sup>.

Этот вывод литературного персонажа подтверждается подсчётами современного российского историка Бориса Николаевича Миронова. В 1841—1850 годах Православная церковь санкционировала в среднем по 77 разводов ежегодно. Церковь не была отделена от государства. Власть трактовала брак как таинство и признавала только церковный брак. Официальный брак и официальный развод были прерогативой Церкви, и она давала разрешение на развод лишь в исключительных случаях. В годы Великих реформ количество разводов возросло на порядок. За 1867—1886 годы этот показатель составил 847 разводов в год, а за восемь лет, с 1905-го по 1913-й, — в среднем 2565 разводов ежегодно. Выразительная и говорящая подробность: если в 1841—1850 годах прелюбодеяние одного из супругов в качестве основания для развода составляло всего-навсего 4,0 процента, то в 1905—1912 годах — 97,4 процента от числа всех разводов, разрешённых Православной церковью<sup>319</sup>.

На рубеже XIX—XX столетий развод станет явлением заурядным. Даже «гимназистки румяные» хорошо уяснят себе смысл этого слова — и уже не будут воспринимать церковный брак исключительно как таинство. Чутко реагирующий на малейшие изменения в общественной психологии беллетрист поспешит зафиксировать это в своём новом произведении. В сентябре 1900 года Боборыкин написал повесть «Однокурсники» и в начале 1901-го опубликовал её на страницах журнала «Вестник Европы». Вот как рассуждает героиня повести, только что окончившая провинциальную гимназию с золотой медалью: «Ведь нынче нетрудно и развестись.

Везде разводятся, не в одних столицах, и в провинции. Её подруга по гимназии — старше её на два класса — успела уже побывать замужем, и когда они перестали ладить с мужем, он дал ей развод. Это выражение: “дать развод”, нынче в особенно большом ходу. Ещё девчуркой-подростком она уже знала и употребляла его»<sup>320</sup>.

В начале марта 1909 года граф Лев Николаевич Толстой прочитает изданную в Лейпциге книгу Норберта Грабовского «Духовная любовь» (1902) и произнесёт слова, которые лишь в исключительных случаях можно было услышать из его уст: «Это очень хорошая книжка, несмотря на его самомнение»<sup>321</sup>. Через несколько дней Лев Николаевич вновь с большим одобрением говорил об этой книге своему секретарю: «Ещё он пишет, — и это совершенно справедливо, — что говорят об освобождении женщин от власти мужчин, а не говорят об освобождении мужчин от власти женщин. Власть эта не формулированная, но очень сильная...»<sup>322</sup>

В никогда не прекращающейся войне полов женщины нанесли мужчинам сокрушительный удар, от которого те так и не смогли оправиться. Сексуальная революция развивалась столь стремительно, что накануне Первой мировой войны брошенный женой муж из героя скандальной хроники или комического персонажа фельетона превратился в фигуру глубоко трагическую. В 1910 году поэт и сотрудник «Сатирикона» Саша Чёрный опубликовал на страницах этого журнала ставшее чрезвычайно популярным стихотворение «Колыбельная (Для мужского голоса)».

Мать уехала в Париж...  
И не надо! Спи, мой чиж.  
А-а-а! Молчи, мой сын,  
Нет последствий без причин.  
.....

Чей ты? Мой или его?  
Спи, мой мальчик, ничего!  
Не смотри в мои глаза...  
Жили козлик и коза...

Кот козу увёз в Париж...  
Спи, мой котик, спи, мой чиж!  
Через... год... вернётся... мать...  
Сына нового рожать...<sup>323</sup>

Поэт изобразил совершенно раздавленного мужчину, у которого не было ничего общего с лирическим героем элегии пушкинской поры. Нанесённый мужчинам удар был совершенно неожиданным, поэтому общество ещё не успело выработать соответствующих норм поведения. Общество всегда вырабатывает защитные механизмы, и обманутый женой муж знал, как надо вести себя, чтобы не лишиться уважения окружающих. Брошенный же женой муж не ведал, как ему не потерять лицо и каким должно быть его поведение. Внезапно из системы ценностей был вынут тот самый главный винт, которым всё скреплялось и на котором всё держалось. Отныне действительно было *всё дозволено*.

### *Негуманное и нерациональное государство*

После первой русской революции в столичных и губернских городах уже существовал слой *сытых* людей — практикующих врачей, адвокатов, инженеров, журналистов, учителей гимназий и университетских профессоров, — именно из них «рекрутировались» те самые *дачники*, ради которых разоряли *дворянские гнёзда* и вырубали *вишнёвые сады*. В деревне появились зажиточные крестьяне. Все эти люди достигли материального благополучия за счёт своих личных усилий, однако население страны в большинстве своём по-прежнему оставалось бедным, провинциальным. Для большинства людей было в принципе невозможно выскочить из порочного круга бедности. Всё это усугублялось отсутствием экономического мышления сверху донизу.

Русский народ в массе своей был религиозен, однако почти 87 процентов россиян жили в деревне, а сельские священники, существовавшие за счёт своей нищей паствы, вряд ли могли вести её за собой. Вспомним, как изображала их русская литература обличительного направления или живопись передвижников. Религия не могла противостоять назревающей смуте.

В пореформенной России *мещанское счастье* продолжало оставаться недостижимой мечтой. Своеобраз-

ной компенсацией невозможности обретения даже очень скромного достатка служили поиск правды, жажда духовности, неуёмное стремление формулировать и решать «проклятые» вопросы. А пореформенная Россия — это страна, где в воздухе постоянно носился призрак *бешеных денег*. «Деньги, векселя, ценные бумаги точно реют промежду товара в этом рыночном воздухе, — по словам Боборыкина, — где всё жаждет наживы, где дня нельзя продышать без того, чтобы не продать и не купить»<sup>324</sup>. Самодовольные обладатели бешеных денег олицетворяли жестокую, наглую, торжествующую несправедливость, которая не понесла и, возможно, никогда не понесёт наказания. Буржуазные ценности так и не получили в России моральной санкции. Русская классическая литература приучила образованную публику с негодованием смотреть на «подлеца-приобретателя». Ни Штольц, ни Лопухин не могли стать героями своего времени. (Чеховский Лопухин для актёров МХТ, в первый раз играющих «Вишнёвый сад», не был фигурой положительной: они считали, что Лопухин, купив и вырубив вишнёвый сад, поступил против совести.)

Неприятно буржуазных ценностей в значительной мере способствовало то, что их основными носителями были немцы или евреи. В пореформенной России именно они олицетворяли капиталистические отношения и всепроникающую власть денег. Даже интеллигентная публика была склонна ставить знак тождества между духом буржуазным и еврейским духом. На фоне с каждым днём разоряющегося дворянства вульгарная роскошь, которую демонстративно являли недавние жители еврейских местечек, выглядела особенно вызывающей. В дорогих ложах бельэтажа столичных театров, которые раньше занимала исключительно титулованная знать, стали восседать новые зрители. Уже в 1866 году Николай Алексеевич Некрасов под непосредственным впечатлением от увиденного писал:

Есть в России ещё миллионы,  
Стоит только на ложи взглянуть,  
Где уселись банкирские жёны, —  
Сотня тысяч рублей, что ни грудь!

В жемчуге лебединые шеи,  
Бриллиант по ореху в ушах!  
В этих ложах — мужчины евреи,  
Или греки, да немцы в крестах...

Доблесть, молодость, сила — пленяли  
Сердце женское в древние дни.  
Наши девы практичней, умнее,  
Идеал их — телец золотой,  
Воплощённый в седом иудее,  
Потрясающем грязной рукой  
Груды золота...<sup>325</sup>

*(«Балет»)*

Нравственное чувство было оскорблено, а оскорблённое нравственное чувство всегда было прекрасным горючим материалом, способным не только оправдать грядущее революционное насилие, но и разжечь революционный пожар.

И какой бы привлекательной и заманчивой ни казалась картина дореволюционной российской жизни из нашего времени, нельзя игнорировать то огромное количество горючего материала, который был накоплен уже к 1913 году. Негуманное и нерациональное государство, уже давно лишившееся поддержки общества, не смогло ни остановить и обратить вспять процесс накопления этого горючего материала, ни нейтрализовать уже имевшийся материал. Дальнейшее всем хорошо известно...



## НЕУТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

*В те годы дальние, глухие,  
В сердцах царили сон и мгла...  
.....  
Какие ж сны тебе, Россия,  
Какие бури суждены?..  
Но в эти времена глухие  
Не всем, конечно, снились сны..  
.....  
Но в алых струйках за кормами  
Уже грядущий день сиял,  
И дремлющими вымпелами  
Уж ветер утренний играл,  
Раскинулась необозримо  
Уже кровавая заря,  
Грозя Артуру и Цусимой,  
Грозя Девятым января...*

А. А. Блок

### *Идол и идеалы*

История пореформенной России продолжалась несколько десятилетий. И у каждого десятилетия была особая физиономия. «Новые люди» 1860-х годов были нетерпеливы и фанатичны: они проявляли исступлённую веру в светлое будущее и были нетерпимы к тем, кто не разделял их радикальных воззрений. Каждый, кто пытался оспаривать их убеждения, безоговорочно зачислялся ими в стан реакционеров, с которыми «новые люди» не желали иметь ничего общего. В прошлом — далёком и недавнем — они видели только позор и не желали слышать ни о какой преемственности с минувшим. В их системе ценностей существительное «прошлое» всегда сопровождалось прилагательным «позорное»: бывшее представлялось только постыдным. Таков был краеугольный камень в построении их картины мира. «Новые люди» мифологизировали будущее и, следуя установкам Николая Гавриловича Чернышевского, упорно старались переносить элементы будущего в настоящее. Однако прививки будущего, например коммуны, не приживались в насто-

ящем. Эти неудачи в практических вопросах никак не сказывались на воодушевлении «шестидесятников» и не поколебали их идеалы. Исступлённый фанатизм был превосходной защитой от реальной жизни с её насущными проблемами. Уже в начале 1870-х годов образованные люди пережили крушение идеалов предшествующего десятилетия и ощутили надлом. Утопические попытки примирить труд и капитал, обойтись без эксплуатации человека человеком и без извлечения прибыли капиталистом — все эти построения не получили, да и не могли получить практического воплощения и закончились крахом.

Вместе с тем жизнь не стояла на месте, бег времени продолжался в независимости от результата идейных споров, и каждый день приносил всё новые и новые подтверждения крепнущей власти денег в жизни русского общества. Капитал, согласно Карлу Марксу, это — самовозрастающая стоимость. Русская интеллигенция воочию наблюдала процесс этого фантастического самовозрастания, но совершенно не понимала механизм этого процесса. Человек новой формации, вольнопрактикующий адвокат Куницын, персонаж драмы Алексея Феофилактовича Писемского «Ваал» (1873), с нескрываемой завистью говорит о капиталистах. «Я сам тебе про себя скажу: — я ненавижу этих миллионеров!.. Просто, то есть, на улице встречать не могу, так бы взял кинжал, да в пузо ему и вонзил; потому завидно и досадно!.. Ты, чёрт возьми, год-то годенской бегаешь, бегаешь, высуня язык, и всё ничего; а он только ручкой поведёт, контрактик какой-нибудь напишет, — смотришь, ему сотни тысяч в карман валяются!..»<sup>326</sup>

Живущий в пореформенной России интеллигент отличался поразительным непониманием сути происходящих в стране процессов капиталистической модернизации её хозяйственной жизни. Он не знал, да и не желал знать, что стоит за подписанием *контрактика*. Видел лишь то, что лежало на поверхности: мгновенное, как по мановению волшебной палочки, необоснованное обогащение немногих — на одном полюсе; растущую пауперизацию населения, то есть его обнищание — на другом, но не усматривал причинно-след-

ственной связи между развитием капитализма в России и ростом производительных сил страны. В России уже начался промышленный переворот, и жизнь покрылась бы тиной застоя без этих *контрактиков*: не возводились бы новые заводы, не прокладывались тысячи вёрст железных дорог, не открывались бы новые театры и университеты.

Однако человек циничный осознавал, что деньги стали тем идолом современной жизни, который нуждается в постоянных жертвоприношениях, и ему несут эти жертвы — честь, здоровье, свободное время, таланты, идеалы. Идеалист-шестидесятник верил в то, что жизнь можно построить на основе справедливости, циник 1870-х годов уже не строил таких отвлечённо амбициозных планов, а лишь хотел удачно устроиться в этой новой реальности, где царила власть денег, и зло насмехался над теми, кто продолжал верить в идеалы. В драме «Вaal» есть показательный диалог двух университетских товарищей: один из них уже успел стать циником, другой пока ещё верит в идеалы.

*«Мирович.* Но что такое ты за благополучие особенное видишь в деньгах?.. Нельзя же на деньги купить всего.

*Куницын (подбочениваясь обеими руками и становясь перед приятелем фертом).* Чего нельзя купить на деньги?.. Чего?.. В наш век пара, железных дорог и электричества там, чего ли, чёрт его знает!

*Мирович.* Да хоть бы любви женщины — настоящей искренней! Таланту себе художественного!.. Славы честной!

*Куницын.* Любви-то нельзя купить?.. О-хо-хо-хо, мой милый!.. Ещё какую куплю-то!.. Прелесть, что такое!.. Пламенеть, гореть... обожать меня будет!.. А слава-то, брат, тоже нынче вся от героев к купцам перешла... Вот на днях этому самому Бургмейеру в акционерном собрании так хлопали, что почище короля всякого; насчёт же талантов... это на фортепьянчиках, что ли, наподобие твоего, играть или вон, как наш общий товарищ, дурак Муромцев, стишки кропать, так мне этого даром не надо!...»<sup>327</sup>

1870-е годы стали временем идейного слома в самосознании русской интеллигенции. Реальность теснит

идеалы, но жива ещё память о былых иллюзиях, пусть ныне утраченных и осмеянных, а сам процесс расставания с идеалами юности носит драматический характер. И человек новой формации, депутат земства в городской думе Минович с горечью признаётся своей возлюбленной Клеопатре Сергеевне: «Если бы ты только знала, какую я адскую и мучительную борьбу переживаю теперь!.. Я поступком моим теперь должен буду изменить тому знамени, под которым думал век идти! Всё наше поколение, то есть я и мои сверстники, ещё со школьных скамеек хвастливо стали порицать и проклинать наших отцов и дедов за то, что они взяточники, казнокрады, кривосуды, что в них нет ни чести, ни доблести гражданской! Мы только тому симпатизировали, только то и читали, где их позорили и осмеивали! Наконец, мы сами выходим на общественное служение, и я, один из этих деятелей, прямо начинаю с того, что делали и отцы наши, именно с того же лицепрятия и неправды...»<sup>328</sup>

1870-е годы стали тем переломным моментом российской истории, когда одновременно сосуществовали те, кто ещё продолжал верить в идеалы, с теми, кто в них уже изверился. Идеалы становились уходящей натурой русской жизни. В начале 1880-х годов, после убийства народовольцами императора Александра II, время переломилось. Вера в идеал воплощения на земле социальной справедливости была утрачена.

*«Как мало прожито — как много пережито!»*

В 1885 году в Петербурге среди многих вышел поэтический сборник — «Стихотворения» Семёна Яковлевича Надсона. Это была первая книга 23-летнего поэта, и он опасался, что его литературный дебют пройдёт незамеченным: «Боюсь, чтобы моя книга не легла могильной плитой на всю мою литературную деятельность»<sup>329</sup>. Страх оказался напрасным. Книга имела оглушительный успех, которым в эти годы не мог похвастаться ни один поэт. Первое издание разлетелось мгновенно. В следующем, 1886 году вышло ещё два издания по ты-

сяче экземпляров каждое. Это был не просто успех, а феерический успех. 8 октября 1888 года Афанасий Афанасьевич Фет с нескрываемой завистью писал великому князю Константину Константиновичу, в литературных кругах известному под псевдонимом К. Р.: «Прошлою зимой я держал в руках восьмое издание стихотворений Надсона, между тем, как моё собрание (издание Солдатенкова 1863 года) за двадцать пять лет разошлось не более, как в тысяче двухстах экземплярах»<sup>330</sup>. Действительно, в «глухие» 1880-е годы читающая публика крайне неохотно покупала поэтические сборники Тютчева, Фета, не говоря уже о фигурах менее значительных: их книги десятилетиями пылились на полках книжных лавок. А книга Надсона до 1917 года переиздавалась в общей сложности 29 раз суммарным тиражом более 200 тысяч экземпляров. Эти цифры говорят сами за себя. Ни один русский поэт, не исключая Пушкина, Лермонтова и Блока, не выпускался такими тиражами. Русское общество как губка впитывало в себя поэзию Надсона. Его книги покупали, читали, перечитывали. Его стихи переписывали от руки в альбомы, заучивали наизусть, декламировали на поэтических вечерах. Несколько поколений учащейся молодёжи смотрели в эту книгу, как в зеркало, пытаясь понять самих себя и своё время.

Реконструировав образ лирического героя поэзии Надсона, мы получим ключ к пониманию картины мира и системы ценностей русской интеллигенции, вступившей в жизнь в 80-е и 90-е годы XIX века и в начале XX века. Перелистаем «Стихотворения» Надсона и постараемся прочесть их глазами человека, родившегося в пореформенной России, когда стремительно менялся весь жизненный уклад: железные дороги соединяли отдалённые города, преобразуя пространство и время, прочно вошёл в жизнь общества телеграф, появились телефон и электрическое освещение. Идущий к своему завершению «железный» XIX век стремительно превращался в век торжества денег и материального успеха, безудержному натиску которого не могли противостоять поблекшие идеалы «шестидесятников». Само слово «идеал» воспринималось как пережиток недавнего про-

шлого. Была подорвана вера в справедливость и светлое будущее, уныние пришло на смену безудержной вере в прогресс. И поэзия Надсона оказалась удивительно созвучна этому безотрадному настроению.

Что ж тебя волнует? Грустное ль бывшее,  
Иль надежд разбитых безотрадный рой?  
Заползли ль змеёю злобные сомненья,  
Отравили веру в счастье и людей,  
Страсти ли мятежной грёзы и волненья  
Вспыхнули нежданно в глубине твоей?<sup>331</sup>

Лирика Надсона хотя и не давала ответы на эти вопросы, зато с афористической чёткостью их формулировала. Гимназисты, студенты и курсистки упивались этими стихами. У каждого поколения в юности бывают как свои первые радости, так и первые горести. Но в 1860-е годы у молодых людей господствовали позитивные общественные настроения и исторический оптимизм. И хотя их нетерпеливое желание перенести воображаемое будущее в унылое настоящее диктовалось «энергией заблуждения», вера в светлое будущее неуклонно торжествовала над казавшимися мелкими личными разочарованиями. В 1880-е же годы обманутые личные надежды и разочарования выходили из границ узкого мирка частной жизни и приобретали какое-то космическое звучание.

Чего ж мне ждать, к чему мне жить,  
К чему бороться и трудиться:  
Мне больше некого любить,  
Мне больше некому молиться!..<sup>332</sup>

В 1860-е годы «новые люди» осознавали себя грозной силой, с которой вынуждена считаться власть. «Шестидесятники» нередко переоценивали и свои силы, и свои способности. А первые читатели Надсона отлично осознавали и слабость своих сил, и ограниченность своих способностей в переустройстве мира.

О, если б огненное слово  
Я в дар от музы получил,  
Как беспощадно б, как сурово  
Порок и злобу я клеймил!<sup>333</sup>

Подобная постановка вопроса была немыслима для «шестидесятника»: он готов был клеймить порок и злобу, не задумываясь над тем, есть ли у него для этого дар. Зато в 1880-е годы эти строчки способны были пролить бальзам на душевную рану лишнего человека, осознавшего свою общественную не востребованность и личную заурядность. «Шестидесятник», *зовущий Русь к топору*, не боялся толпы и готов был повести её за собой. А почитатель Надсона в этой толпе терялся и этой толпы страшился, и сознание своего бессилия подавляло у него все остальные чувства.

Зачем ты призван в мир? К чему твои страдания,  
Любовь и ненависть, сомненья и мечты  
В безгрешно-правильной машине мироздания  
И в подавляющей огромности толпы?...<sup>334</sup>

И задыхаюсь я с тоской,  
В крови, разбитый, оглушённый, —  
Червяк, раздавленный судьбой,  
Среди толпы многомиллионной!..<sup>335</sup>

Почитатель Надсона негодовал не только на господствующее в мире зло, но и на своего ближнего, с которым он расходился во взглядах на то, что именно следует почитать этим злом и как с ним бороться. Если в пореформенной России бесспорным злом могли считаться недавно отменённое крепостное право и его пережитки, взяточничество, произвол, отсутствие гласности — всё это, безусловно, осуждалось интеллигентными людьми, то в период бурного развития буржуазных отношений в 1880-е и 1890-е годы, когда в Российской империи происходил промышленный переворот, мир значительно усложнился и не мог однозначно восприниматься в чёрно-белых тонах. В России идейные расхождения всегда вели к разрыву человеческих отношений, и муза Надсона запечатлела эту типично российскую безысходность конфликта.

Но странно: собратья по общим стремлениям  
И спутники в жизни на общем пути, —  
С каким недоверьем, с каким озлобленьем  
Друг в друге врага мы старались найти!..<sup>336</sup>

Это не был спор отцов и детей, консерваторов и либералов, охранителей и прогрессистов. Это не был спор старого и нового. Это был непримиримый конфликт людей одного круга. Безысходность конфликта объяснялась полным непониманием сути происходящего. «Шестидесятник» презирал позорное прошлое, не желал иметь с ним ничего общего и, плохо представляя реальную действительность и не желая жить и обустроиваться в настоящем, грезил о будущем. Когда же это будущее наступило, оно оказалось совсем иным, не таким, как рисовалось в мечтах. Всесокрушающую власть денег уже трудно было не заметить ни в 1860-е, ни в 1870-е годы. Однако люди образованные как-то умудрялись этого не замечать и старались от этого отмахнуться, тем более что динамично развивающийся российский капитализм долгое время ухитрялся обходиться без людей с университетскими дипломами. С одной стороны, ни гимназическое, ни даже университетское образование не вооружало человека знаниями, позволяющими ориентироваться в быстро меняющейся экономической жизни. С другой стороны, сами выпускники университетов были слабо вовлечены в производственную сферу. Мечтая о социальном и политическом переустройстве общества, они ни бельмеса не смыслили в экономике, не испытывая по этому поводу никаких комплексов. Экономическая сфера жизни занимала очень скромное место в их картине мира. Поэтому само понимание окружающей реальности оказывалось искажённым. Должное вызывало дебаты. Сущее представлялось в неправильном виде. К началу 1880-х бурное развитие капитализма в России и неуклонное торжество буржуазных отношений опережали процесс осмысления этих новых реалий жизни. Если раньше ещё можно было существовать в мире утопических идей и абстрактных понятий, то теперь от всепроникающей реальности уже некуда было деться.

Если душно тебе, если нет у тебя  
В этом мире борьбы и наживы,  
Никого, кто бы мог отозваться, любя,  
На сомненья твои и порывы;



Если в сердце твоём оскорблён идеал,  
Идеал человека и света,  
Если честно скорбишь ты и честно устал, —  
Отдохни над страницей поэта<sup>337</sup>.

Подавленное душевное состояние стало отличительной чертой поколения 1880-х годов. На протяжении всего XIX века русская культура знала несколько поколений «лишних людей», романтизированных великой русской литературой. Однако это были литературные герои, у которых, конечно, имелись реальные прототипы, но по сути это были собирательные образы, не имевшие широкого распространения в реальной жизни. Разумеется, существовало немало подражателей созданным литературным образцам. Литература не только порождалась реальностью, но и оказывала на неё обратное воздействие. Поколение же 1880-х было первым поколением, уже в юности осознававшим себя потерянным, лишним, преждевременно состарившимся. И муза Надсона не только отражала эти настроения, но и многократно их усиливала.

Как мало прожито — как много пережито!  
Надежды светлые, и юность, и любовь...  
И всё оплакано... осмеяно... забыто,  
Погребено — и не воскреснет вновь!<sup>338</sup>

Важнейшую причину всего многообразия житейских коллизий и психологических драм своего времени как само это потерянное поколение, так и его поэт видели в том, что идеалы не выдержали противостояния царству Ваала и толпа покорилась идолу.

И с улыбкой, исполненной злобы глухой,  
С высоты своего пьедестала  
Беспредельно царил над развратной толпой  
Гордый призрак слепого Ваала<sup>339</sup>.

### *Царство Ваала*

Русская классическая литература, а вместе с ней и вся интеллигенция пореформенной поры крайне негативно реагировали на процессы буржуазной модерни-

зации. Ни писатели, ни интеллигенты не только не находили никакого оправдания людям преуспевающим, но даже не старались их понять. Справедливо обличая первородный грех первоначального накопления капитала, и те и другие отказывали предпринимателям в покаянии и искуплении греха, а мещанские добродетели вызывали у них лишь презрительную гримасу. «Царство Ваала» — так Достоевский, Писемский, Надсон называли крепнувший капитализм, который отождествлялся ими с царством антихриста, низменным идолопоклонством золотому тельцу, успеху, торжествующей силе. Завершив работу над пьесой «Ваал», Алексей Феофилактович Писемский 17 марта 1873 года написал академику Александру Васильевичу Никитенко: «Из самого заглавия вы уже, конечно, усматриваете, что в пьесе этой затронут вряд ли не главнейший мотив в жизни современного общества: все ныне поклоняются Ваалу — этому богу денег и материальных преуспеваний, и который, как некогда греческая Судьба, тяготеет над миром и всё заранее предрекает!.. Под гнётом его люди совершают мерзости и великие дела, страдают и торжествуют»<sup>340</sup>. Эта воинствующая антибуржуазность объединяла русских писателей и поэтов с остальными интеллигентами, мешая тем и другим без гнева и пристрастия постигать быстро меняющийся мир пореформенной России.

Дореволюционное русское образованное общество принципиально отказывалось признавать и принимать буржуазные ценности. Идея личного обогащения не находила поддержки в среде интеллигенции, с точки зрения которой любая деятельность, связанная с извлечением прибыли, не была легитимной, внушала подозрение, казалась сомнительной, тёмной и, главное, аморальной. В течение десятилетий зрители с откровенным одобрением и явным сочувствием реагировали на гневную тираду гоголевского Городничего, обращённую к купцам (и впервые прозвучавшую со сцены весной 1836 года): «Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, пробестии, надувалы мирские! жаловаться? ...А ты что? — начинаешь плутнями, тебя хозяин бьёт за то, что не умеешь обманывать. Ещё мальчишка, “Отче наша” не знаешь, а уж обмериваешь; а как

разопрёт тебе брюхо да набьёшь себе карман, так и заважничал! Фу-ты, какая невидаль! <...> Да я плевать на твою голову и твою важность!»<sup>341</sup> Зрители смеялись над унижением купцов-тостосумов, отвечая аплодисментами на этот поток бранных слов.

Иностранцы изумлялись *партерной иерархии*, которая строго соблюдалась в театрах Северной столицы Российской империи и носила откровенно антибуржуазный характер: даже в пореформенной России зрители покупали билеты и рассаживались в зале, исходя отнюдь не из собственных материальных возможностей, а в строгом соответствии со своей сословной принадлежностью.

Теофиль Готье в своём «Путешествии в Россию» писал:

«Первый ярус лож над бенеуаром здесь называется бельэтажем, и, хотя и нет по этому поводу каких-либо формальных предписаний, кресла бельэтажа остаются за высшей аристократией, за высшими должностными лицами двора. Ни одна женщина, если у неё нет титула, как бы ни была она богата и уважаема, не осмелится показаться в бельэтаже. Её присутствие в этом привилегированном месте удивило бы всех, и прежде всего её саму. Здесь миллиона недостаточно, чтобы стёрлись различия в происхождении.

Первые ряды партера, по обычаю, остаются за лицами высших чинов: в самом первом ряду видны только министры, офицеры высших чинов, послы, первые секретари посольств и другие значительные и значимые лица. Какая-нибудь знаменитость из иностранцев тоже может занять там место. Два следующих ряда ещё очень аристократичны. Четвёртый ряд начинает впускать банкиров, иностранцев, определённого разряда чиновников, артистов. Но торговец не осмелится проникнуть ближе пятого или шестого ряда. Эта привычка поддерживается со всеобщего молчаливого согласия; об этом никто не говорит, но все подчиняются принятому этикету»<sup>342</sup>.

Зрители безропотно повиновались этому своеобразному кодексу хороших манер и правил поведения, принятому в столице империи. Если офицерам Кавалергардского полка запрещалось сидеть дальше седь-

мого ряда партера, то камер-пажам Пажеского корпуса, наоборот, разрешалось сидеть в креслах партера не ближе седьмого, поэтому они «брали кресла 7-го ряда и отнюдь не далее 8-го»<sup>343</sup>, — свидетельствует Михаил Осоргин.

И потомственный дворянин, гордящийся своей родословной и славою своих предков, и офицер, ни на минуту не забывающий о чести мундира, и чиновник, почитающий себя частью государственного механизма империи, и университетский профессор, осознающий себя жрецом высокой науки, и свободный художник, кичащийся принадлежностью к искусству, — все они, богатые и бедные, баловни судьбы и неудачники, толстые и тонкие, не скрывали ни своего неуважения, ни своего пренебрежения по отношению к денежному мешку. В их глазах любой толстосум обладал презумпцией виновности и воспринимался как носитель неправды и зла. В этом было принципиальное отличие Российской империи от Западной Европы и Америки, где человек, добившийся материального преуспевания и жизненного успеха, пользовался колоссальным уважением. Русская интеллигенция была убеждена, что власть золотого тельца, этого идола современной жизни, рано или поздно падёт. И поэзия Надсона выразительно отражала эти настроения.

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,  
Кто б ты ни был, не падай душой.  
Пусть неправда и зло полновластно царят  
Над омытой слезами землёй,  
Пусть разбит и поруган святой идеал  
И струится невинная кровь, —  
Верь: настанет пора — и погибнет Ваал,  
И вернётся на землю любовь!<sup>344</sup>

Вплоть до 1917 года всякий русский интеллигент был в большей или меньшей степени Обломовым в своих воззрениях на мир. И хотя в русской хозяйственной жизни год от года неуклонно возрастала роль торговцев и промышленников, интеллигент предпочитал не замечать это явление, ибо оно не вписывалось в его картину мира. Его реакция была сродни реакции Ильи Ильича Обломова на окружающую жизнь. Обычно в

Обломове видят лишь олицетворение лени, безволия и равнодушия к жизни. Имя Обломова стало нарицательным. Однако *обломовщина* — это не только лень, но и это ещё и уход от действительности в вымышленный мир. Илья Ильич, владелец имения, где трудились 300 крепостных, мог себе это позволить: он просто не задумывался над тем, откуда что берётся, и впадал в уныние, когда действительность вторгалась в его мирок.

«Обломов вздохнул.

— Ах, жизнь! — сказал он.

— Что жизнь?

— Трогает, нет покоя! Лёг бы и заснул... навсегда...»<sup>345</sup>

Роман «Обломов» был опубликован в 1859 году. Через два года отменили крепостное право. Но и в пореформенной России небогатый русский интеллигент, живущий от трудов своих и не имеющий обломовских доходов, по-прежнему не пытался понять, откуда что берётся и какова роль промышленника и торговца в жизни общества. Интеллигент верил в будущее без купца и фабриканта. Задолго до 1917 года в сознании русского интеллигента сформировалось представление о мире без власти капитала. В драме Писемского «Ваал» происходит много говорящий обмен репликами между депутатом от земства в городской думе и женой богатого коммерсанта.

«*Мирович*. Знаешь ли ты, что такое купец в человеческом обществе?... Это паразит и заедатель денег работника и потребителя.

*Клеопатра Сергеевна*. Но нельзя же обществу быть совсем без купцов. Они тоже пользу приносят.

*Мирович*. Никакой! Все усилия теперь лучших и честных умов направлены на то, чтобы купцов не было и чтоб отнять у капитала всякую силу! Для этих господ скоро придёт их час, и с ними, вероятно, рассчитаются ещё почище, чем некогда рассчитались с феодальными дворянами»<sup>346</sup>.

Осенью 1873 года во время исполнения драмы на подмостках Петербургского Александринского театра и Московского Малого театра эта сцена вызывала шумные и продолжительные рукоплескания, а несомненный успех спектакля как у петербургской, так и у мос-

ковской публики имел характер общественного скандала. Ваал, этот «новый дьявол-соблазнитель»<sup>347</sup>, ниспосланный на землю, одерживает убедительную победу над иллюзиями и идеалами. Недавний идеалист признаёт своё полное поражение и покоряется Ваалу.

*«Мирович (один и взмахивая как-то решительно головой). Прими, Ваал, ещё две новые жертвы! Мучь и терзай их сердца и души, кровожадный бог, в своих огненных когтях! Скоро тебе все поклонятся в этот век без идеалов, без чаяний и надежд, век медных рублей и фальшивых бумаг!»*<sup>348</sup>

Развитие капитализма в России ассоциировалось не с ростом производительных сил страны, а с мошенничеством и несправедливой наживой. Очевидные для всех плутни периода первоначального капиталистического накопления вызывали справедливое негодование, но мешали понять суть дела и увидеть созидательную роль капитала: создание новых рабочих мест, мощное развитие путей сообщения, ускоренное развитие промышленности, оживление торговли, формирование системы высшего специального образования, повышение уровня бытовой культуры. Наконец, именно развитие капитализма в России вызвало ощутимый рост спроса на произведения литературы и искусства. Строительству железных дорог породило потребность в сооружении капитальных зданий вокзалов, многие из которых стали памятниками архитектуры. Пассажиры брали с собой в дорогу книги, и на железнодорожных станциях стали открываться книжные киоски, благодаря чему значительно выросли книжные тиражи. Залы ожидания больших вокзалов украшали мозаикой, фресками, картинами. Без развития сети железных дорог были бы невозможны Передвижные художественные выставки, благодаря которым российская провинция увидела современное искусство. Эта же сеть железных дорог дала мощный импульс развитию театральной антрепризы. Однако, как это ни покажется обидным, в течение полувека русский интеллигент смотрел на развитие капитализма глазами персонажей «Обломова».

«— Что это за акции такие, я всё не разберу хорошенько? — спросил Иван Матвеевич.

— Немецкая выдумка! — сказал Тарантьев злобно. — Это, например, мошенник какой-нибудь выдумает делать несгораемые дома и возьмётся город построить; нужны деньги, он и пустит в продажу бумажки, положим, по пятисот рублей, а толпа олухов и покупает, да и перепродаёт друг другу. Послышится, что предприятие идёт хорошо, бумажки вздорожают, худо — всё и лопнет. У тебя останутся бумажки, а денег-то нет. Где город? — спросишь: сгорел, говорят, не достроился, а изобретатель бежал с твоими деньгами. Вот они, акции-то!»<sup>349</sup>

Русский интеллигент, безоговорочно отвергавший буржуазные ценности, скептически относился уже и к ценностям имперским: идея округления границ и расширения пределов Российской империи перестала восприниматься им как аксиома или как самодостаточная идея, оправданная фактом существования империи. Однако идея помощи «братушкам» всегда была близка его сердцу, и он с восторгом поддержал власть, когда она начала войну с Османской Портой.

### *Последняя победоносная война*

Русско-турецкая война 1877—1878 годов была последней победоносной войной в истории Российской империи. Военные действия, начатые при всеобщем воодушевлении, сопровождавшиеся колоссальными материальными издержками и ощутимыми потерями, затянулись, а когда был заключён долгожданный мир, то итоги кампании вызвали нескрываемое разочарование как правительства, так и русского общества. Впечатляющие победы русского оружия не были закреплены в ходе дипломатических переговоров: выиграв войну на полях сражений, Российская империя проиграла её в дипломатических битвах. Шпага российского воина была остра и победоносна, а перо дипломата — притупилось. Ещё никогда за весь императорский период русская армия не была так хорошо подготовлена к предстоящим сражениям. В ходе проведения военной реформы в стране была введена всеобщая воинская обязанность, армия была перевооружена, а относитель-

но разветвлённая сеть железных дорог позволяла быстро перебрасывать войска к границе. В прошлом остались и допотопные кремневые гладкоствольные ружья, с которыми героические защитники Севастополя сражались против союзников, вооружённых дальнобойными штуцерами, — на сей раз вооружение реформированной русской армии было вполне современным. Заблаговременно был разработан мобилизационный план, а сама мобилизация, наглядное представление о которой даёт картина художника-передвижника Константина Аполлоновича Савицкого «На войну», была проведена образцово и не вызвала даже малейших нареканий.

Недоброжелатели военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина, утверждавшие, «что у нас нет ни армии, ни пороха, ни ружей»<sup>350</sup>, что армия не готова к войне, были посрамлены. 20 ноября 1876 года генерал Милютин докладывал императору Александру II о мобилизации войск. «Государь сказал мне, что его истинно радует, что дело это идёт так хорошо и что в настоящем случае выказалось на деле, сколько сделано для благоустройства армии. “Даже противники твои, — прибавил он, — теперь вынуждены отдать справедливость тому, что тобою сделано”. Государь протянул мне руку и сердечно обнял меня»<sup>351</sup>.

И хотя русская армия была готова к войне, ни сам царь, ни военный министр не хотели этой войны. Они оба прекрасно понимали, что Европа не позволит России воспользоваться плодами грядущей победы над Турцией. И тем не менее они решили воевать. Почему? Система вековых имперских ценностей столкнулась с недавно появившимися в русской жизни прагматическими ценностями зарождающегося буржуазного общества, давно уже укоренившимися в европейском сознании, но вызывающими лишь усмешку как в высшем свете, так и в среде интеллигенции. Российский посол в Лондоне граф Пётр Андреевич Шувалов иронически отзывался о государственных мужах Великобритании. «...Англичане, — говорил он, — не имеют другой точки зрения, кроме денежной; по их понятиям, человеку можно простить самые ужасные преступления, кроме



одного — если он не платит своих счетов»<sup>352</sup>. И хотя Россия уже вступила на путь буржуазных отношений, в Российской империи по-прежнему господствовала иная система ценностей, в которой экономический расчёт занимал очень скромное место, потому британская прагматичность вызывала иронию.

В течение нескольких лет на окраинах Османской империи тлело пламя восстания: христианские подданные султана с оружием в руках пытались добиться независимости. В 1875 году против турецкого ига восстали Босния и Герцеговина, в 1876 году началось восстание в Болгарии, а затем против могущественной Порты выступили маленькие Сербия и Черногория. Все эти события всколыхнули русское общество, которое стало настойчиво требовать от верховной власти «защитить братьев-славян». И если императрица Мария Александровна была убеждённой поборницей панславистских идей, то её царственный супруг отлично осознавал, к каким трагическим последствиям может привести Россию скоропалительное вступление в военный конфликт.

В марте 1876-го императрица, обычно уклонявшаяся от вмешательства в государственные дела, недвусмысленно дала понять министру иностранных дел канцлеру князю Горчакову, что «дипломатия наша не довольно энергично действует в пользу христианского населения Турции»<sup>353</sup>. Однако эти настроения императрицы Марии Александровны до какого-то момента никак не влияли на настроения государя. Александр II справедливо опасался большой европейской войны. Обнажив меч против Турции, Россия могла столкнуться с коалицией европейских держав, не желавших ни усиления российских позиций на Балканах, ни её овладения Черноморскими проливами. Европа не желала видеть русский флаг над Константинополем и готова была противодействовать этому не только дипломатическим путём, но и силой оружия.

Пятнадцатого июля 1876 года, когда ещё ничего не было решено и казалось, что войны не будет, государь поведал военному министру о своих сомнениях. Александр II был «человеком 40-х годов» и ему не был чужд дух гамлетовских рефлексий: прежде он погружался в

размышления, а лишь после этого переходил к быстрым и решительным действиям. «Постоянно слышу я упреки, зачем мы остаёмся в пассивном положении, зачем не подаём деятельной помощи славянам турецким. Спрашиваю тебя, благоразумно ли было бы нам, открыто вмешавшись в дело, подвергнуть Россию всем бедственным последствиям европейской войны? — Я не менее других сочувствую несчастным христианам Турции, но я ставлю выше всего интересы самой России». Александр II вспомнил проигранную Крымскую войну, слёзы навернулись у него на глазах: возможность повторения истории была очевидна. «В случае инициативы с нашей стороны, в случае наступательных наших предприятий, и в этом случае может выйти то же, что было в Крымскую войну — опять вся Европа опрокинется на нас...»<sup>354</sup> Колебания затянулись на две недели. 27 июля, в день рождения императрицы, Александр II принял решение, которое стало настоящим подарком для Марии Александровны. Во время лагерных сборов в Красном Селе император открыто объявил гвардейским офицерам о разрешении «выходить временно в отставку, чтобы ехать на театр войны, с обещанием, что каждый возвратится потом в свой полк, не потеряв своего старшинства»<sup>355</sup>.

Гвардейские офицеры, решившие выйти в отставку, чтобы отправиться воевать на Балканы, формально не состояли на службе, но фактически сохраняли за собой линию своего гвардейского старшинства: их не могли обойти чином при очередном производстве. Формально Россия не вмешивалась в конфликт султана и его подданных, но фактически русские офицеры воевали на стороне восставших. «Таким образом, то, что до сих пор допускалось только не гласно, на что смотрели сквозь пальцы, обратилось теперь в открытое, официальное разрешение непосредственно от самого императора»<sup>356</sup>. И хотя не прошло и трёх недель после высочайшего разрешения, как с 14 августа отставки в войсках были приостановлены, Россия невольно вовлекалась в военный конфликт на Балканах. В итоге этим разрешением воспользовались до пяти тысяч русских добровольцев.

Одним из таких добровольцев был подполковник Николай Николаевич Раевский (внук и полный тёзка героя войны 1812 года), некогда служивший в лейб-гусарах, а затем командующий отдельным отрядом сербской армии. Погибший в Сербии Раевский послужил прототипом Алексея Вронского. Как мы помним, последняя часть романа «Анна Каренина» завершается отъездом Вронского, сформировавшего на свои средства кавалерийский эскадрон, и других добровольцев на войну. Кроме того, в Сербию переводились добровольные денежные пожертвования, посылались медикаменты и предметы снаряжения. Среди добровольцев был и художник Василий Дмитриевич Поленов, принявший непосредственное участие в боях и отмеченный наградами. Столичные иллюстрированные журналы охотно публиковали его выполненные с натуры рисунки, запечатлевшие ход боевых действий в Сербии. Украшенный знаками отличия художник благополучно вернётся в Россию и прославится со временем как известный передвижник. Русский доброволец, воевавший на Балканах, станет заметной фигурой в московском и петербургском обществах, чем не преминет воспользоваться чуткий бытописатель Пётр Дмитриевич Боборыкин. Главным героем его популярного романа «Китай-город» станет волонтёр — участник войны на Балканах 35-летний дворянин Андрей Дмитриевич Палтусов.

Но всё это будет потом, когда оставшиеся в живых добровольцы вернутся в Россию. А тревожным и непредсказуемым летом 1876-го ни сам император Александр II, ни министр иностранных дел канцлер князь Горчаков, ни военный министр генерал Милютин — никто не знал, каким будет финал разыгравшейся драмы. При дворе царило мрачное настроение. Военного министра поразило, что «все, до самой молодой фрейлины, спрашивают, нет ли новых телеграмм с театра войны»<sup>357</sup>. Императрица Мария Александровна, привыкшая взвешивать каждое слово, когда речь шла о политике, чётко обозначила свою позицию не только государственному канцлеру, но и военному министру. Государыня без обиняков сказала Милютину, что она скорбит «о бедственном положении дел в Сербии»<sup>358</sup>.

Однако император понимал, что если прагматичная Европа и не склонна воевать с османами, то вмешательство России во внутренние дела Турции, её стремление в одиночку разрубить гордиев узел проблем на Балканах, — всё это может стать детонатором большой европейской войны. «...Нас вовлекут в войну даже против собственной нашей воли»<sup>359</sup>.

Серьёзные сомнения испытывал не только царь, но и его военный министр. Для генерала Милютина грядущая война была делом чести и профессиональной репутации. Только война могла показать на деле боеспособность русской армии, реформированием которой Дмитрий Алексеевич занимался в течение шестнадцати лет. Военный министр много и продуктивно работал, никогда не оставался праздным, чуждался светских развлечений и в иные годы спал не более пяти или пяти с половиной часов в сутки. Несмотря на это, *великий трудолюбец* Милютин получал «безыменные письма, наполненные самыми грубыми, площадными ругательствами, будто бы за расстройство армии, и всё это после 16-летних забот об устройстве и усилении наших военных сил»<sup>360</sup>. Лишь война, победоносная война могла очистить Милютину от клеветы. Несмотря на это, Дмитрий Алексеевич отнюдь не жаждал победных лавров и готов был поступиться своим самолюбием, когда речь шла о благе государства. «Но ужели для своего оправдания, для удовлетворения своего оскорблённого самолюбия желать бедствия России. — А, по моему убеждению, война была бы для нас неизбежным бедствием, потому что успех и ход войны зависят не от одной лишь подготовки материальных сил и средств, но столько же от подготовки дипломатической, а с другой стороны, — от способности тех лиц, в руках которых будет самое ведение военных действий»<sup>361</sup>. Этот вывод был сделан генералом в знаменательный день 27 июля. Милютин готов был пожертвовать своим самолюбием, но не готов был поступиться имперскими ценностями. Верховенство имперских ценностей в итоге и определило его позицию. В феврале 1877 года он решительно подал свой голос за войну: «Нам нужен мир, но мир не во что бы то ни стало, а мир почётный, хотя бы его и пришлось добывать войной»<sup>362</sup>.

Итак, колебания Александра II длились в течение двух недель. 27 июля 1876 года, когда русские офицеры получили право выходить в отставку, чтобы воевать на стороне Сербии против Турции, драма мгновенно стала трагедией. Трагедией императора, трагедией Российской империи, трагедией на все времена. И эта современная трагедия с её многочисленными бедствиями затмила античную трагедию с её тщетной борьбой человека с силами рока. И подобно тому как в античной трагедии никто не желал услышать голос Кассандры, вещавшей о грядущих бедствиях, так и в Российской империи никто не захотел прислушаться к грозным пророчествам министра финансов Михаила Христофоровича Рейтерна: «Я глубоко убеждён, что война остановит правильное развитие гражданских и экономических начинаний, составляющих славу царствования Его Величества; она причинит России неисправимое разорение и приведёт её в положение финансового и экономического расстройств, представляющее приготовленную почву для революционной и социалистической пропаганды, к которой наш век и без того уже слишком склонен»<sup>363</sup>. Именно так и произошло. События стали развиваться по трагическому сценарию российской Кассандры. На смену лету 1876 года, согласно календарю, пришла осень. И эта осень стала осенью империи. Великая русская литература воспела эту поэзию увядания и запечатлела *сумерки* дворянской культуры: разорённые *дворянские гнёзда*, вырубленные *вишнёвые сады*, опустевшие *тёмные аллеи*. И лишь увядание победных лавров не нашло ни своего бытописателя, ни своего поэта.

### *Мадригалы на бой, или «Географические фанфаронады»*

Если посмотреть на взаимодействие системы имперских ценностей и русской культуры сквозь призму интеллектуальной истории, то в *большом времени истории* можно увидеть любопытную закономерность. Михаил Васильевич Ломоносов, Гавриил Романович

Державин и их менее известные современники XVIII века воспевают победы русского оружия в торжественных одах. И эти похвальные оды становятся фактом не только русской поэзии, но и русской культуры. С написанной Ломоносовым во время учёбы в саксонском городе Фрейберге и посланной им в Петербург «Оды блаженные памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» и приложенного к ней «Письма о правилах российского стихотворства» началась новая русская поэзия.

Русская поэзия обязана своим рождением той экзальтации, которую испытал студент Михайло Ломоносов при получении известия о ратном подвиге соотечественников: «Восторг внезапный ум пленил»<sup>364</sup>. Так начинается его ода. Это состояние прилива душевных сил и творческого подъёма привело Ломоносова на гору Парнас, где обитали музы, где у подножия бил Кастальский ключ, родник поэтического вдохновения.

Итак, именно победоносную войну следует принять за *первотолчок* — начальную причину — возникновения и источник последующего движения русской поэзии в пространстве и времени.

Шумит с ручьями бор и дол:  
Победа, русская победа!  
Но враг, что от меча ушёл,  
Боится собственного следа.  
Тогда увидев бег своих,  
Луна стыдилась сраму их...

Не вся твоя тут, Порта, казнь,  
Не так тебя смирять достойно,  
Но большу нанести боязнь,  
Что жить нам не дала спокойно.  
Ещё высоких мыслей страсть  
Претит тебе пред Анной пасть.  
Где можешь ты от ней укрыться?  
Дамаск, Каир, Алепп сгорит,  
Обставят русским флотом Крит;  
Евфрат в твоей крови смутится.

Творческая фантазия гениального студента на несколько десятилетий опередила как своё время, так и самые дерзновенные геополитические планы россий-

ского Левиафана. Юная российская поэзия оказалась более проворной, чем перо дипломата или шпага воина. Ода произвела настоящий фурор в образованном обществе Северной столицы, однако «географические фанфаронады»<sup>365</sup> никому не известного автора показались в Петербурге слишком смелыми и помешали незамедлительной публикации его произведения. «Ода... на взятие Хотина 1739 года» будет напечатана лишь в 1751 году в составе толстого тома других сочинений, когда давняя победа русской армии уже канет в Лету и потеряет свою политическую актуальность, а давнишняя ломоносовская ода будет интересовать лишь любителей поэзии. Но в 1739 году власть опасалась дипломатических осложнений. Европейские дворы легко могли принять поэтические метафоры Ломоносова за манифестацию стратегических замыслов Российской империи.

Пройдёт три десятилетия после написания оды, и в царствование императрицы Екатерины II русский военно-морской флот отправится в дальний поход из Кронштадта в Средиземное море, блокирует Дарданеллы, прервёт турецкие коммуникации с Марокко, Тунисом, Алжиром, Египтом, Сирией и в 1770 году блистательно выиграет Чесменское морское сражение и станет господствовать в Архипелаге.

Вспомним «Воспоминания в Царском Селе», большое стихотворение, сочинённое юным лицеистом Александром Пушкиным в 1814 году в русле поэтической традиции минувшего «осмнадцатого» столетия, но не ставшее от этого поэтическим анахронизмом.

О громкий век военных споров,  
Свидетель славы Россиян!  
Ты видел, как Орлов, Румянцов и Суворов,  
Потомки грозные Славян,  
Перуном Зевсовым победу похищали;  
Их смелым подвигам страшась дивился мир;  
Державин и Петров Героям песнь бряцали  
Струнами громозвучных лир<sup>366</sup>.

Пушкинское стихотворение стало хрестоматийным, заняв почётное место рядом с державинской одой «Осень во время осады Очакова» (1788). Без этих стихо-

творений трудно представить себе русскую поэзию и русскую культуру. С восторгом русское образованное общество восприняло и «Певца во стане русских воинов» Василия Андреевича Жуковского — этот поэтический памятник героям Отечественной войны 1812 года. Однако прошло каких-то полтора десятилетия, и уже генерал Иван Фёдорович Паскевич, победоносно завершивший войну с Персией и заключивший почётный и крайне выгодный для России Туркманчайский мирный договор, по которому к империи отошли ханства Ереванское и Нахичеванское, не смог сдержать своего разочарования. Он ожидал, что лира Жуковского увековечит для потомства его победы. В феврале 1828 года генерал написал Василию Андреевичу из деревни Туркманчай (близ Тебриза): «Всё кончено. Поздравляю вас с миром. Жаль, что ваши струны замолкли; может быть и мы в превосходных творениях ваших приютились бы к бессмертию, если не громкими делами, то перенесением трудов неимоверных. Право, их можно не краснея передать если не потомству, то хотя современникам на память»<sup>367</sup>. Жуковский не откликнулся на этот призыв.

Прошёл год. Удача не покидала Паскевича в новой войне, на сей раз с Турцией. Летом 1829 года Пушкин с разрешения главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом Паскевича совершил поездку в Закавказье, более месяца сопровождал генерала во время кампании и стал свидетелем его новых побед. 19 июля Пушкин нанёс Паскевичу прощальный визит и получил от него в подарок турецкую саблю с надписью на клинке: «Арзрум, 18 июля 1829». Это был более чем прозрачный намёк на только что одержанную блестящую победу — взятие мощной турецкой крепости Арзрум (Эрзерум). Паскевич, получивший к тому времени титул графа Эриванского, надеялся, что первый поэт России своим пером прославит его победы. Полководец не был одинок в своих ожиданиях. 16 ноября 1829 года в официозной газете «Северная пчела», издаваемой Фаддеем Венедиктовичем Булгариным, был сформулирован социальный заказ: «А. С. Пушкин возвратился в здешнюю столицу из Арзрума. Он был на блистатель-



ном поприще побед и торжеств русского воинства, наслаждался зрелищем, любопытным для каждого, особенно для русского. Многие почитатели его музыки надеются, что он обогатит нашу словесность каким-нибудь произведением вдохновенным под тенью военных шатров в виду неприступных гор, на которых мощная рука Эриванского героя водрузила русские знамёна»<sup>368</sup>. Первый поэт России проигнорировал и намёк полководца, и навязчивое требование журналиста. И тогда Булгарин бросил поэту обвинение в отсутствии патриотизма: «Мы думали, что автор “Руслана и Людмилы” устремился на Кавказ, чтобы напиться высокими чувствами поэзии; обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещённых народов, возбудят гений наших поэтов: мы ошиблись. Лиры знаменитых остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии опять появился Онегин, бледный, слабый»<sup>369</sup>. Примечательно, что булгаринский выпад целил не только в Пушкина, но и во всю русскую поэзию.

Минуло ещё два года. Паскевич, уже получивший чин генерал-фельдмаршала и награждённый высшим военным орденом Святого Георгия 1-й степени, заслужил новые победные лавры. Русская армия под его командованием подавила Польское восстание 1830—1831 годов, угрожавшее территориальной целостности Российской империи. Вооружённая борьба с польскими мятежниками продолжалась почти год и сопровождалась напряжением всех сил империи. Изгнание Наполеона из России потребовало вдвое меньше времени. 6 сентября 1831 года войска Паскевича в результате кровопролитного штурма овладели западным пригородом Варшавы — Волей, а в ночь с 7 на 8 сентября была подписана капитуляция столицы Царства Польского. Это событие произошло в девятнадцатую годовщину Бородинской битвы. На сей раз и Жуковский, и Пушкин откликнулись патриотическими стихами, которые за государственный счёт были напечатаны большим тиражом в одной брошюре «На взятие Варшавы. Три сти-

хотворения В. Жуковского и А. Пушкина», в которую вошли «Старая песня на новый лад» Жуковского и пушкинские стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Фельдмаршал Паскевич, за взятие польской столицы получивший титул светлейшего князя Варшавского, был удовлетворён: первый поэт России посвятил ему две лестные строфы в оде «Бородинская годовщина», в них он сравнил Ивана Фёдоровича с прославленным Суворовым и назвал его продолжателем суворовской славы.

Победа! сердцу сладкий час!  
Россия! встань и возвышайся!  
Греми, восторгов общий глас!..  
Но тише, тише раздавайся  
Вокруг одра, где он лежит,  
Могучий мститель злых обид,  
Кто покорил вершины Тавра,  
Пред кем смирилась Эривань,  
Кому суворовского лавра  
Венок сплела тройная брань<sup>170</sup>.

Это были не самые искусные пушкинские строки, хотя и написанные в русле державинской традиции. Ода «Бородинская годовщина» фактически завершила собой эту поэтическую традицию. Отныне, на мой взгляд, русские поэты уже не прославляли очередные военные победы империи. В 1837 году Лермонтов напишет своё гениальное «Бородино», в котором не только увековечит знаковое событие недавнего прошлого, но и сознательно противопоставит это прошлое настоящему: «Богатыри — не вы». Больше в русской поэзии так и не будет создано ни одного значительного произведения, воспевающего победы русского оружия в настоящем, которое одновременно стало бы и фактом поэзии, и фактом культуры. В будущем поэзия запечатлеет труды и дни рядового участника военных событий, солдата или офицера, но не станет славить ни выигранные сражения, ни полководцев и военачальников, разбивших неприятеля. Фельдмаршал Паскевич был последним русским военачальником, воспетым в оде. Иван Фёдорович хотя и остался доволен, но не смог скрыть давних обид на нерасторопность русских

поэтов. Получив брошюру «На взятие Варшавы», он написал 2 октября 1831 года Жуковскому из Варшавы:

«Искренность поэта раскрыла для меня в живой, яркой картине всю великость и влияние настоящих событий и ту исполинскую славу, блеск коей столь неоспоримо принадлежит вновь оружию Российскому, вопреки завистливых толков и враждебного желания недругов наших.

Сладкозвучные лиры первостепенных поэтов наших долго отказывались бряцать во славу подвигов оружия. Так померкнула заря достопамятных событий Персидской и Турецкой войн, и голос выпренного вдохновения едва-едва отозвался в Отечестве в честь тогдашних успехов наших»<sup>371</sup>.

Попросив Жуковского передать Пушкину свою благодарность, Паскевич, однако, не счёл нужным лично написать поэту: так велика была его досада на упорное молчание пушкинской лиры в течение предшествующих нескольких лет, о чём сам Пушкин с иронией написал в черновом наброске к поэме «Домик в Коломне»:

Пока сердито требуют журналы,  
Чтоб я воспел победы россиян  
И написал скорее мадригалы  
На бой или на бегство персиян...<sup>372</sup>

Князь Варшавский так и не понял, чем было продиктовано нежелание поэта воспевать «поприще побед и торжеств русского воинства». Для Пушкина суть проблемы заключалась в том, что он более не хотел продолжать поэтическую традицию прошедшего века: расширение империи его уже не вдохновляло, а вот реальная угроза её целостности беспокоила, порождая мучительные размышления о судьбах России.

Кто устоит в неравном споре:  
Кичливый лях, иль верный росс?  
Славянские ль ручьи сольются в русском море?  
Оно ль иссякнет? вот вопрос<sup>373</sup>.

Четырнадцатого сентября 1831 года, прочитав только вышедшую брошюру «На взятие Варшавы», князь Пётр Андреевич Вяземский не мог скрыть негодования

на своих близких друзей — Жуковского и Пушкина. «Шинельные стихи»<sup>374</sup> — именно так он назвал эту брошюру на злобу дня, уподобив своих друзей-поэтов московским стихотворцам, которые ходили в шинели по домам Первопрестольной с поздравительными одами. «Зачем переключать в стихи то, что очень кстати в политической газете»<sup>375</sup>. Эту фразу он даже написал в письме Пушкину, которое по зрелому размышлению так и не отправил. Своё возмущение князь зафиксировал в записной книжке: «Как можно в наше время видеть поэзию в *бомбах*, в *палисадах*. <...> Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича: во-первых, потому что этот род восторга анахронизм, что ничего нет поэтического в моём кучере, которого я за пьянство и воровство отдал в солдаты и который, попав в *железный фрунт*, попал в машину, которая стоит или поддается вперёд без воли, без мысли и без отчёта, а что *города* берутся именно этими машинами, а не полководцем, которому стоит только расчесть, сколько он пожертвует этих машин, чтобы навязать на жену свою Екатерининскую ленту; во-вторых, потому, что курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось, наконец, наложить лапу на мышь. В поляках было геройство отбиваться от нас так долго, но мы *должны* были окончательно перемочь их: следовательно, нравственная победа всё на их стороне»<sup>376</sup>. (Цитата нуждается в объяснениях: бомба — это ядро, начинённое порохом, палисад — сплошной частокол вокруг укрепленного места, а Екатерининская лента — женский орден Святой Екатерины 1-й степени.)

Эта интимная запись Вяземского фактически стала манифестом той части русской интеллигенции, которая сознательно желала дистанцироваться от действий правительства и чьё мировоззрение всё больше и больше расходилось с системой имперских ценностей, а образ мыслей никак не совпадал с видами правительства. «У нас ничего общего с правительством быть не может. У меня нет более ни песен для его славы, ни слёз для его несчастий»<sup>377</sup>. Эти слова князь Пётр Андреевич, ветеран Отечественной войны 1812 года, принимав-

ший участие в Бородинской битве и удостоенный за это ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом, написал ещё 18 марта 1828 года, в день четырнадцатой годовщины капитуляции Парижа! Поэт Вяземский дал своё эстетическое объяснение причин, по которым, во-первых, русская поэзия перестала славословить войну; во-вторых, образованная публика отказала «шинельным стихам» в праве именоваться поэзией. Однако система этических и эстетических ценностей его великого друга была более сложной и не могла быть исчерпана этим объяснением.

Поэт Пушкин больше никогда не писал «шинельных стихов», но в 1836 году на страницах издаваемого им журнала «Современник» *анонимно* опубликовал «Родословную моего героя. (Отрывок из сатирической поэмы)». В этих стихах мудрый Пушкин, уже выпустивший в свет не имевшую коммерческого успеха двухтомную «Историю Пугачёвского бунта»<sup>378</sup> и в качестве государственного историографа занятый сбором архивных и мемуарных материалов для написания «Истории Петра», искренне сожалел, что так называемая образованная публика стала чуждаться имперских ценностей:

Мне жаль, что нашей славы звуки  
Уже нам чужды; что проста  
Из бар мы лезем в tiers-état\*,  
Что нам не в прок пошли науки,  
И что спасибо нам за то  
Не скажет, кажется, никто<sup>379</sup>.

Минуло десять лет после капитуляции Варшавы. В 1841 году в апрельской книжке журнала «Отечественные записки» было напечатано программное стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Родина». Эстетические размышления Вяземского, независимо от того, был ли с ними знаком Лермонтов, похоже, нашли гениальное поэтическое воплощение:

---

\*Третье сословие — податное население Франции в XV—XVIII веках: купцы, ремесленники, крестьяне, рабочие, позднее и буржуазия; Великой французской революцией конца XVIII века сословия были отменены. — *Прим. ред.*

Люблю отчизну я, но странною любовью!  
Не победит её рассудок мой.  
Ни слава, купленная кровью,  
Ни полный гордого доверия покой,  
Ни тёмной старины заветные преданья  
Не шевелят во мне отрадного мечтанья<sup>380</sup>.

То, о чём Вяземский писал в своих заветных записках, будет провозглашено публично и станет символом веры образованных людей. «Слава, купленная кровью», перестанет питать русскую поэзию, «тёмной старины заветные преданья» время от времени будут использоваться для сотворения поэтических мифов, а у русского интеллигента действия властей перестанут вызывать «отрадные мечтанья».

Прошло четыре десятилетия. За это время Российская империя пережила Венгерский поход, Крымскую войну, окончание пятидесятилетней войны на Кавказе, Русско-турецкую войну, не говоря уже об экспедициях в Средней Азии... Кажется, ни одно из этих событий не стало значимым фактом русской поэзии. Немногочисленные стихи на случай не нашли отклика в читающей публике и не стали выразителями современных настроений, какими в своё время были державинские оды.

В 1822 году Пушкин, который был современником и очевидцем начала Кавказской войны, в эпилоге поэмы «Кавказский пленник» пообещал своим будущим читателям воспеть новейшие победы русской армии на Кавказе:

И воспою тот славный час,  
Когда, почуя бой кровавый,  
На негодующий Кавказ  
Подъялся наш орёл двуглавый...<sup>381</sup>

Поэт не только обещал восславить «грохот русских барабанов», но и поднимал на пьедестал русских военачальников, своих современников, с именами которых было связано начало покорения Кавказа: Цицианова, Котляревского, Ермолова. 23-летний Пушкин считал их героями, достойными прославления. Пушкинские стихи вызвали возмущение князя Вяземского. В письме Александру Ивановичу Тургеневу от 27 сентября 1822 года он писал:

«Мне жаль, что Пушкин окровавил последние стихи  
своей повести. Что за герой Котляревский, Ермолов?  
Что тут хорошего, что он,

как чёрная зараза,  
Губил, ничтожил племена?

От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решить, можно ли её оправдывать или нет; но гимны поэта не должны быть никогда славословием резни. Мне досадно на Пушкина: такой восторг — настоящий анахронизм»<sup>382</sup>.

Князь Пётр Андреевич сделал точный этический разбор ситуации и верный эстетический прогноз, правильность которого доказало время. Если начало покорения Кавказа возбудило творческий подъём у самого Пушкина, то пленение имама Шамиля и окончание Кавказской войны не вызвало ни малейшего вдохновения у русских поэтов, не *пленило их ум внезапным восторгом*.

На долю Семёна Яковлевича Надсона выпал жребий написать своеобразный эпилог в антологии русской классической поэзии под условным названием «Слава, купленная кровью».

12 января 1881 года отряд генерал-адъютанта Михаила Дмитриевича Скобелева взял штурмом крепость Геок-Тепе в Туркмении и присоединил к Российской империи Ахалтекинский оазис. Военная операция, запланированная на два года, завершилась за девять месяцев и стоила империи 13 миллионов рублей. Император Александр II был обрадован этой вестью и щедро наградил победоносного военачальника: 37-летний Скобелев, многие сверстники которого ещё продолжали оставаться всего-навсего капитанами, был пожалован чином генерала от инфантерии и награждён высоким военным орденом Святого Георгия 2-й степени. По случаю победы во дворце был назначен большой выход с благодарственным молебном. Позднее «белый генерал» в одном из писем изложил свой стратегический прин-

цип: «...спокойствие в Азии находится в прямом отношении к массе вырезанных там людей. Чем сильнее удар, тем дольше неприятель останется спокойным. Мы убили 2 тысячи туркменов при Геок-Тепе; оставшиеся в живых долго не забудут этого урока: рубили саблями всё, что попадалось под руку»<sup>383</sup>. Когда весть о победе над текинцами облетела Петербург, «павлон», то есть юнкер Павловского военного училища, Семён Надсон написал стихотворение, посвящённое генералу Скобелеву и первоначально называвшееся в рукописи «Лавр и тёрн».

### ГЕРОЮ

Тебя венчает лавр... Дивясь тебе, толпится  
Чернь за торжественной процессией твоей,  
Как лучшим из сынов, страна тобой гордится,  
Ты на устах у всех, ты — бог последних дней!  
Вопросов тягостных и тягостных сомнений  
Ты на пути своём безоблачным далёк,  
Ты слепо веруешь в свой благодатный гений  
И в свой заслуженный и признанный венок.  
Но что же ты свершил?... За что перед тобою  
Открыт бессмертия и славы светлый храм  
И тысячи людей, гремя тебе хвалою,  
Свой пламенный восторг несут к твоим ногам?  
Ты бледен и суров... Не светится любовью  
Холодный взор твоих сверкающих очей;  
Твой меч опущенный ещё дымит кровью,  
И веет ужасом от гордости твоей!  
О, я узнал тебя! Как ангел разрушенья,  
Как смерч промчался ты над мирною страной,  
Топтал хлеба её, сжигал её селенья,  
Разил и убивал безжалостной рукой.  
Как много жгучих слёз и пламенных проклятий  
Из-за клочка земли ты сеял за собой;  
Как много погубил ты сыновей и братьев  
Своей корыстною, безумною враждой!  
Твой путь — позорный путь! Твой лавр — насмешка злая!  
Недолговечен он... Едва промчится мгла  
И над землёй заря забрезжит золотая —  
Увядавший, он спадёт с бесславного чела!..

Если будущий офицер, воспитанник Павловского военного училища, которое славилось строгой дисциплиной и безукоризненной строевой подготовкой, сочиняет такие стихи, то это может означать, что империя обречена. Ни генерал Скобелев, ни юнкер Надсон, ни



их современники не знали, да и не могли знать того, что знаем мы: Ахалтекинская экспедиция и взятие Ашхабада вписали последнюю победоносную страницу в военную летопись Российской империи. Но русское образованное общество в большей своей части уже было равнодушно к победным имперским лаврам задолго до того, как эти лавры увяли.

### «Апофеоз войны»

С полным отсутствием участия и интереса к происходящему русский интеллигент взирал как на победы, так и на поражения. И это безразличие особенно ярко проявилось во время Русско-японской войны 1904—1905 годов. Столичное общество предпочитало не замечать того, что происходит на Дальнем Востоке — этой воистину дальней окраине огромной империи. Один из наиболее известных мирискусников Александр Николаевич Бенуа вспоминал: «Это была первая *настоящая* война, в которую была втянута Россия после 1878 г., но за *совершенно настоящую* её никто вначале не считал, а почти все отнеслись к ней с удивительным легкомыслием — как к какой-то пустяшной авантюре, из которой Россия не может не выйти победительницей. <...> А вообще дело представлялось так: где-то “у чёрта на куличиках” идёт какая-то свара, в которой мы ничуть не повинны; туда отправлены одни только армейские полки, столичным людям мало знакомые, предводительствуемые неизвестными командирами; дело это, как всякое кровопролитное, быть может, и жестокое, дикое и нелепое, но нас, живущих за тридевять земель, оно мало касается. <...> В частности, мы, художники, что греха таить, просто не были озабочены войной, не интересовались... Прочтёшь очередные военные телеграммы и успокоишься, а иной раз даже и не прочтёшь»<sup>384</sup>. Эта война была исключительно непопулярна в русском обществе в немалой степени благодаря и той антивоенной пропаганде, которая велась в «передовых» изданиях. Первая война в истории государства Российского, объявление о которой не вы-

звало никаких патриотических эмоций. Интеллигенция в основном отнеслась к войне равнодушно, а народ с пока ещё глухим недовольством. 29 октября 1904 года в Ясную Поляну приехала из Петербурга графиня Софья Андреевна и обитатели имения, жадно ловившие и горячо обсуждавшие между собой все новости с театра военных действий, с удивлением узнали от неё, что «войной в Петербурге даже не интересуются»<sup>385</sup>.

Гродненский губернатор Михаил Михайлович Осоргин вспоминал, что объявление мобилизации вызвало ропот населения: «...нам на местах уже ясно видно было, что эта война не будет популярна и не дожидаться военачальникам энтузиазма в войсках»<sup>386</sup>. Осоргин, потомок древнего дворянского рода, окончил военную гимназию, Пажеский корпус и служил в Кавалергардском полку, но сам лично никогда не воевал. По воспитанию он был военным человеком, пропитанным «старыми традициями боевой славы наших отцов и дедов»<sup>387</sup>. Сквозь призму этих традиций он и смотрел на войну с Японией. Чтобы современный читатель получил представление о сути этих традиций, достаточно вспомнить приказ, который неустрашимый генерал граф Александр Иванович Остерман-Толстой отдал своим войскам в критический момент боя за Курганную высоту во время Бородинской битвы: «Стоять и умирать!» Его корпус отбил все атаки французов, потеряв при этом половину личного состава, но не отступил ни на шаг.

Когда Михаил Михайлович Осоргин узнал о бое русского крейсера «Варяг» с японской эскадрой, его изумлению не было предела. Напомню читателю ход этого легендарного морского сражения. Новейший русский крейсер «Варяг», вступивший в строй в 1901 году, встретил начало Русско-японской войны в нейтральном корейском порту Чемульпо. Порт был блокирован японской эскадрой, командующий которой угрожал атаковать крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» на рейде, если русские военные корабли не оставят порт до полудня 27 января (9 февраля) 1904 года. Крейсер под командованием капитана 1-го ранга Всеволода Фёдоровича Руднева и канонерская лодка предприняли попытку с боем прорваться из Чемульпо в Порт-Артур,

где базировались основные силы русской Тихоокеанской эскадры. Это был неравный бой с превосходящими силами неприятеля. «Варягу» и «Корейцу» противостояла японская эскадра, состоящая из одного бронированного крейсера, пяти лёгких крейсеров и восьми миноносцев. Во время морского сражения русские моряки потопили один японский миноносец и повредили два крейсера, однако «Варяг» получил сильные повреждения и не мог продолжать бой: все его орудия были повреждены, а экипаж понёс большие потери — 122 человека убитыми и ранеными. Руднев принял решение возвратиться на рейд Чемульпо, где моряки покинули корабли: «Кореец» был взорван, а «Варяг» затоплен. Экипажи кораблей через нейтральные порты возвратились в Россию и с почётом были встречены в Петербурге.

Что же так изумило Михаила Михайловича Осоргина? Он искренне полагал, что каперанг Руднев подлежит отдаче под суд: «...вместо того, чтобы погибнуть с кораблём в честном бою, нанеся возможный вред противнику, он предпочёл вернуться в порт (то есть отступить. — С. Э.), потопить свой корабль и самому укрыться на иностранном корабле»<sup>388</sup>. Осоргин был ошеломлён, когда узнал, что царь не только не отдал Руднева под суд, но и прославил его как героя. Руднев был пожалован званием флигель-адъютанта государя и награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. Этой же самой высокой боевой офицерской награды были удостоены все офицеры «Варяга» и «Корейца», а все матросы награждены Георгиевскими крестами. Такого массового награждения русский флот доселе не знал. Не один государь, но и русское общество «не только оправдало Руднева, но и возвеличило его. Всё же в сознании оставалась какая-то неудовлетворённость и на первых же порах чувствовалась какая-то раздвоенность; нам, в провинции, отныне казалось, что во время этой войны применяются другие мерки оценки героизма, почему не было того спокойствия и той уверенности в правильности суждения. <...> Вспоминая сцену из “Войны и мира”, когда Кутузов благословляет Багратиона на верную смерть, лишь бы прикрыть отступление

главных сил, мы чувствовали, что этого теперь не требуют на войне, а главная задача ставится — сохранить силы и избежать потерь. Сравнивая одновременно действия японцев, идущих на верную смерть под Порт-Артуром, но зато, как капля, точащая скалу и проточившая эту скалу, с невероятными жертвами людей, — с обидой для русских сознавалось, что героизма гораздо более на стороне противников, чем на нашей».<sup>389</sup>

Осоргин ожидал, что русские моряки в начале XX века будут действовать так же, как их предки в начале XIX столетия. Однако в течение столетия идеи гуманизма постепенно укоренялись в сознании общества. И легендарный приказ «Стоять и умирать!», казавшийся единственно возможным во время Бородинской битвы, когда с потерями никто не считался, уже к концу столетия потерял свою безусловность. Массовые людские потери стали отождествляться большинством интеллигенции не с героизмом погибших воинов, а с бездарностью как высшего командования, так и верховной власти. Наиболее отчётливо и зримо эту мысль выразил художник Василий Васильевич Верещагин. Живописец был знаком с войной не понаслышке. Дважды воевавший в Туркестане и награждённый орденом Святого Георгия 4-й степени за отличие, проявленное во время обороны цитадели города Самарканда в июне 1868 года, получивший тяжёлую рану в июне 1877 года во время Русско-турецкой войны, баталист погиб в марте 1904 года при взрыве броненосца «Петропавловск» на рейде Порт-Артура во время Русско-японской войны. Батальные полотна художника пользовались большой популярностью у русской и зарубежной публики. Его выставки не имели отбоя от желающих их посетить. Люди выстраивались в очереди, чтобы посмотреть на картины, дающие дотоле невиданное изображение войны как бессмысленной бойни. Сам художник с нескрываемым сарказмом так определял жанр своей самой известной картины «Апофеоз войны» — это натюрморт, что в переводе с французского означает мёртвая природа. На картине изображена гора человеческих черепов на фоне мёртвой природы, и только вороны кружат вокруг. На монументальном полотне «Скобелев под

Шипкой» популярный военачальник, только что одержавший очередную победу, запечатлён художником на дальнем плане, а на первом плане мы видим изображённые в натуральную величину трупы воинов на белом снегу на фоне только что взятых турецких позиций. Сам художник признавался, что он буквально выплакивал горе каждого раненого и убитого.

Популярность этих картин была столь велика, что Александр II пожелал их увидеть, и батальные полотна были выставлены в Зимнем дворце. Обратимся к дневнику военного министра Милютин: «18 марта 1880 г. Вторник. — После доклада моего и доклада вместе с Гирсом (Николай Карлович, товарищ министра иностранных дел. — С. Э.) зашёл я в Николаевский зал Зимнего дворца, где выставлены для государя картины Верещагина, наделавшие столько шуму и возбудившие ожесточённые споры между поклонниками его таланта, большею частью ультра-реалистами, и противниками, признающими эти картины не воспроизведением сцен минувшей войны, а профанацией войны, злобною карикатурою того, что составляет гордость и святыню для народного чувства. Действительно, Верещагин, неоспоримо талантливый художник, имеет странную наклонность выбирать сюжеты для своих картин самые непривлекательные; изображать только неприглядную сторону жизни и, вдобавок, придавать своим картинам надписи в виде ядовитых эпиграмм с претензиями на остроумие. Так, например, изобразив на трёх картинах часового, занесённого снегом и замерзающего, он над всеми этими изображениями пишет: “На Шипке всё спокойно”. На картине, изображающей государя и свиту его под Плевной в виду кровопролития, он надписывает “Царские именины”»<sup>390</sup>.

Именно картины Верещагина сформировали у образованной публики непривлекательный образ войны, столь непохожий на театрализованные батальные сцены его предшественников. А русские иллюстрированные журналы тиражировали этот образ.

Иными словами, отсутствие патриотического энтузиазма, проявившееся в начале Русско-японской войны, было неминуемым следствием процессов, которые

протекали в течение четверти века и в корне изменили картину мира в глазах образованного человека, уже не желавшего с восторгом умирать за победные имперские лавры. Однако этим нежеланием дело не ограничилось, и разуверившийся в идеалах русский интеллигент неожиданно для самого себя стал восхищаться не только мужеством неприятеля, в чём не было ничего нового, ибо воины империи всегда умели ценить достойных противников, нет, он стал восхищаться цельностью характера врага — тем, что отсутствовало у него самого.

Вспомним классический рассказ Александра Ивановича Куприна «Штабс-капитан Рыбников» (1905). Опытный японский разведчик, на которого ведётся охота, изображён удивительно сильной личностью, без остатка преданной своей стране. «...Каким невообразимым присутствием духа должен обладать этот человек, разыгрывающий с великолепной дерзостью среди бела дня, в столице враждебной нации, такую злую и верную карикатуру на русского забубённого армейца! Какие страшные ощущения должен он испытывать, балансируя весь день, каждую минуту над почти неизбежной смертью»<sup>391</sup>. Так рассуждает о нём Владимир Иванович Щавинский, фельетонист большой петербургской газеты, автор блестящих и забавных, но неглубоких воскресных фельетонов, имеющих значительный успех в публике. Что ж, какова публика — таковы фельетоны. Жизнь удалась Щавинскому: он зарабатывает большие деньги, отлично одевается, ведёт широкое знакомство, посещает рестораны и кафешантаны, играет на бегах... У него дома большая библиотека, коллекция старинного фарфора, редкие гравюры и две сибирские лайки. Женат Щавинский — этот «до известной степени аристократ газетного мира» — на маленькой опереточной артистке. Но этому человеку неведомо чувство патриотизма, и он тщетно пытается понять психологию японского разведчика, уразуметь скрытые пружины его внешних действий. «Здесь была совсем уже непонятная для Щавинского очаровательная, безумная и в то же время холодная отвага, был, может быть, высший из всех видов патриотического героизма»<sup>392</sup>. Фельетонист

и бытописатель Щавинский безуспешно пытается *уловить* мнимого штабс-капитана, в котором он не без основания видит японского военного агента в чине не ниже полковника генерального штаба, но во время войны с Японией никому не собирается сообщать о своих обоснованных подозрениях. «Не бойтесь, я вас не выдам... я преклоняюсь перед вашей отвагой, то есть, я хочу сказать, перед безграничным мужеством японского народа. Иногда, когда я читаю или думаю об единичных случаях вашей чертовской храбрости и презрения к смерти, я испытываю дрожь восторга»<sup>393</sup>.

И сам Щавинский, и автор «Штабс-капитана Рыбникова», и читатели рассказа, впервые прочитавшие его в начале 1906 года, уже после поражения России в войне с Японией, — все понимают, что такого противника, каков мнимый штабс-капитан, можно разоблачить и схватить, но нельзя победить, ибо моральное превосходство всё равно останется на его стороне. Примечательно, что и рассказ этот вышел из-под пера бывшего офицера русской армии. И «Штабс-капитан Рыбников» стал своеобразным апофеозом непопулярной и позорно проигранной войны.

### *Гуманистический туман*

В 1912 году, уже после смерти Льва Николаевича Толстого, в посмертном издании его художественных произведений была впервые напечатана повесть «Хаджи-Мурат». Толстой начал писать повесть в 1896 году, работа шла неравномерно, и лишь в конце января 1905 года он продиктовал жене, графине Софье Андреевне, последний отрывок «кавказской истории» с рассказом о жизни Хаджи-Мурата. Литературный образ героя повести, созданный рукой великого художника, оказался более реальным, чем сама жизнь.

В конце 1851 года Толстой писал брату Сергею из Тифлиса: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался

русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость».

На исходе 1870-х годов Толстой, как известно, пережил мировоззренческий кризис (так называемое «опрошение Толстого»), в результате приведший его и к отрицанию идеи государства, и войны как таковой. Изменился и взгляд его на фигуру Хаджи-Мурата. Герой повести заслонил подлинного Хаджи-Мурата. Однако я не буду анализировать степень соответствия литературного героя и его исторического прототипа. Меня интересует иное. Меня интересует, как офицер русской армии, подпоручик артиллерии, ветеран Кавказской и Крымской войн, за участие в обороне Севастополя удостоенный ордена Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», граф Толстой рассказал о жизни и смерти человека, всю свою жизнь сражавшегося с русскими войсками и погибшего с оружием в руках в схватке с ними.

Реальный Хаджи-Мурат родился в конце 90-х годов XVIII века и был близок к правившему в Аварии ханскому дому: его мать была кормилицей ханского сына. Аварское ханство располагалось в центральной части Дагестана и с 1802 года входило в состав Российской империи, следовательно, Хаджи-Мурат был её подданным. Такова была формально-юридическая сторона вопроса. Реально же и Хаджи-Мурат, и его соплеменники были поставлены перед жестоким выбором: покориться воле «белого царя» и подвергнуться за это нападениям со стороны немирных горских племён или же присоединиться к горцам, ведущим непрекращающуюся священную войну с Россией, и испытать весь ужас карательных экспедиций. После того как имам Гамзат истребил аварских ханов, Хаджи-Мурат принял участие в заговоре против имама, закончившегося убийством Гамзата. Эта кровная месть убийце аварских ханов вознесла самого Хаджи-Мурата на вершины власти: по воле русского правительства он стал одним из правителей Аварии. Хаджи-Мурату был пожалован офицерский чин прапорщика, с получением которого было сопряжено обретение прав потомственного дворянства Российской империи. С 1834 по 1836 год прапорщик Хад-



жи-Мурат служил России. Служил до тех пор, пока его не обвинили в тайных связях с Шамилем и арестовали. Проявив недюжинную храбрость и редкую изобретательность, Хаджи-Мурат с риском для жизни удачно бежал из-под ареста, примкнул к Шамилю, очень скоро стал его наибом (уполномоченным) и прославился удачными партизанскими набегами на русские войска. В течение пятнадцати лет наиб Шамиля воевал против России, пока большое честолюбие Хаджи-Мурата не привело его к разрыву с Шамилем. 23 ноября 1851 года Хаджи-Мурат перешёл на сторону русских. Бывший дезертир получил прощение. Власть сохранила ему свободу и назначила высокое денежное содержание — пять золотых рублей в день. Далеко не каждый генерал мог похвастаться таким жалованьем. Однако в апреле 1852 года Хаджи-Мурат предпринял дерзкую попытку бежать в горы — и в перестрелке был убит. Такова внешняя канва жизни человека, вдохновившего великого русского писателя на создание одного из самых знаменитых своих произведений.

Обратимся теперь к литературному Хаджи-Мурату. Лев Николаевич не скрывает восхищения своим героем — «самым могущественным и удалым наибом Шамиля»<sup>394</sup>. Неуёмная энергия, сила жизни Хаджи-Мурата и его несокрушимость увлекли автора, поражённого умением реального исторического персонажа защищать свою жизнь. Летом 1896 года писатель увидел на вспаханном поле непокорный «татарин» — репей, изуродованный плутом, но уцелевший. «Напомнил Хаджи-Мурата. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля как-нибудь, да отстоял её»<sup>395</sup> — эту запись Толстой сделал в дневнике 19 июля 1896 года. Несломленный репей, напомнивший Толстому бесстрашного горца, послужил творческим импульсом начала работы. «Репей» — так назывался первый набросок будущей повести. Пролог, в котором рассказывалось о репье, заканчивался словами: «И какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. Так и надо, так и надо»<sup>396</sup>. Толстого ошеломили «жизненная сила»<sup>397</sup> Хаджи-Мурата, его способность, с одной стороны, до последнего бороться за свою жизнь, а с другой — ежеминутная го-

товность этой жизнью пожертвовать. Именно этой «жизненной силы» не имели современники писателя. Авторское восхищение героем повести было многократно усилено толстовской идеей отрицания государства и всякой войны. Не признавая права государства на войну как таковую, Толстой, однако, в одном из многочисленных черновых вариантов повести с упоением описывает, что именно сделало его героя таким знаменитым. «Он делал чудеса: он с своими конными отрядами делал невероятные переходы, появлялся там, где его не ждали, с необычайной смелостью и верностью расчёта нападал, побивал и уходил. Он врвался в города, в которых были русские войска, грабил, разорял и уходил. Он похитил ханшу из её дворца со всем её штатом и имуществом. Он был сам храбрец, силач и джигит, и был смелый, умный и счастливый военачальник»<sup>398</sup>. Толстой не утаивает причин, обусловивших успех этих отчаянных предприятий. «Успех горцев надо было приписать тому, что русские баловались войной: поддерживали войну, убивали горцев и губили жизни своих солдат только затем, чтобы поддерживать практику убийства и иметь случаи раздавать и получать кресты и награды»<sup>399</sup>.

Возникает резонный вопрос: ради чего Российская империя воевала на Кавказе? Однако мы будем тщетно искать ответ как в черновых рукописях повести, так и в её каноническом тексте: ни сам этот вопрос, ни ответ на него не интересуют великого писателя. Он мучительно пытается понять, что именно вскормило у Хаджи-Мурата неистребимую ненависть к русским. Опираясь на записки очевидца, Толстой создаёт поразительную по силе художественного мастерства и эмоционального воздействия сцену публичной казни горцев, взятых в заложники. Несколько русских солдат, решивших пограбить в ауле, были убиты его жителями. Царские войска окружили аул и, угрожая его уничтожить огнём и мечом, потребовали выдать заложников, число которых в два раза превышало число убитых солдат. Заложники прекрасно понимали, что идут на верную смерть. Они думали, что их расстреляют и они своей смертью спасут родной аул от разорения. Однако их ждал не расстрел, а долгая и мучительная казнь — прогнание

сквозь строй. Казнь происходит на глазах жителей нескольких окрестных аулов, среди которых был и десятилетний Хаджи-Мурат вместе со своим дедом. Экзекуцией руководит толстый русский генерал, который неторопливо курит трубку, в то время как горцев на глазах их родных подвергают мучительным истязаниям. Русское командование хотело устроить горцев, но добилось прямо противоположного. Эту страшную сцену публичной казни мы видим глазами десятилетнего мальчика, поклявшегося после этого стать непримиримым врагом русских.

«Начальник с брюхом и заплывшими глазами всё сидел и курил трубку, которую ему подавали солдаты. Хаджи-Мурат дольше не мог видеть и убежал домой. Вечером, когда мать уложила спать Хаджи-Мурата на кровле дедовой сакли и когда муэдзин звал к полуночной молитве, он долго смотрел на звёзды, думая о том, как истребить этих неверных собак русских.

Хаджи-Мурат не мог понять, зачем допускает бог существование этих собак, все свои силы употребляющих на то, чтобы мучать мусульман и делать зло им. Ему представлялись все русские злыми гадинами.

А между тем русские вовсе не были злы: не был зол и тот с заплывшими глазами начальник, сидевший с трубкой на барабане; не были злы офицеры, командовавшие солдатами; и ещё менее были злы солдаты, забивавшие палками безоружных людей, виноватых только в том, что они любили свою родину»<sup>400</sup>.

Но в итоге этот фрагмент так и не был включён Толстым в текст повести. Он пытался понять и защищающих свой очаг горцев, и повинующихся приказу русских солдат — и обратил мощь своего негодования против государства. Форма государственного устройства не важна для писателя: ему одинаково чужды и европейский абсолютизм императора Николая, и азиатский деспотизм имама Шамиля. То обстоятельство, что в течение своей бурной жизни Хаджи-Мурат несколько раз изменял знамёнам, под которыми он воевал, для Толстого оказывается менее существенным, чем трагедия человека, вынужденного подчиняться власти. Хаджи-Мурат не пожелал подчиниться, смирить данную от

природы «жизненную силу» — и его трагическая гибель стала неизбежной. Толстой считает, что чем ближе человек к центру власти, — которая воспринимается Толстым как воплощение абсолютного зла, — тем сильнее он вовлечён в её преступные деяния. Виновен не солдат, наносящий палочный удар по обнажённой спине безоружного горца, неизбывная вина лежит как на том, кто в качестве полномочного представителя власти распоряжается казнью, так и на самом носителе этой власти — императоре и самодержце Всероссийском.

Руководивший экзекуцией русский генерал имеет несомненное портретное сходство с Алексеем Петровичем Ермоловым. Это утверждение кажется странным и нуждается в пояснениях. Казалось бы, что общего между гордым витязем в бурке, каким, как правило, изображают генерала, и «начальником с брюхом и заплывшими глазами», о котором пишет Толстой? «Проконсула Кавказа» обычно представляют себе исключительно по романтическому портрету кисти Джорджа Доу из Военной галереи Зимнего дворца. Модный живописец запечатлел популярного героя Отечественной войны 1812 года в профиль на фоне заснеженных гор Кавказа. В 1824 году Томас Райт выполнил с этого оригинала ставшую очень известной гравюру на стали. Именно такого Ермолова, командира Отдельного Кавказского корпуса и главноначальствующего в Грузии, воспел Пушкин в эпилоге «Кавказского пленника»:

Но се — Восток подьмет вой...  
Поникни снежною главой,  
Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!<sup>401</sup>

В горах матери пугали детей его именем. Чтобы сломить сопротивление, Ермолов брал заложников — аманатов. «Аманатов — или разорение!» Аманаты должны были обеспечить безусловное выполнение ермоловских приказов и распоряжений. Заложники служили гарантией покорности своих соплеменников: они расплачивались жизнью, если последние не хотели покориться. Жестокая кара ожидала тех, кто оказывал вооружённое сопротивление русским войскам или же своевременно не сообщал о готовящихся набегах мя-

тежных горцев на русские поселения и крепости. «Лучше от Терека до Сунжи оставлю пустынные степи, нежели в тылу укреплений наших потерплю разбой»<sup>402</sup>. Ермолов, не зная жалости, стремился покорить Кавказ российскому владычеству.

В течение более восьми лет Александр Сергеевич Грибоедов постоянно соприкасался с генералом Ермоловым: пытливо наблюдал за ним и не боялся спорить. «Я сказал в глаза Алексею Петровичу вот что: “Зная ваши правила, ваш образ мыслей, приходишь в недоумение, потому что не знаешь, как согласить их с вашими действиями; на деле вы совершенный деспот”. — “Испытай прежде сам прелесть власти, — ответил мне Ермолов, — а потом и осуждай”»<sup>403</sup>.

Через несколько лет после того, как в эпилоге «Кавказского пленника» были опубликованы поэтические строки Пушкина, вызвавшие негодование князя Вяземского, знаменитый военачальник будет отрешён императором Николаем I от должности и уволен в отставку. Его сменил генерал Паскевич. Как раз такого Ермолова, этого «Сфинкса новейших времён», увидит Пушкин в Орле во время своего путешествия в Арзрум в 1829 году и будет удивлён несходством опального генерала с его каноническим портретом. «С первого взгляда я не нашёл в нём ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка не приятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом»<sup>404</sup>.

Ермолов был всем известным ревностным жрецом «славы, купленной кровью», и сначала Толстой решил низвести его с пьедестала, лишить ореола великого государственного деятеля. Он намеренно хотел не увековечить, а развенчать поэтический образ «проконсула Кавказа». В юности сам Толстой испытал воздействие ермоловской легенды. Опальный полководец, наряду с митрополитом Филаретом и юродивым Иваном Яковлевичем Корейшей, был одной из трёх московских знаменитостей — и будущий великий писатель перед отъ-

ездом на Кавказ посетил знаменитых людей Первопрестольной<sup>405</sup>. Романтический витязь в бурке был слишком возвеличен и узнаваем, и Толстой обратился к менее прославленным и пафосным портретам генерала. В черновых рукописях «Хаджи-Мурата» он, по сути, описал Ермолова последних лет жизни, опираясь при этом, помимо своих личных впечатлений, либо на литографию Дарленга по рисунку Пашенного 1855 года, либо на литографию Тимма из «Русского художественного листка» 1861 года<sup>406</sup>. Первая литография была выпущена во время Крымской войны в связи с назначением генерала Ермолова начальником Государственного подвижного ополчения Московской губернии, вторая — в связи с его кончиной. Литографии прекрасно корреспондируются с воспоминаниями современников: и художники, и мемуаристы прежде всего обращают внимание именно на тучность, то есть излишнюю полноту военачальника.

*Д. А. Ровинский:* «В то время Ермолов уже был значительно тучен; лицо у него было совершенно круглое; маленькие серые глаза, напоминавшие взгляд дикой кошки, и неприятная, деланая, улыбка не сходила с его губ. Он жил одними воспоминаниями, желчно отзывался о военных современниках, и без злости не мог вспомнить имени Паскевича»<sup>407</sup>.

*Д. А. Милютин:* «Известно, что Ермолов прожил последние 35 лет своей жизни в Москве, в полном бездействии. Мне довелось видеть его ещё за несколько месяцев до его смерти, в мой проезд чрез Москву. И в этот раз, так же как и в прежние мои посещения, я нашёл его сидящим за письменным столом; так же как и прежде, тучное его тело покоилось на просторном кресле, с которого он почти не поднимался; львиная голова его внушала почтение; но уже заметно было влияние преклонных лет; не было уже прежнего живого взгляда, ни прежнего бойкого разговора. Кончина его прошла почти не замеченною»<sup>408</sup>.

На литографиях мы узнаём и опухшие глаза, и усы, которых нет на портрете Доу; и большой живот, и растёгнутый мундир генерала — описание всего этого есть в черновых вариантах повести Толстого. Именно

такого Ермолова и увидел будущий великий писатель перед своим отъездом на Кавказ. «Толстый, краснолицый, с запухшими глазами начальник»; «С запухшими глазами начальник выпускал через усы дым трубки»; «Начальник с брюхом и запухшими глазами»; «В самой середине сидел на барабане толстый, красный человек, расстёгнутый, в чёрных штанах и белом бешмете с золотыми наплечниками. Вокруг него стояло несколько человек, таких же, как он, начальников и солдат. Это был генерал, начальник»; «Человек в чёрных узких штанах, в белом кителе с золотыми наплечниками и в фуражке с красным околышем на толстой голове с красными щеками»; «Толстомордый»; «Толстый красный человек»; «Толстый начальник с брюхом и заплывшими глазами»; «Толстый усатый человек в чёрных узких штанах, белом кителе с золотыми наплечниками и в фуражке с красным околышем».

Великий писатель размышляет о том, какой именно ценой была куплена Ермоловым его слава. Пишет, переписывает, зачёркивает, исправляет. И так раз за разом, стремясь добиться максимальной лаконичности и выразительности. Но так и не вплетает связанную с Ермоловым нить повествования в ткань канонического текста «Хаджи-Мурата»:

«Ермолов, один из самых жестоких и бессовестных людей своего времени, считавшийся очень мудрым государственным человеком, доказывал государю вред системы заискивания дружбы и доброго соседства.

Одна только самая ужасная жестокость, по его мнению, могла установить правильные отношения между русскими и горцами. И он на деле проводил свою теорию. Так, за убийство горцем русского священника он велел повесить убийцу — это было в Тифлисе — не за шею, а за бок на крюк, приделанный к виселице. Когда же после страшных, продолжавшихся целый день, мучений горец сорвался как-то с своего крюка, то Ермолов велел перевесить его за другой бок <и пошёл со своими приближёнными обедать и развлекаться весёлыми военными разговорами> и держать так, пока он умрёт.

Но мало того что считались полезными и законными всякого рода злодейства, столь же полезными и за-

конными считались всякого рода коварства, подлости, шпионства, умышленное поселение раздора между кавказскими ханами. Так, тот же Ермолов прямо приказывал ссорить между собой ханов, то поддерживая одних, то поддерживая других и подсылая к ним людей, должествующих раздражать их друг против друга.

Казнь, которую видел Хаджи-Мурат, была одной из таких, считавшихся полезными, жестокостей. Русские начальники не только говорили, но и думали, что они этим способом умиротворяют край. В действительности же такой образ действий заставлял горцев всё больше и больше спланиваться между собой и подчиняться отдельным лицам, которые призывали их к защите их свободы и отмщению за все, совершаемые русскими, злодеяния. Таков был еще в 1788 году шейх Мансур, потом таким же был Кази Мулла, первый проповедовавший хазават, и таков же в 1851 году был Шамиль.

Такой образ действий, доводя горцев до крайних пределов раздражения, ненависти, желания мести, оправдывал в их глазах всю ту жестокость, с которой они, когда могли это делать, обращались с русскими»<sup>409</sup>.

Мог ли реальный Хаджи-Мурат, а не герой повести Толстого, видеть генерала Ермолова? Такой вопрос вполне естествен в устах профессионального историка, но не имеет особого смысла для писателя, который исходит из другой системы аксиом. Однако, может быть, Толстой потому и исключил повествовательную нить, связанную с именем Ермолова, из ткани канонического текста «Хаджи-Мурата», что уже после написания этой сцены посчитал саму встречу исторически невозможной?! Такое объяснение допустимо. Филолог попытался бы вникнуть в *хронотоп* повести, то есть художественно освоенное автором время-пространство описываемых им событий, чтобы ответить на вопрос, мог ли герой повести достигнуть десятилетнего возраста в тот момент, когда генерал ещё не покинул Кавказ. Для филолога не так существенна историческая достоверность события, как значима его художественная обоснованность: необходимо, чтобы литературный герой действовал, не выходя за рамки хронотопа произведения и повинаясь логике этого хронотопа. Историк



заялся бы уточнением фактической достоверности самого события или исчислением вероятности такой встречи. Для историка важно установить, могли ли жизненные пути двух незаурядных людей пересечься в пространстве и времени, где и когда это могло быть. Для художника важно иное — и психологическая достоверность события теснит и подавляет его фактическую достоверность. «Историю забываю, она мне неинтересна. Меня интересует психологическая сторона, а когда это было — меня не интересует»<sup>410</sup>, — приводит слова Льва Николаевича в своих «Яснополянских записках» Душан Петрович Маковицкий, домашний врач семьи Толстых.

Воинские подвиги Ермолова воспевали Жуковский и Пушкин, Крылов и Лермонтов, Денис Давыдов и Фёдор Глинка. После смерти Кутузова, которого почитали как «спасителя Отечества», ни один из русских военачальников не был так популярен у сограждан, как Алексей Петрович Ермолов в годы его десятилетнего владычества на Кавказе. Молодые офицеры его боготворили, боевые генералы хотели видеть главнокомандующим, а русские патриоты, постоянно конфликтовавшие с сильной немецкой партией у подножия престола, именно в Ермолове видели свою надежду и опору. «Две неотъемлемые его добродетели — *храбрость* и *бескорыстие* — заменяли все недостатки, прикрываемые его манерами, а природное остроумие заменяло основательный ум и заставляло видеть в нём гения»<sup>411</sup>. Опала, которой в марте 1827 года подверг генерала император Николай I, произвела «сильнейшее впечатление в умах так называемых руссаков и патриотов»<sup>412</sup>. Для русского образованного общества Ермолов стал олицетворением жертвы царского произвола. Глас общественного мнения вплёл колючий терний невинной жертвы в лавровый венок героя Отечественной войны 1812 года. Так была упрочена ермоловская легенда в исторической памяти россиян. Ермолов навсегда остался юным витязем в мохнатой бурке, чело которого было увенчано переплетёнными лаврами и терниями. Эта легенда надолго пережила генерала и благополучно дожила до наших дней. Если бы размышления Толстого не были бы погребены в черновиках

«Хаджи-Мурата», о существовании которых знают лишь специалисты, то сила толстовского гения смогла бы развенчать этого героя. Можно лишь гадать, почему Толстой не включил свои размышления о Ермолове в окончательный текст повести: руководствовался ли он художественными соображениями или считал, что погрешил против истины, но такова была воля автора. Великий писатель предпочёл не низводить военачальника с пьедестала, он дал читателю возможность взглянуть на события Кавказской войны глазами самих горцев.

Последовательно проводя гуманистический взгляд на все описываемые события, Толстой пытается проникнуть в человеческую сущность горцев и, читая «Хаджи-Мурата», мы видим покорение Кавказа их глазами. Мы видим разорённый набегом чеченский аул, с обитателями которого познакомились на первых же страницах повести. Вот перед нами кунак Хаджи-Мурата Садо. Именно в его сакле останавливался Хаджи-Мурат перед выходом к русским. Жители аула уже были оповещены посланцами Шамиля, что им под угрозой казни запрещено принимать Хаджи-Мурата. Садо послушался приказа. «Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно»<sup>413</sup>. Садо исполнил долг гостеприимства и не побоялся мести своих соплеменников, справедливо опасавшихся гнева имама. Однако не Шамиль опустошил родной аул Садо, его разорили по приказу императора Николая I русские войска. Сакля, в которой останавливался Хаджи-Мурат, была разрушена и загажена. Пятнадцатилетний сын Садо был убит штыком в спину. Были сожжены стога сена, поломаны абрикосовые и вишнёвые деревья и сожжены все ульи с пчёлами. «Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с мугалимами очищал её.

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали своё положение. О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения»<sup>414</sup>.

Пафос этой сцены перекликается с гуманистическим пафосом стихотворения Надсона «Герою», хотя по степени воздействия на читателя эти тексты несопоставимы. Стихотворные строчки Надсона не идут ни в какое сравнение с гениальной прозой Толстого. Но и патетика гражданской лирики, и кажущаяся простота толстовской прозы однозначно убеждают читателя в приоритете гуманистических ценностей над имперскими. Фраза несравненного Портоса: «Я дерусь, потому что дерусь!» — уже перестала быть аксиомой для образованного человека и далее не могла существовать в качестве краеугольного камня его мировоззрения. Тот, кто прочитал эту страницу, вряд ли уже мог оправдывать любые войны империи. С такими мыслями читатели Толстого встретили Первую мировую войну, которую официальная пропаганда пыталась представить как вторую Отечественную. В разгар этой войны Александр Александрович Блок работал над поэмой «Возмездие», в первой главе которой были такие строки:

Но тот, кто двигал, управляя  
Марионетками всех стран, —  
Тот знал, что делал, насылая  
Гуманистический туман:  
Там, в сером и гнилом тумане,  
Увяла плоть, и дух погас,  
И ангел сам священной брани,  
Казалось, отлетел от нас...<sup>415</sup>

Формально Российская империя ещё продолжала существовать, до её распада оставалось несколько лет, но из империи уже ушла душа, всё омертвело задолго до распада. «Здравствуй, новая жизнь!» — восклицают

молодые герои чеховского «Вишнёвого сада». Но новая жизнь уже наступила. Русская интеллигенция так сильно жаждала расстаться со старой жизнью, что не понимала того, как по мере отмирания имперских ценностей происходило зарождение совершенно новых отношений — производственных, правовых, нравственных и ценностных. И эти новые отношения, которые были отношениями буржуазными, капиталистическими, совершенно не вписывались в идеалистическую картину мира русской интеллигенции. Интеллигенция не понимала да и не пыталась понять сути этих отношений. Зато она горела желанием обрести пророка, указующего верный путь, и учителя жизни, олицетворяющего непреложный нравственный ориентир в быстро меняющемся мире. И такой учитель нашёлся.

### *Зеркало русской интеллигенции, или Апология полковника Берга*

В 1860—1890-х годах, в те времена, когда в Российской империи ежегодно строились сотни вёрст железных дорог, а вагоны раскрашивались в разные цвета, в зависимости от класса —

Вагоны шли привычной линией,  
Подрагивали и скрипели;  
Молчали жёлтые и синие;  
В зелёных плакали и пели...<sup>416</sup> —

когда железнодорожные дельцы зарабатывали *бешеные деньги*, на которые скупали имения, обустроивались в *дворянских гнёздах*, по-хозяйски прогуливаясь по *тёмным аллеям*, но ещё не успели вырубить *вишнёвые сады*; когда настольная лампа с зелёным абажуром стала верной подружкой человека умственного труда; когда на смену свечам — сальным, восковым, спермацетовым и стеариновым — пришло газовое и электрическое освещение; когда в быт россиян вошёл электромагнитный телеграф и телефон, первые абоненты которого по привычке машинально кланялись, беря в руки телефонную трубку; когда *на всякого мудреца* было доволь-

*но простоты* и даже *финансовый гений* не всегда мог разобрать, где *волки*, а где *овцы*; когда идущие в ногу с веком россияне усваивали отличие акций от облигаций и искали надёжный банк, который бы не лопнул; когда состоятельные люди расплачивались хрустящими ассигнациями, а золотые империалы, полуимпериалы и червонцы дарили на зубок крестникам или приберегали для заграничных вояжей; когда чаевые извозчикам или половым в трактирах давали мелким серебром, а милостыню нищим подавали медью; когда в модных ресторанах так любили устраивать многолюдные торжественные обеды с либеральными спичами, — в те наивные времена, когда ещё верили в исторический прогресс, а Отечественную войну 1812 года и «времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных»<sup>417</sup> уже почитали давно прошедшей эпохой, никак не связанной с настоящим; когда студенты расценивали введение матрикул (зачётных книжек) и обязательное посещение лекций в университете как вопиющее и наглое попрание своих гражданских прав, — в эти наивные времена всегда и всем недовольная русская интеллигенция обрела зеркало, в котором увидела себя.

Десятилетиями в советских школах твердили, что Лев Толстой — это «зеркало русской революции»<sup>418</sup>. Хорошо запоминающаяся афористичная ленинская формулировка прочно засела в умах не только школьников, но и исследователей, и это помешало увидеть главное: великий писатель не только отражал взгляды русской интеллигенции, но и формировал их. Вчитываясь в толстовские произведения и вглядываясь в самого автора, интеллигент собственно и осознавал самого себя, осмысливал все привходящие обстоятельства времени и места. На эпоху Великих реформ и события последней трети XIX века интеллигент смотрел глазами Толстого и героев его произведений. Без книг Толстого и личности их автора с его проповедями не было бы русского интеллигента предреволюционной поры, точнее этот интеллигент был бы другим.

«У нас теперь всё это перевернулось и только укладывается», — трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861—1905 годов. То, что «не-

*реворотилось*”, хорошо известно, или, по крайней мере, вполне знакомо всякому русскому. Это — крепостное право и весь “старый порядок”, ему соответствующий. То, что “*только укладывается*”, совершенно незнакомо, чуждо, непонятно самой широкой массе населения. Для Толстого этот “*только укладывающийся*” буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала — Англии. Именно: пугала, ибо всякую попытку выяснить себе основные черты общественного строя в этой “*Англии*”, связь этого строя с господством капитала, с ролью денег, с появлением и развитием обмена, Толстой отвергает, так сказать, принципиально. Подобно народникам, он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвёртывается от мысли о том, что “*укладывается*” в России никакой иной, как буржуазный строй»<sup>419</sup>, — писал Ленин в знаменитой работе «Лев Толстой как зеркало русской революции».

Как известно, вся русская культура петербургского периода была культурой логоцентричной. Литераторы были властителями дум, именно они сформулировали «проклятые» вопросы «Кто виноват?», «Что делать?», «За что?» и «Доколе?». Само писательское звание было исключительно почётным: долгое время всякий, кто печатался в журналах или альманахах, публиковал стихи, повести или романы, ощущал себя принадлежащим к сонму избранных. И благодарные русские читатели, даже в третьестепенном литераторе, поддерживали эту иллюзию. Во время обороны Севастополя в годы Крымской войны молодые великие князья Михаил и Николай, сыновья императора Николая I, прибыв из Петербурга в осаждённый город, первыми нанесли визит артиллерийскому офицеру графу Толстому, и это не показалось им умалением своего великокняжеского достоинства. Не удивился и прапорщик граф Толстой. Более полувека спустя сам великий писатель так рассказал об этом своим собеседникам в Ясной Поляне:

«Л. Н.: В моём представлении Михаил Николаевич и Николай Николаевич («старший») — мальчики. Они пришли ко мне в Севастополе, чтобы познакомиться.

Кто-то спросил: “Как?”

Л. Н.: Как к писателю. Николай Николаевич был годов на пять моложе меня»<sup>420</sup>.

Крупные писатели формировали самосознание общества. По их книгам образованные люди судили о реальной жизни и выверяли свою систему ценностей. Идея индивидуального успеха, личного преуспеяния: материального, профессионального, карьерного — всё это вызывало нескрываемое осуждение классической русской литературы. Вспомним эпопею «Война и мир». Внимательно посмотрим на образ одного из второстепенных персонажей романа. Этот персонаж антипатичен автору, который испытывает к нему нескрываемую брезгливость. Его зовут Альфонс Карлович Берг, и он олицетворяет собой столь неприятную Толстому буржуазность. У него нет реальных исторических прототипов. Берг создан творческой фантазией автора: в Александровскую эпоху, в годы царствования Александра I, в среде гвардейских офицеров ещё не существовало молодых людей, столь откровенно декларирующих свою приверженность системе буржуазных ценностей. Берг — это человек пореформенной России (когда и писался роман), волею автора перенесённый в начало XIX века. Благодаря этому художественному приёму первые читатели романа, жившие уже в пореформенной России, получили возможность увидеть, какими глазами дворяне столь почитаемой Толстым героической эпохи смотрели бы на людей, живущих в годы правления Александра II, когда натиск новых капиталистических отношений стал повсеместным.

Берг впервые предстаёт перед читателями во время именин в доме Ростовых. Старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини-матери и свой человек в семье московской знати, от скуки беседует с никому не ведомым Бергом и не скрывает своего превосходства перед случайным гостем с нерусской фамилией. «Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый, гвардейский офицер, безупречно вымытый, застёгнутый и причёсанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семёновского полка...»<sup>421</sup> Нескрываемый эгоцентризм Берга, столь естественный для человека пореформенной эпохи, воспринимается

и самим автором, и гостями в доме Ростовых как нечто вульгарное и недопустимое в среде московского барства.

«Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного; он всегда спокойно молчал, пока говорили о чём-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием.

— Сообразите моё положение, Петр Николаич: будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручика; а теперь я получаю двести тридцать, — говорил он с радостною, приятно улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей».

Подобная расчётливость была анахронизмом в Александровскую эпоху, когда верхушка благородного сословия Российской империи тратила деньги, часто не зная им счёта, а то и проматывая на свои прихоти огромные состояния. Столбовой дворянин не мог быть расчётливым: экономность — это мещанская добродетель. И при Екатерине Великой, и при Александре I, и при Николае I русские дворяне не чуждались поиска служебных выгод и не гнушались извлечением *безгрешных доходов*, однако в течение жизни нескольких поколений мало кто соотносил приход с расходом и почитал расчётливость достоинством. Берг не таков. В то время когда его сверстники, молодые русские дворяне Николай Ростов, Борис Друбецкой, Анатолий Курагин широко живут на родительские деньги, экономный поручик Берг ухитряется не только откладывать часть своего весьма скромного жалованья, но и помогает своим родителям, не имеющим состояния. У Берга нет ни знатных покровителей, ни влиятельной родни. Он может рассчитывать только на самого себя и не скрывает своего желания преуспеть.

«Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он



уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая всё это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но всё, что он рассказывал, было так мило, степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей.

— Ну, батюшка, вы и в пехоте, и в кавалерии, везде пойдёте в ход; это я вам предрекаю, — сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с оттоманки.

Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную»<sup>422</sup>.

Из дальнейшего хода романа мы узнаём, как складывается судьба этого персонажа. Сначала он действительно становится ротным командиром. «Берг, во время похода получив роту, успел своей исполнительностью и аккуратностью заслужить доверие начальства и устроил весьма выгодно свои экономические дела»<sup>423</sup>. Внимательный читатель легко поймёт прозрачный авторский намёк: Берг быстро сообразил, как извлечь из командования ротой *безгрешные доходы*. При встрече с адъютантом главнокомандующего князем Андреем Болконским он прежде всего интересуется именно приращением этих доходов. «Берг воспользовался случаем спросить с особенною учтивостию, будут ли выдавать теперь, как слышно было, удвоенное фуражное армейским ротным командирам? На это князь Андрей с улыбкой отвечал, что он не может судить о столь важных государственных распоряжениях, и Берг радостно рассмеялся»<sup>424</sup>.

Толстой подчеркивает, что у Берга нет чувства собственного достоинства: ради карьеры он готов не только безропотно вытерпеть несправедливый гнев высокого начальства, но и способен хвастаться своей находчивостью перед окружающими. Гвардеец Берг самодовольно рассказывает армейскому гусару графу Николаю Ростову, как во время похода великий князь Константин Павлович, младший брат императора и командир Гвар-

дейского корпуса, стал изливать свой августейший гнев на Берга.

«— Поверите ли, граф, я ничего не испугался, потому что я знал, что я прав. Я, знаете, граф, не хвалясь, могу сказать, что я приказы по полку наизусть знаю и устав тоже знаю, как *Отче наш на небесах*. Поэтому, граф, у меня по роте упущений не бывает. Вот моя совесть и спокойна. Я явился. (Берг привстал и представил в лицах, как он с рукой к козырьку явился. Действительно, трудно было изобразить в лице более почтительности и самодовольства.) Уж он меня пушил, как это говорится, пушил, пушил; пушил не на живот, а на смерть, как говорится; и “Арнауты”, и черти, и в Сибирь, — говорил Берг, проницательно улыбаясь. — Я знаю, что я прав, и потому молчу: не так ли, граф? “Что, ты немой, что ли?” — он закричал. Я всё молчу. Что ж вы думаете, граф? На другой день и в приказе не было; вот что значит не потеряться! Так-то, граф, — говорил Берг, закуривая трубку и пуская колечки.

— Да, это славно, — улыбаясь, сказал Ростов.

Но Борис, заметив, что Ростов собирался посмеяться над Бергом, искусно отклонил разговор»<sup>425</sup>.

Граф Николай Ростов, с рождения принадлежавший к высшему обществу Первопрестольной, мог позволить себе такую насмешливую реакцию. Сам он, если бы оказался в подобной ситуации, без всякого сомнения, не стал бы молча терпеть всем известную вспыльчивость великого князя — и за это бы поплатился: в лучшем случае выговором в приказе, в худшем — карьерой и разжалованием в рядовые. У Николая Ростова с момента рождения есть целый веер прекрасных возможностей: для выпускника Московского университета уже было готово место в Архиве Коллегии иностранных дел, но граф не захотел стать *архивным юношей* и юнкером определился в Павлоградский гусарский полк; он мог стать адъютантом князя Багратиона, но счёл ниже своего достоинства воспользоваться рекомендательным письмом, которое прислала ему графиня-мать и т. д. и т. п. Для него с его состоянием и его связями даже разжалование в рядовые не стало бы концом света: хлопоты московской родни, без сомнения, помогли бы ему,

как это произошло с Долоховым, быстро за отличие в боях вернуть себе офицерский чин. Не стал для Ростова трагедией и его баснословный для того времени проигрыш в карты — 43 тысячи рублей, — хотя именно карточный долг и подорвал благосостояние семьи Ростовых. Не имевший ни связей, ни состояния лифляндский дворянин Берг ничего подобного себе позволить не мог. Одно только пререкание с великим князем стало бы для него концом карьеры, и он был бы обречён на жалкую участь.

Толстой не очень внимателен к этому второстепенному персонажу и его сослуживцу князю Борису Друбецкому. Автор даже не даёт себе труда запомнить, в какой именно гвардейский полк он определил столь несимпатичных ему персонажей. Если в начале романа говорится, что они после именин у Ростовых отправляются на службу в лейб-гвардии Семёновский полк, то в дальнейшем и Берг, и Друбецкой оказываются офицерами лейб-гвардии Измайловского полка. Непростительная небрежность для бывшего военного! Не запоминает он и имени собственного героя: на протяжении всей эпопеи Берг лишь трижды назван по имени — два раза Альфонсом и один раз Адольфом. Во время неудачной для русской армии битвы под Аустерлицем Берг получает рану в правую руку, перекладывает шпагу в левую руку и остаётся в строю до конца сражения. Этот эпизод романа восходит к реальному историческому событию. Именно во время Аустерлицкого сражения семёновский подпоручик барон Иван Иванович Дибич, получив ранение в кисть правой руки, переложил шпагу в левую руку и не покинул поле боя, за что был награждён Золотой шпагой с надписью «За храбрость». С этого сражения началось стремительное восхождение Дибича по лестнице чинов и наград. Бедный, хотя и знатный силезский дворянин барон Дибич сделал блистательную карьеру: стал российским генерал-фельдмаршалом, графом и кавалером всех высших орденов... и был забыт вскоре после смерти. Однако для Толстого ни реальный Дибич, ни вымышленный Берг не были олицетворением героизма. Великий писатель возводит на пьедестал никому не ведомых скромных тружеников

войны: вымышленных штабс-капитана Тушина и майора Тимохина и реально существовавших генералов Дохтурова и Коновницына, не претендующих на знаки отличия и победные лавры, на воздаяние при жизни и место на страницах истории после смерти. И одновременно Толстой не скрывает скепсиса и иронии по поводу официально признанных военачальников, имена которых стали образцом героического поведения во время Отечественной войны 1812 года.

«Пётр Петрович Коновницын, так же как и Дохтуров, только как бы из приличия внесённый в список так называемых героев 12-го года — Барклаев, Раевских, Ермоловых, Платовых, Милорадовичей, так же как и Дохтуров, пользовался репутацией человека весьма ограниченных способностей и сведений, и, так же как и Дохтуров, Коновницын никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там, где было труднее всего; спал всегда с раскрытой дверью с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному будить себя, всегда во время сраженья был под огнём, так что Кутузов упрекал его за то и боялся посылать, и был так же, как и Дохтуров, одной из тех незаметных шестерён, которые, не треща и не шумя, составляют самую существенную часть машины»<sup>426</sup>.

Толстому антипатичны люди, которые во всеуслышание трубят о своих подвигах и своей доблести, претендуя на воздаяние. Именно так поступает вымышленный писателем Берг. Толстой трижды пишет на страницах романа о том, как Берг, переложивший шпагу в левую руку, всем рассказывает об этом. Неприязнь автора к этому персонажу столь велика, что окарикатуренный образ Берга несколько выламывается из конструкции сугубо реалистического романа. Толстой не без сарказма замечает в скобках: «Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами»<sup>427</sup>. В начале романа он — поручик гвардии, спустя четыре года — гвардии капитан, а вскоре — полковник, кавалер орденов Святого Владимира 4-й степени и Святой Анны 2-й степени, ожидающий подходящей вакансии полкового командира. Он не только сам занимает выгодные служебные места, но и не забывает о своих родителях. По ходатай-

ству полковника им назначена аренда в Остзейском крае, то есть его родителям предоставлено право получать доход с казённого имения. Берг выгодно женится на графине Вере Ростовой, старшей сестре Наташи. Ещё молодым офицером увидев Веру в московском театре, он решил, что эта девушка станет его женой. Берг целеустремлённо стремился к этому браку в течение четырёх лет и добился своего. За эти четыре года благодаря безалаберности графа Ильи Андреевича Ростова, мотовству его супруги и карточному проигрышу Николая Ростова денежные дела семьи безнадёжно запутались. Берг хладнокровно учёл это обстоятельство и сделал предложение, которое было принято. Если бы состояние Ростовых не было расстроено, лифляндскому дворянину Бергу никогда бы не отдали руку знатной московской барышни. Автор, а вслед за ним и исследователи романа Толстого не желают замечать тот очевидный факт, что Берг собственными усилиями создал фундамент своего благополучия — материального и служебного. Он никому не делал подлостей, никого не предавал, принял участие в нескольких военных кампаниях и всего добился честно.

«Хотя некоторые вольнодумцы и улыбались, когда им говорили про достоинства Берга, нельзя было не согласиться, что Берг был исправный, храбрый офицер, на отличном счету у начальства, и нравственный молодой человек с блестящей карьерой впереди и даже прочным положением в обществе»<sup>428</sup>.

А в это же время столь любимые Толстым Ростовы живут безалаберно и безответственно, быстро расстраивая и проматывая доставшееся им от предков большое состояние. Старый граф Илья Андреевич Ростов, вызывающий у Льва Николаевича такие нежные чувства, ведёт, как говорится, абсолютно паразитический образ жизни: нигде не служит, на широкую ногу живёт в Москве, в качестве одного из старшин Английского клуба устраивает роскошные обеды, в деревне держит огромную псовую охоту, постоянно проигрывает соседям сотни рублей в карты и совершенно не занимается хозяйством, передоверив дела управляющему Митеньке, который его беззастенчиво обманывает. В результа-

те, когда пришла пора выдавать Веру замуж, выяснилось, что приданого нет. (В итоге Берг получил за Верой 20 тысяч наличными и вексель на 80 тысяч; из черновиков романа мы узнаём, что граф Ростов был вынужден обратиться к ростовщикам и достал деньги на приданое под очень большие проценты, что ещё больше расстроило его и без того не блестящие дела.) И, несмотря на всё это, симпатии Толстого на стороне Ростовых, но не на стороне Берга.

В течение полутора веков несколько поколений русской интеллигенции смотрели на Берга глазами Толстого. Гениальный автор представил Берга как беззащитного карьериста, и читатели романа безоговорочно ему поверили. Берг умел чётко *ставить* цель в жизни и последовательно её *добиваться*. Толстой смотрит на Берга глазами московского барина Шиншина, которому претят немецкая мелочность Берга и его мещанская расчётливость, не имеющая ничего общего с широтой и удалью русского человека. Русский интеллигент хотел бы идти по жизни так, как шёл по ней граф Илья Андреевич Ростов: ничего не рассчитывая, повинаясь своим душевным порывам, не давая себе труда разобраться в реалиях сегодняшнего дня, не думая о завтрашнем дне. При этом интеллигент, как правило, не задумывался о том, чем закончилась для семьи Ростовых такая жизнь.

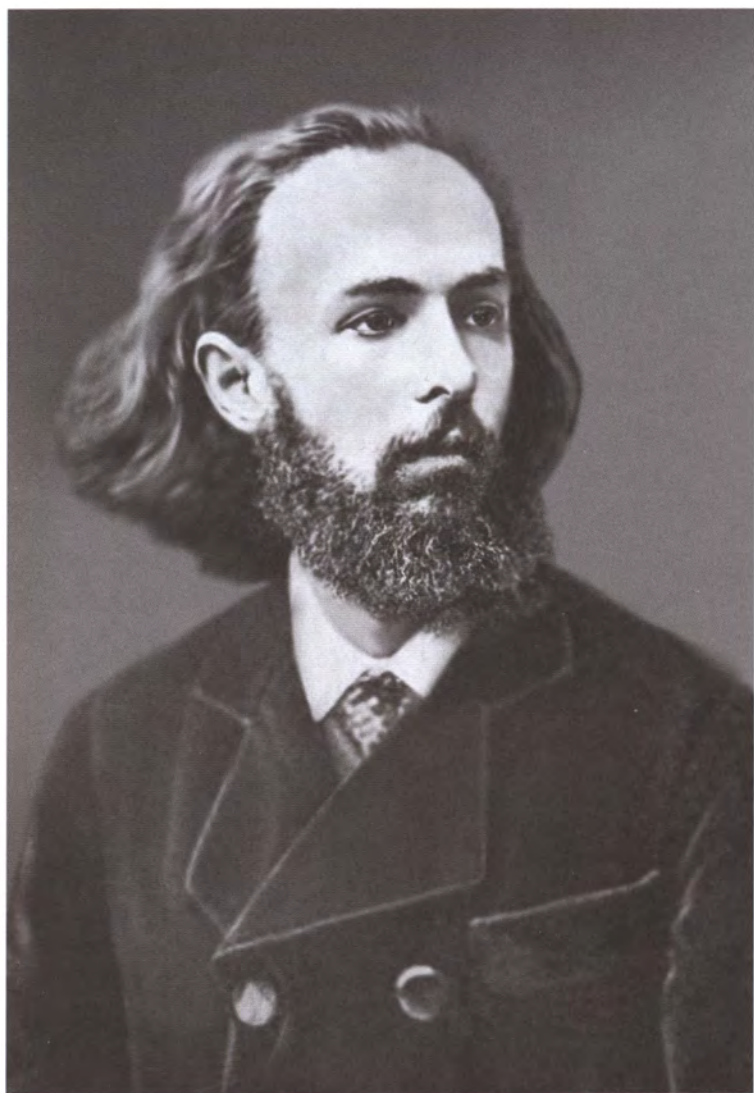
Вышедший из народа разночинец не имел ни состоятельной родни, ни влиятельных покровителей и всего в жизни должен был добиваться сам. Но, несмотря на это, достижение личного успеха не было главным в его системе ценностей. В этой *обламовщине* русского интеллигента заключался один из самых важных парадоксов русской жизни пореформенной эпохи. И тот, кто рискнул бы подобно Бергу артикулировать идею достижения личного успеха, подвергся бы безусловному моральному осуждению. Русский интеллигент постоянно находился между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, всё дворянское сословие ассоциировалось у него с постыдным крепостничеством, с другой — он с порога отвергал наступившее царство Ваала. Решительно порвав с *позорным* прошлым и не желая иметь с ним ничего общего, русский интеллигент не желал стать

свидетелем повсеместного торжества Ваала в будущем и весьма неуютно чувствовал себя в настоящем. Он отринул прошлое и решительно отряхнул его прах со своих ног, но не сумел найти своё место ни в настоящем, ни в будущем. Отвергнув систему ценностей золотого века русской дворянской культуры, русский интеллигент принципиально отказывался принять систему буржуазных ценностей, хотя именно наступившее царство Ваала и предоставило разночинцу шанс для самореализации.

### *Так говорил матёрый человечик*

Непонимание быстро меняющейся жизни порождает её неприятие и отторжение. Неприятие и отторжение нового мешает трезво взглянуть в глаза реальности, то есть усугубляет это непонимание, которое становится хроническим. Русская жизнь пореформенной поры менялась столь стремительно и столь радикально, что даже гений Толстого не поспевал за бегом времени. Ограниченность в постижении сущего, столь свойственная обычному человеку, является его частным делом. Взгляды гения, которого почитают и которому верят, вызывают общественный резонанс. Удручающие заблуждения гениального писателя, помноженные на его художественный дар и колоссальное влияние на умонастроения в обществе, способствуют тому, что эти заблуждения растут в геометрической прогрессии: русский человек, жаждущий найти своё место в мире, ищет маяк, на который он мог бы ориентироваться, и находит его в Толстом. Толстой становится учителем жизни.

Восприятие современниками великого писателя имело свою особенность. «Популярность Л. Н. Толстого резко возросла после публикации романа “Война и мир” (1865—1869). <...> Популярность Толстого была подкреплена “Анной Карениной” (1876—1877), но подлинной основой его постоянно растущего к концу века авторитета были публицистические работы 1880—1890 гг.»<sup>429</sup>, — пишет уже в наши дни историк литературы и социолог чтения. Нередко возникали курьёзные



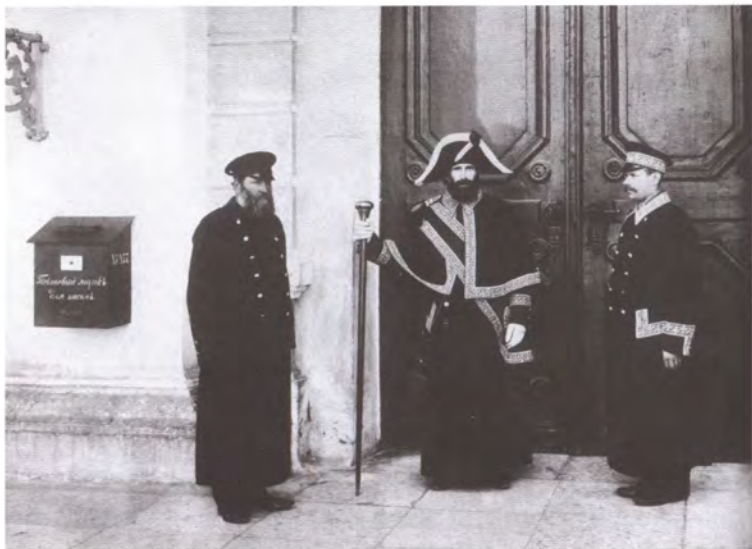
Семён Надсон





Служащие банка. Фото начала XX в.

У дверей банка. Фото конца XIX в.



Алексей  
Феофилактович  
Писемский.  
1856 г.



На страже порядка.  
*Фото начала XX в.*





Манёвры 1871 года. Постройка военной железной дороги между станциями Лиговской и Александровской. Начало работ.

*Гравюра Л. А. Серякова*

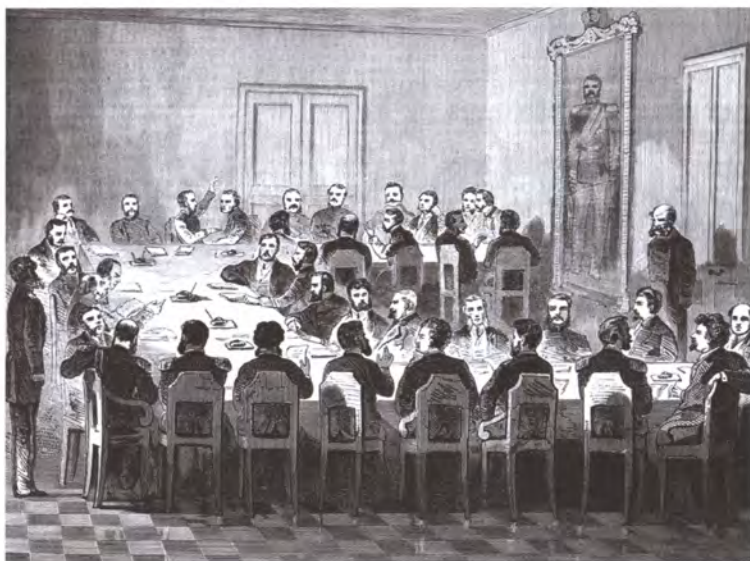


Укладка рельсов. Гравюра Л. А. Серякова

Пробный поезд. Гравюра Л. А. Серякова







Заседание съезда представителей русских железных дорог.  
Санкт-Петербург. 1871 г. Гравюра Л. А. Серякова

Снеговые заносы на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге.  
Гравюра Э. Даммюллера по рисунку К. Брожа





Генерал от артиллерии Алексей Петрович Ермолов.  
*Литография А. Э. Мюнстера. 1869 г. Санкт-Петербург*



Князь Пётр Андреевич Вяземский.  
Литография А. Э. Мюнстера. 1869 г.  
Санкт-Петербург



Действительный тайный советник  
Авраам Сергеевич Норов.  
Литография А. Э. Мюнстера.  
1869 г. Санкт-Петербург

Министр внутренних дел,  
председатель Комитета министров  
граф Пётр Александрович Валуев.  
Литография А. Э. Мюнстера.  
1869 г. Санкт-Петербург



Гофмейстер Двора  
Его Императорского Величества  
князь Владимир Фёдорович  
Одоевский. Литография  
А. Э. Мюнстера. 1869 г.  
Санкт-Петербург





Генерал-адмирал великий князь  
Константин Николаевич.  
*Литография А. Э. Мюнстера.*  
1869 г. Санкт-Петербург



Государственный канцлер  
светлейший князь  
Александр Михайлович Горчаков.  
*Литография А. Э. Мюнстера.*  
1869 г. Санкт-Петербург

Генерал-фельдмаршал  
князь Александр Иванович  
Барятинский. *Литография*  
*А. Э. Мюнстера.* 1869 г.  
Санкт-Петербург



Министр финансов граф  
Михаил Христофорович Рейтерн.  
*Литография А. Э. Мюнстера.*  
1869 г. Санкт-Петербург





Генерал-адъютант, впоследствии генерал-фельдмаршал  
граф Дмитрий Алексеевич Милютин.

*Литография А. Э. Мюнстера. 1869 г. Санкт-Петербург*





Строительство  
Кругобайкальской  
железной дороги.  
Постройка  
тоннеля № 38  
на 72 версте.  
*Начало XX в.*

Кладка свода  
тоннеля № 30  
на 59 версте



Строители  
железной дороги  
на дренажных  
работах



Паром-ледокол  
«Байкал»  
на пристани





ЛИЦА УШЕДШЕЙ ЭПОХИ









ДАЧНИКИ И ДАЧНИЦЫ









Граф Лев Николаевич Толстой. *Офорт В. В. Матэ*

ситуации, когда выяснялось, что убеждённые последователи Толстого не были знакомы с его великими романами. К их числу относился и личный секретарь писателя Николай Николаевич Гусев, составлявший ответы на некоторые письма, писавший корреспонденции в газеты о жизни в Ясной Поляне, под диктовку Толстого делавший стенографические записи набросков его будущих произведений.

«Вчера я услышал от Софьи Андреевны, что Гусев не читал ни “Войны и мира”, ни “Анны Карениной”, — отмечает в своих записках Маковицкий. — Гусев объяснил это тем, что ему некогда их читать и не нужно, когда есть “Круг чтения”, зато он знает “Круг чтения” основательно. Софья Андреевна считает это невежеством и... Гусев ответил мне, что ему дорого, если Л. Н. делает приписки к его письмам (ответам на письма к Л. Н. посторонних лиц) или напишет: “Гусев ответил на ваши вопросы так, как я бы ответил на них”. “Вот этого мне добиться, — говорил Гусев, — стоило немало труда, направить мысль в этом направлении”»<sup>430</sup>.

Что же думал о современной жизни учитель жизни? Что говорил о ней этот, по словам Ленина, *матёрый человечиче*?

Благодаря «Яснополянским запискам» доктора Душана Маковицкого мы можем узнать суждения Толстого, которые он высказывал в кругу своих родных и близких. Иные из его высказываний поражают, мягко говоря, своей неоднозначностью, особенно по отношению к прогрессу и просвещению. Лев Николаевич прожил долгую жизнь и нередко любил вспоминать времена своей молодости, сравнивая *век нынешний и век минувший*. Очень часто сопоставление было не в пользу настоящего. Кого-то сравнения Толстого могут и изумить своим «обскурантизмом».

«4 января 1905 г.

Л. Н.: Медицина не приносит никакой пользы. Купцу вырезать слепую кишку превосходно умеют, но 50% детей из народа раньше года погибает, а в воспитательных домах — 80%.

9 января 1905 г.

Какой тупой народ — учёные!



20 января 1905 г.

Л. Н.: Кто знает? Может быть, было бы хуже, а может, и лучше. Доктора развелись на моей памяти, раньше люди жили и умирали без докторов. Смерть — не зло, зло — это *дурная жизнь*.

14 ноября 1905 г.

Этого не поймёт ни один профессор. Профессора — самые глупые люди. В разговоре с американцем я произнёс слова “scientific stupidity” (учёная тупость)»<sup>431</sup>.

«9 апреля 1907 г.

Л. Н. сравнивал туннели (по поводу разговора о новопроведённом Симплонском) — с пирамидами, что в будущем так же будут смотреть на них. Можно довольствоваться прежними путями. Усовершенствованные пути туристам нужны (не товарам).

11 декабря 1907 г.

Л. Н. сказал:

— Как мы далеко от того, чтобы работать на себя! Что мы (наша яснополянская семья) в день используем, это 50 рабочих дней.

Разговор о “чёрных избах”. Александра Львовна не знала, что они такое. Л. Н. ей объяснил и сказал, что они были теплее и в самом деле должны были иметь свою выгоду. Трубы не было; топили, а дым уходил открытыми дверями, пока не перегорало, потом двери закрывали. Это выкуривало всякие болезни. 50 лет тому назад белая изба была редкость»<sup>432</sup>.

«11 марта 1908 г.

Л. Н.: Сегодня поезд на юг имел тридцать вагонов; что они возят? Этого я никогда не пойму: поезда товарные и обозы с вином.

12 июня 1908 г.

Наука (это не парадокс), наука — сложное невежество. Что теперь считается наукой, то будет считаться в будущем отклонением деятельности ума от здравого смысла. Я, может быть, ошибаюсь, но это моё искреннее убеждение.

5 октября 1908 г.

Л. Н. заметил: — Наука ничего не может дать ни нравственности, ни религии.

27 декабря 1908 г.

В 4 часа пошли к Черткову. Там резкая беседа о том, что интеллигенты не приносят пользы народу; что быть студентом — значит быть паразитом и готовиться паразитом остаться и что борьба с правительством, приготовлением к которой они оправдывают нынешнее существование университетов (профессоров и студентов), вредная.

16 марта 1909 г.

Мужик думает своим умом, а у профессора ничего нет своего, своего ума нет»<sup>433</sup>.

«23 ноября 1909 г.

По поводу задавления поездом мужика, отвозившего снег от Щекинской станции третьего дня, Л. Н. разговаривался о железных дорогах:

— Так и помру с мыслью, что железные дороги вредны. Убить человека! Они для того, чтобы приехать поскорее, а спешить некуда. Непосредственные чувства. Вывозят и привозят те же товары. Можно и на лошадях.

16 декабря 1909 г.

Дмитрий Васильевич спросил Л. Н. про Мечникова. Л. Н. сказал, что у него кастрировано нравственное чувство. По его мнению, надо только смотреть за состоянием ретирад (отхожих мест. — С. Э.), чтобы микробы не попадали на растения, и тогда всё хорошо.

30 апреля 1910 г.

Л. Н. про словарь:

— 99% того, что в Энциклопедическом словаре, бывает не нужно, так как это выросло из праздной жизни.

1 мая 1910 г.

Л. Н.: Автомобили нашей русской жизни *abstehen* (чужды (нем.))... У иных лаптей нет, а тут автомобили (3—12 тысяч рублей).

23 мая 1910 г.

Был студент Московского университета Жилинский [Юрий, студент-медик Московского университета, член земледельческой колонии Воронежской губернии], идёт пешком на Кавказ. Зашёл за книжками. Л. Н. с ним поговорил. Вечером Л. Н. одобрял его: «Оригинал». И рассказал, что есть такой купец в Ельце, который на лошадях ездит в Москву: «Я не кобель, чтобы по свистку бегать»»<sup>434</sup>.

От иных толстовских высказываний, старательно записанных доктором Маковицким, веет таким чудачеством, что иногда кажется, будто их произносит не великий русский писатель, а тот самый купец из Ельца. Медицина делала колоссальные успехи, спасая людей от болезней, ранее считавшихся неизлечимыми. Но, естественно, не могла помочь всем страждущим: услугами врачей пользовались прежде всего состоятельные люди, способные заплатить за лечение. Большая часть страждущих оставалась без медицинской помощи. Это возмущало Толстого, и на этом основании он утверждал, что медицина не нужна. В пореформенной России наряду с модными артистами, беллетристами, художниками, адвокатами появились модные врачи, чьи баснословные гонорары поражали воображение современников. Казалось безнравственным, что умение излечивать болезни может сделать человека состоятельным. Казалось аморальным богатеть на человеческих страданиях. Но если дорогостоящая операция была доступна лишь очень немногим, то соблюдение элементарных правил гигиены не требовало никаких дополнительных расходов. Илья Ильич Мечников, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины и давний приятель Толстого, пытался объяснить графу, что близкое соседство отхожего места и колодца способствует росту числа инфекционных заболеваний. Рассуждения Ильи Ильича о микробах воспринимались Львом Николаевичем как досужие профессорские измышления, не имеющие никакого отношения к реальной жизни. Аналогичным образом великий писатель толковал о курных избах, топившихся печью без дымохода: их исчезновение из крестьянского быта воспринималось Толстым не как безусловное благо, а как развращающее влияние цивилизации, приносящее простому народу только вред.

Тот, кому довелось жить в пореформенную эпоху, мог наблюдать действия закона повышения потребностей: в жизни всех сословий формировались новые потребности, о существовании которых ранее не было слышно, и люди стремились их удовлетворить. Даже в крестьянской среде заметно повысилось качество жиз-

ни: избы стали топить по белому, на смену убогим зипунам и армякам пришли добротные дублёные полушубки, зажиточные крестьяне узнали вкус чая и сахара. А хорошо зарабатывающие заводские рабочие, вышедшие из деревни и ранее не знавшие иной обуви, кроме лаптей, стали щеголять в кожаных сапогах. Далеко не каждый деревенский староста мог позволить себе такие кожаные сапоги, не говоря уже о часах с цепочкой, которыми обзаводились заводские мастера. Всё это — и новые потребности, и сапоги, и часы с цепочкой — почему-то очень сильно возмущало Толстого: «Нет, они пили чай с сахаром вприкуску и хотят внакладку»<sup>435</sup>.

Подчас логика рассуждений Льва Николаевича Толстого, который в развитии капитализма в России и появлении новых потребностей у мужиков усматривал безусловное зло, напоминает логику рассуждений Ильи Ильича Обломова в споре со Штольцем.

«— А ты не знаешь, — перебил Штольц, — в Верхлёве пристань хотят устроить и предположено шоссе провести, так что и Обломовка будет недалеко от большой дороги, а в городе ярмарку учреждают...

— Ах, боже мой! — сказал Обломов. — Этого ещё не доставало! Обломовка была в таком затишье, в стороне, а теперь ярмарка, большая дорога! Мужики повадятся в город, к нам будут таскаться купцы — всё пропало! Беда!

Штольц засмеялся.

— Как же не беда? — продолжал Обломов. — Мужики были так себе, ничего не слышно, ни хорошего, ни дурного, делают своё дело, ни за чем не тянутся; а теперь развратятся! Пойдут чаи, кофеи, бархатные штаны, гармоника, смазные сапоги... не будет проку!

— Да, если это так, конечно, мало проку, — заметил Штольц... — А ты заведи-ка школу в деревне...

— Не рано ли? — сказал Обломов. — Грамотность вредна мужику: выучи его, так он, пожалуй, и пахать не станет...»<sup>436</sup>

Афанасий Афанасьевич Фет, прекрасный лирический поэт и вместе с тем рачительный землевладелец, умело ведущий дела и приумножающий своё состояние в пореформенной деревне, придерживался противоположных взглядов. «Дай Бог, чтобы русские крестьяне

поскорее... почувствовали потребность затянуть новую песню. Эта потребность сделает им трубы, вычистит избы, даст человеческие постели, облагородит семейные отношения, облегчит горькую судьбу бабы, которая напрасно бьётся круглый год над приготовлением негодных тканей, тогда как их и лучше, и дешевле может поставить ей машина за пятую долю её труда; явятся новые потребности, явится и возможность удовлетворить их»<sup>437</sup>. То, что так не нравилось графу, вызывало у его давнего приятеля и многолетнего корреспондента Фета исключительно отрадные эмоции. Афанасий Афанасьевич испытывал чувство большого душевного удовлетворения, осознавая то, как сильно Россия двинулась вперёд после отмены крепостного права. «За последние 10 лет Россия прошла по пути развития более чем за любое полустолетие прежней жизни. Современник Екатерины удивился бы менее, воскреснув в 1860 году, чем умерший в этом году и воскреснувший в 1871-м»<sup>438</sup>.

Землевладелец, умело ведущий свои дела и внимательно подмечающий выразительные перемены в жизни и быте русского народа, Фет радовался росткам нового в пореформенной деревне. «Теперь не только у мужика, у всякой бабы свой полушубок — большею частью дублёный. У одной трети крестьян тулупы. Всюду появились сапоги. Вместо прежней пакли во время извозов на шее вошиков ситцевый или шерстяной платок, а не то шарф. На ярмарках — ни одной кички и замашной рубахи, — всё ситцевые платки и рубашки. <...> Улицы в деревнях кишат салазками и леднями, на которых сидят... одетые и обутые дети. Мы долго могли проводить нашу параллель и прибавить, что розданный нами в 67-м году вспомогательный капитал нуждающимся в нынешнем, несмотря на упадок цены на хлеб, почти весь с процентами и благодарностью возвращён крестьянами и при сборе его не продано из их имущества ни одной курицы. На чём же основаны возгласы, будто благосостояние крестьян упало с освобождения? Этого быть не могло и на деле, слава Богу, нет»<sup>439</sup>.

Негодование графа Толстого по поводу вхождения в жизнь русского человека машин и механизмов застав-

ляет вспомнить ярость луддитов, видевших в машинах источник своих бед и ломавших эти машины\*. Многочисленные плоды промышленного переворота, с каждым годом всё активнее проникавшие в русскую реальность, ассоциировались у Толстого исключительно с повышенным травматизмом и разрушением векового уклада жизни. Он не видел их созидательной роли. В эпилоге романа «Война и мир» Толстой, сам никогда не занимавшийся переустройством сельского хозяйства, живописал утопическую картину хозяйственных будней отставного гусара графа Николая Ростова, ставшего помещиком и якобы сумевшего после смерти старого графа Ильи Андреевича Ростова поправить свои дела, расплатиться с долгами и упрочить семейное состояние. Вся эта благостная картина была рождена гениальной фантазией художника, но не базировалась на личном опыте Льва Николаевича и не имела никакого отношения к реальности. Из текста романа нельзя понять, каков был экономический механизм хозяйственной деятельности графа Ростова, принявшего отцовское наследство вместе с лежащими на нём огромными долгами. Разумеется, у художественного произведения иные задачи, чем у трактата по политической экономии. Однако если бы у графа Толстого нашлись последователи, пожелавшие вести своё хозяйство по рецептам Николая Ростова, то их ожидал бы такой же крах, какой испытали фанатичные последователи романа «Что делать?», попытавшиеся воплотить в реальности утопические фантазии Чернышевского.

И гусар Николай Ростов, плод толстовского вымысла, и реально существовавший Афанасий Фет, в молодости служивший в кирасирах и уланах, понимали толк в лошадях. Толстой, как и его приятель Фет, разбирался в лошадях и любил ружейную охоту. Но на этом сходство между ними заканчивается. Отставной уланский офи-

---

\* Луддиты (от фамилии их предводителя Неда Лудда) — отдельное сообщество английских рабочих, восставших в начале 1800-х годов против технических новшеств, привнесённых в сферу производства промышленным переворотом; протесты луддитов часто выражались в том, что они ломали станки и разрушали оборудование. — *Прим. ред.*

цер Фет, который, в отличие от помещика графа Толстого, много и успешно занимался обустройством своего имения, хорошо разбирался в деталях экономической жизни и понимал, что помещичье хозяйство в пореформенной деревне испытывает хроническую нехватку рабочих рук. Казалось бы, ответ напрашивался сам собой.

*«Надо недостаток рук заменять машинами.*

Разве это не делается? Посмотрите по большим дорогам! Сколько везут машин из Москвы и из-за границы! В губернских городах появились магазины земледельческих машин и орудий. Но зато сколько с ними бед! Кому за ними смотреть? Кому их ладить? Сколько капиталу, в виде этих машин, пропадает и ещё будет пропадать на Руси даром! Опять стена безрукости и бедности. Не будем говорить о недостатке специального образования. Предположим, что есть у нас механики, ветеринары, счетоводы, пчеловоды и т. п. Возьмём чистый доход с моей фермы и спросим, что она может уделить всем этим господам, даже при решении не получать ни копейки с основного капитала? И какой образованный специалист может довольствоваться приходящим ему дивидендом? Опять роковая стена»<sup>440</sup>.

Афанасий Афанасьевич как опытный хозяин-практик и один из первых русских фермеров понимал, с какими трудностями и сложностями будет сопряжено внедрение в нищей России современной техники. Всё ещё скудно живущая пореформенная деревня была не в состоянии ни приобретать эти дорогие сельскохозяйственные машины, ни достойно оплачивать труд специалистов, занятых их обслуживанием или ремонтом. Фет схватывал суть проблемы в отличие от брюзжащего графа, фактически желавшего законсервировать привычные для него формы жизни. В техническом прогрессе граф видел только зло.

И отставной гвардии штабс-ротмистр Фет, и отставной поручик Толстой прекрасно осознавали нехватку образованных людей в России. Но Лев Николаевич постоянно был недоволен теми, кто, желая получить образование, стремился вырваться из своей среды и приобрести профессию, которая бы его кормила. Восходящая

социальная мобильность этих людей вызывала его нескрываемое раздражение. В стремлении таких людей к знанию граф видел только желание сесть на шею простому народу. «Ежедневно четыре письма, в год тысячу, получаю о том: “Я хочу учиться”. Из народа уходят учиться, и все народу садятся на шею. Как если бы человек стоял на карачках и на него лезли бы один, два, три, и в дверях стояли бы новые. На это никто не обращает внимания»<sup>441</sup>. Эта мысль не была плодом минутного раздражения владельца Ясной Поляны, на разные лады он повторял её неоднократно. «Я сегодня получил три письма, и не проходит дня, чтобы не получил одного такого письма: “Я учусь, средств у меня нет, помогите мне образоваться”. — Такая уверенность в том, что то, что считается образованием, наукой, есть истинное благо»<sup>442</sup>.

Дело было не в том, что Лев Николаевич не мог оказать материальную помощь всем, кто за ней к нему обращался. Толстой был убеждён, что все желающие получить образование стремятся к лучшей, более обеспеченной и более комфортной жизни. Это желание казалось ему изначально порочным. В деревне не хватало ни врачей, ни учителей, ни агрономов, ни ветеринаров. Об отношении графа к врачам уже было сказано. Столь же неприязненно Лев Николаевич относился и к специалистам сельского хозяйства, без услуг которых невозможно было поднять культуру земледелия на более высокий уровень и тем самым облегчить жизнь народа. Было бы слишком просто назвать это «графским обскурантизмом» и удовлетвориться наклейкой ярлыка. Дело обстояло сложнее. Гениальный художник опасался, что не имеющие опыта носители книжного знания могут принести реальное зло: вместо того, чтобы помочь крестьянину, лишь навредят ему своей деятельностью. Толстой, подобно многим русским обывателям, не верил, что книжное знание может быть совместимо с реальной жизнью, а теория может быть приложена к практике. В этих вполне обоснованных сомнениях следует видеть корень негативного отношения Толстого к тем, кто хотел получить образование. «Один из самых больших грехов современных — гордость, что мы, *так на-*



зываемые (“подчёркиваю это слово”, — сказал Л. Н.) образованные люди, можем помочь народу. Я каждый день получаю письма: гимназисты, курсистки спрашивают, идти ли сейчас в учителя, просвещать народ, или ещё кончить курс и потом. В том, что это их призвание и что они могут приносить пользу народу, не сомневаются. Причина этому состоянию — безверие»<sup>443</sup>. Толстой верил лишь в духовные двигатели жизни, отрицая материальные и объясняя их безверием. Надо отдать должное Льву Николаевичу: он был последователен в своих рассуждениях и своих поступках. Догматизм Толстого распространялся не только на многочисленных просителей, желавших получить образование, этот догматизм фактически стал источником тех жизненных драм, которые пережили его собственные дети. «Мне после окончания университета, когда я спросил, за какое практическое занятие взяться, Лев Николаевич ответил, что за любое, мести улицы, — рассказывал Сергей Львович. — Я тогда старался не бывать дома, Илья тоже; Лева сломался — что Лева был до того времени и что он теперь!»<sup>444</sup>

Лев Николаевич Толстой очень подозрительно относился к любым попыткам изменить жизнь русской деревни и внести в эту жизнь какие-либо перемены, особенно когда такие попытки предпринимала верховная власть. Толстой, в отличие от Фета, дожил до Столыпинской земельной реформы и был её последовательным и убеждённым противником. 9 ноября 1906 года был издан указ, разрешивший крестьянам выходить из общины на хутора и отруба. (Хутор — отдельный земельный участок с переносом усадьбы. Отруба — отдельный земельный участок без переноса усадьбы, с выделением к одному месту только полевого надела.) Указ положил начало реформе крестьянского наделного землевладения. В течение всего XIX века не только верховная власть, но и образованное общество панически боялись пауперизации сельского населения. И государство, и общество стремились не допустить расслоения деревни и видели в консервации общины главную гарантию против пролетаризации крестьянства. Даже после отмены крепостного права община продолжала

оставаться основной формой крестьянского надельного землевладения и землепользования. Именно община регулировала процесс купли-продажи земли. Земельный надел не был личной собственностью крестьянина: он им пользовался, но не мог его свободно продать. Реформа с этим покончила. Были ликвидированы правовые ограничения крестьян в их распоряжении надельными землями. Впервые в истории России крестьяне стали собственниками земли, смогли выделиться из общины и получили право покупать и продавать землю без согласия крестьянского мира. Премьер-министр Пётр Аркадьевич Столыпин стал основным автором, инициатором и деятелем этой реформы. Столыпинская аграрная реформа изменила ситуацию в деревне. Начался процесс купли-продажи земли.

Активное вовлечение частновладельческой земли в сферу товарно-денежных отношений привело не только к перераспределению обширных земельных владений, но и к существенному росту цен на землю, что не могло не оживить хозяйственную жизнь всей страны. Если в разгар первой русской революции Крестьянский поземельный банк скупал у помещиков землю в среднем по 107 рублей за десятину, то к 1914 году цена возросла до 136 рублей. У бывших дворянских гнёзд появились новые хозяева. В год начала Первой мировой войны художник Николай Петрович Богданов-Бельский завершил работу над картиной «Новые хозяева». Многим знакомо это запоминающееся полотно, но мало кому ведомо, что живописец запечатлел русскую деревню после Столыпинской реформы. Большая крестьянская семья пьёт чай из самовара в бывшем помещичьем доме, на стенах которого ещё продолжают висеть портреты его бывших владельцев. Крестьянские дети пьют чай с калачом из разрозненных фарфоровых чашек, когда-то принадлежавших старым хозяевам дворянского гнезда. Художник сознательно акцентирует внимание зрителей на этих выразительных деталях. Чай и калачи издавна почитались несомненными приметами обеспеченной жизни. Чай из самовара с калачами могли позволить себе только зажиточные люди, к числу которых до Столыпинской реформы крестьяне

никогда не относились. «Кяхтинский чай да муромский калач — полдничают богач»; «Не рука крестьянскому сыну калачи есть».

К 1 января 1916 года свыше двух миллионов домохозяев закрепили в личную собственность 14 миллионов 122,8 тысячи десятин земли. Психология собственника вытеснила у них общинное сознание. 26 процентов крестьянских общинных дворов оказались реформированными. Именно они должны были стать основной опорой самодержавия в деревне и противостоять натиску грядущей смуты. Пётр Аркадьевич Столыпин надеялся, что именно эти новые хозяева помогут стране не только избежать революции, но и стать процветающей державой. Однако история отпустила Столыпину слишком мало времени, и ему не суждено было довести свою реформу до конца — пуля террориста преждевременно прервала его жизнь. Но трагедия Петра Аркадьевича заключалась и в том, что образованное общество не поддерживало его реформы и не сочувствовало его начинаниям. Председателю Совета министров отвечали кукишем в кармане на страницах дорогого respectable символистского литературно-художественного журнала «Золотое руно», эпиграммами и карикатурами — в еженедельном оппозиционном юмористическом журнале «Сатирикон»<sup>445</sup>. И дело было даже не в пресловутых *стольпинских галстуках*. Крупнейший государственный деятель был трагически одинок: и очень умные люди не понимали всё величие его замыслов.

Толстой опасался неконтролируемых издержек вмешательства петербургского реформатора в вековой жизненный уклад. Поэтому он был безапелляционным антагонистом как самого Столыпина, так и его аграрной реформы, предполагавшей насильственное разрушение общины, свободный выход из неё крестьянина и насаждение личной крестьянской земельной собственности. «Возмущает меня это коверканье жизни крестьян. Такая дрянь — Васильчиков и эти Столыпины. Крестьяне, которые лучше, умнее, полезнее их... Как смеют на себя брать, решать эти ёрники петербургские то, что крестьяне лучше их понимают? Какая дерзость — ломать крестьянскую общину!»<sup>446</sup>

Община ограничивала не только процесс купли-продажи земли, но и контролировала трудовые усилия её членов, препятствуя имущественной дифференциации. Государственные подати раскладывались на всю общину, с одной стороны, крестьянский мир не давал пропасть ни обременённому большим семейством крестьянину-бедняку, ни вдове с детьми, с другой — из-за общинной круговой поруки основное налоговое бремя фактически ложилось на плечи тех, кто больше трудился и больше производил. Хотя община всегда помогала сирым и убогим, круговая порука препятствовала крестьянам трудиться в полную силу, интенсифицировать свой труд на своём земельном наделе. Работающий с предельным напряжением сил крестьянин фактически платил подати за того, кто работал с ленцей. В итоге сама община, оставаясь бедной, культивировала и воспроизводила вековую нищету русской деревни. И эта вековая нищета была непреодолимым тормозом развития страны. Афанасий Афанасьевич Фет прекрасно это понимал.

«Крайняя стеснённость наших земледельческих средств ещё надолго не позволит мало-мальски развитому человеку взять у нас на себя какую бы то ни было отрасль личной услуги. Возьмём ближайший пример нашей фермы. Вот материальные средства прикащика. Он с женою (оба грамотные) и двумя детьми помещаются в комнате в 8 аршин длиною и 4 шириною. (Аршин — русская мера длины, равная 0,711 метра, применявшаяся до введения метрической системы, следовательно, площадь комнаты составляла 16,2 квадратных метра. — С. Э.) Всё семейство, кроме готовой пищи, получает 100 р. годового жалованья, имеет право держать на корму лошадь, корову и несколько овец. Я знаю, что прикащик доволен своим положением и крайне дорожит местом, на котором должен быть вечным неусыпным тружеником. Спрашивается, какой вкусивший от древа познания человек удовлетворится подобною скромною долей? А ни одно из окрестных крестьянских обществ не может дать своему школьному учителю и такого содержания. <...> Вот они, не фантастические, а действительные наши оклады»<sup>447</sup>.

Сказанного достаточно, чтобы почувствовать всю остроту тех давних идейных споров, которые некогда вели между собой Лев Николаевич и Афанасий Афанасьевич. Суть вопроса, однако, заключается не в том, чьи аргументы кажутся нам, людям XXI столетия, более убедительными, суть в том, что русская интеллигенция смотрела на все эти проблемы глазами Толстого, а не Фета, осыпая лирического поэта едва ли не площадной бранью, многочисленными пародиями и злыми эпиграммами. На страницах демократической печати считалось хорошим тоном обратить внимание читателя на то, что сторонник теории «чистого искусства» в своей практической жизни является рационально мыслящим хозяином, не склонным прощать наёмному работнику его нерадение или лень. Поэт революционно-демократического направления Дмитрий Минаев, возмущённый статьями Фета «Из деревни», напечатал такие пародии на стихи Фета «Шёпот, робкое дыханье...» и «Серенада» («Тихо вечер догорает...»):

1

Холод, грязные селенья,  
Лужи и туман,  
Крепостное разрушенье,  
    Говор поселян.  
    От дворовых нет поклона,  
    Шапки набекрень,  
И работника Семёна  
    Плутводство и лень.  
    На полях чужие гуси,  
    Дерзость гусенят, —  
Посрамленье, гибель Руси,  
    И разврат, разврат!..

2

Солнце спряталось в тумане.  
    Там, в тиши долин,  
Сладко спят мои крестьяне —  
    Я не сплю один.  
Летний вечер догорает,  
    В избах огоньки,  
Майский воздух холодает —  
    Спите, мужички!  
    Этой ночью благовонной,  
    Не смыкая глаз,

Я придумал штраф законный  
 Наложить на вас.  
 Если вдруг чужое стадо  
 Забредёт ко мне,  
 Штраф платить вам будет надо...  
 Спите в тишине!  
 Если в поле встречу гуся,  
 То (и буду прав)  
 Я к закону обращаюсь  
 И возьму с вас штраф;  
 Буду с каждой я коровы  
 Брать четвертаки,  
 Чтоб стеречь своё добро вы  
 Стали, мужички...<sup>448</sup>

Демократическая печать провозгласила Фета крепостником и человеконенавистником, и это облыжное обвинение не только сильно повредило литературной репутации поэта, но и помешало разобраться в сути его весьма проницательных размышлений о судьбах пореформенной деревни. Хорошо знающий практическую жизнь и трезво смотрящий в глаза реальности Афанасий Афанасьевич на десятилетия опередил своё время и не был понят современниками, которые клялись в любви к народу и на словах радели о народной нравственности, но не умели решать элементарные бытовые проблемы: «Нравственное развитие не гвоздь какой-нибудь, который можно произвольно забить в народ, как в стену. Оно уживается только с материальным довольством. А нельзя отрицать заметного стремления русского крестьянина к прогрессу в последние 25 или 30 лет — и он уже поднял много добра по этому новому пути. Это особенно заметно по костюму»<sup>449</sup>. Эти же современники преклонялись перед Толстым и весьма сочувственно воспринимали его обличения буржуазных ценностей и материалистического Запада. 31 марта 1907 года доктор Маковицкий записал в высшей степени характерное толстовское рассуждение: «Какое развращение от газет и от Думы! Вчера Серёжа говорил — он, наверное, высказывал мысль большинства, что, слава богу, мы на пути Запада (становимся конституционным буржуазным государством). Этим сказал, как если бы передние завязли в трясину, из которой выхода нет, а мы “слава богу”, шли бы за ними. У них ожесточение

(одних против других), войско и выход глупый, материалистический. Пред людьми есть идеал царства божия, а там идеал — материалистическое благо (достаток, благоденствие), сделать доступным *всем* внешний, материальный комфорт. Мне об этом хотелось писать, как мне это ясно, подробно изложить. Но я эту работу бросил: не идёт»<sup>450</sup>. Обращаю внимание на последнее предложение: толстовский гений победил его публицистический запал.

Русская интеллигенция, пытавшаяся вслед за Толстым воплотить на земле *идеал Царства Божия*, не желала трезво взглянуть в глаза реальности, рационально осмыслить систему буржуазных ценностей. Но поскольку интеллигенция принципиально отказывалась морально санкционировать эти ценности, она не могла адекватно понять как тот мир, в котором она жила, так и те разнообразные отношения, в которые она вступала. Сам граф Лев Николаевич, пытавшийся достичь *идеала Царства Божия* в рамках своей собственной семьи, фактически добился диаметрально противоположного результата, сделав глубоко несчастными графиню Софью Андреевну и своих детей. Как известно, сон разума рождает чудовищ. И русское образованное общество дорого заплатило и за своё нежелание вступить в диалог с властью, и за своё отторжение капиталистических реалий.

Немногие понимали, что толстовские проповеди фактически ничем не отличаются от представлений заурядного российского мещанина о сложном современном мире. Бывший военный министр, как помним, один из главных двигателей эпохи Великих реформ граф Дмитрий Алексеевич Милютин, живущий на покое в Симеизе в Крыму, с нескрываемой горечью записал 17 марта 1885 года в своём дневнике: «В нашем же соседстве... поселился знаменитый граф Лев Николаевич Толстой, обратившийся в настоящего юродивого. Жаль, что такой блестящий талант похоронил сам себя»<sup>451</sup>. Экс-министр, в течение двух десятилетий стоявший во главе Военного министерства и не понаслышке знавший о том, как управляют государством, не мог признать справедливость и обоснованность «диковин-

ных выводов сумасбродных философствований графа Льва Толстого»<sup>452</sup>. Прозаик Михаил Нилович Альбов без обиняков сказал 24 августа 1899 года переводчику и педагогу Фёдору Фёдоровичу Фидлеру о Льве Толстом: «Ненавижу его как человека, потому что он — лицемер и фарисей!»<sup>453</sup>

Владимир Галактионович Короленко, в 1880-е годы навестивший Толстого в Москве, 20 июля 1910 года поведал Фидлеру о состоявшемся между ними разговоре. Толстой чрезвычайно ценил Короленко как писателя, хотел с ним познакомиться и сказал одной знакомой даме, что, «если Короленко к нему придёт, он *разреши́т его сомнения*». У Владимира Галактионовича уже тогда не было сомнений, которые Лев Николаевич мог бы разрешить, и он решил уклониться от встречи. Встреча, однако, состоялась: писатель Короленко и публицист Златовратский отправились к Толстому, чтобы привлечь его к сотрудничеству в новом журнале. «Толстой вышел к ним, беседуя с художником Ге, и при виде гостей сказал ему, что Короленко тоже явился, чтобы получить совет, как жить по совести». Короленко чувствовал себя очень неловко, когда изложил Толстому дело совсем другого рода. О последующем разговоре с Толстым он сказал Фидлеру так: «Я слушал и слушал, и при этом думал: как можно быть таким гениальным и одновременно изрекать такие глупости?»<sup>454</sup> Столь же нелицеприятным был отзыв другого толстовского современника: «У Пушкина самый ум был умён. А есть ум — дурак: всё переумнит и ничего не поймёт. Такой ум был у Толстого»<sup>455</sup>.

Однако такое отношение к толстовским мудрствованиям было едва ли не единичным. Вплоть до последних дней жизни Льва Николаевича его почитатели были убеждены в том, что царю необходимо посоветоваться с великим писателем земли русской о том, как надо обустроить Россию, и что одна такая беседа была бы способна переломить ход истории. 4 сентября 1910 года доктор Маковицкий записал:

«В разговоре о Л. Н. я сказал Дашкевичу, что удивляюсь, что Николай II не желает познакомиться с Л. Н. — пожалеет, когда его не будет.



*Дашикевич:* Желание в нём должно быть, в каждом человеке есть. Миллионы желают и не могут приехать, но он может. Но до этого его придворные не допустят, потому что один разговор мог бы перевернуть весь строй, и потом он пожелал бы чаще советоваться со Львом Николаевичем»<sup>456</sup>. Русская интеллигенция, как всегда, уповала на чудо.

### *«А там, во глубине России...»*

Если в начале эпохи Великих реформ в России было всего-навсего 20 тысяч человек с высшим образованием, а в российских университетах в 1861 году обучалось немногим более пяти тысяч студентов, то к концу XIX века численность студентов выросла в три раза — до 15,2 тысячи, причём к концу столетия «было заново подготовлено высшими учебными заведениями гражданских ведомств около 85 тысяч людей, годных к выполнению функций интеллигентного труда»<sup>457</sup>. Эти цифры впечатляют своим масштабом даже на фоне мощных тектонических процессов, происходивших в империи. За 1863—1897 годы сельское население увеличилось в полтора раза. Городское население росло быстрее сельского. В это же время городское население Европейской России практически удвоилось: с 6,1 до 12 миллионов<sup>458</sup>. Из кого же рекрутировались эти новоявленные российские интеллигенты в первом поколении?

Пьеса Алексея Максимовича Горького «Мещане» (1901) поможет ответить на этот вопрос. Действие пьесы происходит в маленьком провинциальном городе. Перед нами семья состоятельного 58-летнего мещанина Василия Васильевича Бессемёнова. В его зажиточном мещанском доме старая и новая Россия причудливо сошлись в пространстве и времени. Бессемёнов — старшина малярного цеха. В начале XX века от этих слов, обозначающих социальный статус героя пьесы, веяло какой-то глубокой архаикой. Ещё в 1722 году император Пётр I учредил цеховое устройство ремесла в России, просуществовавшее, однако, до 1917 года. Срок це-

хового ученичества был установлен в семь лет, нахождение в звании подмастерья — не менее двух лет. Бессемёнов должен был пройти суровую жизненную школу, прежде чем стал сначала мастером, а затем старшиной. Суть не в том, какие именно функции маляры глухого провинциального города делегировали старшине своего цеха: где начиналась и где заканчивалась его власть по распределению заказов на все малярные работы в городе. Суть в ином. Василий Васильевич, родившийся ещё до отмены крепостного права, всю свою сознательную жизнь прожил уже в пореформенной России и хорошо приспособился к новым экономическим условиям. Даже в этом маленьком провинциальном городе есть железнодорожное депо, коммерческий банк, театр, клуб. И спрос на малярные работы, благодаря развитию капитализма, стал стабильно высоким, что позволило Бессемёнову собственными усилиями достичь вершины и в своём ремесле, и в своём статусе. Плохой маляр не смог бы стать главой корпорации, а человек без деловой хватки не удержался бы на посту старшины цеха.

Именно благодаря развитию капитализма Бессемёнов сумел скопить изрядную сумму, которую не стал хранить в чулке, а положил в банк. Он живёт в большом и добротном доме, его дети получили образование: дочь Татьяна стала школьной учительницей, сын Пётр три года проучился на юридическом факультете Московского университета, а воспитанник Нил — машинист паровоза. Бессемёнов честолобив: он хочет стать *головой*, то есть председателем ремесленной управы города, и сожалеет, что его заветное желание не будет воплощено в жизнь. Судя по всему, ремесленным головой изберут другого — молодого старшину слесарного цеха Досекина, которого Бессемёнов называет Федькой, мальчишкой, щенком. В доме нет ни водопровода, ни канализации, причём само это слово «канализация» незнакомо жителям провинциального города. Всю работу по дому, в котором проживает пять человек и ещё трое квартирантов, выполняет кухарка Степанида. Пожилая кухарка каждый раз жалуется, когда настает пора ставить на стол огромный самовар, и просит нанять дворника ей в помощь. Однако Василий Васильевич

считает это ненужной роскошью: сизмальства привыкший беречь трудовую копейку, он сам подметает двор и старается сэкономить, на чём только можно. «Я говорю — пилёный сахар тяжёл и не сладок, стало быть, невыгоден. Сахар всегда нужно покупать головой... и колоть самим. От этого будут крошки, а крошки в кушанье идут. И сахар самый он лёгкий, сладкий...»<sup>459</sup>

Получившие образование дети Бессемёнова уже порядком устали и от отцовских поучений, и «от всего этого крохоборства и мещанской суеты»<sup>460</sup>. Покупка фунта пилёного сахара, не санкционированная главой семьи, становится поводом для глубокомысленных размышлений Василия Васильевича об извечном конфликте отцов и детей.

«Бессемёнов. А коли ничего, так незачем и вздыхать. Неужто отцовы слова так тяжело слушать? Не для себя ради, а для вас же, молодых, говорим. Мы своё прожили, вам жить. А когда глядишь на вас, то не понимаешь, как, собственно, вы жить думаете? К чему у вас намерения? Наш порядок вам не нравится, это мы видим, чувствуем... а какой свой порядок вы придумали? Вот он, вопрос? Н-да...

*Татьяна.* Папаша! Подумайте, который раз говорите вы мне это?

*Бессемёнов.* И ещё, и без конца, до гроба говорить буду! Ибо — обеспокоен я в моей жизни. Вами обеспокоен... Зря, не подумавши хорошо, пустил я вас в образование... Вот — Петра выгнали, ты — в девках сидишь...

*Татьяна.* Я работаю... я...

*Бессемёнов.* Слыхал. А кому польза от этой работы? Двадцать пять рублей твои — никому не надобны и тебе самой. Выходи замуж, живи законным порядком, — я сам тебе пятьдесят в месяц платить буду...»<sup>461</sup>

С каждой минутой нарастает отчуждение между Бессемёновым и его детьми, которые не дают себе труда задуматься над тем, что крохоборствующий отец почему-то не пожалел денег на их образование. Но это образование не принесло им счастья: их воля ослаблена, а интерес к жизни потерян. Именно от этого так страдает Василий Васильевич. Силою вещей дети Бессемёнова утратили связь с миром мещанской жизни, но так и не

сумели обрести новую жизнь. 28-летняя учительница Татьяна не замужем, а 26-летнего Петра исключили из университета за участие в студенческих волнениях. Обратим внимание на выразительную деталь — их возраст: дети Бессемёнова учились в гимназии, когда 18 июня 1887 года был опубликован циркуляр министра просвещения действительного тайного советника Ивана Давыдовича Делянова. Формально Татьяна и Пётр Бессемёновы подпадали под действие этого официального министерского акта, одобренного императором Александром III и получившего в широких демократических кругах обвинительно-саркастическое наименование циркуляра «о кухаркиных детях». Этим циркуляром учебному начальству предписывалось допускать в гимназии и прогимназии «только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляющих достаточное ручательство о правильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого для учебных занятий удобства». Таким образом, как пояснялось далее, «при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, коих, за исключением разве одарённых необыкновенными способностями, не следует выводить из среды, к коей они принадлежат»<sup>462</sup>.

Судя по всему, Василий Васильевич Бессемёнов проявил завидную изворотливость и сумел представить директору гимназии требуемое министерским распоряжением «достаточное ручательство». Детям маляра повезло: они не были исключены из гимназии, благополучно её окончили и в итоге были выведены «из среды, к коей они принадлежат». Товарищи Бессемёнова неодобрительно отнеслись к его поступку. Василию Васильевичу было суждено пережить драму. «Ко мне и гости, старые приятели, перестали ходить: у тебя, говорят, дети образованные, а мы — народ простой, ещё насмеются они над нами! И вы не однажды смеялись над ними, а я со стыда горел за вас. Все приятели бросили меня, точно образованные дети — чума. А вы никакого внимания на отца своего не обращаете... никогда не по-

говорите с ним ласково, никогда не скажете, какими ду-  
мами заняты, что делать будете?»<sup>463</sup>

Возникает резонный вопрос, почему сын старшины малярного цеха не стал осваивать какое-либо ремесло, не захотел получить высшее техническое или промышленное образование, а решил стать гуманитарием и поступил на юридический факультет? Ведь на юридический факультет часто определялся либо тот, кто намеревался сделать карьеру на государственной службе, либо тот, кто, подобно Владимиру Ульянову, хотел посвятить свою жизнь борьбе за светлое будущее и счастье человечества. Мы не знаем, какими мотивами руководствовался Пётр Бессемёнов. Известно лишь то, что он после трёх лет успешной учёбы принял участие в студенческих волнениях и на два года был исключён из университета с правом восстановления.

Василий Васильевич, в течение семи лет в молодости постигавший суровую школу ученичества у маляра, затем не менее двух лет ходивший в подмастерьях, а лишь после всего этого сам ставший мастером, наставительно говорит сыну: «Учись! Но ты не учишься... а фордыбачишь. Ты вот научился презрению ко всему живущему, а размера в действиях не приобрёл. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь — неправильно? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не... распорядитель в жизни. Ежели всякий парень в двадцать лет уставщиком порядков захочет быть... тогда всё должно придти в замешательство... и деловому человеку на земле места не будет. Ты научись, будь мастером в твоём деле и тогда — рассуждай... А до той поры всякий на твои рассуждения имеет полное право сказать — цыц! Я говорю это тебе не со зла, а по душе... как ты есть мой сын, кровь моя, и всё такое»<sup>464</sup>. И первые зрители горьковской пьесы, и советские интеллигенты, претендующие на то, чтобы быть «уставщиками порядков», относились и к самому Василию Васильевичу, и к его рассуждениям исключительно неодобрительно. Бессемёнова трактовали как дремучего мещанина и мракобеса. Никто не желал вслушаться в его слова, а ведь, по сути, он был по-своему прав. Однако и у студентов были свои резоны: они болезненно реагировали на несправедливость и гру-

бость жизни и видели свой гражданский долг в том, чтобы протестовать против этого.

Пётр и сам толком не может объяснить, почему он пошёл вслед за товарищами. Никто не мешал ему заниматься, изучать римское право, никакого гнёта режима он, по собственному признанию, не испытывал. Страх оказаться плохим товарищем подавил в его душе опасение возможных репрессий. Пётр сожалеет о содеянном и сетует, что общество требует от личности гражданской позиции, ничего не давая взамен. У Петра нет ни цельного мировоззрения, ни спокойствия в душе. «Я думаю, что, когда француз или англичанин говорит: Франция! Англия!.. он непременно представляет себе за этим словом нечто реальное, осязаемое... понятное ему... А я говорю — Россия и — чувствую, что для меня это — звук пустой. И у меня нет возможности вложить в это слово какое-либо ясное содержание»<sup>465</sup>. Пётр рассказывает в том, что, поддавшись чувству корпоративной студенческой солидарности, пошёл на поводу у товарищей и принял участие в беспорядках. Пройдёт два года, он восстановится в университете, окончит курс и превратится в добропорядочного члена общества. Его товарищ, студент Шишкин, живущий на хлебником у Бессемёнова, судя по всему, продолжит своё участие в революционном движении. Иное дело Пётр. Полученная острастка навсегда отвратит его от любой политической деятельности. Станет ли он впоследствии прокурором, как пророчит ему квартирантка Бессемёновых молодая вдова Елена Николаевна Кривцова, или выберёт стезю адвокатской деятельности — это не важно. В душе Петра произошёл надлом: он не принимает узкий мещанский мирок своего отца, но и в современный большой мир ещё не вписался.

Надлом произошёл и в душе Татьяны. У неё нет желания покинуть родительский дом и пойти учиться на Высшие женские курсы, чтобы, например, со временем преподавать в женской гимназии. Школьная учительница жадно хочет жить и удручена тем, что никак не может отыскать какой-то высший смысл в ежедневной работе, полной вязкой и обволакивающей рутины. Кто-то находит утешение в литературе с её вымышленным

миром, кто-то увлекается театром. Девушку нервируют и книги, рисующие жизнь не такой, какой она предстаёт в действительности, и театральные драмы «с выстрелами, воплями, рыданиями»<sup>466</sup>. Татьяна раздражена и монотонностью своей жизни, и собственной неспособностью покончить с этой безысходностью. «И жизнь совсем не трагична... она течёт тихо, однообразно... как большая мутная река. А когда смотришь, как течёт река, то глаза устают, делается скучно... голова тупеет, и даже не хочется подумать — зачем река течёт?»<sup>467</sup> В маленьком провинциальном городе есть театр, но учительнице злят театральные драмы. «Всё это неправда. Жизнь ломает людей без шума, без криков... без слёз... незаметно...»<sup>468</sup> Родители удручены её женской неустроенностью. Но за кого же Татьяна может выйти замуж в этом маленьком городе? Очень точно суть проблемы сформулировала кухарка Степанида: «Приданое хорошее дадите, и образованную кто-нибудь возьмёт...»<sup>469</sup> Если получившая образование девушка чуждается собственного отца, то согласится ли она стать женой необразованного сына такого же цехового старшины?! Разумеется, нет. Ведь приятели Бессемёнова не стали давать своим детям образование. А брачный рынок людей образованных в маленьком городе крайне ограничен. Истоки её жизненной драмы обычно ищут в неразделённой любви Татьяны к Нилу. Это поверхностное объяснение. Девушка глубоко страдает от отсутствия мужского внимания к себе:

*«Татьяна.* А я вчера была в клубе... на семейном вечере. Член городской управы Сомов, попечитель моей школы, едва кивнул мне головой... да. А когда в зал вошла содержанка судьи Романова, он бросился к ней, поклонился, как губернаторше, и поцеловал руку...

*Акулина Ивановна.* Экой бесстыдник, а? Где бы взять честную девушку под ручку да уважить её, поводить её по зале-то вальжненько, на людях-то...

*Татьяна (брату).* Нет, ты подумай! Учительница в глазах этих людей заслуживает меньше внимания, чем распутная, раскрашенная женщина...»<sup>470</sup>

Старик Бессемёнов безуспешно пытается достучаться до своих детей. Он глубоко страдает от того, что ни-

как не может найти общий язык с детьми, которых искренне любит. Старшина малярного цеха был плотью от плоти пореформенной России, он был носителем тех самых мещанских буржуазных ценностей, против которых так активно выступало русское образованное общество. Именно такие люди, как Василий Васильевич Бессемёнов, обеспечивали устойчивость процесса развития капитализма в России. Отвергая мещанские ценности отца, его дети, по сути, отторгали не архаичную мораль прошлого, как им казалось, а буржуазные ценности настоящего. Но они так и не смогли отыскать ничего своего — ни смысла в собственной жизни, ни иных, антибуржуазных ценностей.

*«Татьяна. Отец!.. Когда вы говорите — я чувствую — вы правы! Да, вы правы, знаю! Поверьте, я... очень это чувствую! Но ваша правда — чужая нам... мне и ему... понимаете? У нас уже своя... вы не сердитесь, постойте! Две правды, папаша...*

*Бессемёнов (вскакивая). Врёшь! Одна правда! Моя правда! Какая ваша правда? Где она? Покажи!*

*Пётр. Отец, не кричи! Я тоже скажу... ну, да! Ты прав... Но твоя правда узка нам... мы выросли из неё, как вырастают из платья. Нам тесно, нас давит это... То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас...*

*Бессемёнов. Ну да! Вы... вы! Как же... вы образовались... а я дурак! А, вы...*

*Татьяна. Не то, папаша! Не так...*

*Бессемёнов. Нет — то! К вам ходят гости... целые дни шум... ночью спать нельзя... Ты на моих глазах шашни с постоялкой заводишь... ты всегда надута... а я... а мы с матерью жмёмся в углу...*

*Акулина Ивановна (врываясь в комнату, жалобно кричит). Голубчики! Да я ведь... родной ты мой! Разве я говорю что? Да я и в углу!.. и в углу, в хлеву! Только не ругайтесь вы! Не грызите друг друга... милые!*

*Бессемёнов (одной рукой привлекая её, а другой отталкивая). Пошла прочь, старуха! Не нужна ты им. Оба мы не нужны! Они — умные!.. Мы — чужие для них...*

*Татьяна (стонет). Какая мука! Какая... мука!..*

*Пётр (бледный, с отчаянием). Пойми, отец... ведь глупо это! Глупо! Вдруг, ни с того ни с сего...*



*Бессемёнов.* Вдруг? Врёшь! Не вдруг... годами нарывало у меня в сердце!..

*Акулина Ивановна.* Петя, уступи! Не спорь!.. Таня... пожалейте отца!

*Бессемёнов.* Глупо? Дурак ты! Страшно... а не глупо! Вдруг... жили отец и дети... вдруг — две правды... звери вы!

*Татьяна.* Пётр, уйди! Успокойся, отец... ну, прошу...

*Бессемёнов.* Безжалостные! Стеснили нас... Чем гордитесь? Что сделали? А мы — жили! Работали, строили дома... для вас... грешили... может быть, много грешили — для вас!

*Пётр (кричит).* Просил я тебя, чтоб ты... всё это делал?

*Акулина Ивановна.* Пётр! Ради...

*Татьяна.* Ступай вон, Пётр! Я не могу, я ухожу... *(В изнеможении опускается на стул.)*

*Бессемёнов.* А! бежите... от правды, как черти от лада-на... Зазрила совесть!»<sup>471</sup>

Сама история поставила точку в этом споре. Никакой *своей* правды «молодая Россия» так и не смогла сформулировать. Трагический разлад в семье Бессемёновых как в капле воды отразил трагическую безысходность российского конфликта: «молодая Россия», в очередной раз отторгая буржуазные ценности, расшатывала существующие устои и, по сути, препятствовала бескровной модернизации страны.

В 1857 году, когда русское образованное общество начало гласно и бурно обсуждать проблему грядущего освобождения крестьян, Николай Алексеевич Некрасов написал хрестоматийные строки:

В столицах шум, гремят витии,  
Кипит словесная война,  
А там, во глубине России, —  
Там вековая тишина.

Прошло 44 года, и Горький написал «Мещан». На первый взгляд в российской глубинке по-прежнему царит вековая тишина. Однако провинция сильно изменилась за эти годы: даже в маленьком городке уже есть эти неотъемлемые приметы пореформенной России — железная дорога, банк, театр... И если одни интеллигенты в

первом поколении, безвозвратно порвавшие, подобно детям Бессемёнова, с прочными мещанскими корнями родителей, никак не могли найти своё место в жизни, то другие сумели в ней довольно-таки комфортно устроиться. О том, какую цену они заплатили за своё обустройство в буржуазном мире, мы узнаём из пьесы Горького «Дачники» (1904).

*«Как это скучно! Как избито... затрёпано...»*

Перед нами «кухаркины дети», ставшие адвокатами, инженерами, врачами. Их жизнь — это жизнь достаточно обеспеченных людей, голодавших в юности и достигших благополучия в зрелом возрасте. Все они, вопреки циркуляру о «кухаркиных детях», окончили курс в высшем учебном заведении и приобрели хорошо оплачиваемую профессию. Общность происхождения из низов общества сближает этих людей: среди них нет ни детей потомственных или личных дворян, ни детей купцов, ни детей чиновников. Перед нами дети прачек, кухарок, рабочих. Все они дачники — олицетворение новой бытовой реальности, лишь в конце XIX — начале XX века получившей распространение в русской жизни. Персонаж чеховской комедии «Вишнёвый сад» (1903) купец Ермолай Алексеевич Лопахин, внук крепостного и сын мужика, дал точный социологический анализ сложившейся ситуации: «До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились ещё дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьёт на балконе, но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займётся хозяйством, и тогда ваш вишнёвый сад станет счастливым, богатым, роскошным...»<sup>472</sup>

Дворяне на лето уезжали в свои имения, интеллигенты в первом поколении стали снимать дачи. Строительство дач и сдача их внаём на летнее время стали новым прибыльным делом в России, где набирал силу капитализм. С конца 1880-х годов в русском языке появилось

шутливо-ироническое выражение «дачный муж» — имя нарицательное для супруга, который, живя в городе, почти ежедневно ездит за город на дачу, где отдыхает его семья. При этом он возит туда провизию, выполняет заказы дачников, бегаёт по магазинам и т. д., словом, получает от такой «дачной жизни» массу хлопот и мучений. И хотя кое-кто по старинке перевозил старую мебель из города, уже появилась, в соответствии с духом времени, плетёная дачная мебель. Съёмные дачи обладали рядом существенных недостатков (в наспех построенных домах были щели, в комнатах нередко дуло, полы скрипели), но дачная жизнь обладала известной прелестью: вечерами дачники похаживали друг к другу в гости (так как днём часто работали в городе), устраивали любительские спектакли и пикники... и вели бесконечные разговоры. В горьковских «Дачниках» Варвара Михайловна Басова, 27-летняя жена адвоката, задумчиво говорит: «Странно мы живём! Говорим, говорим — и только! Мы накопили множество мнений... мы с такой... нехорошей быстротой принимаем их и отвергаем... А вот желаний, ясных, сильных желаний нет у нас... нет!»<sup>473</sup>

У всех горьковских дачников наблюдается сильнейшая неудовлетворённость, неудовлетворённость как своей частной жизнью, так и собственной профессиональной деятельностью. Все они делают своё дело кое-как, спуская рукава. Доктор Кирилл Акимович Дудаков обременён большим семейством, не имеет частной практики и панически боится потерять своё место. Именно эта боязнь и заставляет его идти на компромиссы с совестью. Городской голова упрекает доктора в том, что дела в его больнице ведутся неэкономно: больные якобы много едят и потребляют огромное количество хины. Доктор знает, что все эти упреки несправедливы. Если бы голова распорядился осушить улицы нижней части города, то в городе сократились бы число больных и потребность в хине. Однако Дудаков не стал возражать городскому голове. Жена Дудакова Ольга Алексеевна пытается его успокоить и советует не раздражаться из-за таких мелочей. «А если вся жизнь складывается из мелочей? И что значит — привыкнуть?.. К чему?

К тому, что каждый идиот суётся в твоё дело и мешает тебе жить?.. Ты видишь: вот... я и привыкаю. Голова говорит — нужно экономить... ну, я и буду экономить! То есть это не нужно и это вредно для дела, но я буду... У меня нет частной практики, и я не могу бросить это дурацкое место...»<sup>474</sup>

Инженер Пётр Иванович Сулов руководит возведением тюрьмы в уезде. Однако он ухитрился ни разу не побывать на стройке, доверившись подрядчику. Строительство велось недобросовестно, стена в тюрьме упала и раздавила двух рабочих. Но даже эта трагедия не вынудила его незамедлительно выехать на место происшествия. Он обещает это сделать «завтра». Ещё один персонаж «Дачников», Павел Сергеевич Рюмин, судя по всему, попечитель колонии для малолетних преступников, давно уже не посещал колонию. Не делал этого и доктор Дудаков, в чьи обязанности это входило. Малолетних преступников избивали, они стали, как выразился доктор, «куролесить» — и газеты написали об этом происшествии. Адвокат Сергей Васильевич Басов вместе со своим помощником Николаем Петровичем Замысловым лихо проворачивают какое-то тёмное дело, которое должно принести им баснословный куш, за который в те годы можно было приобрести очень хорошее имение. «Грязная история... Они сцапают тысячу пятьдесят... Басов и этот жулик, да!.. Но уже никто после этой истории не назовёт их порядочными людьми!»<sup>475</sup> Трудно понять, чего больше в этих словах инженера Сулова — зависти или осуждения.

Горьковские дачники нечистоплотны и в своей семейной жизни. Фактически разладилась супружеская жизнь Басовых, охладевших друг к другу и ставших чужими людьми. Адвокат не любит свою жену Варвару Михайловну, а она его не уважает. Её многодетная подруга докторша Ольга Алексеевна Дудакова, вечно обременённая безденежьем, с раздражением бросает ей: «Тебе хорошо жить. Да, твой муж богат... он не очень щепетилен в делах, твой муж... это все говорят про него. Ты должна знать это!.. Ты сама тоже... Ты устроилась как-то так, чтобы не иметь детей...»<sup>476</sup> О дачном романе Юлии Филипповны Суловой с Замысловым хорошо осве-

домлены все персонажи пьесы. Сама Юлия Филипповна не считает нужным скрывать отношения с любовником от мужа, в известной степени бравируя своей распушенностью и прекрасно осознавая, что дачный роман завершится с окончанием дачного сезона. Более того, она обвиняет мужа в своём развращении: «Я красива — вот моё несчастье. Уже в шестом классе гимназии учителя смотрели на меня такими глазами, что я чего-то стыдилась и краснела, а им это доставляло удовольствие, и они вкусно улыбались, как обжоры перед гастрономической лавкой. <...> Да. Потом меня просвещали замужние подруги... Но больше всех — я обязана мужу. Это он изуродовал моё воображение... он привил мне чувство любопытства к мужчине. (*Смеётся.*) <...> А я уродую ему жизнь»<sup>477</sup>.

Старая дева и доморощенная поэтесса Калерия Басова, сестра адвоката, подводит неутешительный итог: «Среди нас — нет людей, довольных жизнью»<sup>478</sup>. Свою неудовлетворённость жизнью дачники постоянно выказывают в многочисленных и продолжительных разговорах, пытаясь компенсировать эту неудовлетворённость поисками идеалов. Для них важно не то, что они делают в жизни, а то, каким идеалам поклоняются, хотя и не могут их сформулировать. Горьковские дачники страдают *обламовщиной*. Они так и не овладели секретами своего профессионального ремесла, не умеют достойно и честно трудиться. Они не ищут и не видят смысла жизни в том, чтобы изо дня в день на совесть делать своё дело, нести ответственность за себя и своих близких. Вместо этого они алчут незамедлительного воплощения книжного идеала в косной действительности, о котором красиво говорит Рюмин: «Чтобы жизнь имела смысл, нужно делать какое-то огромное, важное дело... следы которого остались бы в веках... Нужно строить какие-то храмы...»<sup>479</sup> Однако от частого повторения эти избитые рассуждения уже порядком надоели даже самим дачникам: нет никакой определённости в этих словах, неясно, в чём должно заключаться *это огромное, важное дело*. Вот почему Варвара Михайловна Басова отвечает Рюмину с нескрываемой досадой: «Господи! Как это скучно! Как избито... затрёпано...»<sup>480</sup>

Не умея самостоятельно отыскать этот неуловимый идеал, горьковские дачники хотят переложить бремя ответственности за принятие решения на кого-то другого. Русская культура продолжает оставаться логотцентричной, и дачники по сложившейся традиции с нетерпением ожидают появления некогда модного литератора Якова Петровича Шалимова. Они ждут его как мессию, как духовного учителя, искренне полагая, что именно этот сорокалетний беллетрист станет врачом душ: разрешит все их мучительные сомнения и ответит на все *проклятые* вопросы. Не только читатели исключительно высоко ставили писательское звание, но и сами литераторы почитали самих себя солью земли и кастой избранных. Известный поэт Федор Сологуб заявил: «Скромный писатель имеет в десять раз больше права ездить экспрессом первого класса, чем какой-нибудь богач, не причастный к литературе»<sup>481</sup>. Итак, дачники «с томленьем упования» ждут писателя.

*«Варвара Михайловна. Ты пойми... я жду его... как весну! Мне нехорошо жить...*

*Влас. Я понимаю, понимаю. Мне самому нехорошо... совестно как-то жить... неловко... и не понимаешь, что же будет дальше?...»<sup>482</sup>*

Многодетная мать Ольга Алексеевна возбуждённо говорит своей бездетной подруге: «Ты не знаешь, какое это тяжёлое, гнетущее чувство — ответственность перед детьми! Ведь они будут спрашивать меня, как надо жить... А что я скажу? <...> Они уже спрашивают, спрашивают! И это страшные вопросы, на которые нет ответов ни у меня, ни у вас, ни у кого нет! Как мучительно трудно быть женщиной!...»<sup>483</sup>

Варвара Михайловна вспоминает события восьмилетней давности, когда она, юная гимназистка, впервые увидела модного беллетриста Шалимова на литературном вечере. Она надолго запомнила его крепкую, твёрдую походку, его непокорные густые волосы, его открытое смелое лицо, его вдохновенные глаза. Тогда сам факт существования на земле людей подобного рода доставлял ей неизъяснимую радость. Шалимов был для неё олицетворением какой-то другой, лучшей жизни, где есть место людям, твёрдо знающим свою силу и

умеющим различать в жизни, что стоит любить, а что стоит ненавидеть. И вот в конце первого действия появляется, наконец, Шалимов. Он лысый. И этот факт сразу же шокирует Варвару Михайловну. Однако былой властитель её дум изменился не только внешне, но и внутренне. Беллетрист переживает творческий и духовный кризис. Он давно уже ничего не пишет, утратил почву под ногами и незаметно для самого себя потерял своего читателя. Если иные из поклонников гения Толстого были убеждены в том, что императору Николаю II достаточно всего-навсего повстречаться с великим писателем земли русской, чтобы начать с ним советоваться и разом переменить весь строй, то Варвара Михайловна Басова, созданная фантазией Максима Горького, уповала на судьбоносную встречу с популярным литератором Шалимовым. Вот она неизбывная *обломовщина* русской интеллигенции! Шалимов обманул надежды Варвары Михайловны. «...Вчера вечером, после разговора с ним, она плакала, как разочарованное дитя... Да... Издали он казался ей сильным, смелым, она ожидала, что он внесёт в её пустую жизнь что-то новое, интересное...»<sup>484</sup> Однако модный писатель не мог научить трагически не умеющую жить русскую интеллигенцию. Так из жизни Варвары Михайловны исчезла последняя надежда.

Отчего же так несчастны эти дачники? Эти «кухаркины дети», в детстве и юности знавшие нужду и голод, сейчас вполне обеспечены и сыты. Все они сумели получить интеллигентские профессии, позволяющие им вести безбедное существование. Мы не знаем, каковы их политические взгляды и есть ли они у них вообще, но очевидно, что дачники не ощущают на себе никакого политического гнёта или произвола. Постоянно тоскуя об отсутствии в их жизни каких-то неясных идеалов, дачники не живут реальной жизнью и все силы тратят на то, чтобы прятаться от реальных проблем.

Дачник Павел Сергеевич Рюмин, о профессии и роде деятельности которого мы можем лишь догадываться, с неким театральным пафосом признаётся в том, что ему неприятно страшное лицо жизненной правды: «Я только против этих... обнажений... этих неумных, не-

нужных попыток сорвать с жизни красивые одежды поэзии, которая скрывает её грубые, часто уродливые формы... Нужно украшать жизнь! Нужно приготовить для неё новые одежды, прежде чем сбросить старые...»<sup>485</sup>

Подобные рассуждения ещё имели право на существование примерно треть века тому назад, когда передвижники в ожесточённой борьбе с Императорской Академией художеств отстаивали право художника запечатлеть на своих полотнах жизнь такой, какая она есть. В начале же XX века от досужих размышлений Рюмина уже веяло глубокой архаикой: они казались пошлыми, избитыми и претенциозными. В них не было ни собственного жизненного опыта, ни собственной боли. За его красивыми словами о новых одеждах для жизни не стоит ничего. И когда этот 32-летний одинокий мужчина откровенно излагает свою жизненную философию и обнажает перед нами свой опыт утраты юношеских иллюзий, ему трудно сопереживать. Невозможно сочувствовать человеку, который, не уставая скорбеть о зыбких идеалах своей юности, в зрелом возрасте недобросовестно исполняет свои непосредственные обязанности, в результате чего, как мы помним, страдают его подопечные — малолетние преступники, по сути, подростки. «А мне как больно! Надо мной тяготеет и давит меня неисполненное обещание... В юности моей я дал клятву себе и другим... я поклялся, что всю жизнь мою посвящу борьбе за всё, что тогда казалось мне хорошим, честным. И вот я прожил лучшие годы мои — и ничего не сделал, ничего! Сначала я всё собирался, выжидал, примеривался — и, незаметно для себя, привык жить покойно, стал ценить этот покой, бояться за него...»<sup>486</sup> По сути, Рюмин хочет простого буржуазного счастья: обеспеченного и комфортного существования, стабильности и покоя. Однако он не собирается всё это честно заработать своей профессиональной деятельностью, а всего-навсего хочет выглядеть респектабельным как в собственных глазах, так и в глазах окружающих, и считает нужным облагораживать свои приземлённые желания, маскируя их пафосными речами и модными философскими теориями.



Строго говоря, в самом желании буржуазного счастья нет ничего постыдного, если это счастье достигается честным и упорным трудом, добросовестным выполнением своих договорных обязательств. Ни о какой честности как Рюмина, так и других дачников говорить не приходится: они не считают зазорным одурачить ближнего. «Жизнь — точно какой-то базар. Все хотят обмануть друг друга: дать меньше, взять больше»<sup>487</sup>. Тот, кто исповедует буржуазные ценности, исходит из презумпции базовой важности любой заключённой сделки, любого оформленного договора. Он знает, что договор — это самодостаточная ценность, оправданная самим фактом своего существования, а личное преуспевание всегда идёт рука об руку с добросовестным выполнением этого договора. Если человек завоёвывает своё право на богатство, личное преуспевание, комфорт и благополучие, не отказываясь при этом от своей ответственности ни за свои договорные обязательства, ни за свои поступки, то такой человек всегда выглядит респектабельным и перед судом собственной совести, и в глазах окружающих. К сожалению, со времён пореформенной России отношения между работником и работодателем оставались весьма зыбкими и во многом не урегулированными как законом, так и традицией. Недобросовестное исполнение наёмным работником своих обязанностей, а работодателем — своих договорных обязательств было той язвой, от которой одинаково страдали как сам работник, так и его наниматель, и эта язва так и не зарубцевалась вплоть до 1917 года. Трагическая безысходность российской действительности заключалась в том, что у русской интеллигенции отсутствие основ профессиональной этики и элементарное несоблюдение своих должностных обязанностей выступали в превращённой форме неутомимых поисков всё ускользающего идеала и смысла жизни. «Чтобы скрыть друг от друга духовную нищету, мы одеваемся в красивые фразы, в дешёвые лохмотья книжной мудрости... Говорим о трагизме жизни, не зная её, любим ныть, жаловаться, стонать...»<sup>488</sup> — говорит Варвара Михайловна, женщина, в которую безнадежно влюблён Рюмин.

Значительная часть русской интеллигенции, отвергая базовую ценность договора, противопоставляла ему идею «вручения себя»<sup>489</sup> ценностям, казавшимся безусловными: идеалу, прогрессу, свободе, народу, «общему делу», борьбе... Исповедуя идею «вручения себя», эта интеллигенция мучительно искала того, на кого она могла бы переложить бремя ответственности за принятие всех решений в своей жизни. Носило ли это «вручение себя» конкретно персонифицированный или абстрактно идейный характер, было не суть важно. Постигание реальной жизни заменялось абстрактными теориями, которые не выдерживали малейшего столкновения с действительностью. Вся ли русская интеллигенция была такой? Нет, конечно! Об интеллигентах, воспринявших буржуазные ценности и несущих цивилизацию в косную российскую глубинку, мы узнаём из пьесы Максима Горького «Варвары» (1905), снабжённой авторским подзаголовком «Сцены в уездном городе».

*«Люди становятся мельче,  
жулики — крупнее»*

В убогий уездный город Верхополье, знаменитый лишь тем, что в городской реке водятся «агромадные раки»<sup>490</sup>, приезжают инженеры, строители железной дороги — 32-летний Егор Петрович Черкун и 45-летний Сергей Николаевич Цыганов. Их приезд вносит сумятицу в провинциальную жизнь стоящего у реки и окутанного зеленью садов городка. «Завертелся город Верхополье!»<sup>491</sup> Пьеса переполнена антикапиталистическим пафосом: развитие капитализма — это разрушение привычного уклада жизни, которое сопровождается личными драмами. Строительство железной дороги не приносит счастья жителям Верхополя. Для неистребимых провинциалов приезд инженеров означает неотвратимое в ближайшем будущем нашествие чужих людей, которые захватят этот мирный городок, солнечным летним днём напоминающий яичницу на сковороде. Страхи городских обывателей не лишены осно-

вания. Сами инженеры осознают самих себя как захватчиков, которым предстоит установить свои новые порядки «в этой области мертвого уныния»<sup>492</sup>.

Доселе ничто не угрожало однообразию городской жизни. В уездном городе живут состоятельные мещане, несколько мелких чиновников, одна дворянка с племянницей и лесопромышленник с супругой. Вся экономическая жизнь города находится в руках шестидесятилетнего городского головы Василия Ивановича Редозубова. Городской голова твёрдо держит в руках Верхополье: во время сильного дождя разлившаяся река сорвала мост, однако Редозубов не торопится его чинить, ибо именно ему принадлежит перевоз через реку. И пока мост не построен, деньги за переправу через реку текут в его карман. Редозубов мечтает извлечь пользу из появления в городе инженеров и рассчитывает получить подряд на поставку шпал для строительства железной дороги. Однако об этом же подряде хлопочет и 35-летний лесопромышленник Архип Фомич Притыкин, супруг 45-летней Пелагеи Ивановны. В течение многих лет в городке Верхополье ничего особенного не происходило: не знающие нужды мещане вели размеренную жизнь в своих окружённых садами домах. Мы не знаем, чем они зарабатывали себе на жизнь, но по некоторым репликам персонажей пьесы можем судить, что деньги у городских обывателей водились. Чиновники не интересуются ничем, кроме сплетен. Об узости запросов одного из образованных персонажей сказано кратко: «...летом — купаться, зимой — в бане париться, — вот все ваши духовные наслаждения...»<sup>493</sup> Жизнь в городе напоминает пастораль, и инженер Черкун не скрывает своего желания эту пастораль разрушить. «Маленькие домики прячутся в деревьях, точно птичьи гнезда... Это до тоски спокойно... и до отвращения мило... И ужасно хочется растрепать эту идиллию»<sup>494</sup>.

Максим Горький обличает хищнический оскал торжествующего капитализма, который, по авторскому замыслу, несёт только горе и разрушение. Носители этих новых капиталистических отношений инженеры Черкун и Цыганов не пользуются симпатией автора. Хотя, в отличие от героев пьесы «Дачники», эти инженеры хо-

рошо знают своё дело, умело его ведут, не занимаясь воровством и приписками. Антибуржуазный запал писателя столь силён, что он предпочитает не задумываться о том, что вместе с железной дорогой в Верхополье придёт современная цивилизация и не только Верхополье, но и весь уезд получит мощный импульс для развития. «*Цыганов. Жорж! Ты смотришь на этот город, как Аттила на Рим... До чего всё измельчало на свете! Черкун. Отвратительный городишко...*»<sup>495</sup> Горький согласен с этой оценкой. Он ничуть не симпатизирует городским жителям, отупевшим, как ему представляется, в своём растительном существовании. Студент Степан Лукин, в свои 25 лет уже успевший принять участие в революционном движении и поплатившийся за это непродолжительным тюремным заключением, с грустью говорит о местных обывателях: «Ну, люди здесь! Удивительная дичь! Смотришь на них и начинаешь сомневаться в будущности России... А как подумаешь, сколько тысяч сёл и городов населено такими личностями, — душой овладевает пессимизм во сто лошадиных сил...»<sup>496</sup>

Казалось бы, Горький нашёл положительных героев своего времени — умелых, целеустремлённых, чуждых рефлексии и раздвоенности, грамотно и честно делающих своё дело инженеров Черкуна и Цыганова, которые несут неотвратимые изменения в жизнь русской провинции. Однако их служение царству Ваала перевешивает в глазах Горького все эти несомненные достоинства: с точки зрения писателя, Черкун и Цыганов служат неправому делу.

За полвека до этого Иван Александрович Гончаров вложил в уста Штольца мысль о том, к каким последствиям для сонной российской провинции приведёт строительство железной дороги. В отличие от Ильи Ильича Обломова Штолец был убеждённым поборником технического прогресса. «Погиб ты, Илья: нечего тебе говорить, что твоя Обломовка не в глуши больше, что до неё дошла очередь, что на неё пали лучи солнца! Не скажу тебе, что года через четыре она будет станцией дороги, что мужики твои пойдут работать насыпь, а потом по чугунке покатится твой хлеб к пристани... А там... школы, грамота, а дальше... Нет, перепугаешься

ты зари нового счастья, больно будет непривычным глазам. <...> Прощай, старая Обломовка! — сказал он, оглянувшись в последний раз на окна маленького домика. — Ты отжила свой век!»<sup>497</sup>

Отжила свой век Обломовка, отжил свой век городок Верхополье, отжили свой век и исконные российские человеческие отношения «вручения себя». Развитие капитализма в России означало становление новых договорных отношений — отношений работника и работодателя. И пьеса Горького зафиксировала этот важнейший в жизни страны момент. Молодой 23-летний деревенский парень Матвей Гогин приходит к Черкуну поблагодарить инженера за то, что он взял его на службу.

«*Матвей.* Хочу поблагодарить вас, барин, за то, что взяли меня...

*Черкун.* Меня зовут Егор Петров, я так же, как и вы, крестьянин, а не барин. Благодарить нам друг друга не за что: вы будете работать, я буду платить вам деньги. А если вы вздумаете жульничать, я вас прогоню и отдам под суд... Это понятно?»<sup>498</sup>

Капитализм нивелирует человека, низводя его до положения функции, зафиксированной в договоре. Капитализм уничтожает патриархальную жизнь, создаёт новые возможности для быстрого обогащения. Однако с точки зрения большинства образованных людей эти принципиально новые отношения не делают людей более счастливыми. Окружающая жизнь делается жёстче. «Люди становятся мельче, жулики — крупнее»<sup>499</sup>.

Ни персонажи пьесы, ни её автор не видят достойного выхода из сложившейся ситуации. Но почему пьеса называется «Варвары»? С одной стороны, обыватели Верхополья живут, судя по пьесе, варварской жизнью, которой ещё не коснулась цивилизация. С другой — носители этой цивилизации инженеры Черкун и Цыганов осознают себя новыми варварами, пришедшими разрушить это сонное царство. Это прекрасно понимает городской голова Редозубов: приезд инженеров в город — это конец его патриархальной власти над Верхопольем. «Ты думаешь, я не вижу, что делается? Эти фармазоны... они варвары, они — нарушители! Они всё опрокидывают, всё валится от них...»<sup>500</sup> Становится

алкоголиком сын городского головы Гриша и уходит из дома его дочь восемнадцатилетняя Катя, похищает казённые деньги и скрывается чиновник казначейства Дробязгин, кончает с собой 28-летняя Надежда Монахова, жена акцизного надзирателя...

Все эти мелодраматические страсти сознательно нагнетаются Горьким, чтобы подчеркнуть разрушительную роль капитализма в России. Все симпатии автора на стороне студента Степана Лукина, который призывает доверчивую Катю к борьбе непонятно с чем и неясно для чего: «...Там горит великий огонь разума, и все честные, все умные люди видят при свете его, как грязно и скверно устроена жизнь... <...> Потому-то я и говорю — идите туда! Отдайте хоть два-три года вашей юности мечтам о новой жизни и борьбе за эти мечты. Бросьте частицу вашего сердца в общий костёр протеста против пошлости и лжи...»<sup>501</sup> По сути, это реминисценция из комедии Чехова «Вишнёвый сад» (1903). Там нескладный и недотёпистый вечный студент Петя Трофимов, по ходу пьесы падающий с лестницы и теряющий калоши, патетически звал Аню, семнадцатилетнюю дочку Раневской, в «новую жизнь». Похоже, что Максим Горький слишком серьёзно воспринял этот призыв чеховского комедийного персонажа или лишён был умения трезво смотреть на жизнь, как это умел делать Чехов. Именно чеховское понимание реальностей русской жизни и стало тем контрастирующим фоном, на котором особенно хорошо видны и химеры Толстого, и ходульность Горького.

### *«Привычка к неволе, к рабскому состоянию...»*

Антон Павлович Чехов стал первым русским писателем, который понял, что новая, ещё только формирующаяся капиталистическая реальность позволяет деятельному, целеустремлённому и образованному человеку не только максимально самореализоваться, но и преобразовывать окружающий мир. Чеховская Россия — это столкновение двух миров. С одной стороны, это грубая толща нищеты и отсталости — всего того,

что веками существовало в прошлом и продолжает существовать в настоящем, о чём Чехов пишет в рассказе «Студент»: «И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнёта — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдёт ещё тысяча лет, жизнь не станет лучше»<sup>502</sup>. С другой стороны, капитализм в России развивался столь стремительно, что в течение жизни одного пореформенного поколения результаты его деятельности ощущались повсеместно. Антон Павлович никого не собирался учить, как надо жить. Чехов, в отличие от Толстого, скептически относился к любым химерическим философским построениям по улучшению человека, а верил в науку и научный прогресс. С его точки зрения, именно научное знание и просвещение помогут человеку изменить свою жизнь к лучшему.

Вот что Чехов 24 декабря 1890 года писал Алексею Сергеевичу Суворину: «Я верю и в Коха и в спермин и славлю бога. Всё это, т. е. кохины, спермины и проч., кажется публике каким-то чудом, выскочившим неожиданно из чьей-то головы на манер Афины Паллады, но люди, близко стоящие к делу, видят во всём этом только естественный результат всего, что было сделано за последние 20 лет. Много сделано, голубчик! Одна хирургия сделала столько, что оторопь берёт. Изучающему теперь медицину время, бывшее 20 лет тому назад, представляется просто жалким. Милый мой, если бы мне предложили на выбор что-нибудь из двух: “идеалы” ли знаменитых шестидесятих годов или самую плохую земскую больницу настоящего, то я, не задумываясь, взял бы вторую»<sup>503</sup>. Выпускник Московского университета и практикующий врач писал это со знанием дела.

В 1960 году на страницах «Литературной газеты» легендарный детский писатель Корней Иванович Чуковский опубликовал очерк «Художник», посвящённый столетнему юбилею Чехова и написанный на основе юношеских воспоминаний. Мемуарное свидетельство

младшего современника великого писателя драгоценно, ибо оно неопровержимо доказывает, что художественные произведения Антона Павловича Чехова — это первоклассный исторический источник, позволяющий реконструировать эмоциональный фон эпохи.

«Теперь даже трудно представить себе, что такое был Чехов для меня, подростка девяностых годов.

Чеховские книги казались мне в девяностых годах единственной правдой обо всём, что творилось вокруг.

Читаешь чеховский рассказ или повесть, а потом глянешь в окошко и видишь как бы продолжение того, что читал. Все жители нашего города — все, как один человек, — были для меня персонажами Чехова. Других людей как будто не существовало на свете. Все их свадьбы, именины, разговоры, походки, причёски и жесты, даже складки у них на одежде, были словно выхвачены из чеховских книг. И всякое облако, всякое дерево, всякая тропинка в лесу, всякий городской или деревенский пейзаж воспринимались мною, как цитаты из Чехова.

Такого тождества литературы и жизни я ещё не наблюдал никогда.

Может быть, потому, что в его произведениях так полно выражалось наше собственное ощущение мира, я, провинциальный мальчишка, считал его величайшим художником, какой только существовал на земле. <...>

Всеведущими казались мне гении, создавшие “Войну и мир” и “Карамазовых”, но их книги были не обо мне, а о ком-то другом. Когда же в приложении к “Ниве”, которую я в ту пору выписывал, появилась чеховская повесть “Моя жизнь”, мне почудилось, будто эта жизнь и вправду моя, словно я прочитал свой дневник — жизнь неприкаянного подростка девяностых годов. <...>

Чехов был для меня и моих сверстников мерилom вещей, и мы явственно слышали в его повестях и рассказах тот голос учителя жизни, которого не расслышал в них ни один человек из так называемого поколения отцов. <...>

Других учителей у меня не было. Даже легальные марксисты оставались для нас неведомыми. Боевые программы народников к тому времени уже окончательно выродились в плоские, бескрылые прописи, а



модное в ту пору толстовство, воплотившееся в секту косноязычных и унылых святош, отталкивало своей пресной бесцветностью. И мне оставалось единственное прибежище — Чехов. <...>

...к началу девяностых годов из слова “идеал” уже окончательно выветрилось его прежнее боевое значение, которое было присуще ему в шестидесятых и семидесятых годах, и в пору моей юности оно уже стало абстракцией, лишённой какого бы то ни было реального смысла. Уже у Надсона оно звучало пустышкой — лишь как неизменная рифма к столь же абстрактному слову “Вал”.

Вообще так называемая “идейная повесть” — живо-кровая в шестидесятых годах повесть Чернышевского, Помяловского, Василия Слепцова, насыщенная классово-вой борьбой той великой эпохи, — превратилась у эпигонов народничества в пустопорожную схему, по существу глубоко реакционную, лживую, приманчивую лишь для бездарных писак»<sup>504</sup>.

О том, как мучительно взращивались буржуазные отношения на русской почве, рассказывается в чеховской повести «Три года», впервые опубликованной на страницах журнала «Русская мысль» в 1895 году. Перед нами проходят три года из жизни Алексея Фёдоровича Лаптева — выпускника филологического факультета Московского университета и наследника миллионного состояния. Известная московская фирма «Фёдор Лаптев и сыновья», созданная отцом Алексея Фёдоровича, успешно ведёт оптовую торговлю галантерейным товаром. Валовая выручка фирмы составляет в год два миллиона рублей, а образованный, совестливый, мучительно рефлексирующий и порядочный человек Алексей Лаптев испытывает сильнейшую неудовлетворённость своей жизнью. Его не радуют ни отцовское дело, ни отцовские миллионы. Он женился по страстной любви на небогатой дворянке Юлии Белавиной, дочери провинциального врача. Но и этот брак не принёс ему счастья. С молодой женой Лаптев поселился в Москве, где стал вести праздный образ жизни: театры, симфонические концерты, картинные выставки, рестораны. Ещё до свадьбы Лаптев тратил 2500 рублей в месяц — огром-

ные деньги для того времени, жалование министра не достигало этой суммы. (В 1903 году суммарное годовое содержание действительного тайного советника, статс-секретаря Его Величества, председателя Комитета министров и члена Государственного совета Сергея Юльевича Витте составляло 26 тысяч рублей, то есть 2 тысячи 166,66 рубля в месяц<sup>505</sup>.) Чтобы оценить значимость этой суммы, надо вспомнить, что уже за 500 рублей можно было отправиться в длительное заграничное путешествие и в течение трёх-четырёх месяцев посетить важнейшие европейские страны.

Лаптев тяготится своим образом жизни и без особого энтузиазма пытается заниматься филантропией: хочет организовать ночлежный дом, но боится, что это благое дело «попадёт в руки наших московских святош и барынь-филантропок, которые губят всякое начинание»<sup>506</sup>. Если его брат Фёдор, окончивший, как и Лаптев, филологический факультет, помогает отцу и занимается делами фирмы, гордится своей принадлежностью к «именитому роду» и намеревается хлопотать о пожаловании дворянства в связи с предстоящим столетним юбилеем фирмы, то Алексей Лаптев не испытывает никакого пиетета перед заслугами предков. Между братьями происходит красноречивый диалог:

«Помолчали минуту. Фёдор вздохнул и сказал:

— Глубоко, бесконечно жаль, что мы с тобой разномыслим. Ах, Алёша, Алёша, брат мой милый! Мы с тобой люди русские, православные, широкие люди; к лицу ли нам все эти немецкие и жидовские идеишки? Ведь мы с тобой не прохвосты какие-нибудь, а представители именитого купеческого рода.

— Какой там именитый род? — проговорил Лаптев, сдерживая раздражение. — Именитый род! Деда нашего помещики драли, и каждый последний чиновничиска бил его в морду. Отца драл дед, меня и тебя драл отец. Что нам с тобой дал этот твой именитый род? Какие нервы и какую кровь мы получили в наследство? Ты вот уже почти три года рассуждаешь, как дьячок, говоришь всякий вздор и вот написал — ведь это холопский бред! А я, а я? Посмотри на меня... Ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, точно

меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими неизмеримо ниже меня умственно и нравственно; я боюсь дворников, швейцаров, городских, жандармов, я всех боюсь, потому что я родился от затравленной матери, с детства я забит и запуган!.. Мы с тобой хорошо сделаем, если не будем иметь детей. О, если бы дал бог, нами кончился бы этот именитый купеческий род!»<sup>507</sup>

Несмотря на миллионные обороты, дела в фирме Лаптевых ведутся по старинке, без новомодных затей, на азиатский манер: приказчики живут по несколько человек в комнате, во время обеда хлебают из общей миски, хотя перед каждым из них стоит тарелка, и страшатся вступить в брак, «боясь не угодить своею женитьбой хозяину и потерять место»<sup>508</sup>. По сути, фирма Лаптевых представляет собой огромный амбар, ворота которого неукоснительно запираются в девять часов вечера, а жизнь его многочисленных обитателей, служащих у Лаптевых, весьма немногим отличается от тюремного заключения: «недоставало только часового с ружьём»<sup>509</sup>. В фирме практикуются телесные наказания: служащих в амбаре мальчиков за провинности секут розгами. Пороли не только мальчиков. В детстве секли и Алексея, и его сестру Нину. «Я помню, отец начал учить меня или, попросту говоря, бить, когда мне не было ещё пяти лет. Он сёк меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь, каждое утро думал прежде всего: будут ли сегодня драть меня?»<sup>510</sup> Несмотря на все унижения, приказчики считают своих хозяев благодетелями. Но Алексей сомневается в искренности этих чувств и думает, что в глубине души все служащие считают его врагом и «плантатором».

Фёдор гордится, что Лаптевым удалось создать миллионное дело, чванится своей принадлежностью к «именитому купеческому роду» и в глубине души мечтает о новых почестях: дворянстве, чинах, орденах. Выпускник университета не желает брать к себе на службу человека с университетским образованием, с надменностью объясняя брату свою позицию: «Университетские люди для нашего дела не годятся»<sup>511</sup>. Непригодность университетского человека для службы в амбаре

объясняется не отсутствием у него специальных знаний, а чувством собственного достоинства, с которым действительно невозможно будет служить в амбаре. Университетский человек никогда не будет кланяться в ноги, почитая хозяина своим благодетелем. Сам Фёдор Лаптев, хотя и окончил университет, но так и не стал интеллигентным человеком. Он не только не протестует против архаичных порядков в амбаре, но и сам очень скоро становится их неотъемлемой частью: похлопывает покупателей по плечу, кричит на приказчиков и не возражает против телесных наказаний. И старик Фёдор Степанович Лаптев, и его сын Фёдор успех своей торговли расценивают как воздаяние, ниспосланное свыше за их праведный образ жизни, и жаждут признания со стороны окружающих. Подобный ход мысли сродни этике протестантизма, однако если в странах протестантской Европы преуспевший человек не только сам гордился своими достижениями, но и пользовался уважением окружающих, то в России дело обстояло иначе. Драма в семье Лаптевых подтверждает справедливость этого наблюдения. Алексей Лаптев ощущает чувство неловкости за своё богатство и не видит никакой заслуги в том, что фирма с вековой историей процветает.

«Велика важность — миллионное дело! Человек без особенного ума, без способностей случайно становится торгашом, потом богачом, торгует изо дня в день, без всякой системы, без цели, не имея даже жадности к деньгам, торгует машинально, и деньги сами идут к нему, а не он к ним. Он всю жизнь сидит у дела и любит его потому только, что может начальствовать над приказчиками, издеваться над покупателями. Он старостой в церкви потому, что там можно начальствовать над певчими и гнуть их в дугу; он попечитель школы потому, что ему нравится сознавать, что учитель — его подчинённый и что он может разыгрывать перед ним начальство. Купец любит не торговать, а начальствовать, и ваш амбар не торговое учреждение, а застеноч! Да для такой торговли, как ваша, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, и вы сами приготавливаете себе таких, заставляя их с детства кланяться вам в ноги за кусок

хлеба, и с детства вы приучаете их к мысли, что вы — их благодетели»<sup>512</sup>. Однако всё меняется с приходом нечестья в семью Лаптевых.

Старик Лаптев теряет зрение и уже не может заниматься делами. Фёдор сходит с ума. Однако в фирме Лаптевых всё по-прежнему: прежние укоренившиеся порядки обеспечивают её устойчивость. Всё идёт как обычно, как шло десятилетиями. И всё же интеллигенту Алексею Лаптеву, который стыдится, что принадлежит к этому роду, против собственного желания приходится взять дела фирмы в свои руки. Он вынужден переехать в отцовский дом на Пятницкой, который кажется ему тюрьмой. Алексей знакомится с делами и испытывает сильнейший шок: в фирме с миллионными оборотами не было даже бухгалтера, а из конторских книг ничего нельзя было понять. Лаптевы выписывали модные заграничные товары, а всю иностранную корреспонденцию переводил какой-то спившийся дворянин, над которым непрестанно издевались приказчики, называвшие его фитюлькой и поившие чаем с солью. Не испытывая никакой радости от своей деятельности, Алексей Фёдорович начинает каждый день бывать в амбаре и старается завести новые порядки: запрещает сечь мальчиков, глумиться над покупателями, отпускать в провинцию «залежалый и негодный товар под видом свежего и самого модного»<sup>513</sup>. Мало-помалу старые порядки изживаются. Но даже это не приносит радости Алексею Фёдоровичу. Проходит полгода, прежде чем Лаптеву удаётся узнать все коммерческие тайны фирмы и реальный размер своего состояния — только в деньгах и ценных бумагах у него было шесть миллионов рублей. С одной стороны, он ощутил обаяние этих цифр, с другой — понял, что ему придётся себя закабалить и окончательно проститься с мечтами о счастье: занимаясь помимо своей воли делами фирмы, он превратится в раба семейного дела. У него возникает импульсивное желание всё бросить и бежать. Но он понимает, что никогда этого не сделает, и отлично осознаёт, в чём кроется причина такой пассивности: «привычка к неволе, к рабскому состоянию...»<sup>514</sup>. Подоплёка его угнетённого состояния кроется в интеллигентском презрении к

царству Ваала, которое мешает ему понять открывшиеся перед ним новые, практически безграничные возможности и насладиться своей властью над обстоятельствами. В его устах немислимы слова Барона из пушкинского «Скупого Рыцаря»:

Что не подвластно мне? как некий Демон  
Отселе править миром я могу;  
Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;  
В великолепные мои сады  
Сбегутся Нимфы резвою толпою;  
И Музы дань свою мне принесут,  
И вольный Гений мне поработится,  
И Добродетель, и бессонный Труд  
Смирненно будут ждать моей награды.  
Я свистну, и ко мне послушно, робко  
Вползёт окровавленное Злодейство,  
И руку будет мне лизать, и в очи  
Смотреть, в них знак моей читая воли.  
Мне всё послушно, я же — ничему;  
Я выше всех желаний; я спокоен;  
Я знаю мощь мою: с меня довольно  
Сего сознанья...<sup>515</sup>

Разумеется, речь не идёт о том, чтобы использовать открывшиеся перед Лаптевым возможности для сотворения зла или удовлетворения собственного тщеславия. Развитие капитализма в России позволило сконцентрировать в руках частного человека доселе невиданные суммы, и эти огромные деньги могли стать мощным катализатором развития цивилизационных процессов в стране: на них можно было построить новые школы и университеты, больницы и дома для рабочих, наконец, развивать искусство и художественную промышленность. Однако интеллигентный и деликатный человек Алексей Фёдорович Лаптев видит в своих миллионах только бремя.

Таков банальный взгляд русского интеллигента на систему буржуазных ценностей. В этом избитом представлении проявляется ординарность коренного москвича Лаптева. Ведь в это время благодаря поддержке братьев Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых происходило бурное развитие русской реалистической живописи и уже была открыта в Москве Третьяковская галерея. Существовал Абрамцевский художествен-

ный кружок, вела свою просветительскую деятельность княгиня Мария Клавдиевна Тенишева, и несколько лет оставалось до создания Московского Художественного театра и начала выхода ежемесячного иллюстрированного художественного журнала «Мир искусства». Все эти первоклассные достижения русской культуры были бы неосуществимы без деятельной и заинтересованной поддержки крупного капитала.

Три года жизни Алексея Фёдоровича Лаптева, литературного персонажа, созданного чеховской фантазией, совпали по времени с началом Серебряного века в русской литературе и русском искусстве, однако этот хороший и добрый человек, который любит искусство, хотя и плохо в нём разбирается, ухитрился всего этого не замечать. «Привычка к неволе, к рабскому состоянию...» помешала Лаптеву не только бросить семейное дело, но и философски посмотреть на собственную жизнь, осмыслить её в большом времени истории. Впрочем, на это способны лишь незаурядные люди, а Лаптев вполне обыкновенен. В конце повести он безуспешно пытается размышлять о будущем: «И сколько перемен за эти три года... Но ведь придётся, быть может, жить ещё тринадцать, тридцать лет... Что-то ещё ожидает нас в будущем! Поживём — увидим»<sup>516</sup>. И ни автор повести, ни его герой так и не узнают, что История не даст им этих *тридцати* лет. Привычный для них мир рухнет раньше.

Алексей Фёдорович Лаптев — это человек хорошо образованный, очень богатый и глубоко несчастный. Он бывал за границей, хорошо знает жизнь русской провинции и постоянно живёт в Москве. У него нет расхожего оправдания, к которому так часто прибегал русский интеллигент, что провинциальная среда его засасывает. Московский интеллигент Лаптев идёт за обстоятельствами, а не пытается их преодолевать. Провинциальный интеллигент Мисаил Полознев из чеховской повести «Моя жизнь» (1896) настойчиво с ними борется. В его жилах течёт дворянская кровь: прадед был генералом и сражался при Бородине, дед был предводителем дворянства, здравствующий отец — провинциальный архитектор и заметная фигура в губернском

городе. Губернский зодчий был удручающе упрям и бездарен, но в городе не было другого архитектора, и в течение пятнадцати-двадцати лет Полознев-старший застроил столицу губернии похожими друг на друга домами, полностью лишёнными комфорта: все комнаты были проходными, и в каждой оказывалось по две или три лишние двери. «С течением времени в городе к бездарности отца пригляделись, она укоренилась и стала нашим стилем»<sup>517</sup>.

Несмотря на несколько поколений благородных предков, живших исключительно умственным трудом, Мисаил не считает нужным чуждаться тяжёлого физического труда и пытливо пытается найти свой честный путь в жизни. Его отец чрезвычайно гордился древностью рода Полозневых, из поколения в поколение хранивших «святой огонь», поэтому имена, которые он дал своим детям, были весьма претенциозны: Мисаил, что в переводе с древнееврейского означает испрошенный у бога, и Клеопатра, в переводе с греческого — слава отцу. Строго говоря, 25-летнего Мисаила Полознева лишь с известными оговорками можно назвать интеллигентом. Он не получил не только высшего, но даже и законченного среднего образования: из-за «непобедимого отвращения к греческому языку»<sup>518</sup>. Мисаил так и не смог перейти из четвёртого класса гимназии в пятый, несмотря на все усилия репетиторов. Не окончив гимназию и не получив аттестата зрелости, Мисаил лишился возможности поступить в университет и никогда профессионально не занимался сложным умственным трудом. Но его система ценностей, логика рассуждений, постоянное стремление *жить так, как надо*, — всё это ставит перед ним сложные нравственные вопросы и заставляет мучительно искать на них ответ, что позволяет считать Мисаила интеллигентом. Кем он только не побывал, следуя советам родных и знакомых, искренне желавших, чтобы юноша приобрёл общественное положение.

Повесть «Моя жизнь» имеет подзаголовок «Рассказ провинциала». Повествование ведётся от первого лица, и все события жизни Мисаила мы видим его глазами. «...Теперь же, когда мне уже минуло двадцать пять и по-



казалась даже седина в висках, и когда я побывал уже и в вольноопределяющихся, и в аптеках, и на телеграфе, всё земное для меня, казалось, было уже исчерпано, и уже мне не советовали, а лишь вздыхали или покачивали головами»<sup>519</sup>. Все эти годы Мисаил занимался лишь тем, что переписывал бумаги. Эта деятельность казалась ему праздной и лишённой всякого смысла, не говоря уже о «святом огне». Он не имел сословных предрассудков и готов был изменить русло своей жизни, занявшись физическим трудом. В конце XIX века подобный жизненный сценарий для молодого человека из дворянской семьи был в высшей степени неординарен. Одна мысль о том, что его сын Мисаил Полознев станет рабочим, повергала губернского архитектора в шок. Мисаил принял своё решение в то самое время, когда толстовская идея опрощения и жизни за счёт физического труда была весьма популярна в русском образованном обществе, однако принял отнюдь не потому, что воодушевился идеями Толстого. Это — его собственный выбор. Он хочет жить в гармонии с самим собой и заниматься осмысленной деятельностью, не желая идти торной дорогой. Друзья и родственники Мисаила полагали, что он обязан избрать такой род деятельности, которая давала бы ему так называемое общественное положение. Но Мисаил считал всё это фикцией. «То, что вы называете общественным положением, составляет привилегию капитала и образования. Небогатые же и необразованные люди добывают себе кусок хлеба физическим трудом, и я не вижу основания, почему я должен быть исключением»<sup>520</sup>.

Мисаил не сразу пришёл к отрицанию умственного труда. Чехов устами героя «Моей жизни» впервые в русской литературе сформулировал принципиальную разницу между склонностью к умственным наслаждениям и способностью к умственному труду, к творческой деятельности, к приращению нового знания. «Когда-то я мечтал о духовной деятельности, воображая себя то учителем, то врачом, то писателем, но мечты так и остались мечтами. Склонность к умственным наслаждениям, — например, к театру и чтению, — у меня была развита до страсти, но была ли способность к ум-

ственному труду, — не знаю. <...> По всей вероятности, настоящего умственного труда я не знал никогда»<sup>521</sup>.

После того как Мисаила со скандалом выгнали из очередной канцелярии, он, подчинившись уговорам сестры, решил пойти служить телеграфистом на строящейся железной дороге. Это место ему предложил инженер Виктор Иванович Должиков, руководивший строительством дороги. Богатый дом инженера располагался на Большой Дворянской улице, напротив дома Полозневых. В гостиной дома Должикова в момент встречи Мисаила с инженером фактически встретились и взглянули друг на друга два мира, две новые социальные реальности конца века — нисходящая социальная мобильность потомка древнего дворянского рода и восходящая мобильность сына ямщика. Такая встреча была выразительной и весьма характерной приметой времени, когда одни быстро катились вниз, думая отнюдь не о «святом огне», а о куске хлеба, другие же — стремительно возносились вверх на гребне профессионального успеха и материального преуспевания. Убранство дома инженера Должикова поразило Мисаила своим богатством, комфортом и благополучием: «...пахнет счастьем, — и всё, кажется, так и хочет сказать, что вот-де пожил человек, потрудился и достиг, наконец, счастья, возможного на земле»<sup>522</sup>. Прежде, чем он получил место на железной дороге, Мисаил был вынужден выслушать назидательное наставление человека, который сам себя сделал. «Что вы умеете делать? — продолжал он. — Ничего вы не умеете! Я инженер-с, я обеспеченный человек-с, но, прежде чем мне дали дорогу, я долго тёр лямку, я ходил машинистом, два года работал в Бельгии как простой смазчик. Посудите сами, небезнейший, какую работу я могу вам предложить?»<sup>523</sup>

В итоге Мисаил Полознев всё же получил место телеграфиста. В конторе строящейся станции Дубечни, располагавшейся в полутора-двух верстах от старой, давно заброшенной дворянской усадьбы, он встретил Ивана Чепракова, спившегося и опустившегося сына генерала и своего товарища по гимназии. Если Мисаил худо-бедно осилил четыре класса гимназии, то Ивана исключили из второго класса. Некогда очень богатые Чепрако-

вы после смерти генерала разорились и продали своё большое имение Дубечню инженеру Должикову, выговорив право в течение двух лет жить в боковом флигеле барского дома. Генеральша Чепракова не могла тотчас расстаться с привычным укладом жизни и питала надежду, что после окончания строительства железной дороги инженер сделает её обожаемого Жана начальником станции Дубечни.

Инженер Должиков очень хорошо зарабатывал, имел стабильное общественное положение и полагал, что вкладывать деньги в покупку недвижимости выгоднее, чем покупать ценные бумаги, и поэтому, взяв ссуду в банке, он в рассрочку приобрёл в губернии три порядочных имения. «Тихий, голубой плёс манил к себе, обещая прохладу и покой. И теперь всё это — и плёс, и мельница, и уютные берега принадлежали инженеру!»<sup>524</sup> Вот он — порождённый развитием капитализма в России новый хозяин жизни, за которого в своё время никто не хлопотал, которому никто не протезировал, помогая поскорее и полегче сделать карьеру; хозяин, считавший себя вправе хамить подчинённым, презирать Полознева и Чепракова, за глаза обзывая их «пьяницами, скотами, сволочью»<sup>525</sup>. С мелкими служащими инженер не церемонился и выгонял их со службы без объяснений. После грубой выходки Должикова, пообещавшего через две недели уволить Чепракова и Полознева, Мисаил круто и резко изменил свою жизнь, бросил службу в конторе и стал простым рабочим, получающим подённую плату, у подрядчика малярных работ Андрея Ивановича Редьки, любившего повторять тоном философа: «Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу»<sup>526</sup>. Так началось нравственное перерождение Мисаила: он стал *жить не по лжи* и поступать по совести.

«Я жил теперь среди людей, для которых труд был обязателен и неизбежен и которые работали, как ломовые лошади, часто не сознавая нравственного значения труда и даже никогда не употребляя в разговоре самого слова “труд”; около них и я тоже чувствовал себя ломовиком, всё более проникаясь обязательностью и неизбежностью того, что я делал, и это облегчало мне жизнь, избавляя от всяких сомнений.

В первое время всё занимало меня, всё было ново, точно я вновь родился. <...> А главное, я жил на свой собственный счёт и никому не был в тягость!»<sup>527</sup>

Став маляром, Мисаил не только пережил нравственное возрождение, но и увидел изнанку городской жизни. Рабочих обманывали и обсчитывали, их оскорбляли. В лавках рабочим старались сбыть тухлое мясо, старую муку и спитой чай. Рабочие были совершенно бесправны, и даже свои честно заработанные деньги они каждый раз должны были выпрашивать как милостыню. Живший в соответствии с нравственным законом, Мисаил неожиданно обнаружил, что почти все провинциальные интеллигенты берут взятки. «Во всём городе я не знал ни одного честного человека»<sup>528</sup>. Инженеры, строившие железную дорогу, потребовали взятку в 50 тысяч рублей за то, чтобы вокзал был построен в городе, а не в пяти верстах от него. Взятки брал губернский архитектор, отец Мисаила, воображавший, что ему дают деньги из уважения к его душевным качествам. Гимназисты, чтобы перейти из класса в класс, давали взятки преподавателям. Во время призыва новобранцев взятки брали и жена воинского начальника, и врачи. Все мясные лавки и трактиры были обложены налогом, который шёл в карман городского врача и ветеринара. В уездном училище торговали свидетельствами об окончании, дававшими льготу при призыве в армию. Во всех городских управах каждому просителю кричали вслед: «Благодарить надо!» Однако и сами маляры были ничуть не лучше своих заказчиков. Кража хозяйской олифы и краски не считалась у них за преступление, «и замечательно, что даже такой справедливый человек, как Редька, уходя с работы, всякий раз уносил с собою немножко белил и олифы»<sup>529</sup>. Рабочие не стыдились просить на чай и, получив гривенник, униженно благодарили. «Но, главное, что больше всего поражало меня в моём новом положении, это совершенное отсутствие справедливости, именно то самое, что у народа определяется словами: “Бога забыли”. Редкий день обходился без мошенничества. Мошенничали и купцы, продававшие нам олифу, и подрядчики, и ребята, и сами заказчики»<sup>530</sup>. Одни наживали тысячи, другие довольствовались 30—40 копейками.

Если бывшие знакомые отвернулись от маляра Полознева, то дочь инженера Должикова Маша, красивая и образованная девушка, учившаяся в петербургской консерватории и даже целую зиму певшая в частной опере, обратила на Мисаила пристальное внимание. Одета в парижские наряды и привыкшая к изысканному комфорту, экстравагантная Маша сильно скучала в губернской глуши и в опрощении Мисаила увидела нечто из ряда вон выходящее. Он показался ей необыкновенно оригинальным и интересным человеком. Настолько интересным, что она решила выйти за него замуж. Маша и Мисаил поселились в Дубечне, чтобы заняться сельским хозяйством в имении. Маша считала, что Мисаил должен быть последователен в своих поступках: малярные работы давали ему деньги, а не хлеб; по её же мнению, следовало заняться физическим трудом по добыванию хлеба. «Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить или делать что-нибудь такое, что имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству, например, пасти коров, копать землю, рубить избы...»<sup>531</sup> Так началась новая глава в жизни Мисаила Полознева.

Деревня встретила их неприветливо, почти враждебно. Так встречают новичка в школе. Деревенские мужики и бабы пытались выжить Полозневых из Дубечни, всячески осложняя им жизнь в собственном имении. «В первое время на нас смотрели, как на людей глупых и простоватых, которые купили себе имение только потому, что некуда девать денег. Над нами смеялись. В нашем лесу и даже в саду мужики пасли свой скот, угоняли к себе в деревню наших коров и лошадей и потом приходили требовать за потраву. Приходили целыми обществами к нам во двор и шумно заявляли, будто мы, когда косили, захватили край какой-нибудь не принадлежащей нам Бышеевки или Семенихи; а так как мы ещё не знали точно границ нашей земли, то верили на слово и платили штраф; потом же оказывалось, что косили мы правильно»<sup>532</sup>. Машу тяготили эти постоянные недоразумения. Она возмущалась несправедливой, как ей казалось, бранью и непрерывным попрошайничеством мужиков и баб по любому поводу и без оно-

бой спровоцированный деревенскими и уже разгорающийся конфликт удавалось легко потушить лишь после того, как Маша посылала им деньги на полведра или ведро водки. «Этак с ума сойдёшь! — волновалась жена. — Что за народ! Что за народ!»<sup>533</sup>

Но больше всего огорчений и разочарований доставила Маше новая школа, которую она решила построить на свои деньги в большом селе Куриловке, в трёх верстах от Дубечни. В церкви этого села венчались Мисаил и Маша. Старая школа была ветхой и тесной: по гнилому полу с опаской ходили дети из четырёх окрестных деревень. Три раза пришлось собирать сельский сход, чтобы убедить крестьян принять решение о строительстве новой школы и выделить под неё общинную землю, — и после каждого схода крестьяне окружали Машу и Мисаила, выпрашивая деньги на ведро водки. Маша оплатила все строительные работы и весь строительный материал, который мужики обязались доставлять из города на своих подводах. Однако неурядицы и дразги на этом не закончились. Крестьяне по-прежнему недружелюбно относились к новым хозяевам Дубечни. Мужики и бабы все возы с брёвнами, тёсом и песком везли сначала в Дубечню, где после шума, крика и брани получали с Маши деньги на очередные полведра водки, а лишь затем доставляли строительный материал в Куриловку. «Но обиднее всего было то, что происходило в Куриловке на постройке; там бабы по ночам крали тёс, кирпич, изразцы, железо; староста с понятиями делал у них обыск, сход штрафовал каждую на два рубля, и потом эти штрафные деньги пропивались всем миром»<sup>534</sup>. Маша мучительно переживала все эти многочисленные неурядицы. День ото дня росло её раздражение против крестьян и разочарование в деревенской жизни.

«Она негодовала, на душе у неё собиралась накипь, а я между тем привыкал к мужикам, и меня всё больше тянуло к ним. В большинстве это были нервные, раздражённые, оскорблённые люди; это были люди с подавленным воображением, невежественные, с бедным, тусклым кругозором, все с одними и теми же мыслями о серой земле, о серых днях, о чёрном хлебе, люди, ко-

торые хитрили, но, как птицы, прятали за дерево только одну голову, — которые не умели считать. Они не шли к вам на сенокос за двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы купить четыре ведра. В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всём том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая в общем держится на каком-то крепком, здоровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своею сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, всё же, приглядываясь к нему поближе, чувствуешь, что в нём есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле — правда и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость. Я говорил жене, что она видит пятна на стекле, но не видит самого стекла; в ответ она молчала или напевала, как Степан: “у-лю-лю-лю”... Когда эта добрая, умная женщина бледнела от негодования и с дрожью в голосе говорила с доктором о пьянстве и обманах, то меня приводила в недоумение и поражала её забывчивость. Как могла она забыть, что её отец, инженер, тоже пил, много пил, и что деньги, на которые была куплена Дубечня, были приобретены путём целого ряда наглых, бесовестных обманов? Как могла она забыть?»<sup>535</sup>

Ни Мисаил, ни Маша не думали ни о высоких идеалах, ни о своём долге перед народом, не пытались построить идеал Царства Божия на земле в принадлежащей им Дубечне. Они просто искали свой честный путь в жизни, старались жить своим трудом и выстроили добротную сельскую школу на 60 учеников. Лишь после того, как строительство школы было завершено, крестьяне перестали враждебно относиться к Мисаилу и Маше, попросили у них прощения и приняли их. Однако Маше, с её быющей через край энергией, артистическими талантами и практически неограниченными материальными возможностями, уже было слишком тесно в Дубечне. Её увлечение книгами по сельскому хозяйству и простотой сельской жизни оказалось кратковременным и преходящим. Такой же краткой оказалась и её любовь к Мисаилу. Соотнеся собственные уси-

лия с достигнутым результатом, Маша сделала неутешительный вывод. Попытка быть полезной крестьянам оказалась неудачной: построенная на её деньги добротная школа казалась Маше слишком слабым противником «против таких стихийных сил, как гуртовое невежество, голод, холод, вырождение»<sup>536</sup> крестьянской массы Российской империи. Для того чтобы покончить с этими стихийными силами, мало было одной человеческой жизни, нужны были целенаправленные усилия нескольких поколений. В этом была драма русского образованного общества конца XIX века. «Хмурым людям» Чехова была чужда вера «новых людей» Чернышевского в идеалы и скорое, ещё при их жизни пришествие светлого будущего. Образованные люди конца века понимали, что им не доведётся увидеть ощутимые и значимые плоды своих усилий, а все их достижения окажутся каплей в море. Вековая нищета и бескультура способны были поглотить без следа любые самоотверженные попытки создать оазис цивилизации на бескрайних российских просторах. Надо было вложить всю душу и пожертвовать несколькими десятилетиями собственной жизни для того, чтобы добиться ощутимого результата, однако и в этом случае не было никаких гарантий, что этот оазис не погибнет вместе со смертью своего создателя.

Смерть создателя, не сумевшего воспитать достойного преемника и передать ему дело всей жизни, означала неминуемую гибель самого этого дела. Об этом Афанасию Афанасьевичу Фету, в течение многих лет трудившемуся над обустройством сначала Степановки, а затем — Воробьёвки, постоянно говорили как его работники, так и соседи. Они оказались правы. Великолепно обустроенные имения пришли в запустение после смерти знаменитого лирического поэта и удачливого помещика пореформенной поры. Мелехово, облагороженное хозяйской рукой Чехова, ожидала мерзость запустения: после того как Антон Павлович переехал в Ялту, бывшее чеховское имение так и не обрело достойного хозяина и на глазах стало хиреть. Печальная российская действительность постоянно подтверждала справедливость этого неутешительного



вывода. Подтверждала как на опыте жизни реальных исторических деятелей, так и на примере литературных героев. Известный в России садовод Егор Семёнович Песоцкий из повести Чехова «Чёрный монах» (1894) понимал, что после его смерти итог трёх десятилетий его жизни — великолепный фруктовый сад, заложенный ещё в 1862 году, — не продержится и одного месяца. Так и произошло. По сути, фруктовый сад Песоцкого — это один из центральных персонажей повести. Литературная родословная этого неодушевлённого персонажа с драматической судьбой была продолжена Чеховым в комедии «Вишнёвый сад» (1903).

### *Комедия о вишнёвом саде*

Эта последняя чеховская пьеса содержит в себе квинтэссенцию всей русской жизни от отмены крепостного права до кануна первой русской революции 1905 года. Одним из центральных персонажей «Вишнёвого сада» является 87-летний старик лакей Фирс, бывший крепостной господ Гаевых, родившийся ещё во времена императора Александра I. «А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю, остался при господах...»<sup>537</sup> Верный барский холоп Фирс никогда не пытался *по капле выдавливать из себя раба* и всегда радовался тому, что был «при господах». Таков самый важный архетип рабского сознания: *вручить себя* и свою судьбу господину и до самой смерти оставаться при нём. Для Фирса отмена крепостного права — это «несчастье»<sup>538</sup> и крах привычного и устойчивого миропорядка, доступного его пониманию.

«Фирс. И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают.

*Лопухин.* Прежде очень хорошо было. По крайней мере, драли.

*Фирс (не расслышав).* А ещё бы. Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймёшь ничего»<sup>539</sup>.

Это — уцелевшая руина давно прошедшего времени, хранящая память о былом величии своих разоривших-

ся господ. (Фирс, *thyrsos*, в переводе с греческого — это украшенный цветами и виноградными листьями жезл, который носили во время праздничных процессий.) Для старого и верного лакея его нынешние господа и владельцы имения по-прежнему остаются детьми. Пьеса начинается с авторской ремарки: «Комната, которая до сих пор называется детской»<sup>540</sup>. Овдовевшая шесть лет назад Любовь Андреевна Раневская, имеющая 17-летнюю дочь Аню и 24-летнюю приёмную дочь Варю, и её брат Леонид Андреевич Гаев поразительно инфантильны: их поведение сходно с поведением детей, ещё не научившихся отвечать за свои поступки. Потомки бывлых владельцев Фирса живут в мире грёз и иллюзий: ни их картина мира, ни их система ценностей совершенно не соответствуют реальной действительности, и старый лакей самым фактом своего существования легитимизирует их настойчивое нежелание посмотреть в глаза реальности. Стареющий Гаев, которому уже исполнился 51 год, нигде не служит и ничем не занят. Сын состоятельных родителей уже совершенно разорён, но не желает с этим считаться. Да и разорился он как-то по-детски. «Гаев (*кладёт в рот леденец*). Говорят, что я всё своё состояние проел на леденцах... (*Смеётся*).»<sup>541</sup>. Любовь Андреевна Раневская пять лет прожила в Париже и вернулась в имение без копейки денег. Её дочь Аня с грустью констатирует неприглядную картину, которую она застала в Париже. «Дачу свою около Ментоны она уже продала, у неё ничего не осталось, ничего. У меня тоже не осталось ни копейки, едва доехали. И мама не понимает! Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям дает по рублю»<sup>542</sup>. Годы парижской жизни не только подорвали благосостояние Раневской, но и поставили на грань уничтожения вишнёвый сад — неодошевлённое действующее лицо пьесы.

Действие чеховской комедии начинается с приезда Раневской в своё имение на рассвете майского дня, когда зацвели вишнёвые деревья. Имение было заложено в банке, чтобы оплатить парижскую жизнь Раневской. Своевременно заплатить проценты по банковскому долгу не удалось. Это очень важное обстоятельство: Лю-

бовь Андреевна промоталась в пух и прах, у неё нет средств даже на то, чтобы выплатить проценты по взятому в банке займу, не говоря уже об уплате всего долга полностью. Гаев с детской наивностью предлагает ей прибегнуть к новому займу: «...кажется, вот можно будет устроить заём под векселя, чтобы заплатить проценты в банк»<sup>543</sup>. Но это не решит проблему. Даже если Раневская чудом найдёт деньги для уплаты процентов, то эта выплата будет лишь кратковременной отсрочкой: у неё нет и не может быть средств для погашения всего долга. Имение, славное своим роскошным вишнёвым садом, о котором упоминается даже в Энциклопедическом словаре, будет продано банком за долги, и торги назначены на 22 августа. Таким образом, у Раневской есть лишь три месяца, чтобы переломить ситуацию и спастись от окончательного разорения. Что же за этим стоит? Если имение с барским домом и вишнёвым садом будет продано, то Раневская, Аня, Варя и Гаев просто-напросто лишатся крыши над головой: им будет не только не на что, но и негде жить. Помимо господ последнего пристанища лишатся старый лакей Фирс, горничная Дуняша, гувернантка Шарлотта Ивановна, конторщик Епиходов и доживающие свой век слуги, обитающие в барском доме ещё с дореформенных времён. О их существовании мы узнаём из реплики Вари: «В старой людской, как тебе известно, живут одни старые слуги: Ефимьюшка, Поля, Евстигней, ну и Карп»<sup>544</sup>. Эти бывшие барские дворовые, весь свой век прожившие «при господах» и ещё в достославные дореформенные времена вручившие им самих себя, ныне считают себя в праве попрекать Варю за скудость своего рациона. «Только вот, слышу, распустили слух, будто я велела кормить их одним только горохом. От скудости, видишь ли...»<sup>545</sup>

Но даже реальная угроза трагической перспективы бесповоротного разорения и неотвратимой нищеты не заставляют ни Раневскую, ни Гаева трезво взглянуть в глаза реальности. Чехов назвал свою пьесу *комедией*. Персонажи постоянно говорят о грозящей катастрофе, но в течение всего сценического действия не делают ничего, чтобы переломить безнадёжную ситуацию. Са-

мое смешное, что из этой безвыходной ситуации есть реальный выход, основанный на понимании новой экономической реальности. Купец Ермолай Алексеевич Лопахин, сын мужика, который ещё в дореформенное время был крепостным у деда и отца Раневской и Гаева, предлагает прямым потомкам господ своего отца и деда: «Вот мой проект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишнёвый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода»<sup>546</sup>. Лопахинский проект основан на тонком и точном понимании новых российских экономических реалий. Тщательная проработка Лопахиным не только основной идеи, но и мельчайших деталей и частностей предлагаемого проекта, который учитывает и близость города, и наличие недавно сооружённой железной дороги, и возросшую в результате этого арендную плату за землю под предполагаемые дачи — всё убеждает в том, что этот сын и внук крепостного стал богачом неспроста. И если раньше русская классическая литература лишь обличала приобретателя, то Чехов был первым, кто понял, что за богатством *приобретателя* стоит талант *предпринимателя*, реализовавшийся в успешной коммерческой деятельности. Лопахин — это первый художественно убедительный образ предпринимателя в отечественной литературе. В этом его принципиальное отличие от Штольца из романа Гончарова «Обломов».

Ещё в начале мая 1889 года сам Чехов в письме Суворину высказался о литературных персонажах этого классического романа очень резко: «Эпохи они не характеризуют и нового ничего не дают. Штольц не внушает мне никакого доверия. Автор говорит, что это великолепный малый, а я не верю. Это продувная bestia, думающая о себе очень хорошо и собою довольная. Наполовину он сочинён, на три четверти ходулен»<sup>547</sup>. Если автор «Обломова» лишь декларирует растущее как на дрожжах богатство Штольца, то автор «Вишнёвого сада» показывает сам механизм быстрого обогащения Лопахина. В хронотопе «Вишнёвого сада», в художест-

венно освоенном Чеховым времени-пространстве комедии, Лопехин предстаёт перед нами в той масштабной предпринимательской деятельности, которой он с успехом занимается. Лопехин — это человек, который сам себя сделал. Его богатство — это закономерный итог ежедневных энергичных усилий и работы на износ: он встаёт «в пятом часу утра» и трудится «с утра до вечера»<sup>548</sup>. К такой работе не приспособлены ни Гаев, ни Раневская. Более того, они даже не в состоянии вникнуть в суть предложенного им выхода и принципиально не желают воспринимать реальную картину мира, живущего по новым экономическим законам. И если вчерашняя парижанка Раневская не может сразу понять существо дела, то Гаев безапелляционно заявляет: «Извините, какая чепуха!»<sup>549</sup> И когда Лопехин вновь терпеливо пытается растолковать ему смысл своего проекта, Гаев возмущённо повторяет: «Какая чепуха!»<sup>550</sup> Лопехин уезжает по своим делам на три недели. Казалось бы, три недели — это достаточный срок, чтобы всё обдумать и принять решение. Однако Раневская и Гаев продолжают надеяться на чудо и отказываются от реализации проекта. С детской непосредственностью Гаев перечисляет возможные способы решения проблемы.

*«Гаев.* Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима. Я думаю, напрягаю мозги, у меня много средств, очень много и, значит, в сущности ни одного. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство, хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека, хорошо бы поехать в Ярославль и попытаться счастья у тетушки-графини. Тетка ведь очень, очень богата.

*Варя (плачет).* Если бы Бог помог»<sup>551</sup>.

В их картине мира нет места ни дачам, ни дачникам.

*«Любовь Андреевна.* Дачи и дачники — это так пошло, простите.

*Гаев.* Совершенно с тобой согласен»<sup>552</sup>.

Для Раневской и Гаева их старый вишнёвый сад — это не просто множество фруктовых деревьев, которые давно уже не приносят им никакого дохода, а овеществлённая историческая память о прошлом дворянского рода, неотъемлемая часть их внутреннего мира и их са-

мих. «Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишнёвого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать его, то продавайте и меня вместе с садом...»<sup>553</sup> Раневская и Гаев наслаждаются, глядя на белые цветущие деревья. Любовь Андреевна вспоминает своё безмятежное детство, в какое-то мгновение ей даже показалось, что её покойная мама идёт по саду в белом платье: склонённое белое деревце рядом с беседкой напомнило ей женский силуэт. Действительно, лишь раз в году цветут вишни, и цветущие вишнёвые деревья выглядят очень поэтично. Раневская, согласно чеховским ремаркам, смотрит в окно на сад и смеётся от радости: «Весь, весь белый! О, сад мой! После тёмной, ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя...»<sup>554</sup>

Что же стоит в действительности за этой поэтической картиной? Старый вишнёвый сад уже умер. Белое цветение деревьев подобно белому погребальному савану. Лопухин делает очень точный вывод: «Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает»<sup>555</sup>. Вишнёвое дерево требует тщательного ухода и теплоты человеческих рук. Если за деревом не ухаживать, то оно дичает: сначала дерево плодоносит раз в два года, вишня становится мелкой и невкусной, а затем дерево и вовсе перестаёт давать плоды. Усадебную жизнь невозможно представить себе без традиционного чая из самовара с вареньем. Чехов всегда очень точен в деталях: на протяжении четырёх сценических действий герои пьесы ни разу не пьют чай с вишнёвым вареньем. Судя по всему, варенье уже давно перестали варить. Лишь во времена крепостного права, когда господа Гаевы были «при мужиках», у них не было недостатка в работниках, крепостной труд был дешёв, а сад приносил не только вишню, но и хороший доход.

«Фирс. В прежнее время, лет сорок-пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и, бывало...

Гаев. Помолчи, Фирс.

*Фирс.* И, бывало, сушёную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушёная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... Способ тогда знали...

*Любовь Андреевна.* А где же теперь этот способ?

*Фирс.* Забыли. Никто не помнит»<sup>556</sup>.

Это был золотой век дворянской культуры и золотой век вишнёвого сада. Но во время сценического действия старый сад — это такая же руина давно прошедшего времени, как и старый лакей Фирс. В пореформенной России нужны были наличные деньги, чтобы оплачивать труд наёмных работников. Однако госпожа Раневская предпочитала тратить взятые в долг под залог усадьбы деньги в Париже, а не вкладывать их в обустройство своего наследственного имения, что означало не только вывоз капитала из России, но неминуемое разорение её родового дворянского гнезда и гибель вишнёвого сада. Такова реальность во всей её наготе. Но даже показавшаяся на пороге дома неотвратимая нищета не заставляет Леонида Андреевича Гаева, последнего представителя старого дворянского рода, отказаться от многолетней привычки мыслить абстрактными категориями и произносить выспренние речи о светлых идеалах. «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твоё существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (*сквозь слёзы*) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания»<sup>557</sup>. Гаев считает себя человеком 80-х годов XIX века и гордится этим. Действительно, его обращённая к шкафу речь — это набор штампов, которые даже в 1880-е годы воспринимались как пережиток эпохи 1860-х годов, а в начале нового, XX века выглядели уже полнейшим анахронизмом.

Гаев не только проел своё состояние на леденцах, но и проболтал всю свою жизнь. Рассуждая об «идеалах добра и справедливости», Леонид Андреевич ухитряется не замечать те новые возможности, которые открылись

перед предприимчивым человеком в эпоху развития капитализма в России. Начиная со второй половины XIX века железная дорога, *чугунка* — это центральный неодошевлённый персонаж русской классической литературы и русской реалистической живописи. Вспомним поэму Некрасова, «Анну Каренину» и «Крейцерову сонату» Толстого, стихотворения Блока, картины передвижников. Для Гаева прошедшая рядом с имением железная дорога хороша лишь тем, что позволяет ему съездить в город, чтобы позавтракать в ресторане. Для Лопехина — это возможность быстро добраться по своим коммерческим делам до Харькова или Москвы и удобный случай заработать деньги за счёт резко вздорожавшей земли. Во время аукциона Ермолай Лопехин даёт 90 тысяч сверх долга Раневской банку, обходит всех конкурентов и становится новым хозяином имения, где его отец и дед были крепостными. Лопехин купил имение с обременением полностью выплатить долг Раневской банку и проценты по этому долгу. Конфликт между сохранением исторической памяти о прошлом и экономической выгодой решается в пользу последней. Нет никакого сомнения, что новый хозяин старого дворянского гнезда, со знанием дела вложивший эти большие деньги в покупку имения, вырубит вишнёвый сад и осуществит свой дачный проект. Топоры начинают стучать в тот момент, когда бывшая хозяйка усадьбы навсегда покидает своё родовое гнездо. Так заканчивается комедия.

Но в России эту пьесу никогда не воспринимали и не ставили как комедию. «Вишнёвый сад» рассматривали исключительно как драму Раневской, этой тонкой поэтической натуры, забывая о том, что эта «великолепная», по словам Лопехина, женщина в конце пьесы уезжает в Париж, взяв с собой те самые 15 тысяч рублей, которые богатая графиня-бабушка дала ей на погашение долга. При этом она оставляет свою ещё не закончившую гимназию семнадцатилетнюю дочь Аню без средств к существованию. И если о всеми забытом в заколоченном доме старом Фирсе в обязательном порядке пишут во всех учебниках, а слова «Фирса забыли» стали крылатыми, то об оставленной матерью факти-



чески на произвол судьбы Ане не вспоминает никто. Именно эта чисто российская безответственность перед самим собой и своими близкими, это постоянное упование на «авось» и привели к катастрофе. Наиболее ярким воплощением неистребимой веры в «русский авось» является второстепенный персонаж «Вишнёвого сада» помещик Симеонов-Пищик. «Не теряю никогда надежды. Вот, думаю, уж всё пропало, погиб, ан глядь, — железная дорога по моей земле прошла, и... мне заплатили. А там, гляди, ещё что-нибудь случится не сегодня-завтра...»<sup>558</sup> Этот несколько окарикатуренный персонаж вечно занимает у всех деньги, вечно в долгах, но всегда уповает на счастливый случай. И, действительно, Симеонову-Пищику необыкновенно повезло. В тот самый момент, когда начинается вырубка сада, он вновь появляется на сцене, чтобы сообщить радостную весть: на его земле найдена «какая-то белая глина»<sup>559</sup>, и предприимчивые англичане взяли его участок земли в аренду на 24 года, что и позволило Пищику расплатиться с долгами. Однако ни автор пьесы, ни её первые зрители не ведали, что у старой России нет в запасе этих двадцати четырёх лет.

Чехов настаивал, что «Вишнёвый сад» — это комедия. Но его не понимали даже Станиславский и Немирович-Данченко. Даже в наши дни, когда минуло более столетия с момента написания пьесы, комедийность «Вишнёвого сада» воспринимается как мнимость. Однако если вдуматься — это самая настоящая комедия, центральные персонажи которой ведут бесконечные разговоры на краю пропасти, вместо того чтобы действовать, и в упор не видят очевидного выхода из их ситуации. Впрочем, если бы Раневская и Гаев приняли предложенный Лопахиным выход и успешно реализовали его проект, то это была бы не просто совсем другая пьеса, а совсем другая страна. Комедийность ситуации состояла в том, что несколько поколений русской интеллигенции предпочитали испытывать «миллион терзаний», а не искать реальный выход в предлагаемых жизненных обстоятельствах. Но такова была система ценностей образованных людей. Именно так они смотрели на мир, нимало не заботясь о соответствии своей картины мира с реальной действительностью. И в этой

картине мира «хорошая, добрая, славная»<sup>560</sup> Раневская была и остаётся тонкой и страдающей натурой, а Лопухин — новым грубым хозяином жизни, почти насильником: «кулаком», «хамом», «хищным зверем»<sup>561</sup>. Понять суть вещей способны были немногие.

Евгений Иванович Ламанский (1825—1902), выдающийся банковский деятель, стоявший у истоков создания Государственного банка и банковской системы пореформенной России, в своих воспоминаниях подвёл неутешительный итог безуспешным попыткам дворянства приспособиться к новым реалиям: «...Дворянское сословие за время существования крепостного права привыкло к даровому и обязательному крестьянскому труду, лишившись которого оно при недостатке в развитии неспособно было поставить на правильное основание своё хозяйство. Вместе с тем приобретённые многими помещиками путём реализации банковых билетов и выкупных свидетельств средства были затрачены не на улучшение хозяйства, а на поездки за границу и разные непроизводительные расходы. Впоследствии, с открытием общественных и частных земельных банков, помещики, разумеется, воспользовались предоставляемым им этими банками способом закладывать земли и снова заключили долги *без всяких соображений* (курсив мой. — С. Э.) о возможности уплачивать ложившиеся на них проценты. Результатом неумения приспособиться к новым условиям хозяйства явилось постепенное обеднение помещиков и постоянные жалобы их на изменение старого порядка вещей»<sup>562</sup>.

Сам Чехов, безусловно, это понимал. Размышления известного финансиста, умершего за год до написания пьесы, воспринимаются как развернутый комментарий к «Вишнёвому саду», а сама комедия является художественной иллюстрацией к этим размышлениям. Однако своё понимание экономической сути происходящих процессов Чехов вложил в уста нелепого Пети Трофимова — вечного студента, недотёпы, «облезлого барина»: «Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждо-

го ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... Владеть живыми душами — ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живёте в долг, на чужой счёт, на счёт тех людей, которых вы не пускаете дальше передней...»<sup>563</sup>

Но Антон Павлович Чехов написал не плоскую социальную драму, в которой запечатлел экономические реалии своего времени, а великую пьесу на все времена. В ней живут так, как могут, и искренне страдают живые люди, а не ходульные сценические персонажи. И какой бы нелепой и смешной ни выглядела их жизнь с точки зрения рационального поведения, они именно так воспринимают этот мир, неотъемлемой частью которого являются. Жизнь всегда богаче и сложнее любых точно рассчитанных схем и теорий. Неуловимая в своей прелести Раневская, многословный Гаев, восторженная Аня, вечный студент Петя Трофимов, несчастливый миллионер Лопухин — всем им мы продолжаем сопереживать, ибо не сомневаемся в подлинности их чувств. А мудрый Чехов отразил всю сложность человеческой природы, потому что и мы живём, как умеем. И каким бы комичным ни был сам Петя Трофимов, падающий с лестницы и теряющий калоши, его слова и сегодня звучат исключительно злободневно: «Мы отстали по крайней мере лет на двести, у нас нет ещё ровно ничего, нет определённого отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьём водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня»<sup>564</sup>.

Мы не знаем, как сложится судьба Ани, устремившейся к новой жизни, но мы очень хорошо знаем, во-первых, какой оказалась эта новая жизнь и, во-вторых, как складывались женские судьбы других чеховских героинь, с большей или меньшей решительностью порывавших с устоявшимся укладом жизни. Судьбы этих женщин помогают нам наглядно представить жизнь русской интеллигенции перед революцией.

Эманципэ или эмансипе, эманципантка — так со времён романа Тургенева «Отцы и дети», впервые опубликованного в 1862 году в февральской книжке журнала «Русский вестник», называли в России женщину, стремящуюся к равноправию с мужчинами и старающуюся его осуществить<sup>565</sup>. В этом заимствованном из французского языка слове, употреблённом в языковом контексте русского классического романа, чувствовалась нескрываемая ирония. Виной тому была Авдотья Никитишна (или Евдоксия) Кукшина — первая русская эмансипированная женщина, запечатлённая на страницах художественного произведения. Тургеневская фраза «“эмансипе” вроде Кукшиной»<sup>566</sup>, вложенная автором в уста нигилиста Базарова, стала крылатой. Иван Сергеевич Тургенев создал окарикатуренный образ провозвестницы сексуальной революции в России — свободной от предрассудков передовой женщины, не живущей со своим законным мужем и ведущей свободный образ жизни. По воле автора первая русская «прогрессистка» получила «говорящую» фамилию, в которой наряду с назидательностью слышится и пародийно-иронический обертон. Кукша — это дурно, неопрятно, неуклюже одетая женщина<sup>567</sup>. Тургенев несколько раз подчёркивает, что Кукшина неряшлива и неопрятна. Помимо этого она некрасива, претенциозна, неумна и вульгарна.

«Бумаги, письма, толстые нумера русских журналов, большею частью неразрезанные, валялись по запылённым столам; везде белели разбросанные окурки папирос. На кожаном диване полулежала дама, ещё молодая, белокурая, несколько растрёпанная, в шёлковом, не совсем опрятном, платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове. <...>

В маленькой и невзрачной фигурке эмансипированной женщины не было ничего безобразного; но выражение её лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: “Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружиишься (ломаешься, кривляешься. — С. Э.)?” И у ней, как у Ситнико-

ва, вечно скребло на душе. Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и между тем что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать; всё у ней выходило, как дети говорят — нарочно, то есть не просто, не естественно»<sup>568</sup>.

Кукшина курит, что в то время воспринималось как вульгарность. «Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала её и закурила»<sup>569</sup>. К губернатору госпожа Кукшина «явилась на бал безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райскою птицею в волосах»<sup>570</sup>.

Госпожа Кукшина — это вымышленный образ. Но и в реальной действительности в течение длительного времени господствовал несколько брезгливый взгляд на женщин, открыто отвергающих основы традиционной морали. Князь Владимир Фёдорович Одоевский 28 апреля 1866 года записал в дневнике: «...одно из правил нигилистов не быть опрятным. Что за гадость, особенно если они живут с мужчинами в плотском соединении; от них должно вонять нестерпимо»<sup>571</sup>.

В Отчёте Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и корпуса жандармов за 1869 год генерал-адъютант граф Пётр Андреевич Шувалов, главноначальствующий Третьего отделения и шеф жандармов, в разделе «Женский вопрос и нигилизм» всеподданнейше докладывал императору Александру II, что общественное движение в России «создало эмансипированную женщину, стриженую, в синих очках, неопрятную в одежде, отвергающую употребление гребня и мыла и живущую в гражданском супружестве с таким же отталкивающим субъектом мужеского пола или с несколькими из таковых»<sup>572</sup>. И Тургенев, и граф Шувалов особое внимание обращали на неопрятность и неряшливость эмансипированных женщин. И этот клишированный взгляд закрепился надолго.

Однако в 80-е и 90-е годы XIX века русские женщины фактически уже обрели вожеленную свободу: в глазах образованного общества церковный брак лишил-

ся ореола святости и незыблемости. И хотя сам развод оставался процедурой сложной, длительной и дорогостоящей, и мужчины и женщины строили свою частную жизнь, не считаясь с этим обстоятельством. Год от года гражданский брак, как уже было сказано, всё сильнее теснил брак церковный. Граф Алексей Павлович Игнатьев, в 1873—1881 годах командовавший Кавалергардским полком, был одним из тех, кто строго стоял на страже незыблемости семейных уз и святости семейных устоев в офицерской среде своего полка, что в то время было уже достаточно архаичным. При этом командир полка ухитрился сохранить неплохие взаимоотношения с обществом кавалергардских офицеров. «Два других офицера остались тоже в хороших отношениях с Алексеем Павловичем, несмотря на то, что он потребовал их одновременного ухода из полка. Причина была уважительная: один из них отбил жену у другого»<sup>573</sup>. И если в императорской лейб-гвардии начальство по-прежнему строго следило за так называемой чистотой нравов офицерского корпуса и развод с женой вне зависимости от причин означал конец карьеры и неизбежный выход в отставку, то гражданские чиновники пользовались гораздо большей свободой.

Вспомним начало чеховской «Дуэли». Чехов, как всегда, исключительно точен в деталях. Главный герой повести Иван Андреевич Лаевский появляется перед нами в форменной фуражке Министерства финансов. Внимательные читатели повести, впервые опубликованной в 1891 году на страницах газеты «Новое время», не могли не обратить внимания на эту выразительную деталь, которая в то время не требовала никаких комментариев. Министерство финансов неоднократно вызывало нарекания верховной власти за недопустимый либерализм. Этот либерализм проявлялся, в частности, в том, что чиновник Министерства финансов, не рискуя поплатиться отставкой, мог позволить себе незаконное сожительство с чужой женой. Именно так поступил Лаевский, но начальство не стало вмешиваться в его частную жизнь и ограничилось переводом чиновника из столицы в провинцию, в далёкий южный город на восточном берегу Чёрного моря.

Этот служебный перевод из Петербурга на Кавказ первоначально отвечал желаниям самого Ивана Андреевича и его подруги Надежды Фёдоровны. «Боже мой, — вздохнул Лаевский, — до какой степени мы искалечены цивилизацией! Полюбил я замужнюю женщину; она меня тоже... Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсер, и идеалы, и общие интересы... Какая ложь! Мы бежали, в сущности, от мужа, но лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так: вначале на Кавказе, пока мы ознакомимся с местом и людьми, я надеву вицмундир и буду служить, потом же на просторе возьмём себе клочок земли, будем трудиться в поте лица, заведём виноградник, поле и прочее. Если бы вместо меня был ты или этот твой зоолог фон Корен, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Фёдоровной тридцать лет и оставили бы своим наследникам богатый виноградник и тысячу десятин кукурузы, я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе невыносимая жара, скука, безлюдье, а выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи, а за полем горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура — всё это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе, под ручку с Надеждой Фёдоровной и мечтать о тёплых краях. Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть, а какой я боец? Жалкий неврастеник, белоручка... С первого же дня я понял, что мысли мои о трудовой жизни и винограду — ни к чёрту. Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же не интересно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой и лекарствами, те же папилютки каждое утро и тот же самообман...»<sup>574</sup>

С фотографической точностью Лаевский создал очень похожий словесный портрет образованного человека 1880-х годов, мятущегося и не находящего себе места в мире. Этот человек пребывал в сфере химер и отвлечённых понятий, искал и не мог найти нравственные идеалы, страдал от отсутствия ясных жизненных ориентиров, трактовал самого себя как неудачника и не

был приучен к упорному труду, как умственному, так и физическому. Даже в сфере частной жизни у него не было точки опоры: семья и домашний очаг не воспринимались им как тихая заводь, в которой можно укрыться от житейских бурь и обрести нравственное обновление.

Героиня повести Надежда Фёдоровна сошлась с Лаевским, бросила живущего в Петербурге мужа и вместе со своим возлюбленным отправилась к месту его службы на Кавказ. Свою совместную жизнь с Лаевским не получившая развод Надежда Фёдоровна трактует не как незаконное сожитительство, а как гражданский брак: в разговоре со знакомой дамой она называет Ивана Андреевича мужем. Разумеется, подобное поведение было бы невозможно в Петербурге, да и на Кавказе Лаевского вместе с Надеждой Фёдоровной не принимают в семейных домах, за исключением дома робкого чиновника Битюгова. Пожилая чиновница Марья Константиновна Битюгова, до тридцати двух лет служившая в гувернантках, скрепя сердце стала принимать столичную даму, хотя и почитала её в глубине души страшной грешницей. Бывшую гувернантку из хорошего дворянского дома особенно сильно коробит нечистоплотность Надежды Фёдоровны и её неумение вести домашнее хозяйство. «По изысканности и пестроте ваших нарядов всякий может судить о вашем поведении. Все, глядя на вас, посмеивались и пожимали плечами, а я страдала, страдала... И, простите меня, милая, вы нечистоплотны! Когда мы встречались в купальне, вы заставляли меня трепетать. Верхнее платье ещё туда-сюда, но юбка, сорочка... милая, я краснею! Бедному Ивану Андреевичу тоже никто не завяжет галстука как следует, и по белью, и по сапогам бедняжки видно, что дома за ним никто не смотрит. И всегда он у вас, мой голубчик, голоден, и в самом деле, если дома некому позаботиться насчёт самовара и кофе, то поневоле будешь проживать в павильоне половину своего жалованья. А дома у вас просто ужас, ужас! Во всём городе ни у кого нет мух, а у вас от них отбою нет, все тарелки и блюдечки черны. На окнах и на столах, посмотрите, пыль, дохлые мухи, стаканы... К чему тут стаканы? И, милая, до сих пор у вас



со стола не убрано. А в спальню к вам войти стыдно: разбросано везде бельё, висят на стенах эти ваши разные каучуки, стоит какая-то посуда...»<sup>575</sup> Создал ли Чехов образ неряшливой женщины, восходящей к реальному прототипу, или следовал тургеневской традиции, но литературное родство Авдотьи Никитишны Кукшиной и Надежды Фёдоровны не вызывает сомнений.

Обыватели приморского городка, в котором живут представители самых разных национальностей, не воспринимают совместную жизнь Лаевского и Надежды Фёдоровны как позор, а рассматривают её как некоторую экстравагантность, что является выразительной приметой времени. Общество, уже переставшее считать венчание супругов перед алтарём таинством, стало более терпимым по отношению к попранию святости семейных устоев и гражданскому браку, что констатирует молодой зоолог фон Корен: «...прежде здесь жили с чужими жёнами тайно, по тем же побуждениям, по каким воры воруют тайно, а не явно; прелюбодеяние считалось чем-то таким, что стыдились выставлять на общий показ; Лаевский же явился в этом отношении пионером; он живет с чужой женой открыто»<sup>576</sup>.

Уйдя от мужа, не имевшая своего состояния Надежда Фёдоровна оказалась в весьма затруднительном материальном положении, которое усугублялось её полной зависимостью от Лаевского. Так прошло два года. Лаевский понял, что он разлюбил свою подругу, она стала ему чужой, но он чувствовал собственную ответственность за судьбу Надежды Фёдоровны — интеллигентной женщины, которую увлёк за собой. «Женщина она одинокая, безродная, денег ни гроша, работать не умеет...»<sup>577</sup> Иван Андреевич оказался в тяжёлом положении: все эти годы он жил не по средствам, наделал большие долги и не мог благородно расстаться с Надеждой Фёдоровной, обеспечив её существование хотя бы на первое время. «Единовременно пятьсот в зубы или двадцать пять помесечно — и никаких. Очень просто»<sup>578</sup>. Такой выход, предложенный военным доктором Самойленко, не мог устроить ни Лаевского, ни Надежду Фёдоровну. Они столкнулись с издержками вожделенной свободы.

Свобода от брачных уз обернулась для эмансипированной женщины ещё большей зависимостью от любовника, чем её прежняя зависимость от мужа. Закон обязывал мужа содержать свою жену, любовник не нёс перед ней никаких обязательств. Ситуация была патовой. У Надежды Фёдоровны был лишь один реальный выход — стать продажной женщиной. Известная предрасположенность к этому у неё была. «...Она уже два раза в отсутствие Лаевского принимала у себя Кирилина, полицейского пристава: раз утром, когда Лаевский уходил купаться, и в другой раз в полночь, когда он играл в карты. Вспомнив об этом, Надежда Фёдоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, как бы боясь, чтобы та не подслушала её мыслей»<sup>579</sup>. После двух интимных свиданий с Кирилиным Надежда Фёдоровна поняла, что её связь с полицейским приставом была ошибкой. Она решила порвать с приставом, однако Кирилин оказался негодяем и стал её шантажировать, что он устроит публичный скандал, если Надежда Фёдоровна не даст ему ещё два свидания, — и она была вынуждена на это согласиться.

И без того непростая жизненная коллизия осложнялась долгами самой Надежды Фёдоровны: в течение этих двух лет совместной жизни с Лаевским она «набрала в магазине Ачмианова разных пустяков рублей на триста. Брала она понемножку то материи, то шёлку, то зонтик, и незаметно скопился такой долг»<sup>580</sup>. Во время пикника, в котором принимал участие сын купца Ачмианова, красивый и благовоспитанный юноша, влюблённый в Надежду Фёдоровну, женщина поняла, как она может отделаться от этого долга. «Если бы, например, этому красивому, молодому дурачку вскружить голову! Как бы это, в сущности, было смешно, нелепо, дико! И ей вдруг захотелось влюбить, обобратить, бросить, потом посмотреть, что из этого выйдет»<sup>581</sup>. Вскоре ей действительно этим способом удалось избавиться от тяготившего её долга. Надежда Фёдоровна встретила на пристани с молодым красавцем, «ей было очень смешно, и она вернулась домой поздно вечером, чувствуя себя бесповоротно падшей и продажной»<sup>582</sup>.

Противозачаточные средства, уже появившиеся в это время, позволяли Надежде Фёдоровне безнаказан-

но вести такой образ жизни: рождение ребёнка стало бы для неё настоящей катастрофой. Чехов весьма определённо написал об этом: в спальне висят «разные каучуки»<sup>583</sup> — так в то время называли презервативы, которые стоили недёшево, поэтому их мыли после использования и сушили, чтобы воспользоваться вновь. Чехов был первым русским писателем, отобразившим в своём произведении эту модную новинку. И реальное обретение женщиной вожаденной свободы шло рука об руку с развитием химической промышленности, освоившей процесс вулканизации и производство этих самых «каучуков».

По воле автора для Надежды Фёдоровны всё кончилось благополучно. Её муж умер, и она получила возможность вступить в брак с Лаевским. Во время бессонной ночи накануне дуэли с фон Кореном, который считал Лаевского никчёмным, слабым, ничтожным и ненужным и за это ненавидел его и желал убить, Иван Андреевич «понял, что эта несчастная, порочная женщина для него единственный близкий, родной и незаменимый человек»<sup>584</sup>. Счастливая случайность спасла жизнь Лаевского. Пуля фон Корена лишь контузила его шею, и после пережитого потрясения Иван Андреевич решил венчаться со своей подругой и начать новую жизнь.

Для другой 25-летней петербургской дамы, Зинаиды Фёдоровны Красновской из «Рассказа неизвестного человека», обретение свободы обернулось трагедией. Молодая и состоятельная замужняя женщина полюбила петербургского чиновника Георгия Ивановича Орлова, камер-юнкера и сына известного государственного деятеля. Изредка Орлов облачается в свой шитый золотом камер-юнкерский мундир и отправляется ко двору. Чехов очень чётко обозначил высокий социальный статус своих героев. Ни для Орлова, ни для Красновской, чьи пальцы унизаны кольцами с бриллиантами, проблемы нехватки денег не существует. Зинаида Фёдоровна, находившаяся в связи с Орловым, несколько раз полусерьёзно угрожала возлюбленному, что бросит законного мужа и переедет к нему жить. Орлов ей не верил, да и не хотел верить. Он рассматривал свои

отношения с Зинаидой Фёдоровной как банальный светский адюльтер, не накладывающий на него никаких обязательств. Несколько раз, желая уклониться от свиданий, он даже лгал, что не может встретиться, ибо занят по службе.

Влюблённая Зинаида Фёдоровна не смела подозревать Орлова в неискренности и свято верила всем его отговоркам. Однажды Красновская после бурного объяснения с мужем, давно уже подозревавшим её в супружеской неверности, решила окончательно уйти от мужа и переехать к Орлову. «Но вчера, во время ссоры, когда он закричал плачущим голосом: “Когда же всё это кончится, боже мой?” — и ушёл к себе в кабинет, она погналась за ним, как кошка за мышью, и, мешая ему затворить за собою дверь, крикнула, что ненавидит его всею душой. Тогда он впустил её в кабинет, и она высказала ему всё и призналась, что любит другого, что этот другой её настоящий, самый законный муж, и она считает долгом совести сегодня же переехать к нему, несмотря ни на что, хотя бы в неё стреляли из пушек»<sup>585</sup>.

В этих словах, как в капле воды, отразился дух времени, когда настоящим мужем стали считать не того, с кем обвенчаны, а того, кого любишь. Венчание всё больше начинало восприниматься как формальный обряд. «Рассказ неизвестного человека» впервые был напечатан в 1893 году на страницах журнала «Русская мысль». Чтобы почувствовать бег времени и оценить радикальность перемен, отметим, что чеховский «Рассказ неизвестного человека» был опубликован спустя шесть десятилетий после выхода в свет первого полного издания пушкинского «Евгения Онегина». Как помним, Татьяна сказал Онегину:

Я вас люблю (к чему лукавить?),  
Но я другому отдана;  
Я буду век ему верна.

Чеховская героиня рассуждала исходя из другой системы нравственных аксиом. Русская культура по-прежнему оставалась логоцентричной. Образованные женщины нередко подражали литературным героям.

Однако в 1880-е и 1890-е годы интеллигентная женщина уже не думала подражать пушкинской Татьяне, предпочитая ей другие литературные образы. Мысль о влиянии классической русской литературы на поведение женщин высказывает и Георгий Иванович Орлов, рассуждающий о побудительных мотивах поведения своей возлюбленной: «Сочинители вроде Тургенева совсем сбили её с толку. Теперь другие писатели и проповедники заговорили о греховности и ненормальности совместной жизни с мужчиной. Бедным дамам уже прискучили мужа и край света, и они ухватились за эту новость обеими руками. Как быть? Где искать спасения от ужасов брачной жизни? И тут выручила тургеньевская закуска. Любовь спасает от всяких бед и решает все вопросы. Выход ясен: от мужей бежать к любимым мужчинам!»<sup>586</sup> (Цитируемая фраза есть в журнальном варианте повести, но отсутствует в каноническом варианте, публикуемом во всех собраниях сочинений Чехова.)

Красновскому пришлось выдержать самую настоящую баталию. Он угрожал Зинаиде Фёдоровне, что если она уйдёт от него к любовнику, то этот уход закончится для неё большим скандалом: по закону муж имел право с помощью полиции водворить свою супругу по месту жительства. Красновский не только угрожал, но взывал к жалости: уход Зинаиды Фёдоровны мог повредить ему по службе. Однако о том, что они связаны свыше, связаны не людьми, а Богом, не было сказано ни слова: в этом заключалась суть времени. Аргумент, звучавший весьма веско в конце первой трети XIX столетия, в последнее десятилетие уходящего века уже полностью потерял свою убедительность. Уход жены от мужа, хотя и мог иметь серьёзные социальные последствия для обоих супругов, был уже сопряжён с принципиально новыми нравственными коллизиями. В обществе начала формироваться новая мораль, и всякий, кто пытался отыскать свой честный путь в жизни, решал для себя, что честнее и нравственнее: тайно изменять, оставаясь в церковном браке, или открыто жить с любимым человеком, не считаясь с мнением окружающих.

Зинаида Фёдоровна сделала свой выбор. Молодая женщина стойко выдержала и угрозы, и попытки разжалобить, одержав победу в сражении с мужем. С двумя чемоданами и дорожной корзиной она рано утром переехала на квартиру к Орлову, где с первых же минут своего пребывания начала вить гнездо: покупать новую мебель, посуду и кухонную утварь. Она думала и о новой, более просторной квартире, обоях, поваре, лошадях и путешествии в Швейцарию и Италию. В Зинаиде Фёдоровне сильно билась романтическая жилка. Её чувство к Орлову было искренним и чистым. Она не сомневалась, что и Орлов испытывает к ней такие же чувства, и смело смотрела в будущее. «Я боялась чужого мнения до последней минуты, но как только послушалась самоё себя и решила жить по-своему, глаза у меня открылись, я победила свой глупый страх и теперь счастлива и всем желаю такого счастья»<sup>587</sup>. Однако циничному Орлову был глубоко чужд такой взгляд на жизнь. Переезд к нему Зинаиды Фёдоровны не на шутку его раздосадовал, ибо внёс хаос в привычный образ жизни: Орлов не верил в любовь и не желал иметь в своём доме ни кухни, ни детских пелёнок. Он боялся показывать Зинаиду Фёдоровну своим знакомым и не хотел представить её своему отцу и своей кузине.

Что делать, если один из влюблённых начал тяготиться этим свободным союзом? В последнее десятилетие XIX века ещё не существовало однозначного ответа на этот вопрос. Общество ещё не выработало механизм достойного выхода из подобной жизненной ситуации. Опутанный долгами Лаевский, желавший порвать с Надеждой Фёдоровной, не мог сделать этого: он был не в состоянии материально обеспечить ушедшую от мужа женщину и испытывал угрызения совести от того, что ей не на что будет жить. У состоятельного Орлова такой проблемы не возникало, да и Зинаида Фёдоровна имела немалые собственные средства. Но возникшая коллизия не становилась от этого проще. Живущий в мире светских условностей и вынужденный им подчиняться, камер-юнкер Орлов не мог без риска для собственной репутации честного человека откровенно объясниться с женщиной и просто попросить оставить его. «Я, по-

жалуй, сделаю ей внушение, а она в ответ искренно завопиет, что я погубил её, что у неё в жизни ничего больше не осталось»<sup>588</sup>.

Так и не рискнув объясниться с Зинаидой Фёдоровной, Орлов начинает цинично и подло выживать её из своей квартиры. Прежде всего, он решительно отказал Зинаиде Фёдоровне в её настойчивой просьбе уволить наглую и вороватую горничную Полю, без зазрения совести крадущую у барыни то золотые часики, то деньги, то платки и перчатки. Временами он без обиняков демонстрировал Зинаиде Фёдоровне, что чувствует себя несчастным, потому что из-за её появления в квартире вынужден отказываться от своих многолетних привычек. Уже на исходе первого месяца жизни у Орлова Зинаида Фёдоровна почувствовала себя несчастной. «Вы на мою безумную любовь отвечаете иронией и холодом... И эта страшная, наглая горничная! — продолжала она, рыдая. — Да, да, я вижу: я вам не жена, не друг, а женщина, которую вы не уважаете за то, что она стала вашей любовницей... Я убью себя!»<sup>589</sup> Мысль о том, что эта романтически настроенная женщина в состоянии привести угрозу в исполнение, не на шутку испугала Орлова. Он принялся хитрить. «...Орлов, не любивший слёз, стал видимо бояться и избегать разговоров; когда Зинаида Фёдоровна начинала спорить или умолять, или собиралась заплакать, то он под благовидным предлогом уходил к себе в кабинет или вовсе из дому. Он всё реже и реже ночевал дома и ещё реже обедал; по четвергам он уже сам просил своих друзей, чтоб они увезли его куда-нибудь. Зинаида Фёдоровна по-прежнему мечтала о своей кухне, о новой квартире и путешествии за границу, но мечты оставались мечтами»<sup>590</sup>.

Накануне Нового года Орлов неожиданно объявил, что ему предстоит срочная служебная командировка: якобы начальство посылает его к сенатору, ревизирующему какую-то губернию. Это была ложь. Зинаида Фёдоровна уже надоела Орлову, и он захотел встретить Новый год без неё, предпочтя компанию своих давних приятелей обществу очаровательной и без памяти влюблённой в него молодой женщины. Он сделал вид,

что едет на вокзал, а отправился на квартиру своего приятеля известного адвоката Пекарского. Брошенной женщине предстояло в полном одиночестве встретить новогодний праздник. Через некоторое время Орлов вновь прибегнул к такому же обману. И под видом очередной ревизии снова переехал на квартиру Пекарского. Обман раскрылся. Эгоизм Орлова погубил Зинаиду Фёдоровну. «Какое унижение! — говорила она сквозь плач. — Жить вместе... улыбаться мне в то время, как я ему в тягость, смешна... О, какое унижение!»<sup>591</sup> У восторженной молодой женщины, для которой её любовь к Орлову составляла смысл жизни, не было выхода. Она не могла вернуться к мужу: гордость и нравственный максимализм не позволили бы ей этого сделать. Один из персонажей повести посоветовал ей уйти в монастырь. Однако и этот путь был для неё закрыт: выяснилось, что Зинаида Фёдоровна ждёт ребёнка, а беременных в монастырь не брали.

Светская женщина, не имевшая родных, но обладавшая собственными средствами, совсем не знавшая реальной жизни, Зинаида Фёдоровна была обречена. Неподготовленной к жизни женщине освобождение от уз брака могло принести только трагедию: порывая с мужем, она бесповоротно порывала с привычным кругом общения, а теряя старый мир, не приобретала нового. В это время в Российской империи уже появились женщины, получившие специальное образование и способные прокормить себя своим собственным трудом: учительницы, телеграфистки, акушерки... Для многих из них труд стал не только средством к существованию, но и смыслом всей их жизни. Однако Зинаида Фёдоровна не могла обрести утраченный смысл жизни в труде. Полученное ею воспитание делало такую возможность иллюзорной. Оскорблённая женщина покинула квартиру Орлова и уехала за границу. На другой день после рождения девочки Зинаида Фёдоровна скончалась. Принимавший роды доктор подозревал, что роженица приняла яд.

И героиня «Дуэли», и героиня «Рассказа неизвестного человека» были столичными дамами, получившими воспитание и вышедшими замуж в Петербурге. Но сек-



суальная революция в 1880-е годы уже докатилась до провинции и, в частности, вовлекла в свой водоворот жителей Таганрога — родного города Чехова. В июне 1888 года в журнале «Северный вестник» Чехов опубликовал повесть «Огни», в которой отразились таганрогские впечатления писателя.

Инженер-путеец Николай Анастасьевич Ананьев приезжает в родной приморский город, где встречает свою гимназическую подругу Наталью Степановну, которую он по старой памяти называет Кисочкой. «Скажите, пожалуйста, Кисочка, — продолжал я, — какая это муха укусила весь здешний прекрасный пол? Что с ним поделалось? Прежде все были такие нравственные, добродетельные, а теперь, помилуйте, про кого ни спросишь, про всех говорят такое, что просто за человека страшно... Одна барышня с офицером бежала, другая бежала и увлекла с собой гимназиста, третья, барыня, уехала от мужа с актёром, четвёртая от мужа ушла к офицеру, и так далее, и так далее... Целая эпидемия! Этак, пожалуй, в вашем городе скоро не останется ни одной барышни и ни одной молодой жены!»<sup>592</sup>

В ответ на свой игривый вопрос Ананьев получает обстоятельный и исчерпывающий ответ, который бы сделал честь социологу.

«Очень просто и понятно... — сказала Кисочка, поднимая брови. — У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться. Уезжать на курсы или поступать в учительницы, вообще жить идеями и целями, как мужчины живут, не всякая может. Надо выходить замуж... А за кого прикажете? Вы, мальчики, кончаете курс в гимназии и уезжаете в университет, чтобы больше никогда не возвращаться в родной город, и женитесь в столицах, а девочки остаются!.. За кого же им прикажете выходить? Ну, за неимением порядочных, развитых людей, и выходят бог знает за кого, за разных маклеров да пиндóсов (презрительное название греков. — С. Э.), которые только и умеют, что пить да в клубе скандалничать... Выходят девушки так, зря... Какая же после этого жизнь? Сами понимаете, женщина образованная и воспитанная живёт с глупым, тяжёлым человеком; встретится ей какой-нибудь интелли-

гентный человек, офицер, актёр или доктор, ну полюбит, станет ей невыносима жизнь, она и бежит от мужа. И осуждать нельзя!»<sup>593</sup>

Можно лишь гадать, как сложилась судьба этих женщин. Но это эпидемическое брожение, о котором так обстоятельно рассказала Кисочка, действительно всё больше охватывало интеллигентное общество Российской империи. Получившие образование, жившие в мире идей и нравственных идеалов девушки и молодые женщины уже не желали жить так, как жили их матери и бабки. Цена же за обрётённую свободу была слишком высока, и далеко не все готовы были платить её. Именно так поступили героини чеховского рассказа «О любви» Павел Константинович Алёхин и Анна Алексеевна Луганович, которые полюбили друг друга, но предпочли отказаться от своей любви. Алёхин окончил Московский университет и поселился в доставшемся ему после смерти отца Софьиной. На этом имении был большой долг вследствие того, что отец Алёхина много тратил на его образование. Белоручка и кабинетный человек, Алёхин решил расплатиться с отцовскими долгами, поселился в имении и стал заниматься хозяйством.

Первое время он надеялся, что ему удастся совместить изнурительную работу по хозяйству с давними культурными привычками. Однако жизнь распорядилась иначе: «...летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке, — какое уж тут чтение?»<sup>594</sup> Алёхина выбрали в почётные мировые судьи. Поездка в город, участие в заседаниях съезда мировых судей и окружного суда — всё это стало едва ли не единственным его развлечением. «Когда поживёшь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по чёрному сюртуку. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в лёгких ботинках, с цепью на груди — это такая роскошь!»<sup>595</sup>

Во время одной из таких поездок Алёхин познакомился с товарищем (заместителем) председателя окружного суда Дмитрием Лугановичем, был приглашён к нему на обед и представлен его супруге — Анне Алексеевне. Эта, казалось бы, случайная встреча надолго запомнилась и Павлу Константиновичу, и Анне Алексеевне. С тех пор Алёхин, приезжая по делам в губернский город, обязательно бывал у Лугановичей как свой человек. Лугановичи полюбили Алёхина. «Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша»<sup>596</sup>. Видя его финансовые затруднения, супруги предлагали ему займы. Первое время Алёхин очень нуждался в деньгах, кредиторы его осаждали, часто не хватало денег для срочного платежа, но он никогда не брал займы у Лугановичей. Лугановичи, их дети, их слуги — все считали Алёхина благородным существом.

Алёхин и Анна Алексеевна полюбили друг друга, но таили это чувство в глубине души и даже сами себе боялись в этом признаться. «Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвёт счастливое течение жизни её мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это?»<sup>597</sup> Алёхин считал, что он ничего не может предложить любимой женщине, кроме обыкновенной, будничной жизни, полной каждодневных мелочных забот. Он не считал себя вправе вносить сумятицу в плавное течение чужой жизни. «Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым учёным, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь её в другую такую же или ещё более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг

друга?»<sup>598</sup> Алёхин полагал, что и его любимая женщина рассуждала также. Год шёл за годом, но никто из них так и не решился сделать первый шаг. Анна Алексеевна стала раздражительной, у неё часто бывало дурное настроение, когда она не хотела видеть ни мужа, ни детей, и тогда она уезжала то к матери, то к сестре. Неудовлетворённая жизнью госпожа Луганович, осознавшая, что её жизнь безнадёжно испорчена, стала лечиться от расстройства нервов.

Луганович получил новое назначение — должность председателя окружного суда в одной из западных губерний. Предстояла неизбежная разлука. Доктора послали Анну Алексеевну в Крым, куда она решила отправиться одна накануне отъезда мужа к новому месту службы. За мгновение до третьего звонка поезда, когда Анна Алексеевна уже успела проститься с мужем и детьми, Алёхин вбежал к ней в купе. «Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял её, она прижалась лицом к моей груди, и слёзы потекли из глаз; целуя её лицо, плечи, руки, мокрые от слёз, — о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе»<sup>599</sup>.

Чеховский рассказ «О любви» был впервые напечатан в 1898 году в августовской книжке журнала «Русская мысль». Лишь на излёте XIX столетия в среде русской интеллигенции сформировалось понятие о том, что любовь является высшей и самодостаточной ценностью, оправданной самим фактом своего существования. И хотя все понимали, что путь к достижению счастья не будет усыпан розами, готовность заплатить за обретение этого самого счастья высокую цену оказывалась сильнее как мелочных сиюминутных расчётов, так и обывательской рассудительности. Образованное общество, принявшее не только завоевание, но и издержки сексуальной революции в России, уже бы-

ло морально готово принять социальную революцию, трактуемую в то время исключительно как локомотив истории.

Однако следует помнить, что «хмурые люди» Чехова жили на полтора — два десятилетия раньше, чем герои горьковских пьес, когда плоды созидательной деятельности капитализма ещё не были столь заметны. Чеховские герои были убеждены, что если Россия будет развиваться эволюционным путём, то пройдёт каких-нибудь два-три столетия, и жизнь изменится. «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной»<sup>600</sup>. Именно поэтому возникал столь понятный соблазн изменить жизнь единым махом — радикальным революционным путём. Грядущее революционное насилие представлялось как нечто *высшее и более важное*, «чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле». И те, кто верил в способность революции ниспровергнуть существующий строй и весь уклад жизни, предпочитали не задумываться над неизбежными издержками и неконтролируемыми последствиями любой революции. В этом была величайшая трагедия русской жизни. В конце XIX века перед жаждущей перемен русской интеллигенцией возникла реальная альтернатива: либо уход в революцию, либо уход в чистое искусство. И жена Мисаила Маша из повести «Моя жизнь» сформулировала эту мысль с предельной чёткостью: «Тут нужны другие способы борьбы, сильные, смелые, скорые! Если в самом деле хочешь быть полезен, то выходи из тесного круга обычной деятельности и старайся действовать сразу на массу! Нужна прежде всего шумная, энергичная проповедь. Почему искусство, например, музыка, так живуче, так популярно и так сильно на самом деле? А потому, что музыкант или певец действует сразу на тысячи. Милое, милое искусство! — продолжала она, мечтательно глядя на небо. — Искусство даёт крылья и уносит далеко-далеко! Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущён, оскорблён и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном»<sup>601</sup>. Именно по этому пути и пошли мирискусники во главе с Сергеем Павловичем Дягилевым.

*«Это было очень красиво, очень трогательно»,  
или Мать декадентства и декадентский  
староста*

Лишь начало Серебряного века русской культуры, совпавшее с концом XIX столетия, положило конец размыванию исторической памяти. Сергей Павлович Дягилев (1872—1929), один из инициаторов и организаторов творческого содружества «Мир искусства» и одноимённого журнала, стал тем человеком, которому удалось переломить негативную тенденцию предшествующих десятилетий. Именно благодаря Дягилеву в российской истории, прежде всего в истории изобразительного искусства, стали видеть не объект для обличения, а предмет для изучения. Со времён передвижников, превыше всего ценивших идею в живописи, сформировался вполне определённый визуальный образ минувшего: Ге, Суриков, Репин в своих исторических картинах разоблачали неумолимую жестокость российской власти, будь то Иван Грозный, убивающий своего сына, или Пётр Великий, казнящий стрельцов и допрашивающий своего сына. «Полудержавный властелин» светлейший князь Александр Меншиков изображался не в момент сражения при Лесной или во время Полтавской виктории, но во время ссылки в Берёзов — в тот момент, когда счастье его покинуло и он стал жертвой царского произвола. Отправляющаяся в страшную ссылку боярыня Морозова представляла перед зрителем как внутренне не сломленная лишениями фанатичка, которую даже угроза ещё более суровых лишений не заставила изменить своей вере и покориться власти. Срывалась маска с любой власти, и героизировался любой протест против неё: запорожцы пишут дерзкое письмо турецкому султану, вызывающим хохотом и ненормативной лексикой отвечая на призыв власти к повиновению. Живописцы второго плана, обращаясь к созданию картин на исторические темы, специально не занимались обстоятельным изучением минувшей эпохи, а сводили сюжет своего полотна к историческому анекдоту или же обращались к сюжетам всем хорошо известных исторических повестей и ро-

манов своего времени, как то: «Капитанская дочка» Пушкина, «Ледяной дом» Лажечникова, «Мирович» Данилевского; следуя за историческим романистом, иллюстрируя его произведения и трансформируя созданные им литературные образы в образы визуальные. За подобным подходом к созданию исторических полотен зачастую стояло не только отсутствие специальных знаний, но и нежелание эти знания приобретать.

В мае 1898 года 26-летний Сергей Павлович Дягилев, доселе известный лишь как превосходный организатор художественных выставок и автор нескольких небольших статей, дал интервью «Петербургской газете». Дягилев, скрывшись под псевдонимом «Паспарту», во всеуслышание заявил, что, во-первых, русское искусство находится на переломе; во-вторых, нужны энергичные усилия сплочённой группы единомышленников, чтобы вывести искусство из переживаемого им кризиса; в-третьих, манёвр имеющимися ресурсами есть наиболее эффективный способ выхода из кризиса. Неудачи русской школы живописи на Западе стали важнейшим показателем кризиса. «Наши дебюты на Западе — неудачны, и мы представляемся в Европе чем-то устаревшим и заснувшим на отживших традициях»<sup>602</sup>. В этом интервью «Паспарту» охарактеризовал цели и задачи нового художественного журнала «Мир искусства», который появился спустя несколько месяцев: 10 ноября 1898 года вышел в свет сдвоенный первый-второй номер за 1899 год. Его редактором стал Дягилев. Журнал был призван сделаться центром объединения молодых русских художников, работающих в разных городах. Собранные воедино и объединённые общностью своего ремесла, эти художники «могли бы доказать, что русское искусство свежо, оригинально и может внести много нового в историю искусства»<sup>603</sup>. Редактор хотел не только собрать в единый кулак эти доселе раздробленные художественные силы, но и растолковать как самим художникам, так и публике, в чём именно заключается единство эстетической позиции нового объединения. Дягилев был убеждён, что отметившие свой 25-летний юбилей передвижники, ставившие идею (в их случае народническую) в живописи выше ремесла, уже

выродились и лишь мешают свободному развитию молодых сил. Это был весьма амбициозный проект. «Мы горели желанием послужить всеми нашими силами родине, но при этом одним из главных средств такого служения мы считали сближение и объединение русского искусства с общеевропейским, или, точнее, с общемировым»<sup>604</sup>.

Идея издания специального журнала, посвящённого искусству, давно уже носилась в воздухе, но попытки её реализовать оказывались неудачными. В январе 1896 года на страницах популярного еженедельника «Всемирная иллюстрация» автор одного обзора культурной жизни России не скрывал своей глубокой озабоченности по поводу отсутствия в стране художественного журнала. «Ведь даже всякий вид спорта имеет свой специальный орган, почему же искусство русское до сих пор не имеет такого прочного установившегося журнала, а если подобные издания и затевались, то вскоре прогорали. Чем объяснить последнее — малым ли интересом подписчиков, отсутствием ли интереса в составлении журнала или же нет у нас такого человека, который сумел бы соединить в журнале практичность и любовь к делу»<sup>605</sup>. Проблема была сформулирована очень чётко. Минуло два года — такой человек нашёлся. Это был Дягилев, сумевший убедить известных меценатов и любителей искусства — промышленника и железнодорожного предпринимателя Савву Ивановича Мамонтова и княгиню Марию Клавдиевну Тенишеву — дать средства на издание нового ежемесячного художественного журнала. 18 марта 1898 года в особняке князя Тенишева на Английской набережной в Петербурге был подписан договор об издании журнала «Мир искусства»: с 1 января будущего, 1899-го по 1 января 1900 года Мамонтов и Тенишева в равных долях обязались внести 30 тысяч рублей на основание и издание нового художественного журнала и стали его равноправными совладельцами<sup>606</sup>.

Княгиня Тенишева была знаковой фигурой русского Серебряного века: олицетворённая эмансипе, она была причастна ко многим областям отечественной художественной культуры. В своём имении Талашкино Смо-



ленской губернии княгиня организовала получившие не только всероссийскую, но и европейскую славу кустарные художественные мастерские: столярную, гончарную, вышивальную и кружевную. Мастерские выпускали стильную мебель, керамику, вышивки и кружева. Всё это охотно покупалось не только в России, но и в Европе. На собственные средства Мария Клавдиевна создала художественную студию в Санкт-Петербурге (1894), рисовальную школу (1896), Музей русской старины в Смоленске (1898). Сама Тенишева довольно успешно работала над созданием эмалей и уже в зрелых годах защитила диссертацию, в которой обобщила свой опыт воссоздания искусства инкрустации и эмали. «...В моей деятельности нет ничего “женского”, всё, что я начинаю, я довожу до конца, умею быть стойкой, энергичной и самоотверженной»<sup>607</sup>, — признавалась княгиня в мемуарах.

Мария Клавдиевна родилась 20 мая 1858 года в семье скромного коллежского секретаря Клавдия Стефановича Пятковского<sup>608</sup>. Такова официальная версия. До сих пор остаётся тайной её происхождение: достоверно неизвестно имя настоящего отца девочки. Существует предание, что им был император Александр II<sup>609</sup>. Детство и отрочество будущей княгини прошли в доме состоятельного отчима, которому принадлежали дома в Москве и Санкт-Петербурге. В 1869 году Мария поступила в только что открывшуюся женскую гимназию М. П. Спешневой и М. Д. Дурново. Это была первая в России женская гимназия, где обучение велось по программе мужских реальных училищ. В 1876 году Мария вышла замуж за Рафаила Николаевича Николаева, выпускника привилегированного Училища правоведения и младшего брата кавалергарда Александра Николаева, фаворита великой княгини Марии Павловны и будущего командира Кавалергардского полка. С юных лет Мария привыкла вращаться в самом аристократическом обществе. Своего мужа она не любила, вступив в брак с ним лишь потому, что хотела как можно скорее вырваться из домашней «тюрьмы». Брак оказался неудачным. «Трудно было найти более ничтожных людей. Разговоры, мысли их, идеалы — невозможно описать. Всё

было так серо, обыденно, бессодержательно. Пошлость колола глаза. Меня же манила жизнь. Хотела разгадать её, заглянуть вперёд, завоевать что-то. Постоянное общение с этими людьми давило, заглушало во мне все жизненные стремления, как непролазный бурьян. Только карты, скачки, балы да парады — в этом были все их интересы. В этой среде о книге не имели понятия, не говоря уже о науке, политике, искусстве, музыке или о чём-либо отвлечённом. Я задыхалась между ними...»<sup>610</sup> В 1877 году у супругов Николаевых родилась дочь Мария, но уже в 1881 году Мария Клавдиевна покинула дом мужа и вместе с дочерью уехала в Париж. В Париже она в течение двух лет училась пению и, вращаясь в среде творческой интеллигенции, водила знакомство с Антоном Григорьевичем Рубинштейном, Шарлем Гуно, Иваном Сергеевичем Тургеневым, Марией Гавриловной Савиной. «Я была ещё в иллюзии, что артистической карьерой женщина может честно зарабатывать себе на жизнь, не входя с собой в сделку»<sup>611</sup>.

Весной 1883 года Мария Клавдиевна впервые приехала в имение Талашкино, которое в то время принадлежало её подруге детства Киту — княгине Екатерине Константиновне Святополк-Четвертинской. С этого момента подруги, которых связало нечто большее, чем нежная женская дружба, уже никогда не расставались. Александр Николаевич Бенуа утверждал, что именно Екатерина Константиновна, предпочитавшая всегда оставаться в тени, была «настоящим *инициатором* проектов Тенишевой»<sup>612</sup>. Осенью того же года подруги уехали в Париж, где Мария Клавдиевна продолжала заниматься вокалом, брала уроки рисования и с увлечением изучала технику древних эмалей. В 1887 году в Талашкине на средства Святополк-Четвертинской было открыто сельскохозяйственное училище для крестьянских детей, в котором помимо специальных предметов преподавались ремёсла и прикладные искусства. Так был дан толчок будущей просветительской деятельности Марии Клавдиевны. Вплоть до 1892 года она формально оставалась женой Николаева, но с мужем встречалась лишь эпизодически и жила своей жизнью, нисколько не сожалея о сделанном выборе. «Пересту-

пив через все пределы моего терпения, он оттолкнул меня своими непростительными слабостями, разрушив собственными руками нашу семейную жизнь»<sup>613</sup>.

Год шёл за годом. Порвавшая с мужем эмансипированная женщина не испытывала никакого смущения от своего весьма двусмысленного положения в свете и всегда оставалась выше кривых улыбок окружающих: «Всякий волен очернить меня потому только, что я одинока»<sup>614</sup>. Она приняла участие в одной из первых постановок Константина Сергеевича Станиславского — спектакле «Баловень» в театре «Парадиз», брала уроки акварели, училась в классе рисования Училища барона Штиглица в Петербурге. 20 апреля 1892 года Мария Клавдиевна вышла замуж за князя Вячеслава Николаевича Тенишева. Это ещё одна загадка в её жизни. Мы до сих пор не знаем, каким образом ей удалось получить развод с Николаевым и сохранить брачную правоспособность. По существовавшим в России законам Николаев должен был взять всю вину на себя, дабы предоставить своей бывшей жене возможность вновь вступить в брак. В то время развод по обоюдному согласию супругов был невозможен. Один из них должен был взять всю вину на себя. Скорее всего, владевший огромными капиталами князь Тенишев просто-напросто купил у вечно нуждавшегося в деньгах Николаева добровольное признание его вины в супружеской неверности. Став женой князя Тенишева, Мария Клавдиевна приобрела высокое общественное положение и стала очень богатой женщиной. Это открыло перед ней практически неисчерпаемые возможности как для самореализации, так и для благотворительности — от организации быта рабочих Брянского рельсопрокатного завода, председателем правления которого был её муж, до меценатской деятельности во благо русской культуры.

Для того чтобы выпросить у князя средства на все свои весьма затратные начинания, княгине Марии Клавдиевне приходилось прибегать к разнообразным ухищрениям. Князь Тенишев, начавший карьеру простым служащим с окладом в 50 рублей, был очень организованным человеком: он разбогател ценой своих собственных усилий, и его раздражало малейшее про-

явление безалаберности, которая зачастую шла рука об руку с богемой. «Это был характерный русский self-made-man (человек, сам всего добившийся), собственным умом и смекалкой составивший себе огромное состояние и продолжавший его с успехом увеличивать посредством всяких деловых операций и индустриальных предприятий. <...> Вот кому не было никакого дела до чего-либо мистического, таинственного, невыразимого. То, что не поддаётся простейшему “научному” объяснению, что не отвечает практической полезности, отбрасывалось Тенишевым, как нечто лишнее и даже вредное»<sup>615</sup> — так написал о князе хорошо знавший его Александр Николаевич Бенуа.

Князь Вячеслав Николаевич не без оснований полагал, что друзья его жены из артистического мира водятся с Марией Клавдиевной исключительно из-за её денег. Князь очень не любил богему, которую обожала княгиня. «Верь мне, — говорил он, — тебя берут только за деньги. Что им твои художественные инстинкты, твои способности, вкусы и понятия?.. Ты всегда живёшь в каких-то иллюзиях и прикрываешься громкими фразами: общественное благо, развитие общества, расцвет искусства, и этим только себя обманываешь...»<sup>616</sup> Однако Мария Клавдиевна нашла изящный способ избежать конфликта. Когда она поняла, что Вячеслав Николаевич ценит в ней исключительно красивую женщину, а не человека, у которого есть свои запросы к жизни, она, обращаясь к мужу с просьбой о деньгах на благотворительность, стала играть роль оскорблённой светской львицы.

«Я шла к нему в кабинет просить денег, но, получив отказ — вежливый с поцелуем руки, — из просительницы превращалась в законодательницу, я требовала и говорила: “А я тебе говорю, что я так хочу. Прошу тебя, чтобы завтра это было сделано”... На это он вставал, целовал меня и, жеманясь, отвечал “*Princesse, votre volonté — c’est la mienne* (Княгиня, ваше желание — моё желание)”. И когда, сыграв роль капризной львицы, я, оскорблённая недостойной комедией, уходила от него, меня утешала мысль, что я делаю это не для себя, а ради идеи»<sup>617</sup>.

Именно таким способом и были получены деньги на выпуск художественного журнала «Мир искусства». Это было новое издание, равного которому доселе не появлялось среди отечественных художественных журналов. У «Мира искусства» был очень большой формат, позволявший публиковать качественные иллюстрации, органически входившие в систему авторских доказательств, а не просто украшавшие текст. Журнал печатался на превосходной бумаге. Тексты набирались стильной елизаветинской гарнитурой: мирискусники отыскивали старинные матрицы времён императрицы Елизаветы Петровны и заказали отлить по ним шрифт для своего журнала. Елизаветинская гарнитура пережила своих создателей: она благополучно дожила до наших дней и иногда используется в дорогих альбомах и книгах по искусству. Издатели считали, что в художественном журнале нет мелочей: обложки, заставки, концовки, инициалы выполнялись талантливыми художниками, влюблёнными в книжное искусство и книжную графику.

Обложка для первого журнала была разработана на конкурсной основе. В конкурсе по просьбе Дягилева приняли участие десять незаурядных художников: Лев Бакст, Александр Бенуа, Михаил Врубель, Александр Головин, Константин Коровин, Евгений Лансере, Сергей Малютин, Елена Поленова, Константин Сомов, Мария Якунчикова. Победил Константин Коровин, и его рисунок был воспроизведён на обложке первых номеров «Мира искусства». И хотя княгиня Тенишева не была официально приглашена Дягилевым для участия в конкурсе, она, бравшая уроки рисунка и живописи, «горела желанием *лично* как-то принимать участие в журнале»<sup>618</sup>. Во время очередной поездки в Париж княгиня на несколько часов в день запиралась в своей мастерской и упорно работала над сочинением графической композиции, способной наглядно выразить главную цель издания. Когда же княгиня ничтоже сумняшеся рискнула представить Дягилеву свой рисунок для обложки, вышел конфуз, имевший далекоидущие последствия. Сергей Павлович был неумолим: «Однако бедная Мария Клавдиевна так и не удостоилась чести выступить в соб-

ственном журнале. Серёжа безжалостно и безапелляционно отверг этот опыт, и надо сказать, что он был совершенно прав. Зато княгине эта неудача не могла послужить поощрением к дальнейшему *активному* участию в том органе, который она считала своим и который ей уже начинал стоить немало денег»<sup>619</sup>.

Однако в момент подготовки к выпуску первого номера журнала ещё ничего не предвещало грядущий конфликт. Элегантный и очаровательный Сергей Павлович, надо отдать ему должное, знал, как понравиться. Княгиня Мария Клавдиевна вспоминала: «Дягилев в эту минуту пел соловьём, уверял меня, что никто, кроме меня, не может внести свет куда-то и во что-то... и т. д. Это было очень красиво, очень трогательно...»<sup>620</sup> Дягилев целовал ручки, расточал комплименты княгине и приносил счета. Савва Иванович Мамонтов вскоре после подписания договора об издании «Мира искусства» был арестован по надуманному обвинению, объявлен банкротом и разорён. Все тяготы по финансированию журнала в течение года несла одна княгиня Тенишева. «Мир искусства» стал ярким явлением культуры, однако ни о каком извлечении прибыли от этого художественного издания не было и речи. Тенишевой «Мир искусства» принёс лишь ощутимые издержки — денежные убытки и моральную неудовлетворённость, сопряжённую с мучительными уколами её самолюбия. Дягилев руководил журналом, совершенно не считаясь с пожеланиями и вкусами княгини. Уже в первом номере журнала была опубликована довольно-таки язвительная и резкая по тону заметка, направленная против двух устоявшихся авторитетов: известного пейзажиста и профессора Императорской Академии художеств Юлия Юльевича Клевера и прославленного художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина. В этой заметке, наделавшей много шума и обратившей на себя внимание публики, мирискусники заклеямили Клевера и Верещагина как представителей антихудожественных, с их точки зрения, тенденций. Воспитанная передвижниками русская публика привыкла ценить реалистическую живопись. Однако у мирискусников были свои резоны, которые спустя полтора года изложил Александр

Бенуа: «...в первом номере нужно было сразу высказать-ся как можно ярче, сразу выяснить своё отношение к тем антихудожественным тенденциям, главным представителем и пророком которых является у нас Верещагин»<sup>621</sup>. Эта цель была достигнута, но эпатаж обошёлся издателям дорого. Заметка возмутила некоторых именитых читателей журнала, к числу которых принадлежал и Павел Михайлович Третьяков, не столько по существу, сколько по форме. Третьяков соглашался с тем, что в творчестве и Клевера, и Верещагина в последние годы стали ощущаться зримые признаки упадка дарования, но полагал, что Дягилев *взял не по чину*: именитые художники «заслуживают порицания, но не от начинающего журналиста по искусству»<sup>622</sup>.

Если отрицательный отзыв Третьякова о первом номере нового журнала был выражен в частном письме, то известный критик из демократического лагеря Владимир Васильевич Стасов в статье с красноречивым названием «Нищие духом» публично «разнёс» первые номера «Мира искусства». Стасовский разнос предопределил отрицательную реакцию печати на появление нового художественного журнала. Дерзкая выходка Дягилева и негативные отзывы прессы на кровное детище Тенишевой — всё это обескуражило княгиню. Меценатка «осталась недовольна» новорождённым журналом и посчитала, что «надо укоротить Дягилева»<sup>623</sup>. Мария Клавдиевна полагала, что редактор допустил непростительную бестактность, решив использовать финансируемый ею журнал для проповеди собственных взглядов, идущих вразрез с её воззрениями на русское искусство. Она почитала Верещагина живым классиком и выпад против него расценила как травлю, ответственность за которую падала на неё. Попытка княгини объясниться с Дягилевым не привела к желаемому результату: редактор не обратил ни малейшего внимания на слова меценатки. «Укоротить Дягилева» не удалось.

Мария Клавдиевна оказалась в весьма двусмысленной ситуации. Её имя, положение в обществе, княжеский титул и огромное богатство не шли ни в какое сравнение с именем начинающего редактора. Поэтому в глазах общества именно княгиня Тенишева несла мо-

ральную ответственность за все настоящие и будущие выходки Дягилева на страницах «Мира искусства»: никто не хотел верить, что все без исключения публикуемые на страницах журнала материалы не были предварительно согласованы с Марией Клавдиевной и издаются без её ведома и согласия. «С некоторыми людьми мне пришлось иметь объяснения самого тяжёлого характера, расплачиваясь за чужую вину»<sup>624</sup>. Хорошо воспитанной светской женщине претила манера Дягилева вышучивать и высмеивать всех и вся, «задевая людей за самые чувствительные струны»<sup>625</sup>. Дав Дягилеву немалые деньги, княгиня получила взамен одни лишь неприятности, которые сыпались на неё с двух сторон: как со стороны непокорного редактора, так и со стороны недовольных его выходками читателей.

Ситуация усугублялась ещё и тем, что известные и лично знакомые с княгиней Тенишевой художники из объединения «Мир искусства» весьма нелестно отзывались о ней как о женщине. Константин Андреевич Сомов, в декабре 1898 года встретившийся с княгиней в Париже, в письме своей близкой приятельнице художнице Елизавете Званцевой нарисовал малопривлекательный словесный портрет Марии Клавдиевны. Зоркий взгляд портретиста отметил красоту и любезность княгини, отличный туалет, «хорошо подвешенный язык» и полное отсутствие женского обаяния: «Она красива... но почему-то не имеет никакого женского шарма и потому не опасна для разборчивого и требовательного мужчины»<sup>626</sup>. Ещё более жёстко и пристрастно о Тенишевой высказался Александр Николаевич Бенуа: «Ни “с виду”, ни “по содержанию” мне Мария Клавдиевна не нравилась; я никак не мог согласиться, что репутация “красавицы” была ею заслужена. Правда, она была высокого роста, а по сложению могла сойти за то, что в те времена называли *belle femme* (красавицей); она обладала “пышным бюстом” и довольно тонкой талией. Но во всём этом не было никакого шарма. Черты её лица были грубоватые, нос с горбинкой выдавался слишком вперёд, рот был лишён свежести, а в глазах не было ни тайны, ни ласки, ни огня, ни хотя бы женского лукавства. Ещё менее мне был по душе её нрав. Благодушие Ма-



рии Клавдиевны, связанное со склонностью к веселью, её “душа нараспашку”, казалось, должны были бы очаровывать, но, к сожалению, всему этому недоставало какой-то “подлинности” и не было чуждо известной вульгарности, никак не вязавшейся ни с её титулом и, ни с её горделивой осанкой. Мария Клавдиевна, если и принадлежала по рождению и по своим двум бракам к тому, что называется высшим обществом, и обладала той долей образования, которая полагалась в этом кругу, однако в манерах, в разговоре и в самых оборотах мысли она обнаруживала нечто “простецкое”, а “хлесткость” её мнений никак не соответствовала тому, что даётся хорошим воспитанием»<sup>627</sup>. Впрочем, Бенуа старался быть объективным и не смог умолчать о том несомненном успехе, которым княгиня пользовалась у российского «великого инквизитора» — обер-прокурора Святейшего синода, члена Государственного совета и статс-секретаря Его Императорского Величества Константина Петровича Победоносцева, любившего вести с ней продолжительные беседы. «Марию Клавдиевну нельзя было зачислить в категорию скучных светских дам или претенциозных “синих чулок”. В ней не было и тени жеманства или того, что тогда ещё не называлось снобизмом»<sup>628</sup>.

Почему же два незаурядных художника так настойчиво и обстоятельно отмечали отсутствие у княгини женского очарования? Складывается впечатление, что они сознательно стремились убедить как окружающих, так и самих себя в том, что их настороженное отношение к чистоте намерений известной меценатки было оправданным. Миriskусники не верили в то, что княгиней движет только любовь к искусству. Константин Сомов был категоричен: «...истинного понимания и любви и серьёзного интереса в этом меценатстве нет»<sup>629</sup>. Александр Бенуа полагал, что движущим мотивом всей благотворительности Тенишевой является стремление разведённой женщины оправдаться в глазах высшего общества. «Возможно, что в будущем рисовалась перспектива быть принятой ко двору, а это послужило бы ей чем-то вроде реабилитации после того, что она, разведясь со своим первым мужем, заняла в петербургском

обществе несколько щекотливое положение»<sup>630</sup>. Неприязнь знаменитого мирискусника к княгине была столь сильна, что Бенуа не постеснялся в мемуарах коснуться исключительно деликатной темы, сделав весьма прозрачный намёк на то, о чём иной мемуарист предпочёл бы умолчать: «Не мудрено также, что между супругами происходили частые столкновения, и они стали учащаться по мере того, что Тенишев, женившийся по безумной страсти, стал к Марии Клавдиевне охладевать, что опять-таки совершенно понятно уже потому, что всем домогательствам влюблённого человека она противопоставляла не только холодность, но и едва скрываемое отвращение. Об этом непреодолимом отвращении она не стеснялась говорить с нами и даже напирала на это, быть может, не без тайной мысли, что тем самым она доставляет утешение своей подруге Киты Четвертинской»<sup>631</sup>.

Разумеется, Мария Клавдиевна не могла не почувствовать такого к себе отношения. Прагматичный и хорошо знавший жизнь князь Тенишев оказался прав: от неё мирискусникам нужны были только деньги. Чашу терпения переполнила злая карикатура «Идиллия (Корова, которую доят разные прохвосты)» известного в то время художника Павла Егорьевича Щербова, опубликованная в журнале «Шут» в 1899 году. На ней были изображены Лев Бакст (в виде петуха), Сергей Дягилев (доит корову), Дмитрий Философов, Михаил Нестеров, княгиня Тенишева (в виде коровы с большим выменем), Илья Репин, Савва Мамонтов (в виде мамонта). Карикатура хорошо запомнилась современникам. В 1939 году Михаил Васильевич Нестеров вспомнил о ней в разговоре со своим близким другом: «Изобразил Тенишеву, как её доят мирискусники. Княгиня высокая была, огромная, породистая. Корова — похожа на Тенишеву удивительно, а корова, настоящая корова. Дягилев, в виде бабы, повязанный платком, доил её. Корова оставила след. Петушок задорный клюёт в нём зёрнышки. Петушок — вылитый Бакст. А я поодаль, в виде Христовой невесты, вышиваю в пальцах шелками»<sup>632</sup>. Карикатура попала точно в цель. В артистической натуре Дягилева мирно уживались обаяние и цинизм, аристократизм и

бесстыдство, организаторский гений и распутство. «Я, во-первых, большой шарлатан, — писал он своей мачехе, — хотя с блеском, во-вторых, большой шармёр, в-третьих, большой нахал, во-четвёртых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов»<sup>633</sup>. В январе 1899 года Константин Сомов, ставший свидетелем дягилевской манеры общения с княгинями Тенишевой и Святополк-Четвертинской, писал: «Серёжа в Париже оседлал и заговорил княгинь так, что они прямо млеют от него...» Сомов прозорливо разглядел потребительское отношение Дягилева к княгиням. Сергей Павлович «желает властвовать и надеть свой намордник на этих баб»<sup>634</sup>.

Долго так продолжаться не могло. Спустя год после подписания договора об издании «Мира искусства» княгиня Тенишева, взвесив все «за» и «против», отказалась финансировать журнал. От издания журнала образовывался ежегодный финансовый дефицит, составивший в 1899 году — 5686 рублей и в 1900 году — 5185 рублей. При этом журнал пользовался известностью и авторитетом, а число подписчиков ежегодно росло: в 1900 году — 801, в 1901 году — 1217 и в 1902 году — 1309 человек<sup>635</sup>. Художник Валентин Александрович Серов, портретировавший Николая II, откровенно сказал государю, что очень хороший журнал стоит перед финансовым крахом, и попросил царя поддержать «Мир искусства». Император откликнулся на эту просьбу и выделил деньги не из государственного бюджета, а из своих личных средств. Деньги дал не император и самодержец Всероссийский, а меценат Николай Александрович Романов. Лишь полученная от Николая II в 1900 году субсидия на три года по 15 тысяч рублей в год спасла «Мир искусства» от неминуемого закрытия и на несколько лет продлила его существование<sup>636</sup>. Решение княгини Тенишевой, отказавшейся субсидировать издание убыточного журнала, мирискусники расценили как каприз, обиду разочарования и даже измену их общему делу<sup>637</sup>.

Рискуя впасть в анахронизм, я должен заметить, что в наше время тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Однако так было не всегда, и несколько странное, с на-

шей точки зрения, поведение Дягилева и его коллег вполне вписывалось в стилевые тенденции не только Серебряного века, но и большого времени истории — начиная с золотого века русской культуры. Отчего же Дягилев так обошёлся с Тенишевой? В отношении художников круга «Мира искусства» к меценатке-княгине не было ничего из ряда вон выходящего. Аналогичным образом вели себя основатели Московского Художественного театра с меценатом, давшим деньги на создание этого театра. Миллионер Савва Тимофеевич Морозов был одним из основных пайщиков Московского Художественного театра и председателем правления Товарищества МХТ на паях. Без морозовских денег Художественный театр не мог бы ни состояться, ни существовать. Однако эти финансовые вливания не давали миллионеру никаких прав.

На рубеже XIX—XX веков самосознание художника находилось на такой высоте, что малейшее поползновение самого Саввы Тимофеевича или его жены Зинаиды Григорьевны оказывать влияние на искусство МХТ воспринималось очень болезненно и решительно пресекалось. Художественный директор и председатель репертуарного совета театра Владимир Иванович Немирович-Данченко испытывал беспокойство по поводу того, что Морозов не удовлетворится «одной причастностью к театру, а пожелает и “влиять”»<sup>638</sup>, и с нескрываемым раздражением писал по этому поводу главному режиссёру театра Константину Сергеевичу Станиславскому: «Начинал с Вами наше дело не для того, чтобы потом пришёл капиталист, который вздумает из меня сделать... как бы сказать? — секретаря что ли?»<sup>639</sup>

В течение всего XIX столетия, первые десятилетия которого стали золотым веком русской культуры, меценат сдавал одну позицию за другой. Его желание прославиться и оставить своё имя на страницах истории удивляло как самих творцов, так и публику и казалось неуместным анахронизмом. Пушкин любое вмешательство мецената в дела культуры однозначно расценивал как унижительное покровительство. Отчасти так оно и было. Меценат, как правило, богатый вельможа, давая деньги творцу, смотрел на него свысока, а себя

ощущал благодетелем. Он считал вправе претендовать за своё благодеяние на авторскую благодарность, которая выражалась если не в написании хвалебной оды, то в пространным посвящении. Так было вплоть до конца первой четверти XIX века, после чего ситуация стала меняться. Меценат последовательно вытеснялся из культурного пространства, всё реже рассматривался как полноправный участник культурного процесса. В литературе это произошло уже в первой четверти XIX века, в изобразительном искусстве — лишь в последней трети столетия, но по мере того как формировался рынок художественных произведений, роль мецената неуклонно снижалась. В конце века меценат превратился в инвестора, то есть человека, дающего деньги.

Разница между меценатом и инвестором принципиальная. Меценат прокладывал новые пути развития культуры и шёл по ним во главе культурного сообщества. Инвестор вкладывал деньги в культуру, не имея надежды ни прославиться, ни вернуть свои деньги. Для чего он это делал? В XIX — первой половине XX века со словами «писатель», «художник», «артист» ассоциировались представления о служении высокому искусству, высоком предназначении и нравственной высоте. Поэтому сам факт близости к творцам воспринимался как награда. По мере того как падала роль наследственной аристократии, повышалась роль аристократов духа. Раньше меценат мог осчастливить художника своим участием в его судьбе и оставить своё имя на страницах истории, теперь же они поменялись местами. И любое приобщение к культуре, даже к её периферии, стало расцениваться как самодостаточная ценность.

Но главное заключалось в том, что эстетическая позиция мирискусников знаменовала собой качественно новый этап в развитии русского искусства. На смену так называемой идейности всей русской культуры был выдвинут принцип «искусство для искусства». Искусство самодостаточно: им следует заниматься не ради какой-то идеи, а ради него самого. Кредо мирискусников было манифестировано в программной статье «Сложные вопросы», открывавшей первый выпуск журнала: «...великая сила искусства заключается именно в том, что

оно самоцельно, самополезно и главное — свободно <...> произведение искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца». Авторами статьи были Дягилев и его кузен Философов. Это был идейный разрыв со всей предшествующей демократической традицией русской культуры. Вот почему мирискусников прозвали «декадентами», то есть «упадочниками». В это прозвище сознательно вкладывался уничижительный смысл: намеренный отказ следовать политической или социальной тенденции воспринимался демократической прессой как идейный упадок. Стасов назвал Дягилева «декадентским старостой»<sup>640</sup>. Обвинения и насмешки посыпались и на княгиню Тенишеву, которую прозвали «мать декадентства»<sup>641</sup>.

Сергей Павлович Дягилев был главной пружиной нового направления в искусстве. Именно его неуёмная энергия, умение заставить артиста или художника отдать задуманному делу без оглядки, его редкая практическая хватка и способность находить деньги для реализации своих художественных проектов, обширные знания и безукоризненное художественное чутьё — всё это сделало Дягилева непререкаемым лидером мирискусников. Один из наиболее известных мирискусников Александр Бенуа вспоминал о дягилевском стиле руководства: «Он был великим мастером создавать атмосферу заразной работы, и всякая работа под его главенством обладала прелестью известной фантастики и авантюры. <...> Дягилев с таким же вдохновением, с такой же пламенностью, какие мы, профессиональные художники, обнаруживали в своих произведениях, организовывал всё, с чем наша группа выступала, издавал книги, редактировал журнал, а впоследствии ведал трудным, часто удручающим делом “театральной антрепризы”, требовавшим контакта со всевозможными общественными элементами. Наиболее же далёкой от нас областью была реклама, *publicité*, всё дело пропаганды, а как раз в этом Дягилев был удивительным, как бы от природы одарённым мастером»<sup>642</sup>. Он знал, как «расшевелить» того или иного сотрудника, виртуозно умея любого из них «встряхивать». «Он охотно прибегал, в случае упадка сил во время работы, к упрёкам и

понуканиям, но наряду с этим и к воздействию на совесть и даже к возбуждению какой-то жалости к себе. Вдруг становилось стыдно за своё равнодушие и тогда забывались (иногда и весьма основательные) обиды, переход от положения “скрестя руки” к самой активной помощи происходил внезапно и решительно»<sup>643</sup>. И хотя диктаторские замашки Дягилева вызывали недовольство его товарищей, именно сотрудничество с Дягилевым навсегда осталось самым волнующим и продуктивным периодом их жизни. Сам Дягилев говорил о себе: «Я — художник без картин, писатель — без полного собрания, музыкант — без композиций»<sup>644</sup>. Он был великий импресарио. В наши дни этот титул не нуждается в объяснениях, но в конце XIX — начале XX века требовал и объяснений, и оправданий. В головах даже очень образованных людей с трудом укладывалась мысль, что выдающимся организатором творческого процесса и главой нового художественного направления может быть человек, который не рисует декораций, не пишет картин и не сочиняет музыку. В Дягилеве не было ни капли *обламовщины*. Среди многих безвольных или вечно колеблющихся современников Дягилев выделялся своей твёрдой волей, безграничным умением преодолевать самые трудные препятствия и доводить до конца любое начатое дело.

В начале XX века Дягилев задумал реализовать грандиозный проект: выпустить в свет трехтомное иллюстрированное издание «Русская живопись в XVIII веке». Его интересовала прежде всего портретная живопись. Первый том планировалось посвятить Левицкому, второй — Рокотову, Антропову, Дорожжину, Шибанову, Аргуновым, Щукину и другим портретистам, третий том — Боровиковскому. Прекрасно понимая, что оригиналы большинства этих живописных произведений являются частной собственностью, Сергей Павлович через газету «Новое время» и журнал «Мир искусства» обратился к владельцам картин с просьбой сообщить ему об имеющихся у них произведениях. Находящиеся в частных руках картины и портреты нужны были для изучения и репродуцирования. Цель этого фундаментального издания заключалась в том, чтобы «собрать

разрозненный и столь малоисследованный материал о замечательных русских художниках, а также дать хорошие снимки с их произведений»<sup>645</sup>. Это было ново и смело. Доселе никто не проявлял никакого интереса к творчеству русских живописцев XVIII столетия. Демократическая художественная критика и прежде всего Стасов относились к их работам с нескрываемым пренебрежением. Работы этих живописцев были слабо представлены в Третьяковской галерее, ибо в то время они считались не столько национальными, сколько подражательными. Стасов отказывал русскому искусству XVIII века в праве на национальную самобытность и художественную оригинальность: «Напрасный пустцвет, без корней, сорванный в Европе и прищипленный для виду в петлицу русского кафтана»<sup>646</sup>. Что-либо возразить на эту хлесткую фразу было затруднительно, потому что в отечественном искусствоведении отсутствовали сколько-нибудь серьёзные исследования об этом времени. Александр Бенуа отмечал «малый интерес, проявленный до сих пор к творчеству таких старых мастеров», и сетовал на то, что «покамест вовсе не существует серьёзных и дельных исследований, касающихся в высшей степени драгоценных работ этих художников»<sup>647</sup>.

Проект Дягилева был исключительно амбициозным: ему предстояло стать первооткрывателем не только русского искусства, но и России «оснадцатого столетия»: многие картины требовали атрибутировать их авторов, а портреты — идентифицировать персонажей. Чтобы выявить ранее неизвестные произведения Левицкого, Дягилев обратился с личными письмами к владельцам наиболее крупных художественных собраний и получил 36 ответов. Обращение через периодическую печать дало 21 ответ. Неплохой улов принесло использование административного ресурса: разослав около шестисот печатных писем всем губернаторам и уездным предводителям дворянства, Дягилев получил 28 ответов<sup>648</sup>. Иными словами, была удачно опробована методика поиска художественных произведений, позволившая выявить как достоверные работы Левицкого, так и приписываемые ему. Помимо этого удалось соста-



вить список работ Левицкого, упоминаемых в источниках, местонахождение которых осталось неизвестным.

В 1902 году вышел в свет первый том этого издания — капитальная монография Дягилева о Левицком, которая в течение более чем шести десятилетий оставалась единственным обобщающим научным исследованием, посвящённым этому художнику. Эта книга большого формата была прекрасно написана и великолепно издана, в ней имелась 101 репродукция работ Левицкого. Русский читатель доселе не видел ничего подобного. Технические возможности того времени не позволяли без баснословного удорожания издания печатать цветные репродукции, но даже чёрно-белые иллюстрации были выполнены столь качественно, что и в наши дни выглядят впечатляюще. Это было роскошное издание для состоятельных эстетов, любящих искусство книги и понимающих в нём толк. Всего было напечатано 400 экземпляров, 100 из них оптом приобрела Императорская Академия художеств по 15 рублей за экземпляр. В книжных магазинах книга продавалась уже за 20 рублей. В 1910 году на книжном складе Академии художеств ещё были единичные экземпляры монографии Дягилева: книгу продавали «лишь в редких случаях, по цене 40 руб. за экземпляр»<sup>649</sup>. Это было месячное жалованье квалифицированного рабочего, начинающего чиновника или младшего офицера. В сентябре 1904 году Дягилев получил за этот труд по русской истории от Академии наук большую Уваровскую премию. Это было несомненное признание заслуг, ибо в течение шести лет Уваровская премия «не была присуждена ни за одно из сочинений, представленных на соискание этой почётной учёной награды»<sup>650</sup>. Казалось, это был полный успех.

Однако задуманный Дягилевым проект не был реализован: второй и третий тома истории живописи так и не удалось издать. Творческая деятельность Дягилева таила в самой себе неустрашимое противоречие. С одной стороны, Сергей Павлович прекрасно чувствовал себя в новых капиталистических реалиях: он раньше других понял всю силу рекламы, правильно оценил те колоссальные возможности, которые таит в себе бо-

гато иллюстрированная книга; добиваясь высокого качества иллюстраций, он не скупился печатать их в лучших отечественных и зарубежных типографиях. В итоге Дягилев был способен выбросить на рынок уникальный товар высочайшего качества. С другой стороны, в России ещё не было достаточного количества состоятельных людей, способных заплатить 25 рублей за дорогую книгу по искусству, а именно столько должны были стоить второй и третий тома. На эти деньги можно было оформить годовую подписку на два-три толстых литературных журнала или же купить полтора-два десятка неплохих книг. За шесть рублей подписчик «Нивы» получал не только годовой комплект лучшего в России журнала с отличным подбором современной беллетристики, но и бесплатное приложение — много-томное собрание сочинений Достоевского, Гончарова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Чехова. А за два тома, которые намеревался издать Дягилев, надо было выложить 50 рублей, что было непомерно высокой ценой даже для преуспевающего столичного чиновника, не говоря уже о небогатом провинциальном интеллигенте. Выпускник Петербургского университета, сын генерал-майора и будущий известный художник-мирискусник Мстислав Валерианович Добужинский, служивший при канцелярии министра путей сообщения, первые полтора года работал вообще без жалованья, затем стал получать 45 рублей в месяц, а после семи лет службы — 150 рублей. «Многие находили, что всё это редкое по быстроте начало служебной карьеры, и даже поздравляли!»<sup>651</sup>

Дягилевский проект, который требовал огромных вложений даже при минимальном первоначальном тираже, не мог себя окупить и принести прибыль. Любой процветающий издатель, делающий деньги за счёт быстрого оборота многотиражной продукции, это прекрасно понимал. Ни один крупный издатель не рискнул вложить деньги в это дорогостоящее издание. Даже правительственная субсидия в 30 тысяч рублей, полученных от Николая II, не смогла переломить ситуацию<sup>652</sup>. Для того чтобы выпустить в свет оба тома минимальным тиражом 1200 экземпляров, требовалось

вложить в их издание 60 тысяч рублей. Таких денег у Сергея Павловича не было. Может быть, поэтому второй и третий тома, хотя они уже были подготовлены к печати, так и не были изданы. Однако эта неудача не помешала Дягилеву задумать и благополучно довести до логического конца новый грандиозный замысел.

### *Сарказм и парад истории*

Дягилев решил устроить Историко-художественную выставку русских портретов за период с 1705 по 1905 год, то есть от появления светского портрета при Петре I до современности. Замах был впечатляющим. Однако его задача осложнялась тем, что к этому моменту несколько поколений русской интеллигенции не только безоговорочно отвергали имперские ценности, но и крайне негативно относились к истории государства Российского.

В течение десятилетий русское образованное общество с нескрываемым сарказмом взирало на былое и изучало историю своей страны по Салтыкову-Щедрину. Дворянское сословие было главной движущей силой русской истории петербургского периода, а после отмены крепостного права только ленивый не пинал благородное сословие. Историческое сознание пореформенной эпохи с исчерпывающей полнотой описывается пушкинским четверостишием, созданным ещё в 1836 году, на излёте золотого века русской культуры:

...геральдического льва  
Демократическим копытом  
Теперь лягает и осёл:  
Дух века вот куда зашёл!<sup>1654</sup>

Спору нет, императорский период истории России давал пищу для демократических обличений. В условиях ослабления цензурного гнёта благородное сословие можно было обоснованно и доказательно обвинять в различных прегрешениях — от произвола до паразитизма, от чванливости до раболепия. И хотя многие обвинения были справедливы, с водой нередко выплёски-

вали и ребёнка: великая дворянская культура не рассматривалась как объект, достойный изучения. Винить в этом только либеральную интеллигенцию не приходится. Уже в пушкинскую эпоху происходила утрата исторической памяти. Современники великого поэта, принадлежавшие к благородному сословию, мало интересовались не только историей своей страны, но даже историей своего рода. Они стеснялись проявлять пристальный интерес к своей родословной из-за опасения, что окружающие сочтут этот интерес проявлением дворянской спеси. Со времени написания басни Ивана Андреевича Крылова «Гуси» (1811) выражение «Наши предки Рим спасли» стало крылатым и мало кто отваживался кичиться заслугами своих предков. Даже гордиться их заслугами казалось архаичным.

Нет однозначного объяснения тому, в чём была причина такого уничижительного отношения к прошлому. Очевидно лишь одно, что золотой век русской дворянской культуры, несмотря на небывалый расцвет мемуаристики, был временем эрозии исторической памяти, на что неоднократно сетовал Пушкин. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. “Государственное правило, — говорит Карамзин, — ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному”. Греки в самом своём унижении помнили славное происхождение своё и тем самым уже были достойны своего освобождения. Может ли быть пороком в частном человеке то, что почитается добродетелью в целом народе? Предрассудок сей, утверждённый демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?»<sup>654</sup> Эта пушкинская мысль впервые была опубликована в альманахе «Северные цветы» за 1828 год. Сама жизнь дала отрицательный ответ на риторический вопрос Пушкина: «благороднейшая надежда» оказалась тщетной.

Великий сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, происходивший из знатного дворянского ро-

да Салтыковых и писавший под псевдонимом Н. Щедрин, был постоянным читателем исторических журналов «Русский архив» и «Русская старина», черпая на их страницах материалы для сатирических обличений, но совершенно не интересовался историей своего рода и смутно представлял себе собственную родословную. Мало какой дворянский род мог похвастаться таким количеством скелетов в шкафу, как род Салтыковых. «Проклятый род в русской истории: Салтыков удушил патриарха Ермогена, Салтыкова родила Анну Иоанновну, Салтычиха явила самое растленное в крепостном праве, Салтыков... укрывлся за Щедрина, но первый отравил русскую литературу, выдав больную печень и желчь за словесность и художество»<sup>655</sup>. Эти слова вышли в начале 1929 года из-под пера Сергея Николаевича Дурылина (1886—1954), театроведа, литературоведа, писателя и мемуариста, который в это время находился в советской ссылке в Томске.

Дурылин был прекрасно образован. Он не мог не знать, что род Салтыковых дал России не только Салтычиху; в этом роду были бояре, графы, князья, фельдмаршалы, генерал-губернаторы. Однако какими бы категоричными ни были слова мемуариста, очевидно, что свой нигилизм по отношению к российской истории Салтыков-Щедрин передал своим читателям и почитателям, рассматривавшим отечественную историю сквозь призму щедринской «Истории одного города». Так история государства Российского стала историей города Глупова.

Один из лидеров «младших» славянофилов Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886) так охарактеризовал знаменитого сатирика: «При всех его недостатках, это, разумеется, страшный талант и огромный мыслитель. Это своего рода бич божий на Петербургский период русской истории и петербургскую бюрократию — это её историк. К чему бы он ни прикоснулся, всё под его пером является в карикатуре и обращается в пошлость. <...> У всякого писателя своя роль. Я бы Салтыкова так охарактеризовал: это исторический дворник Петербургского периода. Дворник с огромной метлой. И чем больше он метёт, тем больше всякого сору, потому что самый период этот какой-то проклятый»<sup>656</sup>.

Салтыков-Щедрин сформировал у интеллигенции саркастическое отношение к истории государства Российского. И никакие гимназические уроки истории не могли вытравить этот сарказм. Фёдор Иванович Тютчев говорил: «Русская история до Петра Великого — сплошная панихида, а после Петра Великого — одно уголовное дело»<sup>657</sup>. То, что у Тютчева было проходной салонной остроотой, не выходявшей за пределы великосветской гостинной, благодаря салтыковской сатире стало мировоззрением образованной части русского общества. Михаил Петрович Соловьёв, в 90-е годы XIX века служивший заместителем начальника Главного управления по делам печати, со знанием дела писал: «С появлением каждой новой вещи Щедрина валился целый угол старой жизни. Кто помнит впечатление от его “Помпадуров и помпадурш”, его “глуповцев” и его “Балалайкина”, знает это. Явление, за которое он брался, не могло выжить после его удара. Оно становилось смешно и позорно. Никто не мог отнестись к нему с уважением. И ему оставалось только умереть»<sup>658</sup>.

Однако умирало не только смешное и позорное. Вместе с ним умирал и энтузиазм. Как писал Василий Васильевич Розанов: «После Гоголя, Некрасова и Щедрина совершенно невозможен никакой энтузиазм в России. Мог быть только энтузиазм к разрушению России»<sup>659</sup>. Салтыкова-Щедрина читали не только те, кто постоянно держал фигу в кармане против власти. Его произведения читали император Александр II и его братья великие князья Константин и Николай Николаевичи. С большим уважением к таланту сатирика относился и военный министр граф Дмитрий Алексеевич Милютин, с удовольствием читавший не пропущенные цензурой произведения Салтыкова-Щедрина и оценивавший некоторые явления русской жизни как материализацию салтыковских образов<sup>660</sup>.

Многие художественные образы, созданные фантазией Салтыкова-Щедрина, стали именами нарицательными и превратились в крылатые слова и образные выражения: Глупов и глуповцы, Иудушка Головлёв, Иван Непомнящий родства, казённый пирог, карась-идеалист, мягкотелый интеллигент, пенкосниматели и пен-

коснимательство, помпадуры и помпадурши, премудрый пескарь, торжествующая свинья, эзопов язык, Угрюм-Бурчеев и его классическая триада: «Не потерплю! Сокрушу! Разорю!», Балалайкин — тип продажного адвоката-авантюриста, увлекающегося самим процессом вранья. О всякой произносимой с важностью глупости, о всяком выдаваемом за серьёзное дело пустяке с легкой руки сатирика стали говорить одним словом — «благоглупости». «Благонамеренные речи» — это заглавие сборника сатирических очерков писателя превратилось в расхожую литературную цитату, не требующую комментариев.

В 1884 году Салтыков-Щедрин написал сатирическую сказку «Вяленая вобла», и с этих пор именно так стали называть всякого сторонника теории «малых дел». В период проводимых правительством императора Александра III контрреформ эта сказка звучала исключительно злободневно. «Как это хорошо, — говорила вяленая вобла, — что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего у меня не будет! Всё у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести»<sup>661</sup>.

Синонимом беспринципности, примиренчества и попустительства стало прославленное выражение сатирика «гнилой либерализм». Благодаря нескольким произведениям Михаила Евграфовича стало очень популярным его выражение: «Капитал приобрести и невинность соблюсти». Именами нарицательными стали типы кулаков времён развития капитализма в России, созданные писателем, — Колупаевы и Разуваевы. В «Признаках времени» (1863) писатель поведал о русском путешественнике пореформенной поры. «Я не бывал за границей, но легко могу вообразить себе положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть... В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ямщиков; за границей он пересел в вагон и не знает, как и перед кем излить свою благодарную душу. Он заигрывает с кондуктором и стремится поцеловать его в плечико (потому что ведь, известно, у нас нет середины, либо в ры-

ло, либо ручку пожалуйста!)»<sup>662</sup>. Заключительная фраза стала крылатой. В 1876 году Салтыков-Щедрин от лица пресыщенного и трусливого либерала говорит: «Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Ободрать бы сначала, мелькнуло у меня в голове; ободрать да и в сторону... А потом, зарекомендовав себя благонамеренным, можно и о конституции на досуге помечтать»<sup>663</sup>. В 1884 году в «Пёстрых письмах» Салтыков-Щедрин написал: «Русский читатель, очевидно, ещё полагает, что он сам по себе, а литература сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего. Попробуйте сказать ему, что между ним и литературной профессией существует известная солидарность, — он взглянет на вас удивлёнными глазами»<sup>664</sup>. Так в русском языке появился ещё один афоризм: «Писатель пописывает, читатель почитывает».

В 1885 году была написана сатирическая сказка «Либерал», герой которой клянчил у правительства реформ сначала «по возможности», затем «хоть что-нибудь» и, наконец, «применительно к подлости»<sup>665</sup>. С тех пор это последнее выражение стало обозначать приспособленчество и оппортунизм. В 1886 году во введении к «Мелочам жизни» Салтыков-Щедрин без обиняков выразил своё отношение к процессу развития капитализма в России и обогатил русский язык новым крылатым словом «чумазый». Для знаменитого сатирика чумазый — это кулак и выжига из среды крестьян, мещанства и купечества, в большом количестве появившийся в пореформенной России и бросившийся закабалить деревню:

«Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе. Остались бы “чумазы” с их исконным стремлением расщипать общественный карман до последней нитки.

Идёт чумазый, идёт! Я не раз говорил это и теперь повторяю: идёт, и даже уже пришёл! Идёт с фальшивою мерою, с фальшивым аршином и с неутолимою алчностью глотать, глотать, глотать...



Интеллигенция наша ничего не противопоставит ему, ибо она ниоткуда не защищена и гибнет беспомощно, как былье в поле...

Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равнодушен к судьбам родной страны, к судьбам ближнего, ко всему, кроме судеб пущенного им в оборот алтына. Таков современный чумазый. Повторяю... русский чумазый перенял от своего западного собрата его алчность и жалкую страсть к внешним отличиям, но не усвоил себе ни его подготовки, ни трудолюбия. Либо пан, либо пропал, — говорит он себе, и ежели лёгкая нажива не удаётся ему, то он не особенно ропщет, попадая вместо хором в навозную кучу. <...>

Чумазый вторгся в самое сердце деревни и преследует мужика и на деревенской улице, и за околицей. Обставленный кабаком, лавочкой и грошовой кассой ссуд, он обмеривает, обвешивает, обсчитывает, доводит питание мужика до минимума и в заключение вызывает к властям об укрощении людей, взволнованных его же неправдами. <...>

Период помещичьего закрепощения канул в вечность; наступил период закрепощения чумазовского...»<sup>666</sup>

Салтыков-Щедрин был плотью от плоти русской литературы и крайне негативно относился как к самому процессу развития капитализма в России, так и к его носителям — Колупаевам, Разуваевам, Тит Титычам. И русская интеллигенция была вполне солидарна с Михаилом Евграфовичем.

Сергей Павлович Дягилев был одним из тех, на чью долю выпало вправить *вывихнутый сустав времени*. Он не только не осуждал буржуазные отношения, но и ощущал себя в них как рыба в воде, умело использовал в своей практической деятельности те невиданные новые возможности, которые нёс с собой капитализм.

В апреле 1904 года Дягилев писал княгине Тенишевой о предстоящей Историко-художественной выставке русских портретов: «Думаю таким образом представить всю историю русского искусства и русского общества. Полагаю, что наберётся до 2000 портретов, подумайте, какие могут быть неожиданности, какие переоценки, целые эпохи могут всплыть, другие потерять фальшивое

значение. Но дела — бездна бездн»<sup>667</sup>. И Сергей Павлович блистательно сумел преодолеть эту бездну. В ход пошло всё: и его умение искать и находить деньги, произведения искусства, людей; и его способность грамотно использовать административный ресурс; и его уникальные знания о русском искусстве и русской жизни XVIII столетия. Работа над монографией о Левицком обогатила Дягилева бесценным опытом по атрибуции художников и идентификации персонажей. Никто так хорошо не изучил людей той эпохи и их визуальный образ, как Дягилев. В этом ему воистину не было равных.

Дягилеву удалось заручиться поддержкой великого князя Николая Михайловича — дяди императора и известного историка, живо интересовавшегося событиями минувшего времени и опубликовавшего несколько томов исторических сочинений, посвящённых эпохе императора Александра I и снабжённых уникальными иллюстрациями. Бенуа называл его «самым культурным и самым умным из всей царской фамилии»<sup>668</sup>. Великий князь стал председателем Комитета будущей выставки. Заседания Комитета проводились в его Ново-Михайловском дворце в Петербурге. Сама же выставка должна была открыться в Потёмкинском дворце в Таврическом саду. Это был великолепный архитектурный памятник классицизма. Дворец много лет пустовал, его интерьеры, сохранившие аромат Екатерининской эпохи, не были изуродованы позднейшими переделками и перепланировками. Через посредство Николая Михайловича Дягилев сумел добиться высочайшего покровительства для своего исполинского начинания, что было очень удачным, как сказали бы в наши дни, маркетинговым ходом. «Это открывало нам и самые замкнутые двери и заставляло сдаваться и самых строптивых обладателей портретов»<sup>669</sup>. Ссылаясь на покровительство императора Николая II, рассылая официальные запросы от имени великого князя Николая Михайловича, назначенный генеральным комиссаром выставки Дягилев сумел получить уникальный доступ к нескольким тысячам картин, находящихся как в императорских резиденциях, так и в дворянских усадьбах. Никто и никогда не предпринимал доселе столь грандиозных исто-

рико-культурных изысканий. Мужественно преодолевая большие неудобства и ужасную усталость, Дягилев лично посетил 102 провинциальные помещичьи усадьбы, о которых было известно, что там находятся интересные старинные портреты. Фактически Сергей Павлович объездил всю русскую провинцию. Этот небывалый размах даже напугал великого князя. Деятельную помощь в обследовании петербургских и московских коллекций Дягилеву оказал Бенуа.

«В каждой русской семье, которая дорожила памятью своих предков, сохранялись портреты отцов и дедов — так было заведено искони. Писали их и русские художники, и заезжие иностранцы. С начала XVII в. очень многие прославленные в Европе портретисты приглашались ко двору и писали членов царствующего дома и русскую знать. Портреты хранились во дворцах, министерствах, в разных учреждениях, в частных домах обеих столиц и во многочисленных поместьях. В имениях часто сохранялись целые галереи предков — портреты, миниатюры, силуэты, иногда и бюсты порой людей ничем не замечательных и никому не известных, но подчас изображения необыкновенно интересные и ценные с исторической и бытовой точек зрения. Качество этих произведений, конечно, было самое разнообразное, но среди них были настоящие шедевры, многие из которых оставались неизвестными публике, так как были скрыты во дворцах (как, например, чудесные “Смолянки” Левицкого), в особняках нашей аристократии и в бесчисленных имениях. <...>

Время для того, чтобы разыскать эти скрытые сокровища, собрать и показать их, было самое подходящее, так как вместе с разными изменениями в быту, особенно помещичьей жизни, когда стали вырубаться “вишнёвые сады”, наступило полное равнодушие к окружающему, и “культ предков” уже выдыхался. Оказалось, что это надо сделать и потому, что надвигалась первая революция, которую в то время мало кто предвидел. Дягилев же — я в этом уверен — её предчувствовал и потому торопился»<sup>670</sup>.

Дягилев и Бенуа выявили около четырёх тысяч портретов. Из них почти три тысячи были отобраны для

экспозиции, развёрнутой в Таврическом дворце, залы которого были специально приспособлены для демонстрации портретов. Не все отобранные портреты были показаны в экспозиции. Каталог выставки содержал описание 2300 портретов, сведения о художниках и об изображённых лицах; в последний момент устроители выставки отказались от экспонирования около трёхсот портретов<sup>671</sup>. На выставке были представлены работы почти четырёхсот художников, экспонировавшиеся портреты принадлежали пятистам владельцам<sup>672</sup>. Лишь незначительная часть этих портретов была известна по гравюрам, большинство же из них никогда и нигде не выставлялись. Впервые со столь исчерпывающей полнотой был представлен визуальный образ прошлого.

История государства Российского зримо предстала перед восхищёнными зрителями, олицетворённая в портретах главных и второстепенных деятелей петербургского периода Российской империи. Именно после этой выставки и под её несомненным влиянием появились блистательные произведения мирискусников, посвящённые событиям императорского периода истории России. Александр Бенуа — «Прогулки императрицы Елизаветы Петровны» (1906), «Парад при Павле I» (1907), «В лагере екатерининских солдат» (1909), «Торжественный выход императрицы Екатерины II в Царскосельском дворце» (1909), «Петербург при Петре Великом» (1910), «Утро помещика». Валентин Серов — «Пётр I» (1907). Евгений Лансере — «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (1905), «Цесаревна Елизавета у Преображенских казарм 25 ноября 1741 года» (1911). Мстислав Добужинский — «Учение солдат в Николаевское время», «Город в Николаевское время. Провинция 1830-х годов» (1907—1909), «В военном поселении» (1911). Дмитрий Кардовский — «Солдаты Петра Великого» (1907), «Смотр новиков» (1907), «Заседание Сената петровских времён» (1910), «Императрица Анна и её двор» (1907), «Бал в Москве 1820-х годов» (1911), «Оборона Севастополя» (1910). Борис Кустодиев — «Освобождение крестьян. Чтение Манифеста в барской усадьбе» (1907), «В московской гостиной 1840-х годов. Люди сороковых годов» (1912). Даже вто-

ростепенные персонажи этих работ поражают своей иконографической достоверностью. Большинство этих классических произведений в 1908—1913 годах издательство Иосифа Николаевича Кнебеля репродуцировало в серии «Картины по русской истории». Для земских школ, гимназий и реальных училищ великолепно напечатанные хромофотографии большого формата (61,0х83,0 см) стали прекрасными наглядными пособиями по отечественной истории.

Отныне любое обращение к прошлому стало невозможно без использования визуальных образов Историко-художественной выставки русских портретов. Константин Сергеевич Станиславский, намеревавшийся поставить на сцене МХТ «Горе от ума», написал в апреле 1905 года: «Самое интересное теперь в Петербурге — это выставка портретов. В огромном Таврическом дворце собраны со всей России портреты наших прапрабабушек и дедушек, и каких только там нет! Это очень мне на руку, особенно теперь, когда мы хотим ставить “Горе от ума”. <...> Буду ездить туда каждый день и всё рисовать»<sup>673</sup>.

Сам Дягилев прекрасно понимал огромную ценность собранных в одном месте и в одно время портретов. Пройдёт назначенное для выставки время, и портреты нужно будет вернуть их владельцам, они вновь разойдутся по отдалённым и запущенным имениям и уже не будут доступны для исследователей. И тогда Сергей Павлович со свойственной ему энергией и настойчивостью предпринял титанические усилия, чтобы запечатлеть эти портреты на фотоснимках. К этой работе были привлечены крупнейшие петербургские мастера светописи — И. Н. Александров, Ф. Николаевский, К. К. Булла, К. А. Фишер. Некоторые экспонаты выставки погибли во время революции 1905 года, другие портреты пропали во время бурных событий Гражданской войны и двух мировых войн. До сих пор неизвестна судьба восемнадцати произведений Левицкого, которые в числе других его работ экспонировались на выставке<sup>674</sup>. Фотографии и негативы не погибли, благополучно сохранились до наших дней, но они рассредоточены по нескольким хранилищам, и их целостное изучение ещё ждёт своего часа<sup>675</sup>.

Организовав выставку в Таврическом дворце, Дягилев добился того, что ещё недавно казалось невозможным: он соединил разорванную цепь времён, вправил вывихнутый сустав времени. Однако этот эффект был кратковременным и продолжался всего лишь около полугода. Выставка открылась 6 марта, а закрылась 26 сентября 1905 года. Посетители Историко-художественной выставки русских портретов убедились, что у России есть иная история, отличная от истории города Глупова. Былое не умерло, минувшее незримой цепью связано с настоящим, а прошлое пытливо вглядывается в настоящее и, кажется, хочет его о чём-то предупредить.

На открытие выставки, на этот «парад истории» прибыл Николай II. Он около двух часов осматривал портреты и не произнёс ни слова. Прошли годы, и уже в эмиграции Александр Николаевич Бенуа довольно точно объяснил причину не очень понятного молчания государя: «...ему могло показаться, что все эти “предки” таят какие-то горькие упрёки или грозные предостережения. И ему, неповинному в том, что таким создала его природа, стало от всех этих упрёков и угроз невыносимо тяжело»<sup>676</sup>. Уже началась первая русская революция — так называемая генеральная репетиция грядущей великой смуты. От царя ждали каких-то слов и подведения каких-то итогов, но так и не дождались. Получилось, что исторический итог петербургскому периоду России подвёл Дягилев.

Вскоре после открытия выставки Дягилев покинул столицу и на короткое время приехал в Москву, где 24 марта 1905 года 25 известных деятелей культуры почтили его обедом в ресторане «Метрополь». На обеде присутствовали художники Архипов, Борисов-Мусатов, Константин Коровин, Серов, Юон; коллекционеры и любители искусств Мамонтов, Морозов, Щукин, а также поэт Брюсов и архитектор Шехтель. Цвет русской интеллигенции чествовал Дягилева — создателя «Мира искусства» и устроителя Историко-художественной выставки русских портретов. Это был акт высочайшего признания его заслуг. По сложившейся традиции во время обеда произносились речи. Ответ Дягилева был

«печальный, лирический и очень художественный»<sup>677</sup>. Это был не проходной банкетный спич, а проникновенное философское размышление о судьбах России. Дягилев, только что объездивший сотню дворянских гнёзд, имел мужество трезво взглянуть в глаза грядущему:

«Я заслужил право сказать это громко и определённо, так как с последним дуновением летнего ветра я закончил свои долгие объезды вдоль и поперёк необъятной России. И именно после этих жадных странствий и особенно убедился в том, что наступила пора итогов. Это я наблюдал не только в блестящих образах предков, так явно далёких от нас, но главным образом в доживающих свой век потомках. Конец быта здесь налицо. Глухие заколоченные майораты, страшные своим умершим великолепием дворцы, странно обитаемы сегодняшними милыми, средними, не выносящими тяжести прежних парадов людьми. Здесь доживают не люди, а доживает быт. И вот, когда я совершенно убедился, что мы живём в страшную пору перелома, мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмёт от нас то, что останется от нашей усталой мудрости. Это говорит история, то же подтверждает эстетика. И теперь, окунувшись в глубь истории художественных образов и тем став неуязвимым для упреков в крайнем художественном радикализме, я могу смело и убеждённо сказать, что не ошибается тот, кто уверен, что мы — свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой, неведомой культуры, которая нами возникнет, но и нас же отметёт. А потому, без страха и недоверья, я подымаю бокал за разрушенные стены прекрасных дворцов, так же как и за новые заветы новой эстетики. И единственное пожелание, какое я, неисправимый сенсуалист, могу сделать, чтобы предстоящая борьба не оскорбила эстетику жизни и чтобы смерть была также красива и также лучезарна, как и Воскресение!»<sup>678</sup>

После этой выставки Дягилев уже не работал в России и занялся организацией Русских балетных сезонов в Париже. Однако ирония истории была такова, что другой человек, находящийся в это время в эмиграции в Швейцарии, с нетерпением ожидал момент возвра-

щения в Россию. И его будущая деятельность в России не только «оскорбила эстетику жизни», но и принесла множество смертей, и ни одна из этих грядущих смертей не стала «также красива и также лучезарна, как и Воскресение». Имя этого человека Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Его литературные пристрастия вполне соответствовали духу времени. Стихи Надсона Ленин знал наизусть и даже использовал их в качестве ключа для шифрованной партийной переписки<sup>679</sup>. Щедрин был его любимейшим писателем. В пятидесяти пяти томах Полного собрания сочинений Ленина произведения сатирика цитируются или упоминаются 176 раз: 165 раз до победы Октябрьской революции и лишь 11 раз — после победы. Это абсолютный рекорд. Произведения Льва Толстого цитируются и упоминаются 20 раз, а Пушкина — только 14 раз.

### *«Впечатления и эффекты изумительные»*

Газета «Московские ведомости», носившая официальный характер, в мае 1889 года так откликнулась на смерть Салтыкова-Щедрина: «В тяжёлое смутное время конца семидесятых и начала восьмидесятых годов “сатира” Щедрина была таким же развращающим и разрушающим орудием в руках наших террористов, как их подпольные листки, заграничные брошюры и динамитные бомбы. М. Е. Салтыков знал это и не прекращал своих глумлений над теми мерами, которые правительству приходилось принимать в борьбе с революционным террором. Террористы того времени делились на нелегальных и легальных деятелей. Щедрин был, несомненно, самым ярким и даровитым представителем последней категории, принёсший России гораздо больше нравственного вреда, чем первая»<sup>680</sup>.

Хотя этот отклик консервативного издания, взявшего на себя, как писали, «полицейские обязанности в литературе»<sup>681</sup>, чем-то напоминает посмертный донос на знаменитого сатирика, в обвинительном заключении старейшей русской газеты было много справедливого. Повторю, что русские интеллигенты, всегда и везде



критиковавшие действия правительства и саркастически относившиеся к прошлому, воспринимали не только минувшее, но и настоящее Российской империи сквозь призму салтыковской сатиры. Окружающая действительность рассматривалась интеллигенцией как материализация всем хорошо известных текстов.

Василий Васильевич Розанов с нескрываемой душевной болью констатировал: «У нас нет совсем *мечты своей родины*. <...> Только у прошедшего русскую гимназию и университет — “проклятая Россия”. Как же удивляться, что всякий русский с 16-ти лет пристаёт к партии “ниспровержения государственного строя”. <...> Да и сатирик отлично всё это знал. — “Почитав у вас об отечестве, десятилетний полезет на стену”. У нас слово “отечество” узнаётся одновременно со словом “проклятие”»<sup>682</sup>.

Выдающийся русский философ, писатель и публицист был прав. Как мы помним, лишь за несколько лет до начала Первой мировой войны издательство Кнебеля в Москве выпустило комплект из пятидесяти хромотитографий большого формата, оригиналы для которых выполнили мирискусники, и только тогда учащиеся российских школ получили наглядное визуальное представление об истории государства Российского. Лишь художникам объединения «Мир искусства» удалось создать сюиту талантливых и запоминающихся образов петербургского периода русской истории — визуальных образов исторических событий, которыми можно было гордиться. Историю города Глупова и глуповцев мудро было любить, её можно было лишь стыдиться или проклинать. Мирискусники не только любили минувшее, но и хорошо его знали, профессионально в нём разбирались. И эту свою любовь, и это своё знание они смогли донести до зрителя. Дягилев был прав: «произведения, пронизанные любовью, не исчезают»<sup>683</sup>. Однако история отпустила мирискусникам слишком мало времени, чтобы созданные их фантазией талантливые произведения смогли не только остаться в истории русского искусства, но и переломить негативную тенденцию предшествующих десятилетий.

В конце XIX — начале XX века ни в русском образованном обществе, ни среди правительственной адми-

нистрации уже не наблюдалось ни энтузиазма, ни «мечты своей родины», ни «энергии заблуждения». Пётр Аркадьевич Столыпин был ярчайшим и едва ли не единственным исключением из этого общего правила. Но его небывалый энтузиазм, проявленный при подавлении революционного движения и проведении аграрной реформы, не был поддержан образованным обществом. Зато и энтузиазм, и «мечта своей родины», и «энергия заблуждения» с избытком были представлены в среде революционного подполья. 25 декабря 1907 года, когда уже была подавлена первая русская революция, Лев Николаевич Толстой сказал своему секретарю:

«Столыпин казнит, это отвратительно, но за ним предания веков и практика всего человечества. Это — большое смягчающее обстоятельство. А за ними — ничего!..

Но как-то недавно, за обедом, когда зашёл разговор о революционерах, Лев Николаевич сказал:

— Сколько за последние годы было совершено дел самоотвержения революционерами. Как бы это восхвалялось, если бы было в патриотическом духе!»<sup>684</sup>

Лев Николаевич не один раз высказывался на эту тему, рассуждая о том, что у революционеров нет традиции, а у правительства она есть. И однажды весной 1908 года его личный секретарь Николай Николаевич Гусев, соприкасавшийся с революционерами, осмелился возразить великому писателю: «Лев Николаевич! У них тоже есть своя традиция, ещё со времён Французской революции, даже ещё раньше — со времён древних греков и римлян...»<sup>685</sup>

Во время учёбы в рязанской гимназии Гусев из курса истории хорошо запомнил образы древних греков и римлян, мужественно жертвовавших собой за родину. Так был заложен идейный фундамент тираноборчества. Став революционером, Гусев осознавал себя продолжателем российской тираноборческой традиции, восходящей к декабристам и народовольцам, «шедшим на великие жертвы и на смерть во имя борьбы с деспотизмом и угнетением, я учился на их примерах. Я считал себя одним из их идейных преемников, я учился на их примерах мужеству и стойкости»<sup>686</sup>.

Итак, у революционеров была непоколебимая убежденность в правоте и благородстве своего дела. И этому ни русское общество, ни власть ничего не могли противопоставить. У профессиональных революционеров было ещё одно преимущество: они понимали важность сплочённой жёсткой дисциплины организации. Русский интеллигент конца века был способен воспринять идею кружка единомышленников, но в высшей степени подозрительно относился даже к идее творческого союза, имеющего свой устав и программу и регулирующего приём новых членов. Интеллигент 1860-х годов, воспитанный на «Что делать?» Чернышевского, не только верил в «идеалы», но был способен легко воспринять идею организации. Интеллигент 1890-х годов, воспитанный на поэзии Надсона и сатире Салтыкова-Щедрина, идею даже творческого союза встречал весьма настороженно, подспудно подозревая любого лидера в диктаторских замашках.

Товарищество передвижных художественных выставок, возникшее в художественной жизни России в последней трети XIX века, было создано «шестидесятниками». К концу века этот творческий союз постепенно выродился: живопись передвижников с их идейностью и сюжетностью уже порядком надоела зрителям и оказалась на обочине искусства, а само Товарищество из творческого союза единомышленников превратилось в обветшалую и предельно бюрократизированную косную систему. Художник Леонид Осипович Пастернак с нескрываемым раздражением писал об осени Товарищества, которая пришлась на последнее десятилетие века: «Дошло до того даже (в наши дни это кажется невероятным!), что Ярошенко, этот столп передвижничества, рассылал “экспонентам” официальный “циркуляр” с наивнейшим, чтобы не сказать больше, перечислением сюжетов, какие можно писать для присылки на Передвижную выставку, с указанием особо “желательных”, с определением даже манеры и техники исполнения... Главным в картине был сюжет»<sup>687</sup>.

Художники-мирискусники без особого сожаления расстались с обветшалыми художественными традициями, но вместе с водой выплеснули и ребёнка. Им так и не

удалось создать полноценный творческий союз. Строго говоря, «Мир искусства» был художественным объединением, издававшим одноимённый журнал, но не был творческим союзом с официально принятыми всеми членами уставом и программой. Для мирискусников свобода творческого самовыражения всегда была самодостаточной ценностью, оправданной самим фактом своего существования. Они в высшей степени настороженно относились к любой регламентации художественной деятельности. Именно эта настороженность и помешала им создать полноценный творческий союз. Для Александра Николаевича Бенуа история русской живописи была историей осознания художником идеи творческой свободы. В опубликованной в 1902 году «Истории русской живописи в XIX веке» Бенуа писал:

«Художники нашего времени боятся “общества”, боятся общей работы, за которой могло бы пострадать отдельное творчество каждого из них, утратиться свежесть и непосредственность. Вот почему, несмотря на то, что движение это уже имеет свою историю, уже существует второй десяток лет — всё ещё ничего не устроилось из него цельного, прочного, объединённого на многие годы. <...> “Мир искусства” — преимущественно журнал личной свободы творчества, безусловно лишённый какой-либо определённой тенденции. <...> Заслуга “Мира искусства” огромна. “Мир искусства” не создал программы для течения, которое по самой своей сути отвергает всякую программу, но он объединил усилия всех этих отдельных людей и тем самым воодушевил, утешил этих художников, помог тому, чтобы увлечённый, всем им общий идеал получил решительную силу и ясность»<sup>688</sup>.

Однако подобное художественное объединение «кучки лиц», связанных лишь общностью деятельности, «которую иначе как довольно-таки туманным термином служения красоте, искусству не назовёшь»<sup>689</sup>, это аморфное объединение не могло быть долговечным. Издание журнала «Мир искусства» окончилось двенадцатым номером за 1904 год. В начале следующего, 1905 года стало очевидно, что журнал прекратил своё существование и не будет возобновлён. Смерть журнала

означала фактическую смерть художественного объединения. Если Товарищество передвижников имело полувековую историю, то деятельность мирискусников продолжалась несколько лет. Если передвижники благодаря ежегодным выставкам знакомили со своим творчеством города и веши необъятной России и в течение двух десятилетий имели огромное влияние на всё русское образованное общество, то мирискусники были известны лишь в кругу рафинированной и хорошо обеспеченной петербургской и московской интеллигенции. Однако именно внутренняя свобода мирискусников позволила им произвести решительный переворот как в литературных, так и в художественных вкусах своего времени. «Мир искусства» открыл глаза современникам на классическую красоту Петербурга и окружающих его императорских дворцов, на изящество художественной жизни предшествующих царствований — от времён Елизаветы Петровны до Александра I — и на дотоле мало кем оценённую красоту средневековой архитектуры и русской иконописи. Собственно мирискусники заставили русского интеллигента Серебряного века задуматься как о современном значении древних цивилизаций и верований, так и о необходимости серьёзно переоценить отечественное литературное и художественное наследие.

В 1904 году Дягилев, размышляя об осени Товарищества передвижников, сформулировал очень важную для истории искусства проблему: «Хотя это и неизбежный закон истории, но неужели же всякий конец есть тление и нельзя быть живым “взятым на небо” — в искусстве это, казалось бы, возможнее, чем где-либо»<sup>690</sup>. И если передвижники всецело принадлежат исключительно истории искусства, то мирискусники глубоко современны: наши визуальные образы — от событий петербургского периода русской истории до представлений о том, как должны выглядеть элитный художественный журнал, эксклюзивная книга, изысканные театральные декорации и костюмы, — во многом сформированы именно мирискусниками.

Подобно тому как поэты Серебряного века позиционировали себя прямыми потомками и продолжателя-

ми поэтов века золотого, полностью игнорируя поэтическую традицию предшествующих десятилетий, отказывая ей в праве на существование, так и мирискусники осознавали себя преемниками художественной культуры «осмнадцатого столетия» и наследниками русского искусства начала XIX века. И поэты Серебряного века, и мирискусники воспринимали историю отечественной культуры как цепь событий, из которой можно безболезненно устранить те или иные несимпатичные им звенья. В этом заключалось их принципиальное отличие от деятелей революционного движения. Идейные революционеры дорожили всем, что могло быть представлено как протест против существующего строя или как попытка, пусть даже неудачная, этот строй ниспровергнуть. Вот почему Николай Николаевич Гусев, недолгое время пребывавший на периферии революционного движения, осознавал самого себя ни много ни мало как наследника русской революционной традиции и продолжателя дела декабристов и народовольцев. И сознание этого сообщало всем его поступкам уверенность и чувство собственной правоты. Он был преисполнен энтузиазма, которого был лишён «мягкотелый интеллигент».

Начавшаяся первая русская революция поставила интеллигентного человека перед необходимостью сделать выбор: нравственно поддержать власть перед лицом надвигающейся смуты или радоваться крушению этой власти. Сергей Павлович Дягилев, лично обязанный Николаю II за неоднократные субсидии, встретил весть о начале революции с бокалом шампанского в руках. Даже если интеллигент не был связан с революционным подпольем и мало интересовался политикой, то и в этом случае он не был склонен поддерживать власть, предпочитая от неё дистанцироваться и не понимая того, что крушение этой «ненавистой власти» будет означать неизбежный крах привычного жизненного уклада. В дни Всероссийской октябрьской стачки Дягилев, ранее неоднократно заявлявший о своей политической индифферентности, оказался в Петербурге и стал свидетелем революционных событий, воспринятых им прежде всего эстетически — как яркое и запо-

минающееся зрелище: «Вчера вечером я гулял по Невскому в бесчисленной чёрной массе самого разнообразного народа. Полная тьма, и лишь с высоты Адмиралтейства вдоль всего Невского пущен электрический сноп света из огромного морского прожектора. Впечатления и эффекты изумительные. Тротуары черны, середина улицы ярко-белая, люди как тени, дома как картонная декорация»<sup>691</sup>.

Когда образованный человек смотрит на охваченный революционным брожением город исключительно сквозь призму эстетики, наслаждаясь небывалой зрелищностью происходящего, власть оказывается один на один с революционным подпольем. Власть, не получившая никакой моральной поддержки со стороны образованного общества и давно уже лишённая энтузиазма, ещё может противопоставить своим будущим ниспровергателям грубую материальную силу, но уже не в состоянии одержать моральную победу. На стороне самодержавия были все атрибуты государственной власти и вся мощь машины подавления, на стороне революционеров — энтузиазм, чувство сопричастности революционной традиции нескольких поколений и сила революционной организации, спаянной единым уставом, единой программой и жёсткой партийной дисциплиной.

За день до того, как 24 марта 1905 года московские интеллигенты собрались в «Метрополе», чтобы чествовать Дягилева, живущий в Женеве Ленин тщательно изучал вопрос о подготовке вооружённого восстания: он обдумывал все высказывания Карла Маркса и Фридриха Энгельса о революции и восстании, читал труды военных специалистов, всесторонне обдумывал технику вооружённого восстания и его организацию<sup>692</sup>. Уже была написана знаменитая ленинская фраза: «...дайте нам организацию революционеров — и мы перевернём Россию!»<sup>693</sup>

У Владимира Ильича и Сергея Павловича было много общего. И тот и другой были провинциалами. Ульянов родился в 1870 году, Дягилев — в 1872-м. Ульянов окончил Симбирскую гимназию, Дягилев — Пермскую. В момент окончания гимназии Ульянов, незадолго пе-

ред этим потерявший отца, узнал о казни старшего брата Александра, приговорённого к повешению за участие в подготовке покушения на Александра III. Вскоре Ульяновы были вынуждены навсегда покинуть Симбирск. Через несколько месяцев после окончания гимназии Дягилевым его отец по решению суда был объявлен несостоятельным должником, следствием чего стала продажа имения Бикбарда и дома в Перми. В 1891 году Ульянов сдал экстерном экзамены за юридический факультет при Петербургском университете, летом 1896 года Дягилев окончил тот же факультет того же университета, однако практически ни тот ни другой не работали по специальности. Зато оба они довольно быстро заняли лидирующие позиции: Дягилев — в среде столичной художественной интеллигенции, Ульянов — в революционной среде. В июле 1900 года Ульянов выехал за границу, где наладил издание газеты «Искра», ставшей центром объединения партийных сил, воспитания партийных кадров и сплочения их в централизованную партию. Накануне отъезда за границу Ульянов, за плечами которого уже были тюрьма и ссылка, объехал ряд городов империи и создал в них опорные пункты для будущей газеты. В первой половине 1900 года он посетил Уфу, Москву, Петербург, Нижний Новгород, Самару, Сызрань, Подольск, Ригу, Смоленск. Его путешествие по России вполне сопоставимо с путешествием Дягилева по дворянским гнёздам, состоявшимся четырьмя годами позже. Однако на этом сходство заканчивается.

«Мир искусства» был первым художественным объединением в России, имевшим собственный печатный орган. Однако мирискусникам была глубоко чужда мысль о том, чтобы сделать свой журнал сугубо партийным изданием. Уже в январе 1899 года Константин Сомов писал: «Журнал вместо свободного и независимого и справедливого делается партийным и односторонним...»<sup>694</sup> Впрочем, Константин Андреевич несколько стучал краски. Мирискусники сознательно выступали против академической рутины и изживших самих себя передвижников, они с энтузиазмом боролись за обновлённое русское искусство, способное достойно представить Россию на Западе, но все эти амбициозные за-



дачи было невозможно решить без сплочения наличных сил в союз единомышленников.

Однако мирискусники так и не рискнули превратить своё художественное объединение в творческий союз с единым уставом, программой и формальными правилами приёма новых членов, а «Мир искусства» — в партийный печатный орган. Искусством можно заниматься вне рамок творческого союза; для торжества нового художественного направления, для его победы над косностью в искусстве, занимающей, однако, ключевые высоты в интеллектуальном пространстве и активно противостоящей проникновению новых идей (вспомним нападки Стасова на «декадентов»), — для всего этого нужна организация, создать которую мирискусники не смогли, да и не хотели создавать. В их среде не было принято говорить о том, на какие деньги издаётся художественный журнал. Дягилев был едва ли не единственным, кто был озабочен поиском денег для издания исключительно затратного журнала. Однако даже наблюдавшееся в течение ряда лет стабильное отсутствие окупаемости не заставило Сергея Павловича пересмотреть концепцию журнала и сделать «Мир искусства» журналом рентабельным, не нуждающимся в ежегодных субсидиях.

В самом начале своей деятельности мирискусники повели самую настоящую наступательную войну против рутины в искусстве, но они забыли, что наступление должно преследовать решительные цели и вестись всеми имеющимися средствами. Их цели были достаточно решительными, но умело маневрировать всеми имеющимися в их распоряжении средствами они так и не научились. Владимир Ильич Ульянов превосходно умел это делать: на протяжении всей своей политической деятельности он был убеждённым сторонником наступательной войны против своих идейных противников, в этой войне он всегда преследовал решительные цели и всегда вводил в наступление все имеющиеся в его распоряжении средства. Но он никогда не был авантюристом и прекрасно понимал, к каким трагическим последствиям может привести несвоевременная и плохо подготовленная атака. Он раньше других понял, какой грозной силой является революционная ор-

ганизация, и осознал, что нелегальная общерусская политическая газета необходима для создания централизованной политической партии.

В марте 1902 года в Штутгарте была опубликована книга Владимира Ильича, подписанная псевдонимом «Н. Ленин» и не без претензии названная «Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения». На первых же страницах этой книги Ленин (впервые он воспользовался этим псевдонимом в декабре 1901-го) создал выразительный портрет группы революционеров, сплотившихся в политическую партию и намеревающихся *перевернуть* Россию.

«Мы идём тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнём. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не отступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимают кричать: пойдёмте в это болото! — а когда их начинают стыдить, они возражают: какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу! — О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к *вашему* переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова свобода, потому что мы ведь тоже “свободны” идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!»<sup>695</sup>

## Этилог 1917 год

Встреча Нового года всегда провоцирует на размышления о том, каким станет год наступающий и в чём будет его отличие от года предшествующего. 1917 год не был исключением. Если мы вчитаемся в первые номера российских газет, вышедших в свет 1 января, то перед нашим взором возникнет былое в его незавершённости и непредсказуемости. Искушённый политик и опытный финансист, рабочий и крестьянин, боевой офицер и обычный российский обыватель — все надеялись, что наступивший год развяжет, наконец, те гордые узлы, что в изобилии появились в предшествующие годы. Первая мировая война продолжалась, и большинство россиян вне зависимости от их сословной принадлежности жаждали мира. И хотя прошедший 1916 год, несмотря на грандиозный успех Брусиловского прорыва, не принёс окончания мировой бойни, россияне верили, что 1917 год станет годом победы союзников и поражения центральных держав. Однако реальная российская действительность находилась в очевидном противоречии с этими радужными надеждами.

О чём же писали в этот день газеты? Печатные издания вне зависимости от их партийной принадлежности и политических симпатий без обиняков говорили о неизбежности революции. Сейчас, спустя почти 100 лет после описываемых событий, иногда даже кажется, что газеты исподволь готовили сограждан к неизбежным социальным потрясениям.

Разумеется, это всего лишь иллюзия, однако в начале января 1917-го для наиболее образованных и проницательных россиян неотвратимость радикальных перемен в ближайшем будущем была очевидной. Депутат Государственной думы осознавал, что Российская империя встречает Новый год в условиях нарастающего государственного кризиса, поэтому он не побоялся сформулировать радикальный вывод: «Нужно разрушающуюся систему безответственности заменить управлением ответственным... Изменение системы управле-

ния становится снова лозунгом момента...»<sup>696</sup> Политик пророчил России политическую революцию. Экономист утверждал, что экономика страны смертельно больна и что только радикальное хирургическое вмешательство способно покончить с затянувшейся болезнью. Экономист подсчитал, что в обращении находится около 8,5 миллиарда бумажных денег, ценность которых падает с каждым днём. Свои военные расходы Российская империя покрывала в значительной мере за счёт выпуска бумажных денег. Экономист предлагал обложить прогрессивным подоходным и поимущественным налогом всех россиян, иначе избыток с каждым днём дешевеющих бумажных денег приведёт к неизбежному краху всей финансовой системы и к остановке производства<sup>697</sup>.

Во время войны в стране были установлены твёрдые закупочные цены на продукты и товары первой необходимости, к числу которых были отнесены зерно, мука, крупа, мясо, рыба, соль, яйца, мешки, табак. 8 сентября 1916 года Николай II утвердил положение Совета министров об уголовной ответственности торговцев и промышленников «за возвышение или понижение цен на предметы продовольствия или необходимой потребности». Список таких предметов постоянно расширялся, и в январе 1917-го Совет министров повсеместно воспретил в империи продажу или передачу каким-либо иным способом различных видов свиных кож<sup>698</sup>. Действующая армия нуждалась в коже. Была установлена государственная монополия на свиную кожу, которую можно было продавать только в казну и только по твёрдой цене. Однако на практике эти установленные государством предельные цены применялись только к заготовкам на армию и не стали общеимперскими твёрдыми ценами.

Стремясь обеспечить защитников родины всем необходимым, власть прибегала к реквизициям. Так, например, в Одессе была проведена реквизиция одеял для нужд больных и раненых воинов. «Петроградские ведомости» писали по этому поводу, что осознавшие свой долг перед родиной одесситы «не только доставили всё нужное количество одеял, но отказались в громадном

большинстве случаев от получения за них платы»<sup>699</sup>. В Нижнем Новгороде была проведена реквизиция шерсти на всех нижегородских складах. Верховная власть приняла чрезвычайные меры и фактически ввела государственную торговую монополию на дефицитные продукты, производившиеся в недостаточном количестве.

Именно во время Первой мировой войны в Российской империи впервые возникли «Центросахар», «Центромука» и другие «центры», получившие в свои руки громадную власть<sup>700</sup>. «Центры» распределяли весь вырабатываемый дефицитный продукт среди отдельных категорий и районов потребления, контролировали перевозку и даже оказывали влияние на производство этих продуктов. Дабы обеспечить успех административного вмешательства в сферу экономики, было запрещено вывозить товары первой необходимости за пределы тех или иных административных регионов. Пассажирские поезда, прибывающие в Петроград или Москву из Сибири, подвергались тщательному досмотру. До каких нелепостей доходило дело, мы можем судить по небольшой заметке, опубликованной в газете «День»: «Желающие провезти пять фунтов масла прячут его в подушки, в чемоданы с бельём, как драгоценность. А между тем масла в Сибири миллионы пудов и лежит оно неведомо для кого и для чего... У пассажиров ощупывают и прокалывают корзины и тюки, боясь, как бы не вывезли в Россию лишних десяти фунтов мяса...»<sup>701</sup> Однако чёрный рынок не желал считаться с административным вмешательством. Государство повело массированное наступление на чёрный рынок и потерпело сокрушительное поражение. Одна из российских газет констатировала результат государственного вмешательства: «Страна оказалась разделённой на большое число изолированных владений, обмен продуктов между которыми происходит с не меньшими затруднениями, чем между самостоятельными государствами...»<sup>702</sup>

В результате в Российской империи произошло небывалое доселе раздвоение государственных закупочных цен и цен чёрного рынка. Крайнее несоответствие между спросом и предложением товаров вызвало небывалый рост цен. В этой мутной воде «мародёры тыла»,

зарабатывающие по 400—500 процентов на каждой сделке, ощущали себя очень комфортно<sup>703</sup>. Петроградские рестораны охватила настоящая «кутёжная эпидемия». Громадные куши, нажитые спекулянтами на поставках в армию, основательно «проветривались» в дорогих столичных ресторанах. Спекулянты заполнили первоклассные рестораны, театры, кинематографы, выставки Петрограда.

Обилие денег способствовало взлёту искусства. Петроградские художники, принявшие участие в вернисаже Союза русских художников, в первый же день, день открытия выставки, распродали все свои картины. Во время премьерного показа «Маскарада» в Александринском театре кресло в шестом ряду стоило 22 или 23 рубля. (Чтобы оценить баснословность этой суммы, следует учесть, что фунт сахара у спекулянтов стоил 1 рубль 60 копеек, в пять раз дороже, чем по карточкам.) Популярное у столичной богемы кафе «Привал комедиантов», расписанное самим Судейкиным, в котором выступали самые знаменитые поэты Петрограда — от Ахматовой до Маяковского, — перестало быть доступным обитателям мансард. «Привал комедиантов» превратился в «Привал спекулянтов»<sup>704</sup>. И хотя балетные артистки ощущали туфельный кризис — до войны балетные туфли с твёрдыми носками выписывали из Милана — на качестве балетных постановок на сценах театров это печальное обстоятельство никак не сказалось<sup>705</sup>. Несмотря на дороговизну билетов — билет в ложу стоил три рубля — при переполненных кинозалах шли фильмы с Верой Холодной. Цыганские хоры переживали свои лучшие дни.

Наездники на бегах зарабатывали громадные суммы. Про одного из лучших наездников рассказывали, что он за год заработал не менее 200 тысяч рублей<sup>706</sup>. На бегах процветал тотализатор. «Мародёрская вакханалия» шла рука об руку с ростом преступности. Резко изменился внешний вид грабителя и жулика. Грабители облачились в дорогие шубы и стали одеваться по последней моде. Газеты сетовали, что грабителя банка стало трудно отличить от финансиста. Мошенники и жулики не брезговали офицерской формой или одеждой сес-

тёр милосердия, используя патриотические чувства сограждан.

Власть безуспешно боролась как со спекуляцией, так и с преступностью: попадались только мелкие сошки. Так, например, в Ростове-на-Дону «за спекулятивное сокрытие мяса» были арестованы пять торговцев. Незадачливых спекулянтов под конвоем полиции привели на базар, где вынудили продать мясо не по ценам чёрного рынка, а по государственной таксе. «Мера эта произвела успокаивающее воздействие на население...» — с удовлетворением писала газета «Русское слово»<sup>707</sup>. Страну захлестнула волна спекуляции, а продовольственный вопрос стал, как писали газеты, вопросом политическим.

И профессиональный экономист, и рядовой обыватель видели, что государственное вмешательство в экономическую сферу жизни общества не привело к увеличению производства товаров первой необходимости и не позволило покончить с их дефицитом. Несмотря на этот очевидный для всех факт, стали раздаваться голоса о наступлении зари новой эры в жизни всего человечества — эры чрезвычайного расширения функции государства. «Вступив на войну, вооружённый народ как бы передаёт государству попечение о своих семьях, о своих хозяйствах, о всех своих нуждах, остающихся позади фронта. И государство в этом положении яснее, чем в каком-нибудь другом, является воплощением народного единства, душой и силой нации, сберегателем не только общих, но и всех частных интересов, а с тем вместе распорядителем всего, что есть в стране...»<sup>708</sup> Возникла парадоксальная ситуация. Рядовой россиянин не ощутил никакого существенного облегчения от того, что власть стала пытаться регулировать экономическую жизнь общества. Более того, он каждодневно сталкивался со стихией чёрного рынка, не желающего подчиняться государственным установлениям. И в сознании рядового россиянина стала крепнуть, расти и шириться идея государственности: обыватель стал воспринимать государство как своего единственного защитника не только от внешнего врага, но и как «стимул самосохранения и самопомощи в

борьбе с окружающими враждебными силами и неблагоприятными условиями природы...»<sup>709</sup>. Так в стране возникла питательная среда для размножения идей государственного социализма.

Привычная система базовых ценностей претерпела за годы войны качественные изменения. Многие деформации стали необратимыми. В первый день Нового года одна из газет писала, что день окончания войны не станет днём возвращения былых нравственных ценностей и прежних убеждений. Протоиерей Иоанн Восторгов в статье с красноречивым названием «Отрезвление» утверждал, что Первая мировая война вызовет «огромный внутренний кризис человечества»<sup>710</sup>. Протоиерей трактовал грядущий кризис как справедливую расплату за все заблуждения XIX века с его культом материальной пользы и пророчил, что грядущее ознаменуется возрождением духа и его перевесом над материей. Принцип личной пользы будет посрамлён и лишится своих господствующих позиций. *«После войны... национальные и государственные интересы будут ставиться выше интересов личности, а принцип обязанностей будет поставлен выше принципа прав...»* (курсив мой. — С. Э.).<sup>711</sup> Практически протоиерей гениально предсказал путь, по которому страна будет идти семь следующих десятилетий. Но он сам, не подозревая об удивительной точности своего прогноза, ратовал за возрождение религиозных ценностей. Россияне должны отринуть слепое подражание безрелигиозной культуре Запада с её подавлением и полным игнорированием запросов духа — «веры, Церкви, богообщения, вечной жизни... Пресловутые идеи права, свободы личности, прогресса, демократии и исповедание принципа, что “человек есть мера вещей”, — не заменят никогда этих вечных ценностей»<sup>712</sup>.

Вот о чём писали русские газеты 1 января 1917 года. Так представляли они своим читателям ближайшее и отдалённое будущее. И никто не посчитал нужным упомянуть в этой связи венценосного правителя страны Николая II. Ни у «хозяина земли русской», как он сам себя аттестовал, ни у императорской фамилии будущего не было.



На фронтах продолжались бои, а обыденная жизнь столичного Петрограда была ознаменована небывалым ростом вооружённой преступности. Преступники стали отличаться особой дерзостью. В конце января во время прогулки на Крестовском острове морской министр адмирал Григорович неожиданно подвергся нападению двух хулиганов. Прогуливающийся без охраны адмирал не растерялся и выхватил из кармана револьвер. Хулиганы бросились бежать и скрылись в ворота пустующей дачи. Погоня результатов не дала<sup>713</sup>. Обычные меры борьбы с вооружённой преступностью показали свою неэффективность. Нужны были меры чрезвычайные. Петроградский градоначальник вынужден был созвать особое совещание для выяснения мер по предупреждению краж и грабежей в столице. Власть была склонна объяснять рост преступности военными обстоятельствами. Общество с негодованием встречало подобные объяснения. Газета «Новое время» писала: «Но ведь полиция от войны не потерпела ущерба: и пристава, и околоточные, и городовые благополучно избегают призыва на фронт и, следовательно, кадры их не поредели...»<sup>714</sup>

Рост преступности происходил на фоне затяжного общероссийского продовольственного кризиса. Власть запретила вывоз зерна и муки из Донской области<sup>715</sup>. Одновременно в области были введены карточки на мясо. Даже в далёком Томске были введены хлебные карточки<sup>716</sup>. А в Москве в начале января последовало официальное запрещение изготавливать «пирожные, торты, тянучки и другие высокие сорта конфектного производства»<sup>717</sup>. Петроградский градоначальник воспретил выпечку и продажу сдобных булок, куличей, пирожных, баранок, сушек и «вообще всех не таксированных хлебных продуктов»<sup>718</sup>. Был установлен недельный срок для свободной продажи имевшихся в магазинах продуктов. В итоге на Невском проспекте у входа в знаменитый кондитерский магазин появился довольно большой «хвост» (так в те годы именовали очередь). «Это те несчастные, которые не могут пить чай без чего-нибудь сладкого», — язвительно заметила «Петроградская газета»<sup>719</sup>.

Действительно, до этого Петроград видел только «хвосты» у мясных, хлебных и молочных лавок. А в это время на Алтайской железной дороге, между Бийском и Семипалатинском, скопилось четыре миллиона пудов мяса. Мясо было сложено под открытым небом и от порчи его сберегали только сильные морозы. В газете «Русское слово» периодически появлялись заметки об этих мясных залежах и выражалось справедливое опасение, что с наступлением оттепели всё это громадное количество мяса неизбежно начнёт гнить<sup>720</sup>. «Сибирские пути сообщения решительно не могут справиться с вывозом мяса. Кроме Алтайской дороги, крупные залежи мяса скопились на новой Ачинско-Минусинской дороге...»<sup>721</sup> — писало «Русское слово» 27 января 1917 года.

Продовольственный кризис был вызван не истощением ресурсов воюющей страны, а низкими твёрдыми ценами на хлеб, которые установило государство. Нехватка хлеба стала ощущаться даже в ресторанах. «Во многих ресторанах и столовых обед подавался с очень ограниченной порцией хлеба, а в некоторых хлеб вообще не подавался... — Приходите со своим хлебом-с! — заявляли “человеки” (так презрительно называли официантов. — С. Э.)...»<sup>722</sup> Наиболее проницательные современники прекрасно осознавали, что «продовольственный кризис — это в значительной мере кризис хозяйственных отношений между городом и деревней»<sup>723</sup>. Предпринятая властью попытка регулировать рыночные цены на хлеб незамедлительно привела к его исчезновению с рынка. «Как только были объявлены низкие постоянные цены, — подвоз хлеба прекратился. Крестьяне, явившиеся с нагруженными возами, заворачивали оглобли и с ругательствами уезжали с базара»<sup>724</sup>. Пусто стало не только на городских, но и на деревенских базарах. «Муки и хлеба нет, нет и мяса...»<sup>725</sup> Промышленность практически полностью работала на оборону страны. Об удовлетворении нужд деревни никто не заботился. Крестьяне, сдающие свой хлеб государству по твёрдым ценам, были вынуждены втридорога покупать в городе промышленные товары: на них твёрдые цены не были установлены. Возникли ножницы между ценами на хлеб и промышленные товары — и

крестьяне предпочли вернуться к натуральному хозяйству в деревне.

Как только началась Первая мировая война, в Российской империи был повсеместно введён «сухой закон»: полностью прекратились производство и продажа спиртных напитков. Государство лишилось значительной доли своих прежних доходов. В деревнях стало процветать самогонование. Тайные водочные заводы стали появляться, как грибы после дождя. Производство самогона было делом исключительно рентабельным и позволяло крестьянам изыскивать деньги для приобретения постоянно дорожающих промышленных товаров. А в это время даже армии не хватало хлеба: в феврале 1917-го войскам действующей армии был прекращён отпуск хлеба на приготовление кваса<sup>726</sup>. Вот почему крестьянин, укрывающий хлеб от государственных реквизиций и перегоняющий зерно через самогонный аппарат, вызывал нескрываемое раздражение как власти, так и горожан. Сформировался устойчивый антагонизм между городом и деревней. Сельские жители, готовые отдать последнюю голову скота для нужд действующей армии, считали «обидным для себя» кормить дешёвым мясом городских жителей. По этому поводу выборные от схода поселян одного из донских хуторов подали форменную жалобу окружному атаману. «Мы сами, — говорится в жалобе, — не едим мяса. Полагаем, что и городские жители не помрут без него. Если последний скот съедят в городах, то пахать будет нечем и мы можем остаться без хлеба...»<sup>727</sup>

Вечером 23 февраля 1917 года в Петрограде обнаружили «первые признаки народного движения». Началась Февральская революция. Во время обсуждения продовольственного вопроса, переросшего в вопрос политический, на заседании Государственной думы выступил крестьянин К. Е. Городилов. Оратор утверждал: «Низкие цены на хлеб погубили страну, убили торговлю и всё земледельческое хозяйство... Крестьян снова закрепощают. Их заставляют засевать поля и отдавать хлеб по низким дешёвым ценам»<sup>728</sup>. Оратор настаивал на том, чтобы твёрдые цены были распространены не только на хлеб, но и на все предметы, в которых нужда-

ется деревня. Выступление Городилова неоднократно прерывалось возгласами: «Браво, браво!» И тогда слово взял депутат А. И. Шингарёв. Он не отрицал ни разницы между городом и деревней, ни тяготы, выпавшие на долю крестьян. Однако депутат полагал, что государственная власть имеет право взять хлеб у крестьян за бесценок. «Хлеб должен быть доставлен армии, населению, рабочим, работающим на оборону, и городам. Мы со своей стороны должны сказать с этой высокой трибуны: хлеб надо подвезти, его надо сдать... Гос. Дума должна сказать всем, кто имеет хлеб: дайте его!..»<sup>729</sup> Так столкнулись две правды. Добиться компромисса было невозможно.

Вопрос существования твёрдых закупочных цен на хлеб стал самой важной и системообразующей российской проблемой, вокруг которой группировались все остальные. Эта проблема подрывала единство нации и угрожала существованию государства. Февральская революция не только не смогла решить эту проблему, но даже не рискнула приступить к её решению. Шла война, и Временное правительство не осмелилось оставить действующую армию без продовольствия и не отважилось отменить твёрдые закупочные цены на хлеб. 25 августа 1917 года в газете «Московский листок» был сделан неутешительный вывод: «Правительство не решается отменить твёрдые цены, так как это означало бы банкротство казны. Скачок цен на хлеб при отмене твёрдых цен явился бы непосильным для государственного казначейства, так как четверть мужского рабочего населения состоит на иждивении казны... Выхода в том направлении, в котором продовольственная политика ведётся сейчас, — нет. И мы неудержимо катимся к продовольственной катастрофе»<sup>730</sup>. Продовольственная катастрофа породила агонию угольной промышленности в Донецком бассейне. Несмотря на то, что в Екатеринославской губернии был собран богатый урожай, крестьяне отказались дать хлеб рабочим. Добыча угля неуклонно снижалась. Железные дороги, фабрики и заводы в любой момент могли остаться без топлива и были бы вынуждены прекратить свою работу. Продовольственная катастрофа породила развал всей хозяй-

ственной жизни страны и угрожала неминуемым развалом государства.

И каким бы чудовищным ни казалось нам сейчас то, что произошло в октябре 1917-го, население страны уже было психологически подготовлено к большевистскому экстремизму. Населению не нужно было объяснять, ни что такое насильственное изъятие хлеба у крестьян, ни что такое экспроприация. За годы войны городские жители — от рабочего оборонного завода до чиновника, от работника городского хозяйства до учителя — все были приучены к тому, что государство берёт на себя решение их насущных бытовых проблем. И как бы плохо оно это ни делало, именно на государственное вмешательство, а не на свободный рынок уповали изголодавшиеся горожане. Большевики лишь последовательно довели до логического конца ту экономическую политику, основные контуры которой были очерчены ещё в годы Первой мировой войны, когда власть стала переводить экономику страны на мобилизационные рельсы.

То самое неприятие буржуазных ценностей и личной ответственности, которое в течение нескольких поколений демонстрировало русское образованное общество, привело к тому, что русский интеллигент легко воспринял идею всепроникающего вмешательства государства во все сферы жизни общества — от снабжения населения продовольствием и топливом до государственного диктата в сфере культуры.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Русские поэты: Антология русской поэзии: В 6 т. Т. 2. М.: Детская литература, 1989. С. 409.

<sup>2</sup> *Жихарев М. И.* Пётр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника // Вестник Европы. 1871. № 9. С. 37; *Жихарев М. И.* Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX века. Люди и идеи. Мемуары современников. М.: Издательство Московского университета, 1989. С. 105 (Университетская библиотека); *Чаадаев П. Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1991. С. 559 (Памятники философской мысли).

<sup>3</sup> *Маркс К.* Последствия 13 июня 1849 года // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 7. С. 86.

<sup>4</sup> *Вяземский П. А.* Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1986. С. 311, 312 (Библиотека поэта. Большая серия).

<sup>5</sup> *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1939. С. 419.

<sup>6</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 3. 1866—1877. М.: Художественная литература, 1956. С. 312 (Литературные мемуары).

<sup>7</sup> Мемуары графа С. Д. Шереметева / Сост., подг. текста и прим. Л. И. Шохина. М.: Индрик, 2001. С. 141.

<sup>8</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1816—1843 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: Российский архив, 1997. С. 37.

<sup>9</sup> Там же. С. 252.

<sup>10</sup> Там же. С. 56.

<sup>11</sup> Там же. С. 84.

<sup>12</sup> *Дмитриев М. А.* Московские элегии: Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти. М.: Московский рабочий, 1985. С. 152 (Московский Парнас).

<sup>13</sup> *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 13. М.: Художественная литература, 1949. С. 239.

<sup>14</sup> Инструкция для путешествия, вручённая мне Государем в Царском Селе 2 мая 1838 // Переписка цесаревича Александра Николаевича с императором Николаем I. 1838—1839 / Под ред. Л. Г. Захаровой, С. В. МIRONENKO. М.: РОССПЭН, 2008. С. 31 (Бумаги Дома Романовых).

<sup>15</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1816—1843. С. 85.

<sup>16</sup> Там же. С. 135, 139, 172, 174, 175, 192.

<sup>17</sup> Там же. С. 178.

<sup>18</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1843—1856 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: Российский архив, 2000. С. 125.

<sup>19</sup> Там же. С. 146.

<sup>20</sup> Записки А. П. Ермолова. 1798—1826. М.: Высшая школа, 1991. С. 115.

<sup>21</sup> Там же. С. 117.

<sup>22</sup> Там же.

<sup>23</sup> *Некрасов Н. А.* Маша (1855) // *Некрасов Н. А.* Сочинения: В 3 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1959. С. 95.

<sup>24</sup> Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. Ф. Булгарина в III Отделение / Публ., сост., предисл. и коммент. А. И. Рейтблата. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 146.

- <sup>25</sup> *Пушкин А. С.* Дневники, записки. СПб.: Наука, 1995. С. 113 (Литературные памятники).
- <sup>26</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860—1862 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: Российский архив, 1999. С. 273, 274. Ср.: Там же. С. 244, 477.
- <sup>27</sup> Россия под надзором: Отчёты III Отделения. 1827—1869. Сборник документов / Сост. М. Сидорова, Е. Щербакова. М.: Российский фонд культуры: Российский архив, 2006. С. 159.
- <sup>28</sup> Там же. С. 160.
- <sup>29</sup> Сочинения Козьмы Пруткова. М.: Московский рабочий, 1987. С. 101.
- <sup>30</sup> Там же. С. 101, 106.
- <sup>31</sup> *Зайончковский П. А.* Отмена крепостного права в России. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1968. С. 19, 28.
- <sup>32</sup> Сочинения Козьмы Пруткова. М.: Московский рабочий, 1987. С. 106.
- <sup>33</sup> *Крылов А. Н.* Мои воспоминания. 8-е изд. Л.: Судостроение, 1984. С. 48.
- <sup>34</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 6. М.: Воскресенье, 1995, С. 109—110.
- <sup>35</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860—1862. С. 244.
- <sup>36</sup> Там же. С. 477.
- <sup>37</sup> *Новицкий В. Д.* Из воспоминаний жандарма // За кулисами политики. 1848—1914. М.: Фонд Сергея Дубова, 2001. С. 263 (История России и Дома Романовых в мемуарах современников).
- <sup>38</sup> *Грибоедов А. С.* Горе от ума. М.: Наука, 1987. С. 70 (Литературные памятники).
- <sup>39</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1843—1856. С. 180.
- <sup>40</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863—1864 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2003. С. 463; Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1868 — начало 1873 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2006. С. 476—478.
- <sup>41</sup> «Их вечен с вольностью союз»: Литературная критика и публицистика декабристов. М.: Современник, 1983. С. 205.
- <sup>42</sup> Россия под надзором: Отчёты III Отделения. 1827—1869. С. 24.
- <sup>43</sup> *Зайончковский П. А.* Отмена крепостного права в России. С. 39.
- <sup>44</sup> Россия под надзором: Отчёты III Отделения. 1827—1869. С. 117.
- <sup>45</sup> *Дмитриев М. А.* Главы из воспоминаний моей жизни. М.: НЛО, 1998. С. 487 (Россия в мемуарах).
- <sup>46</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 8. Кн. 1. М.: Воскресенье, 1995. С. 252.
- <sup>47</sup> *Бестужев А. А.* Об историческом ходе свободомыслия в России // «Их вечен с вольностью союз». С. 208.
- <sup>48</sup> *Дмитриев М. А.* Главы из воспоминаний моей жизни. С. 495.
- <sup>49</sup> Россия под надзором: Отчёты III Отделения. 1827—1869. С. 38.
- <sup>50</sup> *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л.: Просвещение, 1980. С. 41.
- <sup>51</sup> Пушкин — П. А. Плетнёву. Около (не позднее) 16 февраля 1831 г. Москва // *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Т. 14. М.: Воскресенье, 1996. С. 152.
- <sup>52</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Т. 6. М.: Воскресенье, 1995. С. 8.

- <sup>53</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений. Т. 5. М.: Воскресенье, 1994. С. 6.
- <sup>54</sup> *Дмитриев М. А.* Главы из воспоминаний моей жизни. С. 491—492.
- <sup>55</sup> *Боборыкин П. Д.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1965. С. 243 (Литературные мемуары).
- <sup>56</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1843—1856. С. 127.
- <sup>57</sup> Там же. С. 130.
- <sup>58</sup> *Зайончковский П. А.* Отмена крепостного права в России. С. 13.
- <sup>59</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 2. Кн. 1. М.: Воскресенье, 1994. С. 83.
- <sup>60</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 11. М.: Воскресенье, 1996. С. 257.
- <sup>61</sup> Там же. С. 258.
- <sup>62</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 16. М.: Воскресенье, 1997. С. 150.
- <sup>63</sup> Там же. С. 132, 137, 149.
- <sup>64</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 11. М.: Воскресенье, 1996. С. 258.
- <sup>65</sup> *Зайончковский П. А.* Отмена крепостного права в России. С. 58.
- <sup>66</sup> Записки, статьи и письма декабриста И. Д. Якушкина. М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 29 (Литературные памятники).
- <sup>67</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 11. М.: Воскресенье, 1996. С. 257.
- <sup>68</sup> Император Николай I в 1830—1831 гг. // Русская старина. 1896. Т. 88. № 10. С. 74—75.
- <sup>69</sup> *Миронов Б. Н.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. Т. 2. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 219.
- <sup>70</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 2. 1858—1865. М.: Художественная литература, 1956. С. 32.
- <sup>71</sup> Там же. С. 176.
- <sup>72</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860—1862. С. 156.
- <sup>73</sup> Там же. С. 360.
- <sup>74</sup> *Водовозова Е. Н.* На заре жизни. Мемуарные очерки и портреты. Т. 2. М.: Художественная литература, 1987. С. 45 (Литературные мемуары).
- <sup>75</sup> *Костомаров Н. И.* Исторические произведения. Автобиография. Киев: Изд-во при Киевском государственном университете, 1989. С. 559.
- <sup>76</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860—1862. С. 305.
- <sup>77</sup> *Троицкий Н. А.* Крестоносцы социализма. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2002. С. 4.
- <sup>78</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 2. 1858—1865. С. 243.
- <sup>79</sup> Письма Ф. И. Тютчева к его второй жене, урождённой баронессе Пфедфель // Старина и новизна. 1914. Кн. 18. С. 52.
- <sup>80</sup> *Чехов А. П.* Собрание сочинений: В 12 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1955. С. 322—323.
- <sup>81</sup> Там же. С. 324.
- <sup>82</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1843—1856. С. 416.



- <sup>83</sup> Россия под надзором: Отчёты III Отделения. 1827—1869. С. 17.
- <sup>84</sup> Там же. С. 57.
- <sup>85</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1843—1856. С. 361.
- <sup>86</sup> Там же. С. 435.
- <sup>87</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 10. М.: Воскресенье, 1995. С. 221.
- <sup>88</sup> *Валуев П. А.* Дневник. 1877—1884 / Ред. и прим. Е. Я. Яковлева-Богучарского, П. Е. Щёголева. Пг.: Былое, 1919. С. 195. «Уже в первой моей записке, представленной покойному государю в августе 1861 года, я, например, говорил, что одного почерка пера его величества достаточно, чтобы отменить весь Свод Законов Российской империи, но что никакое высочайшее повеление не может поднять на одну копейку курс рубля на петербургской бирже» (Санкт-Петербург. 13 сентября 1882 года).
- <sup>89</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1856—1860. С. 67—68, 336.
- <sup>90</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1865—1867. М.: РОССПЭН, 2005. С. 434.
- <sup>91</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1816—1843. С. 197.
- <sup>92</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1856—1860. С. 56.
- <sup>93</sup> Там же. С. 441.
- <sup>94</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860—1862. С. 204.
- <sup>95</sup> *Феокистов Е. М.* За кулисами политики и литературы // За кулисами политики. 1848—1914. М.: Фонд Сергея Дубова, 2001. С. 183 (История России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII—XX вв.).
- <sup>96</sup> Там же.
- <sup>97</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 3. 1866—1877. М.: Художественная литература, 1956. С. 248.
- <sup>98</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 2. 1858—1865. С. 67.
- <sup>99</sup> Там же. С. 231.
- <sup>100</sup> Там же. С. 311.
- <sup>101</sup> Там же. С. 376.
- <sup>102</sup> Там же. С. 406.
- <sup>103</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 3. 1866—1877. С. 145.
- <sup>104</sup> Там же. С. 262—263.
- <sup>105</sup> *Давыдов Д. В.* Полное собрание стихотворений. Л., 1933. С. 121.
- <sup>106</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 3. Кн. 1. М.: Воскресенье, 1995. С. 269.
- <sup>107</sup> А. В. Суворов — П. А. Румянцеву. 17 ноября 1794 года // *Суворов А. В.* Письма. М.: Наука, 1986. С. 284 (Литературные памятники).
- <sup>108</sup> Там же. С. 288.
- <sup>109</sup> Записки А. П. Ермолова. 1798—1826 гг. М.: Высшая школа, 1991. С. 135.
- <sup>110</sup> *Чаадаев П. Я.* Несколько слов о польском вопросе (конец 1831—1832) // *Чаадаев П. Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 513 (Памятники философской мысли).
- <sup>111</sup> 1812 год: Воспоминания воинов русской армии. Из собрания Отдела письменных источников Государственного исторического музея. М., 1991. С. 62—63.

- <sup>112</sup> Давыдов Д. В. Военные записки. М.: Воениздат, 1982. С. 235, 241.
- <sup>113</sup> Дневник Александра Чичерина. М.: Наука, 1966. С. 102.
- <sup>114</sup> Дневник Павла Пущина. 1812—1814 год / Изд. подг. В. Г. Бортневский. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1987. С. 79.
- <sup>115</sup> Дневник Александра Чичерина. С. 84, 107, 263—264.
- <sup>116</sup> М. А. Волкова — В. И. Ланской. 31 декабря 1812 г. // *Каллаш В. В.* Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников. М., 1912. С. 279.
- <sup>117</sup> Чаадаев П. Я. Несколько слов о польском вопросе (конец 1831—1832) // *Чаадаев П. Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. Т. 1. С. 513.
- <sup>118</sup> Давыдов Д. В. Военные записки. С. 241.
- <sup>119</sup> Дневник Павла Пущина. С. 90.
- <sup>120</sup> Там же.
- <sup>121</sup> Там же. С. 84.
- <sup>122</sup> А. С. Пушкин — Е. М. Хитрово. 9 декабря 1830 года. Москва // *Пушкин.* Письма: В 3 т. Т. 2. 1826—1830. М.; Л.: Academia, 1928. С. 493.
- <sup>123</sup> Глинка В. М., Помарнацкий А. В. Военная галерея Зимнего дворца. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Аврора, 1974. С. 24.
- <sup>124</sup> Волконский С. Г. Записки. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1991. С. 190 (Полярная звезда).
- <sup>125</sup> Русская старина. 1897. Кн. IX (сентябрь). С. 682—683.
- <sup>126</sup> Михайловский-Данилевский А. И. Журнал 1813 года // 1812 год... Военные дневники / Сост., вступ. ст. А. Г. Тартаковского. М.: Советская Россия, 1990. С. 330 (Русские дневники).
- <sup>127</sup> Тургенев Н. И. Россия и русские. Т. 1: Воспоминания изгнанника. М., 1915. С. 68.
- <sup>128</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 3. Кн. 1. С. 274.
- <sup>129</sup> Цит. по: *Филатова Н. М.* Русские и поляки в Королевстве Польском (1815—1830): Проблемы межнационального общения // *Историки-слависты МГУ.* Кн. 7. Х. Х. Хайретдинов. Исследования и материалы, посвященные 65-летию со дня рождения Х. Х. Хайретдинова. М.: Изд-во Московского университета, 2008. С. 95.
- <sup>130</sup> Там же. С. 84—85.
- <sup>131</sup> Там же. С. 96—97.
- <sup>132</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 3. Кн. 1. С. 269.
- <sup>133</sup> Россия под надзором: Отчёты III Отделения. 1827—1869. С. 70.
- <sup>134</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 11. С. 482.
- <sup>135</sup> Россия под надзором. Отчёты III Отделения. 1827—1869. С. 89—90.
- <sup>136</sup> Там же. С. 132.
- <sup>137</sup> Николай I — цесаревичу Александру Николаевичу. Лагерь под Варшавой. 19 июня / 1 июля 1838 г. // Переписка цесаревича Александра Николаевича с императором Николаем I. 1838—1839 / Под ред. Л. Г. Захаровой, С. В. Мироненко. М.: РОССПЭН, 2008. С. 51 (Бумаги Дома Романовых).
- <sup>138</sup> Николай I — цесаревичу Александру Николаевичу. С.-Петербург. 19 февраля / 3 марта 1839 г. // Там же. С. 330.
- <sup>139</sup> Россия под надзором: Отчёты III Отделения. 1827—1869. С. 282.
- <sup>140</sup> Там же. С. 417.
- <sup>141</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863—1864 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2003. С. 42.

- <sup>142</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 2. 1858—1865. С. 311.
- <sup>143</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863—1864. С. 50.
- <sup>144</sup> Там же. С. 69.
- <sup>145</sup> Там же. С. 254.
- <sup>146</sup> Там же.
- <sup>147</sup> Там же. С. 168—169.
- <sup>148</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 2. 1858—1865. С. 335.
- <sup>149</sup> Россия под надзором: Отчёты III Отделения. 1827—1869. С. 627.
- <sup>150</sup> *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Романо-Германскому. 6-е изд. СПб.: Глаголь; СПбУ, 1995. С. 40.
- <sup>151</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863—1864. С. 157.
- <sup>152</sup> Там же. С. 158.
- <sup>153</sup> Там же. С. 156—157.
- <sup>154</sup> *Шестаков И. А.* Полвека обыкновенной жизни. Воспоминания (1838—1881 гг.) / Сост., предисл и коммент. В. В. Козыря. СПб.: Судостроение, 2006. С. 548.
- <sup>155</sup> Русский инвалид. 1873. № 34. С. 4.
- <sup>156</sup> Там же. № 39. С. 6.
- <sup>157</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1868 — начало 1873 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2006. С. 578.
- <sup>158</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 3. 1866—1877. С. 263.
- <sup>159</sup> *Грибоедов А. С.* Горе от ума. С. 44.
- <sup>160</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863—1864. С. 146.
- <sup>161</sup> Там же. С. 147.
- <sup>162</sup> Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е июля 1906 года. СПб.: Военная типография Главного штаба, 1906. С. 220.
- <sup>163</sup> *Штакеншнейдер Е. А.* Дневник и записки (1854—1886) / Ред. ст. и коммент. И. Н. Розанова. М.; Л.: Academia, 1934. С. 337 (Русские мемуары, дневники, письма и материалы).
- <sup>164</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863—1864. С. 207—208.
- <sup>165</sup> Там же. С. 209—210.
- <sup>166</sup> Там же. С. 210.
- <sup>167</sup> Там же. С. 513.
- <sup>168</sup> Там же.
- <sup>169</sup> Там же. С. 514.
- <sup>170</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1865—1867 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2005. С. 116.
- <sup>171</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863—1864. С. 520.
- <sup>172</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1865—1867. С. 339.
- <sup>173</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1863—1864. С. 520—521.
- <sup>174</sup> *Игнатьев Н. П.* Походные письма 1877 года. Письма к Е. Л. Игнатьевой с балканского театра военных действий. М.: РОССПЭН, 1999. С. 156.

- <sup>175</sup> Дипломатический словарь: В 2 т. Т. 1. М.: ОГИЗ, 1948. Стб. 504.
- <sup>176</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 11. С. 43.
- <sup>177</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 13. М.: Воскресенье, 1996. С. 315.
- <sup>178</sup> Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. Т. 1. 1826—1857. С. 142—143.
- <sup>179</sup> Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. Т. 2. 1858—1865. С. 254.
- <sup>180</sup> Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX — начале XX века. М.: Институт истории СССР, 1991. С. 97, 141.
- <sup>181</sup> Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. Т. 2. 1858—1865. С. 184.
- <sup>182</sup> Автобиография Н. И. Костомарова / Под ред. В. Котельниковой. М., 1922. С. 296 (Библиотека мемуаров).
- <sup>183</sup> Валуев П. А. Дневник. 1877—1884. С. 258.
- <sup>184</sup> Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX — начале XX века. М.: Институт истории СССР, 1991. С. 72.
- <sup>185</sup> Иванов А. Е. Дискуссия о проблемах высшего педагогического образования в России на рубеже XIX — XX вв. // Педагогика. 1999. № 6. С. 85.
- <sup>186</sup> Константинов Н. А. Очерки по истории средней школы. Гимназии и реальные училища с конца XIX в. до Февральской революции 1917 года. 2-е изд., испр. и доп. М.: Учпедгиз, 1956. С. 12.
- <sup>187</sup> Стафёрова Е. Л. А. В. Головин и либеральные реформы в просвещении (первая половина 60-х гг.). М.: Канон+, 2007. С. 272, 274.
- <sup>188</sup> Там же. С. 287.
- <sup>189</sup> Константинов Н. А. Очерки по истории средней школы. Гимназии и реальные училища с конца XIX в. до Февральской революции 1917 года. С. 18.
- <sup>190</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1868 — начало 1873. С. 379.
- <sup>191</sup> Константинов Н. А. Очерки по истории средней школы. Гимназии и реальные училища с конца XIX в. до Февральской революции 1917 года. С. 22.
- <sup>192</sup> Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. Т. 2. 1858—1865. С. 265.
- <sup>193</sup> Штакенингейдер Е. А. Дневник и записки (1854—1886) / Ред. ст. и коммент. И. Н. Розанова. М.; Л.: Academia. 1934. С. 199 (Русские мемуары, дневники, письма и материалы).
- <sup>194</sup> Шереметев С. Д. Петербургское общество 60-х годов (1863—1868) // Мемуары графа С. Д. Шереметева / Сост., подг. текста и прим. Л. И. Шохина. М.: Индрик, 2001. С. 103.
- <sup>195</sup> Шереметев С. Д. Заметка (1881—1891) // Мемуары графа С. Д. Шереметева. Т. 3. М.: Индрик, 2005. С. 266.
- <sup>196</sup> Майков А. Н. После бала // Майков А. Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1984. С. 106 (Библиотека «Огонёк»). В 1863 году стихотворение было опубликовано в коллективном поэтическом сборнике «Гражданские мотивы...», по поводу чего М. Е. Салтыков-Щедрин в рецензии на эту книгу язвительно заметил, что стихи Майкова были бы более уместны в сборнике «Эротически-гражданские мотивы».
- <sup>197</sup> Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802—1917: Биобиблиографический справочник. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 346.
- <sup>198</sup> Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801—1906: Биобиблиографический справочник. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 553.

<sup>199</sup> *Боборыкин П. Д.* Сочинения: В 3 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1993. С. 48, 49, 50.

<sup>200</sup> *Некрасов Н. А.* Балет (1866) // Сочинения: В 3 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1959. С. 58.

<sup>201</sup> *Боборыкин П. Д.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. За полвека / Подг. текста и прим. Э. Виленской, Л. Ройтберг. М.: Художественная литература, 1965. С. 406 (Литературные мемуары).

<sup>202</sup> Мемуары графа С. Д. Шереметева. С. 172.

<sup>203</sup> Там же. С. 52, 135, 242.

<sup>204</sup> *Боборыкин П. Д.* Воспоминания: В 2 т. Т. 2. С. 157 (Литературные мемуары).

<sup>205</sup> *Боборыкин П. Д.* Сочинения: В 3 т. Т. 1. С. 151, 159, 165.

<sup>206</sup> Там же. С. 152. *Дамбрович* — любовник главной героини романа «Жертва вечерняя», обучивший Марью Михайловну непростому искусству безнаказанно «срывать цветы удовольствия». Февральская книжка журнала «Всемирный труд», на страницах которой было опубликовано описание великосветской оргии, подверглась конфискации. Цензура сочла эти эпизоды романа порнографическими.

<sup>207</sup> *Боборыкин П. Д.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 196 (Литературные мемуары). — В романе «Жертва вечерняя» выражение «афинский вечер» ещё не употребляется. Персонажи романа именуют свои оргии ужинами как при регентстве. (Время регентства герцога Филиппа Орлеанского почиталось периодом исключительной распушенности нравов французского высшего общества.) После выхода романа Боборыкина в свет М. Е. Салтыков-Щедрин в анонимной рецензии, в 1868 году опубликованной в журнале «Отечественные записки», не без иронии назвал описанные в «Жертве вечерней» великосветские оргии «афинскими вечерами». Читатели, получившие классическое образование, оценили иронию рецензента. Они были наслышаны о существовании произведения римского писателя-компилятора II века н. э. Авла Гелия «Афинские ночи» и знали, что «афинскими вечерами» в древности называли вечерние беседы, изящные, утончённые разговоры. Со временем ирония улетучилась, выражение прижилось и стало нарицательным. «Афинский вечер» как синоним разнузданной оргии, кутежа упоминается Л. Н. Толстым в «Анне Карениной» и в романе А. Ф. Писемского «Масоны» (1880—1881). В кругах столичной богемы мода на «афинские вечера» благополучно пережила время контрреформ и существовала вплоть до Первой мировой войны. Поэтесса Паллада Олимповна Богданова-Бельская (1885—1968) — одна из муз русской поэзии Серебряного века, чьё имя стало одним из знаков «петербургской культуры 1913 года», — устраивала «афинские вечера» в своей квартире на Фонтанке (*Рындина Л. Д.* Ушедшее // Воспоминания о Серебряном веке. М.: Республика, 1993. С. 425). В начале XX века столичная мода захватила провинцию, и устроителей «афинских вечеров» можно было встретить даже среди преподавателей провинциальных гимназий. Любопытно использование термина «афинские вечера» применительно к событиям 20-х годов XX века в воспоминаниях служащего профилактория для проституток, где работала жена С. М. Кирова (*Лебина Н. Б.* Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920—1930-е годы. СПб.: Нева, 1999. С. 95). Роман Боборыкина был переиздан в 1993 году, когда в среде «новых русских» снова возникла мода на оргии в банях и саунах. Впрочем, «новые русские» вряд ли читали романы Боборыкина и Писемского и хоть что-то слышали об «афинских вечерах».

- <sup>208</sup> *Лермонтов М. Ю.* Дума // *Лермонтов М. Ю.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1983. С. 36.
- <sup>209</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 3. Кн. 1. М.: Воскресенье, 1995. С. 205.
- <sup>210</sup> *Майков А. Н.* Княжна \*\*\*. Трагедия в октавах // *Майков А. Н.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1984. С. 106 (Библиотека «Огонёк»).
- <sup>211</sup> *Писарев Д. И.* О брошюре Шедо-Ферроти // *Писарев Д. И.* Сочинения: В 4 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1955. С. 124.
- <sup>212</sup> Цит. по: *Соловьёв Е.* Дмитрий Писарев. Его жизнь и литературная деятельность. Глава VI // [http://www.ssga.ru/erudites\\_info/peoples/pisarev/part06](http://www.ssga.ru/erudites_info/peoples/pisarev/part06)
- <sup>213</sup> Русский биографический словарь. Т. II. Алексинский — Бестужев-Рюмин. СПб., 1900. С. 349.
- <sup>214</sup> Домашняя беседа для народного чтения. 1863. № 45. С. 369—370.
- <sup>215</sup> Там же. С. 370.
- <sup>216</sup> Там же.
- <sup>217</sup> Там же. С. 371.
- <sup>218</sup> Там же. С. 373.
- <sup>219</sup> Там же. С. 374. Фельетон подробно цитируется в недавно опубликованной монографии: *Щербакова Е. И.* «Отщепенцы». Путь к терроризму (60—80-е годы XIX века). М.: Новый Хронограф; АИРО — XXI, 2008. С. 46—47 (Первая монография).
- <sup>220</sup> Поэты «Искры»: В 2 т. Т. 2. Л.: Советский писатель, 1987. С. 166—167 (Библиотека поэта. Большая серия).
- <sup>221</sup> Русский биографический словарь. Т. II. Алексинский — Бестужев-Рюмин. СПб., 1900. С. 350.
- <sup>222</sup> *Водовозова Е. Н.* На заре жизни. Мемуарные очерки и портреты / Подг. текста и коммент. Э. С. Виленской. Т. 2. М.: Художественная литература, 1987. С. 35—36 (Литературные мемуары).
- <sup>223</sup> *Вяземский П. А.* Стихотворения. Ч. IV. 1863—1877 // Полное собрание сочинений князя Вяземского: В 12 т. Т. XII. СПб., 1896. С. 166.
- <sup>224</sup> Воспоминания Н. В. Шелгунова: Из прошлого и настоящего // *Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л.* Воспоминания: В 2 т. / Вступ. ст. Э. Виленской, Л. Ройтберг; подг. текста и прим. Э. Виленской, Е. Ольховского, Л. Ройтберг. Т. 1. М.: Художественная литература, 1967. С. 137, 140 (Литературные мемуары).
- <sup>225</sup> *Пиетров-Энкер Б.* «Новые люди» России: Развитие женского движения от истоков до Октябрьской революции. М.: РГТУ, 2005. С. 159, 190—194, 367, 368.
- <sup>226</sup> *Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М.; Л. 1928. С. 249 (Литературные памятники и мемуары).
- <sup>227</sup> *Ковалевская С. В.* Воспоминания и письма. М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 468.
- <sup>228</sup> Там же. С. 206, 208, 487.
- <sup>229</sup> *Писемский А. Ф.* Люди сороковых годов: Роман. В 5 ч. // *Писемский А. Ф.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 5. М.: Правда, 1959. С. 456—457 (Библиотека «Огонёк»). Сходную мысль о влиянии классической русской литературы на поведение женщин высказывает и камер-юнкер Георгий Иванович Орлов, персонаж чеховского «Рассказа неизвестного человека», рассуждающий о побудительных мотивах поведения своей возлюбленной Зинаиды Фёдоровны Красновской, ушедшей к нему от мужа: «Сочинители вроде Тургенева совсем сбили её с толку. Теперь другие писатели и проповедники заговорили о греховности и

ненормальности совместной жизни с мужчиной. Бедным дамам уже прискучили мужа и край света, и они ухватились за эту новость обеими руками. Как быть? Где искать спасения от ужасов брачной жизни? И тут выручила тургеневская закуска. Любовь спасает от всяких бед и решает все вопросы. Выход ясен: от мужей бежать к любимым мужчинам!» (Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения. Т. 8. 1892—1894. М.: Наука, 1977. С. 373). Впервые «Рассказ неизвестного человека» был опубликован в 1893 году, в февральской и мартовской книжках московского научного, литературного и политического журнала «Русская мысль». Цитируемая фраза есть в журнальном варианте повести, но отсутствует в каноническом варианте, публикуемом во всех собраниях сочинений Чехова.

<sup>230</sup> *Пиетров-Энкер Б.* «Новые люди» России: Развитие женского движения от истоков до Октябрьской революции. С. 159—160, 357. «За 16 лет пребывания в университете мне не удалось встретить студента, который не прочёл бы знаменитого романа ещё в гимназии, а гимназистка V — VI класса считалась бы душой, если бы не ознакомились с похождениями Веры Павловны. В этом отношении сочинения, например Тургенева или Гончарова, не говоря уже о Гоголе и Пушкине, далеко уступают роману “Что делать?”» (Цитович П. Что делали в романе «Что делать?». Одесса, 1879. С. 5).

<sup>231</sup> *Панаева (Головачёва) А. Я.* Воспоминания. М.: Правда, 1986. С. 114 (Литературные воспоминания).

<sup>232</sup> Не прошло и трёх недель после Октябрьской революции, как «петроградские горизонталки» стали спешно покидать Северную столицу. Они в числе первых на собственном бизнесе ощутили необратимые последствия переворота и мгновенноотреагировали на изменение экономической и политической конъюнктуры. В субботу 18 ноября 1917 года в бульварной газете «Раннее утро» появилась короткая заметка, без особых затей озаглавленная «Вскользь»:

«Знаете ли, кто теперь особенно интенсивно эвакуируется из Петрограда? Женщины определённого типа, так называемые одиночки. Надо сказать спасибо домовым комитетам, устроившим самоохрану: дежурные в ночное время не пропускают кавалеров, которых ведут с собой дамы-одиночки. Последние протестуют, вопят: “Где же свобода?!” грозят жалобами в “Смоленск” (так называют Смольный), но ничего не помогает.

“Чёрт с тобой, проклятый Петрополь,

Я ещё стройна, как тополь, —

Счастье найду по другим городам!..” —

восклицают горизонталки и, собрав пожитки, эвакуируются в Харьков, в Нижний Новгород, в Самару и др. города. Скатертью дорога!»

Минуло семь десятилетий. Колесо истории совершило свой оборот. Частная предпринимательская деятельность и хранение иностранной валюты перестали считаться уголовным преступлением. В стране вновь была провозглашена гласность, в средствах массовой информации стали сокращаться о России, которую мы потеряли, а начало перестройки ознаменовалось появлением в русском языке новых слов для обозначения жриц сферы сексуальных услуг. Выяснилось, что в государстве есть не только секс, но и проституция. Страна в очередной раз переживала слом привычных политических, экономических и нравственных устоев, и реакция «горизонталок» конца XX столетия была молниеносной: они и на сей раз не остались в стороне. Отечественные *интердевочки*, *путаны* и *ночные бабочки* гласно

заявили городу и миру о своём существовании. Распад СССР совпал по времени с настоящим девятым валом газетных и журнальных статей, рассказов и повестей, художественных и документальных фильмов, в которых с нескрываемым сочувствием изображались представительницы древнейшей профессии. Впрочем, это уже другая история...

<sup>233</sup> Заметная фигура петербургского «дна» пореформенной эпохи — прототип одного из многочисленных персонажей романа Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы» (первое отдельное издание в четырёх томах — СПб., 1867).

<sup>234</sup> Чины генерал-майора и действительного статского советника соответствовали IV классу Табели о рангах и формально были равны, однако социальный престиж военного чина был выше.

<sup>235</sup> Агентурное донесение об образе жизни проживавшей в Петербурге ревельской мещанки Амелии, занимавшейся за деньги устройством браков разорившихся титулованных лиц с женщинами легкого поведения // ГА РФ. Ф. 109. Оп. 3. Секретный архив. Д. 2886. Л. 1—2 об.

<sup>236</sup> Давыдов Д. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1984. С. 109 (Библиотека поэта. Большая серия).

<sup>237</sup> Панаева (Головачёва) А. Я. Воспоминания. С. 113.

<sup>238</sup> Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. Т. 3. 1866—1877. Л.: Гослитиздат, 1956. С. 53 (Литературные мемуары).

<sup>239</sup> Воспоминания Н. В. Шелгунова: Из прошлого и настоящего // Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 141—142 (Литературные мемуары). Достоинно упоминания, что это рассуждение видного демократа, впервые опубликованное в мартовской книжке журнала «Русская мысль» за 1886 год, спустя пять лет было изъято цензурой при публикации двухтомника сочинений Шелгунова.

<sup>240</sup> Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. М.: Правда, 1989. С. 574.

<sup>241</sup> Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Романо-Германскому. 6-е изд. СПб.: Глаголь, СПбУ, 1995. С. 176.

<sup>242</sup> Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М.: Гослитиздат, 1958. С. 625 (Литературные мемуары). Примечательно, что это мемуарное свидетельство не было напечатано при жизни автора и впервые вышло в свет в 1934 году.

<sup>243</sup> Писемский А. Ф. В водовороте: Роман. В 3 ч. // Писемский А. Ф. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 6. М.: Правда, 1959. С. 37 (Библиотека «Огонёк»).

<sup>244</sup> Русская периодическая печать (1702—1894). Справочник / Под ред. А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепанова. М.: Госполитиздат, 1959. С. 535.

<sup>245</sup> Писемский А. Ф. В водовороте. С. 77.

<sup>246</sup> Там же. С. 113.

<sup>247</sup> Там же. С. 287.

<sup>248</sup> Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. С. 625—626.

<sup>249</sup> Там же. С. 626.

<sup>250</sup> Там же. С. 627.

<sup>251</sup> Там же.

<sup>252</sup> Писарев Д. И. Схоластика XIX века // Писарев Д. И. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1955. С. 135.

<sup>253</sup> Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV—XVIII вв. Т. 3. М.: Прогресс, 1992. С. 553—554.

<sup>254</sup> Там же. С. 554.



<sup>255</sup> Воспоминания Н. В. Шелгунова: Из прошлого и настоящего // *Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 139, 142 (Литературные мемуары).

<sup>256</sup> *Водовозова Е. Н.* Среди петербургской молодежи шестидесятых годов. 1863 год // *Водовозова Е. Н.* На заре жизни. Мемуарные очерки и портреты. Т. 2. С. 197.

<sup>257</sup> *Боборыкин П. Д.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 314 (Литературные мемуары).

<sup>258</sup> *Шелгунов Н. В.* Воспоминания. М.; Пг., 1923. С. 26.

<sup>259</sup> Мемуары графа С. Д. Шереметева. С. 111.

<sup>260</sup> Там же. С. 156.

<sup>261</sup> *Давыдов Д.* Стихотворения. С. 115.

<sup>262</sup> *Толстой Л. Н.* Несколько слов по поводу книги «Война и Мир» // Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» в русской критике / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. И. Н. Сухих. Изд-во Ленинградского университета, 1989. С. 29.

<sup>263</sup> *Боборыкин П. Д.* Сочинения: В 3 т. Т. 1. С. 278.

<sup>264</sup> Мемуары графа С. Д. Шереметева. С. 136, 145.

<sup>265</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860—1862 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: Российский архив, 1999. С. 488 (примечание 13).

<sup>266</sup> Там же. С. 453.

<sup>267</sup> *Писемский А. Ф.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 4. М.: Правда, 1959. С. 3.

<sup>268</sup> *Боборыкин П. Д.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 62, 67 (Литературные мемуары).

<sup>269</sup> *Москвица Т.* Всем стоять! СПб.: Амфора, 2006. С. 30.

<sup>270</sup> *Тургенев И. С.* Дым // *Тургенев И. С.* Собрание сочинений: В 10 т. Т. 4. М.: Гослитиздат, 1961. С. 108.

<sup>271</sup> Там же. С. 109.

<sup>272</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1865—1867 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2005. С. 38, 39.

<sup>273</sup> *Феоктистов Е. М.* За кулисами политики и литературы // За кулисами политики: 1848—1914 / Е. М. Феоктистов, В. Д. Новицкий, Ф. Лир, М. Э. Клейнмихель. М.: Фонд Сергея Дубова, 2001. С. 187—188 (История России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII—XX вв.). Члены императорской фамилии догадывались о характере отношений между государем и княжной. 22 ноября 1859 года великий князь Константин Николаевич записал в дневнике: «К обеду с жинкой в Царское Село. Успели до обеда немного прокатиться. В это время у Орловских ворот встретили Сашу верхом, а вслед за тем Александру Сергеевну Долгорукову, также верхом, совершенно одну. Заключение из этого нетрудно. Больно» (1857—1861: Переписка Императора Александра II с Великим Князем Константином Николаевичем. Дневник Великого Князя Константина Николаевича / Сост. Л. Г. Захарова, Л. И. Тютюнник. М.: Терра, 1994. С. 208). Прошло три года, и фрейлину императрицы поспешно выдали замуж. Венчание генерала П. П. Альбединского и фрейлины княжны А. С. Долгоруковой состоялось 9 ноября 1862 года, а 19 июля 1863 года, после возвращения из 11-месячного заграничного отпуска, генерал вступил в командование лейб-гвардии Гусарским полком. В начале февраля следующего, 1864 года во время поминального обеда по литературному критику и беллетристу Алек-

сандру Васильевичу Дружинину, при жизни бывшему большим любителем «клубнички», присутствующие на поминках Тургенев, Гончаров, Анненков живо обсуждали великосветские сплетни. Шокированный этими откровенными разговорами во время трапезы участник обеда академик Никитенко записал в дневнике своё непосредственное впечатление: «Обед был роскошный, но беседа за обедом была совершенно пустая. К концу обеда ударились в разговоры о женщинах и разных отвратительных скандальных историях. Неужели наши передовые умы не умеют найти лучших предметов для дружеской беседы?» (*Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 2. 1858—1865. Л.: Гослитиздат, 1955. С. 403—404). Ровно спустя три года после поминального обеда Тургенев опубликовал роман «Дым». Как видим, из жизненного «сора» вырастают, «не ведая стыда», не только стихи, но и классическая проза.

<sup>274</sup> *Тургенев И. С.* Дым // *Тургенев И. С.* Собрание сочинений: В 10 т. Т. 4. С. 109.

<sup>275</sup> Там же. С. 143.

<sup>276</sup> Вольная русская поэзия XVIII—XIX веков: В 2 т. Т. 1. Л.: Советский писатель, 1988. С. 543 (Библиотека поэта. Большая серия). Стихотворение представляет собой позднейшую, датируемую началом 1850-х годов, переделку агитационной песни Рылеева — Бестужева «Царь наш — немец русский...» (Там же. С. 278—279, 598, 655).

<sup>277</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 3. 1866—1877. С. 243.

<sup>278</sup> *Шестаков И. А.* Полвека обыкновенной жизни. Воспоминания (1838—1881). СПб.: Судостроение, 2006. С. 596.

<sup>279</sup> Вольная русская поэзия XVIII—XIX веков: В 2 т. Т. 2. Л.: Советский писатель, 1988. С. 509.

<sup>280</sup> Инструкция графа А. Х. Бенкендорфа чиновнику III Отделения // Русский архив. 1889. Кн. 2. № 7. С. 396—397; *Дмитриев М. А.* Главы из воспоминаний моей жизни. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 258; *Стогов Э. И.* Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М.: Индрик, 2003. С. 200.

<sup>281</sup> ГА РФ. Ф. 638. Оп. 1. Д. 18. Л. 48 об.

<sup>282</sup> Агентурное донесение о продаже в биржевом сквере г. Петербурга порнографических открыток // ГА РФ. Ф. 109. Оп. 3. Секретный архив. Д. 2884. Л. 1.

<sup>283</sup> *Толстая С. А.* Мои записи разные для справок // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1955. С. 145. Софья Андреевна зафиксировала дату возникновения первоначального творческого замысла. Работа над романом «Анна Каренина» началась спустя три года — весной 1873-го.

<sup>284</sup> Россия под надзором: Отчёты III Отделения 1827—1869. Сборник документов. М.: Российский фонд культуры; Российский архив, 2006. С. 683, 684.

<sup>285</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1868 — начало 1873 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2006. С. 357.

<sup>286</sup> Там же.

<sup>287</sup> Цит. по: *Пиетров-Энжер Б.* «Новые люди» России: Развитие женского движения от истоков до Октябрьской революции. С. 223.

<sup>288</sup> *Кирсанова Р. М.* Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века. М.; СПб.: Родина, 2006. С. 151.

<sup>289</sup> Там же. С. 152, 164, 165.

- <sup>290</sup> *Райкина М. А.* Москва закулисная—2. Тайны. Мистика. Любовь. Записки театрального репортёра. М.: Вагриус, 2001. С. 388, 389, 390.
- <sup>291</sup> *Пантелеев Л. Ф.* Воспоминания. С. 275.
- <sup>292</sup> Русская эпиграмма (XVIII — начало XX века). Л.: Советский писатель, 1988. С. 400 (Библиотека поэта. Большая серия).
- <sup>293</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения. Т. 13. С. 36.
- <sup>294</sup> Там же. С. 99—100. Фраза дословно заимствована автором из его ранее написанной пьесы «Леший». Ср.: Там же. Т. 12. С. 173.
- <sup>295</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения. Т. 13. С. 223.
- <sup>296</sup> Поэты-демократы 1870—1880-х годов. Л.: Советский писатель, 1968. С. 331 (Библиотека поэта. Большая серия). Написание стихотворения в мае 1883 года было приурочено к коронованию императора Александра III в Москве.
- <sup>297</sup> Воспоминания Н. В. Шелгунова: Из прошлого и настоящего // *Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. С. 142—143 (Литературные мемуары).
- <sup>298</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения. Т. 8. С. 170—171.
- <sup>299</sup> *Витте С. Ю.* Избранные воспоминания. 1849—1911 гг. М.: Мысль, 1991. С. 280.
- <sup>300</sup> Валентин Серов в переписке, документах и интервью: В 2 т. Т. 1. Л.: Художник РСФСР, 1985. С. 111.
- <sup>301</sup> Русская эпиграмма (XVIII — начало XX века). С. 374, 634.
- <sup>302</sup> *Чехов А. П.* В сумерках. Очерки и рассказы / Изд. подг. Г. П. Бердников, А. Л. Гришунин. М.: Наука, 1986. С. 144, 145 (Литературные памятники).
- <sup>303</sup> Там же. С. 526 (Примечания).
- <sup>304</sup> Там же. С. 161.
- <sup>305</sup> Там же. С. 143.
- <sup>306</sup> Там же. С. 150.
- <sup>307</sup> Там же. С. 151. В недавно опубликованных мемуарах выдающегося русского государственного деятеля адмирала Ивана Алексеевича Шестакова в главе, посвящённой началу царствования Александра III, упоминаются и «видимое оцепенение правительства», и часовые, «попадающиеся в кустах при моём проезде», и «прячущееся самодержавие» (*Шестаков И. А.* Полвека обыкновенной жизни. С. 727, 740).
- <sup>308</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения. Т. 8. С. 399. Цитируемая фраза есть в журнальном варианте повести, напечатанном в «Русской мысли» в 1893 году, но отсутствует в каноническом варианте, публикуемом во всех собраниях сочинений Чехова, начиная с прижизненного.
- <sup>309</sup> *Блок А. А.* Избранные сочинения. М.: Художественная литература, 1988. С. 501.
- <sup>310</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма. Т. 3. М.: Наука, 1976. С. 308—309.
- <sup>311</sup> *Дурьлин С. Н.* В своём углу / Сост. и прим. В. Н. Тороповой; предисл. Г. Е. Померанцевой. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 336 (Библиотека мемуаров: Близкое прошлое).
- <sup>312</sup> *Блок А. А.* Избранные сочинения. С. 509.
- <sup>313</sup> *Никитенко А. В.* Дневник: В 3 т. Т. 3. 1866—1877. С. 284.
- <sup>314</sup> *Вяземский П. А.* Старая записная книжка // Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского: В 12 т. Т. VIII. СПб., 1883. С. 82. По-

пытки отыскать как саму якобы восхитившую Пушкина элегию, так и имя её автора до сих пор не увенчались успехом. Тщетность настоячивых поисков доказывает, на мой взгляд, лишь то, что подобной элегии никогда не существовало в природе, а процитированное князем Вяземским двустишие является пушкинской пародией на созданную Денисом Давыдовым элегию IV («В ужасах войны кровавой...»). Элегия Давыдова имеет 30 строк, суть которых без малейшей утраты поэтического смысла может быть сведена к пушкинскому двустишию. Пушкин любил литературные мистификации и мастерски умел ввести в заблуждение даже ближайших друзей. В «Капитанской дочке» стихи, приписанные в эпиграфе к главе XI А. П. Сумарокову, а в эпиграфе к главе XIII Я. Б. Княжнину, и в том и в другом случае являются имитацией и сочинены Пушкиным. Сначала сам князь Вяземский, а затем и читатели его «Старой записной книжки» стали невольными жертвами пушкинского розыгрыша. Всправедливости моей гипотезы можно убедиться, сравнив канонический текст элегии Давыдова и его варианты с пародийным двустишием. См.: *Давыдов Д.* Стихотворения. С. 79, 153—154, 205.

<sup>315</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма. Т. 8. С. 275.

<sup>316</sup> *Павлова К. К.* Стихотворения. М.: Советская Россия, 1985. С. 108.

<sup>317</sup> *Писемский А. Ф.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 1. М.: Правда, 1959. С. 281.

<sup>318</sup> *Боборыкин П. Д.* Сочинения: В 3 т. Т. 1. С. 452.

<sup>319</sup> *Миронов Б. Н.* Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. Т. 1. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 176.

<sup>320</sup> *Боборыкин П. Д.* Сочинения: В 3 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1993. С. 554. Об отсутствию в русском образованном обществе нравственных идеалов и семейных ценностей рассуждают и герои чеховской повести «Рассказ неизвестного человека», действие которой происходит в 1880-е годы: «Говорили, что нет верных жён; нет такой жены, от которой при некотором навыке нельзя было бы добиться ласок, не выходя из гостиной, в то время, когда рядом в кабинете сидит муж. Девочки-подростки развращены и уже знают всё. Орлов хранит у себя письмо одной четырнадцатилетней гимназистки: она, возвращаясь из гимназии, «замарьяжила на Невском офицера», который будто бы увёл её к себе и отпустил только поздно вечером, а она поспешила написать об этом подруге, чтобы поделиться восторгами. Говорили, что чистоты нравов не было никогда и нет её, очевидно, она не нужна; человечество до сих пор прекрасно обходилось без неё. Вред же от так называемого разврата несомненно преувеличен» (*Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения. Т. 8. С. 149). 18 мая 1891 года Чехов так написал своему издателю Суворову об упомянутом в повести письме четырнадцатилетней петербургской гимназистки: «Гимназистку надо в сумасшедший дом, а офицера, который отдал её, в крепость на четыре года без лишения чинов. Девочке вдруг захотелось, она стала приставать к первому встречному, потом, не боясь тётки и гимназического начальства, всю ночь употреблялась, потом едва волокла ноги и написала циничное письмо — всё это болезнь и, к несчастью, неизлечимая. В провинции у отца она будет давать кучерам и лакеям, потом, когда отец её прого-

нит, в оперетку, а в старости, если не умрёт от чахотки, она будет писать нравоучительные фельетоны, пьесы и письма из Берлина или Вены — слог у неё выразительный и вполне литературный» (*Чудаков А.* «Неприличные слова» и облик классика: О купюрах в издании писем Чехова // Эротика в русской литературе. От Баркова до наших дней. Тексты и комментарии // Литературное обозрение. 1992. Специальный выпуск. С. 55). То, что в начале 90-х годов XIX века воспринималось как девиантное поведение и аномалия, спустя полтора десятилетия перестало вызывать удивление или возмущение. Гимназистки Серебряного века знали многое и о многом догадывались, поэтому жрицы сферы сексуальных услуг стали наряжаться в соответствии с пожеланиями своих клиентов. Спрос рождал предложение. О событиях первого десятилетия XX столетия вспоминает одна из неярких «звёздочек» Серебряного века: «Профессиональные проститутки для большей пикантности и детскости часто одевались гимназистками. При впуске в отдельные кабинеты, дома свиданий и номера бань на это никто внимания не обращал» (*Сертинская Н. Я.* Флирт с жизнью. Мемуары интеллигентки двух эпох. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 52 (Библиотека мемуаров: Близкое прошлое).

<sup>321</sup> *Гусев Н. Н.* Два года с Л. Н. Толстым. Воспоминания и дневник бывшего секретаря Л. Н. Толстого. 1907—1909. М.: Художественная литература, 1973. С. 239 (Литературные мемуары).

<sup>322</sup> Там же. С. 240.

<sup>323</sup> *Сашиа Чёрный.* Стихотворения. СПб.: Петербургский писатель, 1996. С. 256, 257 (Библиотека поэта. Большая серия).

<sup>324</sup> *Боборыкин П. Д.* Сочинения: В 3 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1993. С. 8.

<sup>325</sup> *Некрасов Н. А.* Балет (1866) // Сочинения: В 3 т. Т. 2. С. 57, 58.

<sup>326</sup> *Писемский А. Ф.* Пьесы. М.: Искусство, 1958. С. 373 (Библиотека драматурга).

<sup>327</sup> Там же. С. 374.

<sup>328</sup> Там же. С. 386—387.

<sup>329</sup> *Надсон С. Я.* Полное собрание сочинений: В 2 т. / Под ред. М. В. Ватсон. Т. 2. Пг., 1917. С. 524.

<sup>330</sup> *К. Р.* Избранная переписка. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 300.

<sup>331</sup> *Надсон С. Я.* Полное собрание стихотворений / Вступ. ст. Г. А. Бялого; прим. Ф. И. Шушковской. 2-е изд. М.; Л.: Советский писатель, 1962. С. 49 (Библиотека поэта. Большая серия).

<sup>332</sup> Там же. С. 70.

<sup>333</sup> Там же.

<sup>334</sup> Там же. С. 133.

<sup>335</sup> Там же. С. 236.

<sup>336</sup> Там же. С. 187.

<sup>337</sup> Там же. С. 112—113.

<sup>338</sup> Там же. С. 145.

<sup>339</sup> Там же. С. 104.

<sup>340</sup> *Писемский А. Ф.* Письма. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 252.

<sup>341</sup> *Гоголь Н. В.* Избранные сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1984. С. 65, 66.

<sup>342</sup> *Готье Т.* Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1990. С. 128.

<sup>343</sup> *Осоргин М. М.* Воспоминания, или Что я слышал, что я видел и что я делал в течение моей жизни. 1861—1920. М.: Российский фонд культуры; Студия ТРИТЭ; Российский архив, 2008. С. 173.

- <sup>344</sup> *Надсон С. Я.* Полное собрание стихотворений. С. 110.
- <sup>345</sup> *Гончаров И. А.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1959. С. 328.
- <sup>346</sup> *Писемский А. Ф.* Пьесы. М.: Искусство, 1958. С. 422 (Библиотека драматурга).
- <sup>347</sup> Там же. С. 362.
- <sup>348</sup> Там же. С. 432.
- <sup>349</sup> *Гончаров И. А.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. С. 330.
- <sup>350</sup> Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1876—1878 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2009. С. 98.
- <sup>351</sup> Там же. С. 159.
- <sup>352</sup> Там же. С. 63.
- <sup>353</sup> Там же. С. 58.
- <sup>354</sup> Там же. С. 90—91.
- <sup>355</sup> Там же. С. 95.
- <sup>356</sup> Там же.
- <sup>357</sup> Там же. С. 93.
- <sup>358</sup> Там же.
- <sup>359</sup> Там же.
- <sup>360</sup> Там же. С. 98.
- <sup>361</sup> Там же.
- <sup>362</sup> Записка военного министра Д. А. Милютина от 7-го февраля 1877 г., составленная М. Н. Обручевым // Там же. С. 628.
- <sup>363</sup> *Рейтерн М. Х.* Записка, представленная Государю 11-го февраля 1877 г. и читанная в совещании, бывшем у Е. В. 12-го февраля // Там же. С. 631.
- <sup>364</sup> *Ломоносов М. В.* Избранные произведения / Вступ. ст., подг. текста и прим. А. А. Морозова. М.; Л.: Советский писатель, 1965. С. 63 (Библиотека поэта. Большая серия).
- <sup>365</sup> *Вяземский П. А.* Записные книжки. М.: Русская книга, 1992. С. 155 (Русские дневники).
- <sup>366</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 1. М.: Воскресенье, 1994. С. 61.
- <sup>367</sup> Письма И. Ф. Паскевича — В. А. Жуковскому // Русский архив. 1875. Кн. III. № 11. С. 368.
- <sup>368</sup> Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. Переписка. Воспоминания. Дневники: В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1987. С. 161.
- <sup>369</sup> Там же.
- <sup>370</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 3. Кн. 1. М.: Воскресенье, 1995. С. 275.
- <sup>371</sup> Письма И. Ф. Паскевича — В. А. Жуковскому // Русский архив. 1875. Кн. III. № 11. С. 368—369.
- <sup>372</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 5. М.: Воскресенье, 1994. С. 371.
- <sup>373</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 3. Кн. 1. М.: Воскресенье, 1995. С. 269.
- <sup>374</sup> *Вяземский П. А.* Записные книжки. М.: Русская книга, 1992. С. 151 (Русские дневники).
- <sup>375</sup> Там же. С. 152.
- <sup>376</sup> Там же. С. 153, 154.
- <sup>377</sup> Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. М.: Наука, 1956. С. 489.

- <sup>378</sup> *Экштут С. А.* Битвы за храм Мнемозины: Очерки интеллектуальной истории. СПб.: Алетейя, 2003. С. 31—40.
- <sup>379</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 3. Кн. 1. С. 427.
- <sup>380</sup> *Лермонтов М. Ю.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1983. С. 70.
- <sup>381</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 4. М.: Воскресенье, 1994. С. 113—114.
- <sup>382</sup> *Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 393 (История эстетики в памятниках и документах).
- <sup>383</sup> *Воронихин А. В.* Исторический календарь царствования Александра III: Пособие к спецкурсу. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2001. С. 11.
- <sup>384</sup> *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 5 кн. Т. 2. Кн. 4, 5. 2-е изд., доп. М.: Наука, 1990. С. 396, 397 (Литературные памятники).
- <sup>385</sup> У Толстого: 1904—1910. «Яснополянские записки Д. П. Маковицкого» // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 1. М.: Наука, 1979. С. 100.
- <sup>386</sup> *Осоргин М. М.* Воспоминания, или Что я слышал, что я видел и что я делал в течение моей жизни. 1861—1920. М.: Российский фонд культуры; Студия ТРИТЭ; Российский архив, 2008. С. 632.
- <sup>387</sup> Там же. С. 664.
- <sup>388</sup> Там же.
- <sup>389</sup> Там же.
- <sup>390</sup> *Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1879—1881 / Под ред. Л. Г. Захаровой.* М.: РОССПЭН, 2010. С. 179—180.
- <sup>391</sup> *Кутрин А. И.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1958. С. 19—20.
- <sup>392</sup> Там же. С. 20.
- <sup>393</sup> Там же. С. 17, 22.
- <sup>394</sup> «Хаджи-Мурат». Неизданные тексты / Публикация А. Сергиенко // Литературное наследство. Т. 35—36. М.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 518.
- <sup>395</sup> Там же. С. 520.
- <sup>396</sup> Там же.
- <sup>397</sup> Там же. С. 521.
- <sup>398</sup> *Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. Академическое юбилейное издание. Т. 35. М.: Художественная литература, 1950. С. 384.
- <sup>399</sup> «Хаджи-Мурат». Неизданные тексты / Публикация А. Сергиенко // Литературное наследство. Т. 35—36. М.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 517.
- <sup>400</sup> Там же. С. 532.
- <sup>401</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 4. М.: Воскресенье, 1994. С. 114.
- <sup>402</sup> *Дубровин Н. Ф.* История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 6. Ртищев и Ермолов. СПб., 1888. С. 302, 303; *Потто В. А.* Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Т. 2. Ермоловское время. СПб., 1885. С. 99.
- <sup>403</sup> А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1980. С. 16 (Литературные мемуары).
- <sup>404</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 8. Кн. 1. М.: Воскресенье, 1995. С. 445.
- <sup>405</sup> У Толстого: 1904—1910. «Яснополянские записки Д. П. Маковицкого» // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 1. С. 359.
- <sup>406</sup> *Экштут С. А.* Александр I. Его сподвижники. Декабристы. В поиске исторической альтернативы. СПб.: Logos, 2004. С. 99, 112, 256.

<sup>407</sup> *Ровинский Д. А.* Подробный словарь русских гравированных портретов: В 4 т. Т. 2. СПб.: Императорская Академия наук, 1887. Стб. 965.

<sup>408</sup> Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1860—1862 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: Российский архив, 1999. С. 106—107.

<sup>409</sup> «Хаджи-Мурат». Невышедшие тексты // Публикация А. Сергиенко // Литературное наследство. Т. 35—36. М.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 561.

<sup>410</sup> У Толстого: 1904—1910. «Яснополянские записки Д. П. Маковицкого» // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 1. С. 368.

<sup>411</sup> Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение / Публ., сост., предисл. и коммент. А. И. Рейтблата. М.: НЛО, 1998. С. 156.

<sup>412</sup> Там же.

<sup>413</sup> *Толстой Л. Н.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 14. М.: Художественная литература, 1964. С. 30.

<sup>414</sup> Там же. С. 107.

<sup>415</sup> *Блок А. А.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 3. М.; Л.: Художественная литература, 1960. С. 304—305.

<sup>416</sup> *Блок А. А.* На железной дороге // *Блок А. А.* Избранные сочинения. М.: Художественная литература, 1988. С. 439.

<sup>417</sup> *Толстой Л. Н.* Два гусара // *Толстой Л. Н.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1960. С. 257.

<sup>418</sup> *Ленин В. И.* Лев Толстой как зеркало русской революции // Пролетарий. 1908. 11(24) сентября. № 35 // [http://www.patriotica.ru/history/lenin\\_tolstoy.html](http://www.patriotica.ru/history/lenin_tolstoy.html)

<sup>419</sup> *Ленин В. И.* Л. Н. Толстой и его эпоха // Звезда. 1911. 22 января (4 февраля). № 6. Подпись: В. Ильин // [http://www.patriotica.ru/history/lenin\\_tolstoy.html](http://www.patriotica.ru/history/lenin_tolstoy.html)

<sup>420</sup> У Толстого: 1904—1910. «Яснополянские записки Д. П. Маковицкого» // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 2. С. 258.

<sup>421</sup> *Толстой Л. Н.* Война и мир. Т. 1. М.: Художественная литература, 1978. С. 58.

<sup>422</sup> Там же. С. 60.

<sup>423</sup> Там же. С. 221.

<sup>424</sup> Там же. С. 225.

<sup>425</sup> Там же. С. 224.

<sup>426</sup> *Толстой Л. Н.* Война и мир. Т. 2. М.: Художественная литература, 1978. С. 377.

<sup>427</sup> Там же. Т. 1. С. 428.

<sup>428</sup> Там же. С. 408.

<sup>429</sup> *Рейтблат А. И.* От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века. М.: Изд-во МПИ, 1991. С. 72.

<sup>430</sup> У Толстого: 1904—1910. «Яснополянские записки Д. П. Маковицкого» // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 3. М.: Наука, 1979. С. 28.

<sup>431</sup> Там же. Кн. 1. С. 123, 130, 142, 458.

<sup>432</sup> Там же. Кн. 2. С. 410, 587.

<sup>433</sup> Там же. Кн. 3. С. 27, 113, 218, 288, 358.

<sup>434</sup> Там же. Кн. 4. С. 112, 133, 240, 261.

<sup>435</sup> Там же. Кн. 2. С. 379.

<sup>436</sup> *Гончаров И. А.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1959. С. 141.

<sup>437</sup> *Фет А. А.* Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство /



Вступ. ст., сост., подг. текста и коммент. В. А. Кошелева, С. В. Смирнова. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 39 (Россия в мемуарах).

<sup>438</sup> Там же. С. 275.

<sup>439</sup> Там же. С. 283—284.

<sup>440</sup> Там же. С. 162.

<sup>441</sup> У Толстого: 1904—1910. «Яснополянские записки Д. П. Маковского» // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 2. М.: Наука, 1979. С. 292.

<sup>442</sup> Там же. С. 435.

<sup>443</sup> Там же. С. 444.

<sup>444</sup> Там же. Кн. 4. С. 368.

<sup>445</sup> Блок А. А. Об искусстве. М.: Искусство, 1980. С. 303, 480; Русская эпиграмма (XVIII — начало XX века). С. 500, 664.

<sup>446</sup> У Толстого: 1904—1910. «Яснополянские записки Д. П. Маковского» // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 3. М.: Наука, 1979. С. 44.

<sup>447</sup> Фет А. А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. С. 197.

<sup>448</sup> Минаев Д. Лирические песни с гражданским отливом. Посвящается А. Фету // Поэты «Искры»: В 2 т. Т. 2. Л.: Советский писатель, 1987. С. 58—59 (Библиотека поэта. Большая серия).

<sup>449</sup> Фет А. А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. С. 98.

<sup>450</sup> У Толстого: 1904—1910. «Яснополянские записки Д. П. Маковского» // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 2. М.: Наука, 1979. С. 404.

<sup>451</sup> Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милюткина. 1882—1890 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2010. С. 153.

<sup>452</sup> Там же. С. 410.

<sup>453</sup> Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения / Вступ. ст., сост., пер. с нем., прим., указатели и подбор иллюстраций К. М. Азадовского. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 283 (Россия в мемуарах).

<sup>454</sup> Там же. С. 536.

<sup>455</sup> Дурьин С. Н. В своём углу / Сост. и прим. В. Н. Тороповой; предисл. Г. Е. Померанцевой. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 173 (Библиотека мемуаров: Близкое прошлое).

<sup>456</sup> У Толстого: 1904—1910. «Яснополянские записки Д. П. Маковского» // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 4. М.: Наука, 1979. С. 342.

<sup>457</sup> Лейкина-Сви́рская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М.: Мысль, 1970. С. 70.

<sup>458</sup> Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту. С. 11, 12, 13.

<sup>459</sup> Горький М. Собрание сочинений: В 18 т. Т. 16. М.: Художественная литература, 1963. С. 14.

<sup>460</sup> Там же. С. 13.

<sup>461</sup> Там же. С. 14.

<sup>462</sup> Аишук Н. С., Аишук М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты, образные выражения. М.: Правда, 1986. С. 334.

<sup>463</sup> Горький М. Собрание сочинений: В 18 т. Т. 16. С. 30.

<sup>464</sup> Там же. С. 29.

<sup>465</sup> Там же. С. 22.

<sup>466</sup> Там же. С. 21.

<sup>467</sup> Там же. С. 10.

<sup>468</sup> Там же. С. 21.

<sup>469</sup> Там же. С. 45.

<sup>470</sup> Там же. С. 12.

<sup>471</sup> Там же. С. 30—31.

- <sup>472</sup> Чехов А. П. Вишнёвый сад.
- <sup>473</sup> Горький М. Собрание сочинений: В 18 т. Т. 16. С. 162.
- <sup>474</sup> Там же. С. 163.
- <sup>475</sup> Там же. С. 196.
- <sup>476</sup> Там же. С. 176.
- <sup>477</sup> Там же. С. 190.
- <sup>478</sup> Там же.
- <sup>479</sup> Там же. С. 213.
- <sup>480</sup> Там же.
- <sup>481</sup> Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения. С. 605.
- <sup>482</sup> Горький М. Собрание сочинений: В 18 т. Т. 16. С. 153.
- <sup>483</sup> Там же. С. 156.
- <sup>484</sup> Там же. С. 180.
- <sup>485</sup> Там же. С. 160.
- <sup>486</sup> Там же. С. 194.
- <sup>487</sup> Там же. С. 188.
- <sup>488</sup> Там же. С. 218.
- <sup>489</sup> Лотман Ю. М. «Договор» и «вручение себя» как архетипические модели культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 3. Таллин: Александра, 1993. С. 345—355.
- <sup>490</sup> Горький М. Собрание сочинений: В 18 т. Т. 16. С. 322.
- <sup>491</sup> Там же. С. 320.
- <sup>492</sup> Там же. С. 323.
- <sup>493</sup> Там же. С. 315.
- <sup>494</sup> Там же. С. 323.
- <sup>495</sup> Там же. С. 326.
- <sup>496</sup> Там же. С. 329.
- <sup>497</sup> Гончаров И. А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1959. С. 404.
- <sup>498</sup> Горький М. Собрание сочинений: В 18 т. Т. 16. С. 330.
- <sup>499</sup> Там же. С. 341.
- <sup>500</sup> Там же. С. 352.
- <sup>501</sup> Там же. С. 353.
- <sup>502</sup> Чехов А. П. Студент // Чехов А. П. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 7. М.: Художественная литература, 1956. С. 366—367.
- <sup>503</sup> Чехов А. П. — А. С. Суворину // Чехов А. П. Полное собрание сочинений: В 30 т. Письма. Т. 4. М.: Наука, 1976. С. 148—149.
- <sup>504</sup> Чуковский К. И. Художник // Литературная газета. 1960. 28 января. № 12 // <http://www.chukfamily.ru/Kornei/Prosa/khudognik.htm>
- <sup>505</sup> Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802—1917. Биобиблиографический справочник. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 136.
- <sup>506</sup> Чехов А. П. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 7. С. 413.
- <sup>507</sup> Там же. С. 488.
- <sup>508</sup> Там же. С. 440.
- <sup>509</sup> Там же. С. 497.
- <sup>510</sup> Там же. С. 445.
- <sup>511</sup> Там же. С. 489.
- <sup>512</sup> Там же.
- <sup>513</sup> Там же. С. 495.
- <sup>514</sup> Там же. С. 498.
- <sup>515</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 7. М.: Воскресенье, 1995. С. 110—111.
- <sup>516</sup> Чехов А. П. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 7. С. 499.

- <sup>517</sup> *Чехов А. П.* Собрание сочинений: В 12 т. Т. 8. М.: Художественная литература, 1956. С. 114.
- <sup>518</sup> Там же. С. 112.
- <sup>519</sup> Там же. С. 109.
- <sup>520</sup> Там же.
- <sup>521</sup> Там же. С. 112.
- <sup>522</sup> Там же. С. 119.
- <sup>523</sup> Там же. С. 120.
- <sup>524</sup> Там же. С. 127.
- <sup>525</sup> Там же. С. 131.
- <sup>526</sup> Там же. С. 131, 133, 192.
- <sup>527</sup> Там же. С. 132.
- <sup>528</sup> Там же. С. 121.
- <sup>529</sup> Там же. С. 135.
- <sup>530</sup> Там же. С. 142.
- <sup>531</sup> Там же. С. 154.
- <sup>532</sup> Там же. С. 171—172.
- <sup>533</sup> Там же. С. 168.
- <sup>534</sup> Там же. С. 172.
- <sup>535</sup> Там же. С. 175.
- <sup>536</sup> Там же. С. 178.
- <sup>537</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 13. М.: Наука, 1978. С. 221.
- <sup>538</sup> Там же. С. 224.
- <sup>539</sup> Там же. С. 221—222.
- <sup>540</sup> Там же. С. 197.
- <sup>541</sup> Там же. С. 220.
- <sup>542</sup> Там же. С. 201.
- <sup>543</sup> Там же. С. 213.
- <sup>544</sup> Там же. С. 214.
- <sup>545</sup> Там же.
- <sup>546</sup> Там же. С. 205.
- <sup>547</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 3. М.: Наука, 1976. С. 201—202.
- <sup>548</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 13. С. 223.
- <sup>549</sup> Там же. С. 205.
- <sup>550</sup> Там же. С. 206.
- <sup>551</sup> Там же. С. 212.
- <sup>552</sup> Там же. С. 219.
- <sup>553</sup> Там же. С. 233.
- <sup>554</sup> Там же. С. 210.
- <sup>555</sup> Там же. С. 205.
- <sup>556</sup> Там же. С. 206.
- <sup>557</sup> Там же. С. 206, 208.
- <sup>558</sup> Там же. С. 209.
- <sup>559</sup> Там же. С. 249.
- <sup>560</sup> Там же. С. 212.
- <sup>561</sup> Там же. С. 204, 222.
- <sup>562</sup> *Ламанский Е. И.* Избранные сочинения / Сост. А. В. Бутров. М.: Новости, 2005. С. 119, 120.
- <sup>563</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 13. С. 227.
- <sup>564</sup> Там же. С. 227—228.

- <sup>565</sup> *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4: С — V. М.: Прогресс, Универс, 1994. Стб. 1535.
- <sup>566</sup> *Тургенев И. С.* Собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1961. С. 178.
- <sup>567</sup> *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2: И — О. М.: Прогресс, Универс, 1994. Стб. 551.
- <sup>568</sup> *Тургенев И. С.* Собрание сочинений: В 10 т. Т. 3. С. 170—171.
- <sup>569</sup> Там же. С. 172.
- <sup>570</sup> Там же. С. 175.
- <sup>571</sup> «Текущая хроника и особые происшествия»: Дневник В. Ф. Одоевского 1859—1869 гг. // Литературное наследство. Т. 22—24. М., 1935 // [http://az.lib.ru/o/odoewskij\\_w\\_f/text\\_0600.shtml](http://az.lib.ru/o/odoewskij_w_f/text_0600.shtml)
- <sup>572</sup> Россия под надзором: Отчёты III Отделения 1827—1869. Сборник документов / Сост. М. Сидорова, Е. Щербакова. М.: Российский фонд культуры; Российский архив, 2006. С. 684.
- <sup>573</sup> *Игнатъев А. А.* Пятьдесят лет в строю // <http://lib.ru/MEMUARY/IGNATYEW/50let.txt>
- <sup>574</sup> *Чехов А. П.* Собрание сочинений: В 12 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1955. С. 375.
- <sup>575</sup> Там же. С. 424.
- <sup>576</sup> Там же. С. 389.
- <sup>577</sup> Там же. С. 373.
- <sup>578</sup> Там же.
- <sup>579</sup> Там же. С. 398.
- <sup>580</sup> Там же.
- <sup>581</sup> Там же. С. 411.
- <sup>582</sup> Там же. С. 425.
- <sup>583</sup> Там же. С. 424.
- <sup>584</sup> Там же. С. 462.
- <sup>585</sup> *Чехов А. П.* Собрание сочинений: В 12 т. Т. 7. М.: Художественная литература, 1956. С. 203—204.
- <sup>586</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения. Т. 8. 1892—1894. М.: Наука, 1977. С. 373.
- <sup>587</sup> *Чехов А. П.* Собрание сочинений: В 12 т. Т. 7. М.: Художественная литература, 1956. С. 206.
- <sup>588</sup> Там же. С. 210.
- <sup>589</sup> Там же. С. 218.
- <sup>590</sup> Там же. С. 222—223.
- <sup>591</sup> Там же. С. 247.
- <sup>592</sup> *Чехов А. П.* Собрание сочинений: В 12 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1955. С. 150.
- <sup>593</sup> Там же. С. 150—151.
- <sup>594</sup> *Чехов А. П.* Собрание сочинений: В 12 т. Т. 8. М.: Художественная литература, 1956. С. 312.
- <sup>595</sup> Там же. С. 312—313.
- <sup>596</sup> Там же. С. 315.
- <sup>597</sup> Там же. С. 316—317.
- <sup>598</sup> Там же.
- <sup>599</sup> Там же. С. 318—319.
- <sup>600</sup> *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 13. М.: Наука, 1978. С. 131.
- <sup>601</sup> *Чехов А. П.* Собрание сочинений: В 12 т. Т. 8. М.: Художественная литература, 1956. С. 178—179.

<sup>602</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. / Авт.-сост.: И. С. Зильберштейн, В. А. Самков. Т. 1. М.: Изобразительное искусство, 1982. С. 76.

<sup>603</sup> Там же.

<sup>604</sup> *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 4, 5. [Т. 2.] 2-е изд., доп. М.: Наука, 1990. С. 185—186 (Литературные памятники).

<sup>605</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 1. С. 301.

<sup>606</sup> Там же. Т. 2. С. 155.

<sup>607</sup> *Тенишева М. К., княгиня.* Впечатления моей жизни. Л.: Искусство, 1991. С. 161.

<sup>608</sup> *Пономарёва Н. И.* Чувство пути // *Тенишева М. К.* Впечатления моей жизни. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 7 (Библиотека мемуаров: Близкое прошлое); *Стругова О. Б. М. К. Тенишева.* Неоконченный портрет // *Княгиня Мария Тенишева в зеркале Серебряного века.* М.: ГИМ, 2008. С. 11. Год рождения княгини был уточнён недавно. Ранее во всех справочных изданиях сообщалось, что Тенишева родилась в 1867 году. В своих мемуарах княгиня не указала ни одной точной даты, которая подсказала бы год её рождения.

<sup>609</sup> *Тенишева М. К., княгиня.* Впечатления моей жизни. С. 11 [Вступ. ст. Н. И. Пономарёвой].

<sup>610</sup> Там же. С. 37.

<sup>611</sup> Там же. С. 69.

<sup>612</sup> *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 4, 5. [Т. 2.] С. 52.

<sup>613</sup> *Тенишева М. К., княгиня.* Впечатления моей жизни. С. 42.

<sup>614</sup> Там же. С. 74.

<sup>615</sup> *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 4, 5. [Т. 2.] С. 122—123.

<sup>616</sup> *Тенишева М. К., княгиня.* Впечатления моей жизни. С. 160.

<sup>617</sup> Там же. С. 162.

<sup>618</sup> *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 4, 5. [Т. 2.] С. 210.

<sup>619</sup> Там же.

<sup>620</sup> *Тенишева М. К., княгиня.* Впечатления моей жизни. С. 161.

<sup>621</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 2. С. 454.

<sup>622</sup> Там же. С. 160.

<sup>623</sup> Там же. С. 454.

<sup>624</sup> *Тенишева М. К., княгиня.* Впечатления моей жизни. С. 166.

<sup>625</sup> Там же. С. 167.

<sup>626</sup> Константин Андреевич Сомов: Письма. Дневники. Суждения современников / Сост., вступ. ст. и прим. Ю. Н. Подкопаевой, А. Н. Свешниковой. М.: Искусство, 1979. С. 65.

<sup>627</sup> *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 4, 5. [Т. 2.] С. 52—53.

<sup>628</sup> Там же. С. 195.

<sup>629</sup> Константин Андреевич Сомов: Письма. Дневники. Суждения современников / Сост., вступ. ст. и прим. Ю. Н. Подкопаевой, А. Н. Свешниковой. М.: Искусство, 1979. С. 65.

<sup>630</sup> *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 4, 5. [Т. 2.] С. 571.

<sup>631</sup> Там же. С. 123.

<sup>632</sup> *Дурьлин С. Н.* В своём углу / Сост. и прим. В. Н. Тороповой; предисл. Г. Е. Померанцевой. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 856 (Библиотека мемуаров: Близкое прошлое).

<sup>633</sup> *Латишина Н. П.* «Мир искусства»: Очерки истории и творческой

практики. М.: Искусство, 1977. С. 23; *Боулт Дж. Э.* Серебряные пряди, Серебряный век: Сергей Дягилев и эстетика модернизма // Видение танца. Сергей Дягилев и Русские балетные сезоны. Милан: Skira, 2009. С. 58.

<sup>634</sup> Константин Андреевич Сомов: Письма. Дневники. Суждения современников / Сост., вступ. ст. и прим. Ю. Н. Подкопаевой, А. Н. Свешниковой. М.: Искусство, 1979. С. 67.

<sup>635</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 2. С. 407.

<sup>636</sup> Там же. С. 53.

<sup>637</sup> *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 4, 5. [Т. 2.] С. 287.

<sup>638</sup> *Немирович-Данченко Вл. И.* Избранные письма. Т. 1. М., 1979. С. 210.

<sup>639</sup> Там же. С. 520.

<sup>640</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве. В 2 т. Т. 1. С. 13, 297.

<sup>641</sup> *Тенишева М. К., княгиня.* Впечатления моей жизни. С. 165.

<sup>642</sup> *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 4, 5. [Т. 2.] С. 226.

<sup>643</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 2. С. 351.

<sup>644</sup> Там же. Т. 1. С. 36.

<sup>645</sup> Там же. С. 136.

<sup>646</sup> Там же. С. 344.

<sup>647</sup> Там же.

<sup>648</sup> *Чернышова-Мельник Н. Д.* Дягилев: Опередивший время. М.: Молодая гвардия, 2011. С. 110.

<sup>649</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 2. С. 388.

<sup>650</sup> Там же. С. 405.

<sup>651</sup> *Добужинский М. В.* Воспоминания. М.: Наука, 1987. С. 177 (Литературные памятники).

<sup>652</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 2. С. 405.

<sup>653</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 3. Кн. 1. М.: Воскресенье, 1995. С. 428.

<sup>654</sup> *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 19 т. Т. 11. М.: Воскресенье, 1996. С. 55.

<sup>655</sup> *Дурыйлин С. Н.* В своём углу / Сост. и прим. В. Н. Тороповой; предисл. Г. Е. Померанцевой. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 700 (Библиотека мемуаров: Близкое прошлое).

<sup>656</sup> М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Подг. к печати, сост., коммент., вступ. ст. С. А. Макашина / 2-е изд., пересмотр. и доп. Т. 1. М.: Художественная литература, 1975. С. 308—309 (Литературные мемуары).

<sup>657</sup> Тютчевiana: Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. М.: Книга и бизнес, 1999. С. 23.

<sup>658</sup> М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Подг. к печати, сост., коммент., вступ. ст. С. А. Макашина / 2-е изд., пересмотр. и доп. Т. 1. М.: Художественная литература, 1975. С. 16—17.

<sup>659</sup> *Розанов В. В.* Уединённое / Сост., вступ. ст., коммент., библиогр. А. Н. Николюкина. М.: Политиздат, 1990. С. 19 (Мыслители XX века).

<sup>660</sup> Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина, 1879—1881 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М.: РОССПЭН, 2010. С. 296, 374—375, 383, 392.

- <sup>661</sup> *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 16. Кн. 1. М.: Художественная литература, 1974. С. 61—62.
- <sup>662</sup> *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 7. М.: Художественная литература, 1969. С. 86—87.
- <sup>663</sup> *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 12. М.: Художественная литература, 1971. С. 295.
- <sup>664</sup> *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собрание сочинений: В 20 т. Т. 16. Кн. 1. М.: Художественная литература, 1974. С. 235.
- <sup>665</sup> Там же. С. 164, 165.
- <sup>666</sup> Там же. С. 11—12, 34—35.
- <sup>667</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 2. С. 90.
- <sup>668</sup> *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 4, 5. [Т. 2.] С. 397.
- <sup>669</sup> Там же. С. 399.
- <sup>670</sup> *Добужинский М. В.* Воспоминания. М.: Наука, 1987. С. 222—223.
- <sup>671</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 1. С. 192, 384.
- <sup>672</sup> *Брезгин О.* Сергей Дягилев: хронология // Видение танца. Сергей Дягилев и Русские балетные сезоны. С. 314.
- <sup>673</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 1. С. 387.
- <sup>674</sup> Там же. С. 22.
- <sup>675</sup> *Бенуа А. Н.* Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. 4, 5. [Т. 2.] С. 692—693.
- <sup>676</sup> Там же. С. 418.
- <sup>677</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 1. С. 389.
- <sup>678</sup> Там же. С. 193—194.
- <sup>679</sup> Из письма Н. К. Крупской — М. А. Ульяновой. 26 декабря 1913 г. // *Ленин В. И.* О литературе и искусстве. 7-е изд. М.: Художественная литература, 1986. С. 186.
- <sup>680</sup> М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Подг. к печати, сост., коммент., вступ. ст. С. А. Макашина / 2-е изд., пересмотр. и доп. Т. 1. С. 17.
- <sup>681</sup> Русская периодическая печать (1702—1894). Справочник. М.: Госполитиздат, 1959. С. 25.
- <sup>682</sup> *Розанов В. В.* Уединённое. С. 265.
- <sup>683</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 2. С. 484.
- <sup>684</sup> *Гусев Н. Н.* Два года с Л. Н. Толстым. Воспоминания и дневник бывшего секретаря Л. Н. Толстого. 1907—1909 / Сост., вступ. ст. и прим. А. И. Шифмана. М.: Художественная литература, 1973. С. 71 (Литературные мемуары).
- <sup>685</sup> Там же. С. 323.
- <sup>686</sup> Там же.
- <sup>687</sup> *Пастернак Л. О.* Записи разных лет. М.: Советский художник, 1975. С. 53.
- <sup>688</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 1. С. 355, 356.
- <sup>689</sup> Там же. С. 356.
- <sup>690</sup> Там же. С. 189.
- <sup>691</sup> Сергей Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. Т. 2. С. 95.

<sup>692</sup> Биографическая хроника В. И. Ленина: В 12 т. Т. 2 (1905—1912) // [http://leninism.su/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3740:1905-mart&catid=102:tom-2&Itemid=61](http://leninism.su/index.php?option=com_content&view=article&id=3740:1905-mart&catid=102:tom-2&Itemid=61)

<sup>693</sup> Ленин В. И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 6. М.: Политиздат, 1959. С. 127.

<sup>694</sup> Константин Андреевич Сомов: Письма. Дневники. Суждения современников. С. 67.

<sup>695</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 9—10.

<sup>696</sup> Кокошкин Ф. Наш государственный кризис // Русские ведомости. 1917. 1 января. № 1 // 1917. М.: Издательская программа «Интерроса», 2007. С. 4.

<sup>697</sup> Соколов А. Война и наши финансовые перспективы // Там же.

<sup>698</sup> Воспреещение свободной торговли сырыми кожами // Новое время. 1917. 13 января. № 14677 // Там же. С. 16.

<sup>699</sup> Петроградские ведомости. 1917. 6 января. № 4 // Там же. С. 11.

<sup>700</sup> Продовольственный кризис и продовольственная политика // Там же. С. 4.

<sup>701</sup> Люди иного мира // День. 1917. 6 февраля. № 35 // Там же. С. 38.

<sup>702</sup> Продовольственный кризис и продовольственная политика // Там же. С. 4.

<sup>703</sup> Торгово-промышленное бесстыдство // Московские ведомости. 1917. 27 января. № 22 // Там же. С. 27.

<sup>704</sup> Острожский К. «Привал спекулянтов» // Новое время. 1917. 23 февраля. № 14716 // Там же. С. 54.

<sup>705</sup> Балетные артистки сейчас ощущают туфельный кризис // Биржевые ведомости. 1917. 10 февраля. № 16095 (вечерний выпуск) // Там же. С. 45.

<sup>706</sup> Розыгрыш Императорского приза в 24 000 рублей // Петроградская газета. 1917. 11 февраля. № 41 // Там же. С. 45.

<sup>707</sup> Воздействие на торговцев // Русское слово. 1917. 18 января. № 14 // Там же. С. 19.

<sup>708</sup> Под знаком войны // Там же. С. 5.

<sup>709</sup> Там же.

<sup>710</sup> Восторгов И., протоиерей // Московские ведомости. 1917. 1 января. № 1 // Там же.

<sup>711</sup> Там же.

<sup>712</sup> Там же.

<sup>713</sup> Нападение на морского министра // Русское слово. 1917. 28 января. № 23 // Там же. С. 28.

<sup>714</sup> Что ни день, то кражи и грабежи // Новое время. 1917. 7 января. № 14670 // Там же. С. 12.

<sup>715</sup> Запрещение вывоза хлеба // Утро России. 1917. 22 января. № 22 // Там же. С. 22.

<sup>716</sup> Продовольствие. Момент наступил // Русское слово. 1917. 5 января. № 4 // Там же. С. 10.

<sup>717</sup> Московская жизнь // Петроградские ведомости. 1917. 8 января. № 5 // Там же. С. 12.

<sup>718</sup> Воспреещение выпечки баранок и сушек // Русская воля. 1917. 7 февраля. № 37 // Там же. С. 39.

<sup>719</sup> Дошло до того, что появились «хвосты» у магазинов конфет! // Петроградская газета. 1917. 7 февраля. № 37 // Там же.

<sup>720</sup> 4 000 000 пудов мяса // Русское слово. 1917. 18 января. № 14 // Там же. С. 19.



<sup>721</sup> Ещё мясо // Русское слово. 1917. 27 января. № 22 // 1917. М.: Издательская программа «Интерроса». 2007. С. 27.

<sup>722</sup> Новый «Пуст» // Петроградская газета. 1917. 11 февраля. № 41 // Там же. С. 45.

<sup>723</sup> Гольдберг А. Город и деревня // Русская воля. 1917. 9 февраля. № 39 // Там же. С. 42.

<sup>724</sup> Парламентские заметки: Хлеб и политика // Новое время. 1917. 24 февраля. № 14717 // Там же. С. 54.

<sup>725</sup> На деревенских базарах // Там же.

<sup>726</sup> Запрещение кваса // Утро России. 1917. 21 февраля. № 52 // Там же. С. 53.

<sup>727</sup> Деревня и город // Русское слово. 1917. 31 января. № 25 // Там же. С. 32.

<sup>728</sup> На вчерашнем заседании Государственной Думы [по телефону от нашего корреспондента]. Продовольственный вопрос // Русские ведомости. 1917. 24 февраля. № 45 // Там же. С. 55.

<sup>729</sup> Там же.

<sup>730</sup> Продовольственная катастрофа // Московский листок. 1917. 25 августа. № 192 // Там же. С. 208.

## СОДЕРЖАНИЕ

### *Часть первая* ЦЕПЬ ВЕЛИКАЯ

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| <i>Пролог. «Ожиданье, нетерпенье...»</i> .....       | 7   |
| <i>«Распалась связь времён»</i> .....                | 11  |
| <i>Безгрешные доходы</i> .....                       | 22  |
| <i>«Именьем, брат, не управляй оплошно...»</i> ..... | 40  |
| <i>Одиночество власти</i> .....                      | 56  |
| <i>Полуобразованность и антипатриотизм</i> .....     | 67  |
| <i>«Отбунтовала вновь Варшава...»</i> .....          | 77  |
| <i>Осень империи</i> .....                           | 103 |
| <i>«В начале жизни школу помню я...»</i> .....       | 110 |

### *Часть вторая* «ФРАНЦУЗСКАЯ ГОРИЗОНТАЛКА»

#### СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>«Семья, основа государства, поколебалась...»</i> .....                  | 122 |
| <i>«Библия прогресса», камелии и гражданский брак</i> .....                | 129 |
| <i>Сексуальная революция — разрушительная и созидательная</i> ...          | 151 |
| <i>Время героинь</i> .....                                                 | 159 |
| <i>«Неуверенность и недовольство господствовали во всех классах»</i> ..... | 173 |
| <i>«Надо быть без предрассудков»</i> .....                                 | 176 |
| <i>Семья — поле сражения</i> .....                                         | 182 |
| <i>Негуманное и нерациональное государство</i> .....                       | 191 |

### *Часть третья* НЕУТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Идол и идеалы</i> .....                                                | 194 |
| <i>«Как мало прожито — как много пережито!»</i> .....                     | 197 |
| <i>Царство Ваала</i> .....                                                | 202 |
| <i>Последняя победоносная война</i> .....                                 | 208 |
| <i>Мадригалы на бой, или «Географические фанфаронады»</i> .....           | 214 |
| <i>«Апофеоз войны»</i> .....                                              | 226 |
| <i>Гуманистический туман</i> .....                                        | 232 |
| <i>Зеркало русской интеллигенции, или Апология полковника Берга</i> ..... | 245 |
| <i>Так говорил матёрый человечиче</i> .....                               | 256 |
| <i>«А там, во глубине России...»</i> .....                                | 274 |
| <i>«Как это скучно! Как избито... затрёпано...»</i> .....                 | 283 |
| <i>«Люди становятся мельче, жулики — крупнее»</i> .....                   | 291 |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| «Привычка к неволе, к рабскому состоянию...» ..... | 295 |
| Комедия о вишнёвом саде .....                      | 314 |
| Эмансипе .....                                     | 325 |
| «Это было очень красиво, очень трогательно», или   |     |
| Мать декадентства и декадентский староста .....    | 343 |
| Сарказм и парад истории .....                      | 364 |
| «Впечатления и эффекты изумительные» .....         | 377 |
| Эпилог. 1917 год .....                             | 388 |
| Примечания .....                                   | 399 |

**Экштут С. А.**

**Э 44** Повседневная жизнь русской интеллигенции от эпохи Великих реформ до Серебряного века / Семён Экштут. — М.: Молодая гвардия, 2012. — 428[4] с.: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

**ISBN 978-5-235-03546-1**

Семён Экштут, доктор философских наук, социолог, историк, автор многих книг, представляет на суд читателей своё исследование повседневной жизни русской интеллигенции от эпохи Великих реформ 1860-х годов до начала Серебряного века. Это время — время слома векового уклада русской жизни и активизации революционно-демократического движения, сексуальной революции и отпадения от Церкви, борьбы сословных «предрассудков» и «передовых» идей, промышленного переворота и бурного роста капитализма — противопоставило отцов и детей, взорвало вековые нормы брака, обострило непримиримость державников и прогрессистов, спровоцировало выброс молодёжной «энергии заблуждения», направленной на разрушение, и в результате подготовило революцию. Все эти темы автор рассматривает на примерах литературы, искусства, философских доктрин, социологических исследований, мемуарной литературы, исторических трудов, личных переписок. Многие авторские суждения, что называется, онтологически полемичны и провоцируют на споры. Так, к интеллигенции он причисляет и дворянство, и офицерство, и промышленно-торговые круги, и «новых людей», объединяя их понятием «образованное общество», пересматривает отношение к самой ментальности русской интеллигенции: «Своеобразной компенсацией невозможности обретения даже очень скромного достатка служил поиск правды, жажда духовности, неумённое стремление формулировать и решать “проклятые” вопросы». «А может, наоборот, — спросит иной читатель, — “жажда духовности” оставляла его равнодушным к “достатку”?...» Словом, читайте, скучно не будет ни единому мысленнику, ни критику-полюемисту!

**УДК 94(47)-051**

**ББК 63.3(2)6-283.2**

знак информационной  
продукции

**16+**

**Экштут Семён Аркадьевич**

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
ОТ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ ДО СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА**

**Утверждено к печати Учёным советом Института всеобщей истории РАН**

**Редактор Л. С. Калужная**

**Художественный редактор Е. В. Кошелева**

**Технический редактор В. В. Пилкова**

**Корректоры Т. И. Маляренко, Г. В. Платова**

Сдано в набор 26.04.2012. Подписано в печать 23.08.2012. Формат 84х108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Garamond». Усл. печ. л. 22,68+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ № 1211990.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сушёвская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: [dse1@gvardiya.ru](mailto:dse1@gvardiya.ru)

**arvato**  
япк

Отпечатано в полном соответствии с качеством  
предоставленного электронного оригинал-макета  
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

**ISBN 978-5-235-03546-1**